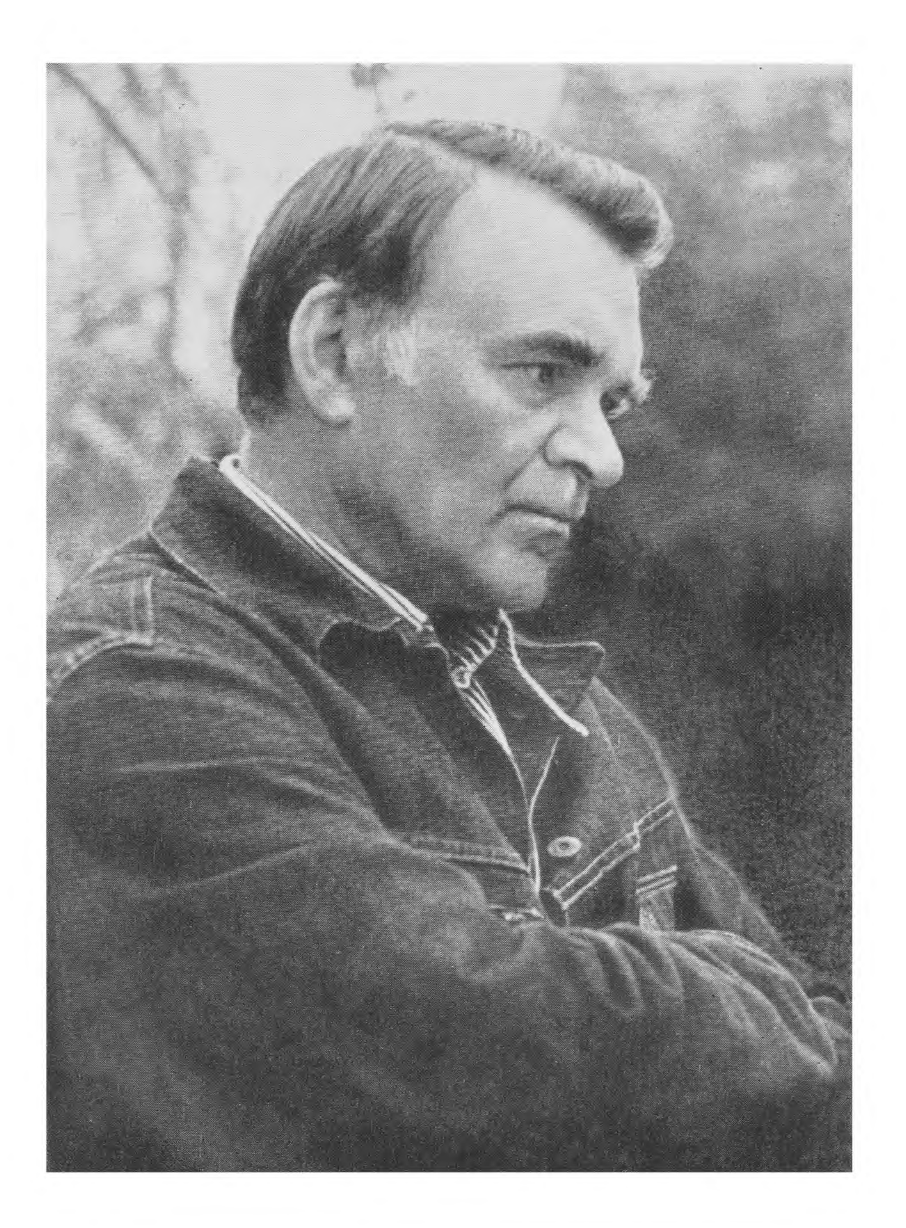
ЮРИЙ БОНДАРЕВ

1

ЮРИЙ БОНДАРЕВ



ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ
ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ

ПОВЕСТИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Вступительная статья
ИРИНЫ БОГАТКО

Оформление художника
В. ЛЮБИНА

Фотография на фронтисписе
Н. БОБРОВА

Б $\frac{4702010200\text{-}155}{028(01)\text{-}84}$ подписное

ИСТИНА — В ЧЕЛОВЕКЕ

(О творчестве Юрия Бондарева)

Юрий Бондарев принадлежит к тем писателям, полный смысл и значение творчества которых проясняются лишь с течением времени и в контексте общего поступательного движения литературы. Подлинный масштаб его дарования открылся нам в его произведениях последних лет, где вопросы «вечные», встающие и перед каждым мыслящим человеком нашего времени, оборачиваются самыми актуальными проблемами сегодняшней духовной жизни. Сейчас Бондарев ищет и находит язык, чтобы говорить с целым миром о надеждах и устремлениях человека, о его достижениях и заблуждениях. Художник искусства беспокойного, тревожащего, он обращается к современникам от имени своего поколения, в судьбе которого черпает истины о Человеке.

«Видимо, каждый неравнодушен к своему поколению и хочет напомнить о нем с ревнивой любовью», — писал Бондарев в статье «Моим читателям» (1975), и вот отсюда-то и ведет начало его путь к литературному творчеству. Не просто наличие тетрадки с несколькими рассказами — у кого таких тетрадок не было, а непреходящее ощущение того, «что возвращаю в жизнь тех, о которых никто ничего не знает и о которых знаю только я, и только я должен, обязан рассказать о них все» (т а м же) — из сознания этого рождались первые повести о войне — «Батальоны просят огня» (1957) и «Последние залпы» (1959). Тот, кто способен воссоздать события прошлого большой исторической значимости, берет на себя тяжелую ношу гражданской ответственности, ибо становится выразителем народной памяти.

Но если бы одно только это — понимание ответственности перед фронтовым братством — побуждало к писательству бывшего лейтенанта артиллерии Бондарева, демобилизовавшегося из армии в 1945 году после второго ранения (первое — под Сталинградом в 1942 году), мы имели бы в его лице первоклассного писателя-

баталиста, выполняющего святой и великий долг. Однако со временем все сильнее будут увлекать Бондарева проблемы еще более масштабные — проблемы «равновесия прекрасного мира».

О философской сущности его таланта не только критики или проницательные читатели — сам писатель «догадался» не сразу. Но «неожиданности», которые, как правило, несет каждая новая веха его творчества — именно от этой, поначалу скорее всего подсознательно почувствованной им своей задачи — осмыслить главные закономерности движения современного мира, места и назначения человека в нем.

Талант и мироощущение Бондарева драматичны, иногда трагичны. Сохранение «равновесия» в мире при стремительности движения процесса общественного развития в наш век не может проходить безболезненно. Родовые муки истории естественны, но при всем том это тяжкие муки. Они-то более всего и занимают писателя, хорошо понимающего, что философия исторического оптимизма отнюдь не исключает признания всех сложностей хода истории и трудности их постижения.

Смелое, даже «своенравное» дарование Бондарева не сразу проявилось в теперешнем его выражении. Вернувшись с войны в Москву (Бондарев родился в 1924 году в уральском городке Орске, в семилетнем возрасте переехал с родителями в Москву и с тех пор считает ее своим родным городом), будущий писатель некоторое время учился на курсах шоферов, затем на подготовительном отделении авиационно-технологического института, думал о поступлении во ВГИК и только в 1946 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, где занимался в семинаре К. Г. Паустовского. Первые его рассказы (они публиковались в периодике и составили сборник «На большой реке», 1953) на фоне написанного позднее воспринимаются лишь талантливой попыткой творчества. В художественном мире Бондарева уровень их оказался несоизмеримым со всем последующим. Они интересны прежде всего как своего рода «заявка на будущее», как свидетельство цельности его творческой личности.

В цитировавшейся выше статье «Моим читателям» писатель вспоминает, каких огромных усилий стоило ему создание первой повести — «Юность командиров» (1952—1955). Усилия эти, как понятно теперь, относились не только к самому процессу работы над ней. Это был момент самоопределения, разведка направления всего своего дальнейшего пути. Смутно брезжившая у начинающего автора догадка о том, что его удел и его успех будут связаны с широкими обобщениями, что его дар есть дар глубинного анализа человеческой души в сочетании с проблемами философского порядка, впервые нашла конкретное выражение в повести

«Батальоны просят огня» (1957). Но идейно-образный строй «Юности командиров» тоже примечателен в этом смысле.

Попробуем отвлечься от «строительных лесов», какими видятся нам теперь многие сюжетные линии повести, лирические отступления, бытовые реалии, — перед нами предстанет довольно необычное для литературы тех лет здание, отдаленно напоминающее архитектуру будущих произведений Бондарева. Пропорции, соотношения характеров в этой ранней повести словно бы предназначены для более весомого содержания. Так, в характере Бориса Брянцева, наделенного чертами прирожденного лидерства, гибельно опасного честолюбия, угадываются черты не только Иверзева («Батальоны просят огня») или Дроздовского («Горячий снег»), но есть и как бы предощущение одного из сложнейших образов нашей литературы — Ильи Рамзина («Выбор»). Мы непременно уловим общность внутреннего мира Алексея Дмитриева с натурой Никитина («Берег»), а только мелькнувший в памяти Бориса комвзвода Сельский напомнит нам о Кузнецове («Горячий снег») и Новикове («Последние залпы»), почудится даже неким предвестником Княжко («Берег»). Драку в новогоднюю ночь в «Юности командиров» трудно не соотнести с эпизодом у Балчуга из романа «Берег», а вкрапленные в повествование неразвернутые фронтовые воспоминания его героев, конечно, еще не обещают структуру позднейших романов, но воспринимаются теперь как намекающие на ее возможность...

Здесь нет еще и в помине тех философских поединков, которые станут отличительными для романов Бондарева 70-х годов, но начало диалогичности, как непременного атрибута его прозы, несущего глубокую социальную нагрузку, — тут. Нет умудренности, нет еще сознательной «тяги к глобальности», характерной для зрелого Бондарева, но суть главных задач, к которым подступало наше искусство, уже предчувствуется им. Писатель, выражающий передовое мировоззрение своей общественной формации, прозревает как острейший вопрос нашего века столкновение индивидуалистического и общественного начал как важнейших категорий общественного сознания. В характерах двух главных героев «Юности командиров» — Брянцева и Дмитриева, в дневнике Виктора Зимина, в поступках капитана Мельниченко намечены перспективы этих будущих размышлений автора.

Вчитайтесь в эту повесть — никогда больше не будет в книгах Бондарева такой светлой атмосферы радости бытия, молодого счастья, любви, надежд, хотя персонажи ее только что вышли из кровавой купели войны. «Юность командиров»... И как сурово, жестко, словно бы по-уставному, прозвучало название следующей повести — «Батальоны просят огня».

Знаменитая и знаменательная повесть, первое собственно *бондаревское* произведение. И одно из первых истинно новаторских в нашей литературе произведений о Великой Отечественной войне. О «Батальонах» говорили и спорили, пожалуй, не меньше, чем в наши дни о романе «Выбор». Думается, точнее всех о высочайшей достоверности изображения войны в «Батальонах» сказал Олег Михайлов: «Кажется, жизнь отстранила автора и заговорила сама тем языком, который не только «литература», но больше, чем «литература». Иными словами, искусство и документ, образ и память, фантазия и пережитое соединились здесь нерасторжимо, чтобы дать в итоге нечто новое, до конца не укладывающееся в понятие «художественное произведение»... [1] Это высшая, но отнюдь не завышенная оценка мастерства писателя. «Внимание, Бондарев!» — в такой броской журналистской манере была названа в зарубежной критике одна из статей о «Батальонах» [2].

Со второй половины 50-х годов начинался новый этап освоения нашей литературой темы войны. Писатели так называемой «второй волны», писатели-фронтовики, вернувшиеся с полей сражений, такие как Астафьев, Богомолов, Быков, К. Воробьев, Носов, поражали читателей и критику умением передать обжигающую правду войны необычными конфликтами, новыми художественными средствами. Эти писатели принесли с фронта многие драгоценные подробности взаимоотношений между личностью и Историей, подробности, в которых так нуждалось общественное сознание на новых своих рубежах. Десятилетие мирной жизни позволило им глубоко осмыслить опыт войны и обратиться к изображению диалектики души своих героев в момент беспримерного исторического испытания, увидеть и передать единость, нечленимость потока народной жизни.

В первый день 1957 года был завершен публикацией рассказ М. Шолохова «Судьба человека». Уместившаяся на малом пространстве «рассказа-эпопеи» трагическая судьба Андрея Соколова стала отражением судьбы народа и утверждением его способности устоять на ветру Истории. Значимость повести Бондарева «Батальоны просят огня» (май 1957) представляется если не столь же масштабной, то не менее важной. «Все мы вышли из бондаревских «Батальонов», — сказал известный писатель Василь Быков об упомянутых выше писателях-фронтовиках. Не только в батальном жанре, но и вообще в литературе любой темы уже нельзя было работать без учета опыта «Батальонов», не оглянувшись на

---

[1] Олег Михайлов. Юрий Бондарев. М., «Советская Россия», 1976, с. 43.

[2] См.: Е. Горбунова. Юрий Бондарев. Очерк творчества. М., «Советский писатель», 1981, с. 106.

микроанализ мгновения, диалектики «чуда человеческого духа» (*А. Блок*), миновав нравственные конфликты, предложенные Бондаревым в этой повести.

Стойкость и героизм шолоховского Соколова определялись гражданским мужеством, совестливостью как движущей пружиной его характера. Эти же качества и эта же их первооснова — главное в бондаревских персонажах. Военное время было не только временем битвы с фашизмом. В эти годы продолжали утверждаться нравственные основы нашего общества, на знамени которого начертано слово «Человек». Человек этот нравственно рос и на войне, и, как при всяком росте, в нем происходило борение разных начал. Этот процесс отразился в главных конфликтах повести, в образах таких персонажей, как Ермаков и Иверзев. И на поле битвы продолжал выкристаллизовываться советский характер. Без учета и осмысления всей сложности становления и роста человека в исторических сражениях против фашизма уже нельзя было писать народный подвиг.

Не всем сразу стало понятно внимание, с которым Бондарев всматривался в такие характеры, как Иверзев; упорство, с которым, ломая нормативность читательского восприятия, идущую еще от традиционных понятий о «едином русском воинстве», и опираясь на толстовскую традицию, писатель рисует участников «ратного подвига» людьми очень разными. В условиях войны формирование личности приобретало часто драматические, а то и трагические формы, но советское общество неуклонно двигалось вперед, продолжая воспитывать «уникального человека истории», что и было с самого начала его главной задачей. «Я не могу считать вас человеком и офицером!» — этими словами Бориса Ермакова, обращенными к Иверзеву, писатель обнажил суть конфликта между совестью в высоком ее социальном значении и узко понятым долгом. Уроки Толстого в «Батальонах» не сводились к пресловутой «диалектике души». Здесь был усвоен главный его урок. «Совесть он считал перекрестком всех проблем», — позже скажет о Толстом Бондарев в статье «Уроки Толстого». Мерой гражданской совести и оценивает писатель своих героев.

Лаконичный стиль «Батальонов» и «Последних залпов», суровая и мужественная фраза не только сообщают особую рельефность образам, но и отражают стремление автора внести в повествование содержание более глубокое, нежели оно может быть воспринято читателем из внешних перипетий сюжета. Отсюда еще редкие, очень сдержанные намеки на обобщающий смысл изображаемого. «Вот оторвал эту ветку, и она погибла. Верно?» — говорит Борис Ермаков полковнику Гуляеву в ответ на вопрос, зачем Борис раньше времени выписался из госпиталя. «Философ, пороть

тебя некому!» — ответит Гуляев. «Простите за философию», — скажет майор Гулько Новикову в «Последних залпах». Лейтенант Кондратьев («Батальоны просят огня»), гуманитарий до кончиков ногтей, первый в галерее бондаревских образов интеллигентов, размышляя о чистоте совести, выражает мысль писателя о любви и родственности людей на войне, связанности их «судьбой и кровью».

Оглядываясь теперь, в пору широкого развития философской прозы, на первые книги Бондарева о войне, мы не можем не увидеть в коллизиях и конфликтах, сюжетах и персонажах этих ранних произведений истоки напряженных размышлений писателя над важнейшими проблемами современности, воплощенными в идеях и образах его последующих книг. И первые повести Бондарева о войне были далеко не только «портретом войны», однако распознать в них «сверхзадачу» автора было еще трудно; практически она была скрыта и от него самого.

При всем том диалектика подвига, углубленная психологическая характеристика героизма — все это уже стало открытием Бондарева. За изображением кровавого столкновения двух взаимоисключающих социальных систем — фашизма и социализма — поднимались вопросы великого противостояния человечности и бесчеловечия. Перечитывая сегодня «Батальоны» и «Последние залпы», невольно думаешь о том, как порой несправедливо неблагодарны мы к современному нам художнику. Напиши Бондарев одну только небольшую повесть «Последние залпы» с ее точностью в изображении состояния человека в момент «между быть или не быть», с подлинно героической фигурой капитана Новикова, можно сказать, «идеально положительного героя» (сам писатель не любит этого термина), и звонкоголосого, «как синица», младшего лейтенанта Алешина, оставшегося после гибели Новикова в пустоте «этого огромного, чудовищно тихого мира», и Овчинникова, который «не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было», и емкие строчки о рождении предельной человеческой близости, когда испуганный Ремешков вдруг понял, что Новиков вернулся за ним, и то, как страшно плачет, похоронив товарища, Порохонько, и интеллигентную нежность с подчиненными майора Гулько, и торопливую любовь Новикова и санинструктора Лены, одной из тех святых женщин на войне, что одаривали идущих на смерть мальчиков милосердием и нежностью, и трогательного связиста Колокольчикова, этот символ хрупкости жизни,— напиши Бондарев только это, и для имени его уже готово место в «святцах» лучших наших писателей...

В «Батальонах» и «Последних залпах» еще нѐт того типа личности, который вызывает особенную неприязнь писателя, ста-

новясь для него средоточием общественного зла. Эгоизм Овчинникова трагически запутывает и губит только его самого, Иверзев искупает свою вину, глубоко переживая ее. Но по мере углубления писателя в противоречия бытия неизбежно рождается зловещее предчувствие появления образов Меженина («Берег») и Лазарева («Выбор»). Их предваряют образы Уварова и Быкова в следующем произведении Бондарева — его первом романе «Тишина» (1962—1964).

При том, что в «Тишине» нет развернутых картин жизни ее героев на войне, она тем не менее вмещает их недавнее военное прошлое. Сами для себя, для окружающих и для читателя они оттуда, где просят огня батальоны, где звучат последние залпы. Соотнесение мира ушедшей вместе с войной юности и сегодняшнего, с каждым днем отдаляющегося от войны бытия, отражаясь в конфликтах и характерах романа, отчетливо несет идею единства жизненного потока.

Когда «Батальоны» и «Последние залпы» вывели Бондарева в ряд первых «баталистов», это не могло не породить в нем сознания опасности, таящейся в регламентирующей читательское восприятие формулировке: «военная проза». Недаром так настойчиво повторено в известных «военных» стихах А. Межирова: «Мы писали о мире, о мире, не делимом на мир и войну». Бондарев и Василь Быков, выступая в печати, не раз объясняли, что материал войны — для них еще и возможность в ее конфликтах раскрыть нравственное содержание, драматизм «неделимой» жизни. Время властно уводило в новые рассветы, словно бы оставляя позади, в истории недавнее прошлое, которое на первый взгляд все менее давало о себе знать в послевоенном бытии. Но писатель, герои которого испытали жажду разрешения вопроса о столкновении добра и зла в их социальной первооснове еще на войне, знает: цепь времен едина.

«Настоящее не может быть оторвано от прошлого, иначе теряются нравственные связи. В настоящем всегда есть прошлое,— пишет Бондарев в статье «Время — жизнь — писатель». — Наше настоящее — это сумма социальных явлений, счет которых начался не сегодня. Осмыслить настоящее невозможно без уходящих в историю пунктиров, так же как невозможно познать характер человека без его прошлого, вернее без суммы поступков...» В основе романа «Тишина» — именно эти мысли.

Как справедливо замечает критика, роман «Тишина» и повесть «Родственники» «стали шагом на пути создания нового типа романа, по форме психологического, «семейного», как назвали бы его раньше, но по сути остросоциального, трактующего важные

политические проблемы»[1]. И философские тоже, те, что будут развернуты в романах Бондарева следующего десятилетия, — добавим мы.

«Тишина» — первое у писателя широкое исследование человека вне экстремальных обстоятельств войны. Здесь прежде всего его занимают вопросы о том, какое развитие получат и получат ли упроченные на войне драгоценные качества советского человека.

Резкий переход героев романа Сергея Вохминцева и Константина Корабельникова из военных будней в мирные дни связан для них с немалым психологическим напряжением, воссозданным в романе с той убедительностью и наглядностью, какие составляют одну из непременных особенностей писательской манеры Бондарева, умеющего вместить в малую единицу времени сложную динамику мыслей и чувств личности, множество ее состояний и их оттенков.

Семья Вохминцевых, Корабельников — с одной стороны, Быков, Уваров — с другой: противостояние, равное фронтовому. И цена — тоже жизнь, пусть теперь — не только в смысле физического существования. О непрерываемости потока времени, в котором персонажи Бондарева проходят свои испытания «войной» и «миром», писатель заявляет уже в начале романа встречей Вохминцева с капитаном Уваровым, подло бросившем на фронте своих людей, предавшем их. «Война кончилась — бог с ним, с прошлым»,— увещевает Уваров Сергея. Вот кому выгодно отрезать прошлое от настоящего — Уварову и Быкову. Принятое Вохминцевым после долгих колебаний предложение Уварова о «перемирии» — как бы признание несущественности прошлого для сегодняшнего и завтрашнего дня. В мирной жизни Сергей уже «не чувствовал той непримиримости, которую он чувствовал в себе три года назад», на войне. Здесь требовательность художника к своему герою равна укору историческим обстоятельствам: «Он (Сергей.— *И. Б.*) замечал, что люди уже неохотно оглядываются назад, пытаясь жить только в настоящем... Никто не хочет копаться в прошлом... Есть настоящее, есть жизнь, есть будущее, а прошлое в памяти людской стиралось...» И смысл судеб Сергея Вохминцева и Кости Корабельникова в понимании ими, в конечном счете, того, что нет будущего без постоянно несомого в себе прошлого. И отсюда принятое, наконец, после позволенной себе передышки решение: «Хватит лежать в окопах, в тебя стреляют, в Сережу, в Асю... и не холостыми патронами, а бьют наповал, в голову целят!» — эта мысль все настойчивее овладевает Костей Корабельниковым, маленькая повесть о котором — «Двое», подведенная позднее писателем под общую «крышу» романа «Тиши-

[1] Е. Горбунова. Юрий Бондарев. Очерк творчества, с. 142.

на», также являет собой развитие идеи единой цепи всех звеньев жизни — ни одно из них невозможно удалить из этой цепи.

В общей перспективе бондаревского творчества многое в «Тишине», в ее стилистическом строе, где особую нагрузку несут нервно пульсирующие внутренние монологи с их вопрошающими интонациями, с такими излюбленными писателем средствами психологической выразительности, как сновидения, промежуточные состояния между сном и реальностью, вмещает гораздо больше, чем это прочиталось в момент появления романа, по горячим следам конкретных событий, на фоне которых и в связи с которыми развивается действие книги. Так, здесь сформулирована восходящая к Горькому убежденность в родстве мещанства и фашизма. Подлость Быкова, на счету которого не одна погубленная человеческая жизнь, и его стремление к обывательскому уюту и благополучию типичны также для Уварова, всеми способами завоевывающего себе место под солнцем. В тяжелом сне Сергея Вохминцева, когда словно кто-то бьет его в самое сердце, эти сегодняшние удары, метко, рассчитанно наносимые ему Уваровым, объединяются в ощущениях Сергея в единое целое с фронтовыми ужасами, видятся единой опасностью. «Так только фашиствующие молодчики могли...» — скажет Сергей в конце концов в лицо Уварову. Тяжелое, но необходимое знание социального между собой родства любой человеческой подлости и делает героев Бондарева людьми, осознающими личную ответственность за все происходящее вокруг, понимающими жизнь не узкоэгоистически, а прежде всего как категорию общественного существования.

О появившейся в 1969 году повести «Родственники» в критике того времени было сказано немного. Может быть, потому, что вышедший вскоре вслед за повестью роман «Горячий снег» (1970) сосредоточил на себе все внимание читателей и исследователей литературы. Но скорее всего мы были попросту не готовы к восприятию «с ходу» этого произведения, как не сразу осознали и суть романа «Берег» — новой формы романа «выраженной мысли», то есть произведения особого, философского наполнения.

Так или иначе, роман «Горячий снег», его поистине ошеломительный успех оттеснили на второй план скромную на первый взгляд повесть, надолго присоединившуюся в читательском сознании к «Тишине». Однако повесть эта при определенной общности с «Тишиной» существенно отличалась от романа и принципами организации материала, и теми задачами, которые ставил здесь перед собой автор. Вопросы, обычно называемые «вечными», впервые возникли здесь перед художником именно как те вопросы, которые ему надобно решать или по крайней мере ставить.

Послушаем внимательно друга Ольги Грековой, профессора Николаева: «Без истории, без правды истории мы дети, лишенные душевного опыта, лишенные высокой мудрости... Нам историей запрещено делать ошибки, потому что наше общество — это светлейшая надежда человечества. Тысячи гениальных умов мечтали о таком обществе с начала истории мысли». Не правда ли, это уже исходные позиции писателя Никитина («Берег») и в его нравственных исканиях, и в диспутах со своими оппонентами, среди которых не только один Дицман. Или вот еще: «Немытые стекла не должны подвергать сомнению красоту огромного дома, который всей историей суждено нам построить. Именно нам — модель дома, образец для человечества». Нравственные критерии осмысляются героями повести как исторические и философские. Политика, история, философия выступают в их понятиях и поступках в органической и взаимообусловленной связи. «Модель дома, образец для человечества» — такой дом не построишь на фальши, на компромиссе. Основой здесь должен быть мощный и цельный фундамент. О моральном кодексе строителей такого монументального сооружения и размышляет Бондарев. То, что в «Береге» предстанет развернутой картиной нравственных исканий героев во всей органике «включения мысли в образ» (*Горький*), составит подлинное открытие в жанре философского романа той особой формы, где дискуссии по кардинальным социальным проблемам выражены не только и не столько в публицистической, сколько в образной системе, берет свое начало именно в «Родственниках».

В творчестве Бондарева обычно лишь острые, часто неожиданные обстоятельства рождают и большие вопросы. В «Тишине» это драма семьи Вохминцевых, связанная с нарушением норм бытия нашего общества. В «Родственниках» в большой степени — то же. Когда-то Греков-старший предал сестру, сын ее Никита выясняет подлинные обстоятельства несчастья матери. И тут неизбежно встают вопросы совести, вины, наказания, справедливости, отмщения, и ставятся они — и героями и автором — уже как «проклятые», «вечные», «последние», возводятся в степень философских категорий. Постановка этих вопросов важна не только для судеб данных героев — но, главным образом, для построения того «образца для человечества», о котором говорит Николаев. Погибает Валерий Греков, начинающий постигать, что принятая им удобная философия: «лично я не делаю подлости», «все само собой придет к лучшему» — бездумный и опасный псевдооптимизм, что совесть — понятие прежде всего гражданское. Поиск истины в повести ведет Никита, понуждаемый к этому не одними лишь внешними обстоятельствами, но всем строем души, как

позднее Никитин в «Береге». Эти люди, несмотря на различие биографий, представляются нам очень близкими по своему психологическому складу, по жизненным принципам, по склонности к размышлениям и обобщениям, откуда проистекает напряженность их внутренней жизни, постоянные монологи, обращенные к самим себе.

«Родственники» — единственное произведение Бондарева, в центре которого взаимоотношения старших и младших, «отцов» и «детей». Обычно эта проблема заслонена у писателя другими, более для него значимыми, хотя присутствует чаще, чем кажется на первый взгляд. Так, в «Горячем снеге» отцовство Бессонова — одна из значительных сторон его личности; именно это отцовское чувство к батарейцам Дроздовского дает ключ к решению многих характеров и конфликтов романа, постижению заключенных в нем идей. «Комиссар, сколько ему лет? Девятнадцать, двадцать? — скрипуче спросил Бессонов... — Танкисту? — И другой там был, на мосту.— В общем, мальчишки, Петр Александрович». «Мальчишки» Бондарева — это Ермаков, Новиков, Княжко, это Никитин и Васильев в годы войны. И Рамзин...

«История нас рассудит», — пишет Ольга Грекова брату. Правда времени, правда истории, мера правды, с которой одно поколение предстает перед следующим, — так всем ходом развития сюжета, гибелью Валерия и возможной смертью Никиты поставлен в «Родственниках» вопрос о Правде. Надо ли было знать ее Никите и Валерию? Ответ писателя определенен. Уходя от правды, невозможно возводить тот прекрасный дом, о котором грезит Николаев, за который воевал Алексей Греков и пострадала мать Никиты.

Без опыта раздумий над вопросами философского наполнения в «Тишине» и особенно в «Родственниках» роман «Горячий снег» (1970) не мог бы стать для Бондарева новой ступенью в его творчестве. Перед нами уже принципиально иное, чем предшествующие, произведение о войне, с иным уровнем обобщений. «Горячий снег» не только одно из крупнейших достижений советской баталистики. Если за конфликтами и характерами «Батальонов» и «Последних залпов» образ Великой Отечественной войны вставал как символ продолжения борьбы за человека, то этот же образ, созданный в «Горячем снеге», становится грандиозным символом самой Жизни.

Писатель выбирает для этой своей «оптимистической трагедии» важнейший этап войны — Сталинградскую битву. Ко времени создания «Горячего снега» окончательно сформировался бондаревский «способ ощущения мира», его политическая и философская мысль. Если в буржуазной идеологии с новой силой зазвучало

утверждение ничтожества человеческой личности перед непонятным, пугающим, враждебным ей миром, то этой растерянности буржуазного сознания Бондарев противопоставил доказательную убежденность в могучих потенциях человека.

Нигде еще, как в «Горячем снеге», не были так ярко выражены им ведущие черты того типа современного человека, который мы называем «социалистическим типом личности» — особой породы людей XX века, сформированной как своим историческим прошлым, так и новым общественным укладом. За поступками, мыслями и чувствами героев романа встают очертания того огромного, что зовется советским народом. Оно — за судьбами лейтенанта Кузнецова и санинструктора Зои, командующего армией Бессонова и члена Военного совета Веснина, Уханова и Давлатяна, Нечаева и Сергуненкова...

Секрет непреходящего успеха и воздействия романа на читателя — в мастерстве художника, пишущего войну «самой правдой войны», в пластике, «стереоскопичности» изображения, в творческом усвоении им «уроков» его любимых писателей-классиков.

Издавна мысль Бондарева-баталиста устремлялась к сверкающей вершине толстовской эпопеи, в этом смысле еще в ранце автора «Батальонов» уже лежал жезл маршала.

В «Горячем снеге» очевидны приметы усвоения художественного опыта и другого великого реалиста. «...Целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный. Но мы постараемся перевесть все эти ощущения героя нашего и представить читателю...» [1] — так формулировал одну из особенностей своей поэтики Достоевский. Детализация событий одного-единственного дня, нарисованного в «Горячем снеге», характеров участников этих событий связана как раз с давнишним тяготением писателя к возможностям предельной концентрации изображаемого в самую малую единицу времени. Бондарев сознательно почти не дает предысторий своих героев — он умеет проникнуть в суть их образов в пределах минут и часов — такова особенность его эпичности. Заметим, что даже в «Береге», романе, охватившем почти тридцатилетие, он добивается эпического звучания, сводя и разводя, сопоставляя именно короткие временные промежутки (пять и пять дней). Тот же принцип письма и в «Выборе».

В «Горячем снеге», как уже говорилось, действие длится сутки. Кроме нескольких эпизодов из жизни командующего армией

---

[1] Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., в 30-ти томах, т. 5. Л., «Наука», 1973, с. 12—13.

Бессонова, беглых упоминаний о довоенной жизни других героев, никаких экскурсов в прошлое писатель не делает. В центре романа — одно событие: бои на подступах к Сталинграду. Крупным планом выделены бои одной батареи.

Локализовав время и пространство, писатель углубляется в подробности, всегда значительные. «Выбивать танки и о смерти забыть!» — говорит батарейцам Дроздовского Бессонов, определяя их задачу. Этот момент забвения смерти — эпицентр «Горячего снега». Он тщательно изучается автором, воссоздается им во всех деталях движения мыслей, чувств, поступков героев.

«Исступленный азарт восторга и ненависти» владеет Кузнецовым во время атаки. Часы напряженного, на пределе физических и нравственных сил боя становятся для героев романа мигами наивысшего нравственного озарения. Кажется, писатель учитывает, увековечивает каждую секунду боя. Чувства страха, ненависти к врагу, ощущение боевого братства, обостренное чувство ответственности, столкновение разных представлений о долге, о человечности на войне — все соединено в изображении таких моментов. Густота, насыщенность многообразными оттенками чувств и мыслей в романе предельная. Каждый момент значителен, до ослепляющей яркости освещает все самое существенное в характере персонажа, позволяя понять, чтó за человек Кузнецов, каков Дроздовский...

Короткий эпизод с Сергуненковым, бессмысленно посланным Дроздовским к самоходке, чрезвычайно важен в романе, ибо тут отчетливо определяются отношения Кузнецова и Дроздовского, образным афоризмом предстает нравственная формула романа. Именно с этого момента Кузнецов потерял чувство «обостренной опасности и инстинктивного страха перед танками, перед смертью или ранением, перед всем этим стреляющим и убивающим миром, как будто судьбой была дана ему вечная жизнь, *как будто все на земле зависело от его действий*» (подчеркнуто мной. — *И. Б.*).

Можно сказать, что Бондарев задался целью восстановить тот самый момент, который определил будущее целого поколения, и не только одного поколения. В минуты боя герои «Горячего снега» пребывают как бы в состоянии утраченности чувства реальности. Но в романе постоянно прослеживается бьющаяся в самом немыслимом ожесточении и безумии схватки мысль. Это мысль о «правде человечества». В «Горячем снеге», повторяем, Бондарев начал свой сегодняшний спор с буржуазной философией и эстетикой, привлекая к нелегкой идеологической борьбе со своими противниками всех людей доброй воли, взыскующие «правды» умы. «Осознанная справедливость» есть «не только критерий

солдатского поступка в условиях войны, но критерий любого характера наших дней», — утверждает в этом романе писатель.

Идея об осознанном характере героического — идея единства процесса нравственного и интеллектуального совершенствования человека. Бондарев сосредотачивает внимание на героях сильного, активного мышления. Осмысленность своего общественного долга дает его персонажам бесконечное преимущество перед человеком индивидуалистического склада. Не представляя, «что может умереть через полчаса, через час, что все сразу внезапно и навсегда исчезнет и его не станет», дивизионный комиссар Веснин, как все смертные, боится смерти. Но воля и мысль помогают ему до конца оставаться Человеком в высшем смысле слова, побеждать первичный биологический инстинкт. Постоянное контролирование разумом у человека высшего долга всех своих эмоций — вот что руководит Весниным в роковые минуты его жизни; если его что-то и страшит, то это опасность потерять такой самоконтроль. На примате разумного в человеке и строит Бондарев образы своих лучших, любимых героев.

«Горячий снег» подготовил почву для появления следующих романов Бондарева, романов нового типа, нередко вступающих в противоречивые отношения с традиционными закономерностями этого жанра в современной нашей литературе. Роман «Берег» (1974), в частности, стал еще одним завоеванием писателя в обнаружении новых граней оптимистического в трагедии жизни, тесного слияния вопросов злободневных с «вечными», общечеловеческими.

В жанровом отношении «Берег» близок философскому, интеллектуальному роману типа горьковской «Жизни Клима Самгина» и романам Леонида Леонова. Это сказалось в постановке больших социально-нравственных проблем, в страстности отстаивания героями и автором своих взглядов, в «крупности» полемики с буржуазной философией.

Знаменательно уже «перенесение» писателем главного героя за рубежи родины, в чужую страну. В мировой литературе (Байрон, Гете) такой прием типичен именно для философских жанров — взгляд на вещи извне способствует отстраненности мысли, сопоставлениям «своего» и «чужого», интенсивности размышлений над их очевидными различиями. Очень существенно и взаимопроникновение в романе прошлого и настоящего: «высекая символ пространственной глубины», эта особенность композиции сообщает особую напряженность движению сюжета, работе ищущей мысли.

На широком, многоплановом, хронологически вмещающем целое тридцатилетие полотне романа каждый его образ — это четкий

индивидуальный характер и одновременно средоточие идей, часто противоборствующих, взаимоисключающих друг друга.

Пожалуй, ни один из образов «Берега» невозможно толковать однозначно. Даже Княжко, этот апостол добра и справедливости, от которого действительно «исходит внутреннее свечение», перенесенный в наше время словно бы не из героического военного прошлого, а из будущего, из «третьей действительности», не просто «положительный» образ, но «пример примерных»; в соотнесении с образами хотя бы Никитина и Самсонова он получает некое дополнительное содержание, взывая к размышлениям о развитии идеала во времени. Этим писатель как бы утверждает вечность поиска: «Всей правды не знает никто». Ведь по-разному можно толковать и образ «злого святого» Самсонова, раздражающего нас сегодня несовременностью своего узкого максимализма. Какие-то новые ракурсы сообщает характерам Никитина и Самсонова образ преступившего грань «ярости благородной» Меженина, чья суть содержит самое неприемлемое для писателя — низменность буржуазности. Из временнóго далека Никитин по-иному, чем в молодости, смотрит на Меженина, понимая мудростью зрелых лет трагическую противоречивость судьбы этого человека, всю войну уничтожавшего активных носителей того зла, которое содержал в себе сам. Мы едва успели полюбить Эмму Герберт, это олицетворение женской нежности и верности, приняв драму ее жизни как страдание человеческого сердца в условиях разъединенности людей разных миров, но Бондарев тут же, образом Лидии Никитиной, с ее отчаянием от невозможности «взять на себя боль» близкого человека, дает нам дополнительное освещение образу фрау Герберт, искренне желающей счастья всем, однако помнящей при этом о своих книжных магазинах и «мерседесе»...

Мы знаем, что без новых характеров, новых героев Бондарев к читателю не выходит, и сейчас его, по собственному признанию, особенно интересуют «люди беспокойного интеллекта». Таков Никитин, чья душа не просто открыта — разверзнута для всего человечества, боль которого он с мужеством, вообще свойственным его характеру, стремится взять на себя. Идея справедливости лежит в основе его труда писателя, как «всепоглощающая одержимость», без которой немыслима реализация таланта. В Никитине автор «Берега» сосредоточил свои представления о типе интеллигента, главный талант которого — талант гражданской совести и ответственности. В его биографии, как в биографии самого Бондарева, есть военное прошлое: интеллигенции бондаревского поколения нет нужды доказывать свою органическую причастность народной жизни. Автор видит интеллигенцию той частью народа,

на которую возложен долг сохранения и умножения духовных ценностей, видит ее гордостью и надеждой нации. Принадлежность к народу, по Бондареву, определяется не образом жизни, а образом ее восприятия и понимания. Сила уважения к интеллигенции равна высочайшей требовательности писателя к ней, обязанной выражать и формулировать народную нравственность, стремиться к тому, чтобы в характере народа жили и укреплялись черты Новиковых и Княжко.

Роман «Берег» часто (и справедливо) называют романом о мировой интеллигенции. Культура, как нравственная ценность, в наши дни особенно активно способствует установлению взаимопонимания между народами. Единение культур мира, к которому еще на заре становления советского общества призывал Горький, составляет главную заботу и современного советского писателя. Бондарев провозглашает гуманистическое единство прогрессивной культуры человечества, борющегося сегодня за сохранение мира на земле. Еще в преддверии второй мировой войны Фейхтвангер писал Горькому: «Если верно, что приближающееся слияние народов означает переход всего хорошего, что есть в каждом отдельном народе, в новую общую сущность людей, то именно вы, Максим Горький, сделали больше всех для этого перехода... Вы схватили душу России там, где она сливается с душой всего мира» [1]. Именно эта объединяющая сторона искусства, деятельности всей передовой интеллигенции важна для автора «Берега». Такое понимание насущных задач, стоящих перед людьми искусства, отличает Никитина от Самсонова, не чувствующего пульса времени, замкнувшегося в раз и навсегда принятых для себя представлениях. О том, в какие нагрузки, и интеллектуальные и эмоциональные, обходится возведение мостов между народами, людьми «доброй воли», свидетельствует образ Никитина, до конца равняющегося на погибшего друга — Андрея Княжко.

«Как будто все на земле зависело от его действий» — вот накал внутренней жизни Никитина, душевно потрясенного сознанием реальности возможной мировой трагедии и меры ответственности каждого человека за будущее.

Время принесло всем народам общие заботы о сохранности рода человеческого, о сохранности самой земли. Всем строем своего романа, беседами и спорами Никитина с окружением фрау Герберт Бондарев утверждает способность человечества выстоять и на сегодняшнем шквале истории, утверждает флагманскую роль Революции, которая есть «отрицание безнравственности и утверж-

---

[1] «Архив А. М. Горького», т. VIII. Переписка с зарубежными писателями. М., «Наука», 1960, с. 186.

дение нравственности, то есть вера в человека и борьба, и, конечно, совесть как руководство к действию». Мир социализма воспитывает человека общественной психологии, ответственного сегодня не только перед своей родиной, перед своим народом, но перед всем человечеством. Эту черту Бондарев хотел бы видеть инстинктом каждого человека, и пафос его романа — призыв к общечеловеческому братству, к тому обетованному «берегу», по которому давно исстрадалось человечество.

Публицистической стороной своей «Берег» тесно соприкасается с выступлениями Бондарева как общественного деятеля (он депутат Верховного Совета РСФСР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, первый заместитель председателя правления СП РСФСР). Бондарев-публицист «похож» на своего героя Никитина даже особенностями мышления: однажды родившаяся мысль живет в нем, уточняясь, перепроверяясь, углубляясь, пока не выплавится в афоризм — характерная черта стиля публицистики писателя, занимающей важное место в его творчестве и собранной в книги: «Взгляд в биографию» (1971), «Поиск истины» (1976), «Человек несет в себе мир» (1980).

Природа публицистики Бондарева специфична, многое из того, что входит в названные книги, может быть отнесено к публицистике в обычном понимании этого слова весьма условно. Строго говоря, собственно публицистическими можно считать у Бондарева его диалоги, интервью, беседы, некоторые работы критико-литературоведческого толка (статьи о Л. Н. Толстом, Достоевском, Шолохове, Леонове), где по ходу размышлений о творчестве писателей осмысляются такие эстетические категории (они же у Бондарева и этические), как красота, совесть, память, правда. Отчасти сюда же мы отнесли бы выступления на посвященных различным актуальным проблемам форумах. Но его выступление, например, на секретариате Правления СП РСФСР (1979), посвященном развитию Нечерноземья, это уже нечто иное, как бы своеобразное Слово о Родине и о тех вопросах, что связаны с ее процветанием, движением вперед. Здесь и черты высокого ораторского жанра, и поэтическая образность — сложный сплав лирико-философской прозы и собственно публицистики, каким представляется основное содержание книг «Поиск истины» и «Человек несет в себе мир».

В силу «открытости» таких жанров в них четко выявляется личностное начало, так много значащее в поэтике всего творчества Бондарева, где авторское «я» не менее существенно для понимания произведения в целом, как и основные его персонажи. Это особенно заметно в произведениях Бондарева последних лет.

«Современный художник окунает кисть в свет, солнце, воздух, но вместе с тем в грязь, в кровь, в страдания людские, схватывая неоднозначное время. Истина лежит в природе, правда — в человеке, горькая, многоликая, заявляющая о его скорбном несовершенстве». Эти слова Бондарева из его выступления на VII съезде писателей СССР (1981 г.) могли бы стать эпиграфом к роману «Выбор» (1980).

Необычность художнической постановки в этом романе главных проблем человеческого бытия удивляет, поначалу даже поражает. Высока мера требовательности, с которой писатель взывает к «социальной совести» читателя, и его доверие к нашей готовности понять всю сложность современного состояния мира.

«Поэзия — не философия ли это в образах?» — вопрос для писателя практически решенный для себя и потому скорее риторический, приглашающий к совместному размышлению. И далеко не только о сущности искусства.

Никогда раньше бондаревские «диалоги» о человеке и жизни, об отношениях личности с историей не содержали образного выражения драматизма современной жизни такой силы и сложности, как этот небольшой по объему роман. Человек и его время, человек и природа, человек и родина, личность — свобода — необходимость, одиночество и способность понять себе подобных, любовь и ненависть, сострадание и жестокость... Сложность переплетения вопросов разномасштабных, но равно «больных» обусловливает немалую трудность романа для постижения, зато надолго обеспечивает богатую пищу для ума и сердца.

«Две угрозы висят над человечеством: война оружием — смертельная казнь свободы и культуры — и война экологическая, несущая непоправимые несчастья роду людскому, уродства физические и нравственные, постепенное космическое убийство всего живого», — говорил Бондарев в выступлении на V съезде писателей РСФСР (1980 г.). Напряженность исторического момента придает размышлениям писателя о человеке интонацию глубокой тревоги. И внешняя «камерность» сюжета «Выбора» оборачивается подлинной эпичностью.

От резкого столкновения «зарядов» прошлого и настоящего вновь ярко высветились самые существенные стороны народной жизни. Ослепительным прожектором, заставившим задуматься над содержанием своего собственного и общественного бытия, стало для художника Владимира Васильева неожиданное появление из прошлого, «воскресение из мертвых» когда-то ближайшего друга Ильи Рамзина. Драмой семьи Васильевых писатель заставляет нас заглянуть в глубины трещины, образовавшейся в толще народной в связи с давно уже окончившейся войной, услышать ее глухое,

страшное эхо, испытать потрясение от осознания нарушенности и по сей день формулы народной жизни. В мрачном треугольнике Васильев — Мария — Рамзин каждый не на своем месте. За этой семейной ситуацией — трагедия народа, несущего ее с тем достоинством, которое определяется только пониманием величия исполненного нацией исторического долга. За страдальческой нервностью Марии, за внешне странным, внезапным и сильным тяготением дочери Васильева к Рамзину и его к ней, за понятной отцовской ревностью Васильева — смещенность личных судеб и общей судьбы, «равновесия мира». «Выбор» — одно из самых горьких предостерегающих напоминаний о войне и ее скорбных последствиях, которых не избыть в веках. Думается, такое осознание писателем трагедии народной жизни определило трагическое звучание романа в целом, мирочувствование его героев.

Братство или разъединенность — никогда с такой непреложностью, как сегодня, не вставала перед людской общностью эта дилемма, требуя выбора. Роман написан в развитие идеи консолидации мировых сил доброй воли, провозглашенной уже в «Береге».

Это самый «достоевский» из романов Бондарева. Авторская позиция в отношении ко многим героям сложна и глубоко упрятана. Читателю предложено подойти к сюжету и характерам произведения не с привычными мерками буквального толкования.

Между главными персонажами «Выбора» — Васильевым и Рамзиным — нет открытого антагонизма, но он содержится в их жизненных позициях. Единожды преступив законы человеческой общности, долга перед людьми, Рамзин стал апологетом непременности конфликта личности с обществом. Его индивидуалистическое сознание не только не выносит власти чужой воли — он отвергает для себя любое воздействие со стороны. Во всякой организованной общности и ее требованиях он видит только насилие, персонифицированное для него в Лазареве и Воротюке.

Бондарев дает возможность своему герою высказаться — как Достоевский позволяет Раскольникову выразить идею наполеонизма. Первые же слова Рамзина: «Моя великая Родина меня давно похоронила» — полны мрачного цинизма, противопоставления себя всему роду человеческому. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел», — нервозно, но и воинственно провозглашает Илья взятую им на вооружение идею индивидуализма. Вся его судьба, истоки которой в детском еще его прошлом, — это движение к свободе человека сильного, но заблуждающегося в понимании термина «свобода» и, соответственно, в поисках пути к ней. Рамзин трагически изживает себя — он смертельно болен не только физически.

Очевидна политическая и социальная подоплека этого образа, упреждающий жест писателя, обращенный к тем, кто в поисках лучшей доли хотел бы «оторваться от ветки родимой», — трагична перспектива жизни пария на чужбине. Но в судьбе и в образе Рамзина еще важнее мысль о несостоятельности идеи конфронтации человека и мира, об индивидуализме как всемирно-историческом заблуждении, сегодня особенно опасном для мира, подрывающем основы людской общности. Бондарев всегда познает ценность человека в его отношениях к народной жизни. Потому он и не оставляет тему войны, безошибочно испытывающей человека «на крепость» его связей с обществом. Изображая человека исключительной судьбы, отнесясь к этой потерянной душе с ностальгическим состраданием, писатель получает дополнительные возможности еще раз утвердить непререкаемые общественные законы.

Требование Бондарева к каждому человеку «чувствовать себя как бы стоящим перед высшим судом совестливого разума» своеобразно раскрывается в образе Васильева. Вероятно, автор делает его художником (как Никитина — писателем) потому, что человек творческого труда — это тип личности, «обреченный» на рефлектирование как непременную составную высокого профессионализма. Васильев на свой лад тоже эгоистичен и тоже несет на себе не один знак «скорбного несовершенства». Но именно образом Васильева утверждается в романе правота общественного сознания, мысль о противопоказанности для любой личности «горделивого индивидуалистического одиночества». Попытка отгородить себя от людей пагубна и для самого художника — это выстрадал Васильев в процессе своих нелегких исканий.

Из всех чувств, которые Бондарев считает основополагающими для человека, трепетно изливается в «Выборе» чувство любви к Родине. Оно — в привязанности Васильева к Замоскворечью, с тополиными метелями лета на его улочках, с «оттепельно-мокрыми обледенелыми водосточными трубами» и «косматостью низкого солнца над крышами, такими белыми, с мучительной синевой на теневых скатах, какими бывали близко к весне», «жесткой влагой» снега и мутными фонарями, скрипящими, вздрагивающими на столбах в ветровых токах зимней улицы... Никакая «переизбыточная красота» Венеции не может вызвать у Васильева ничего хотя бы отдаленно равного тому, что он испытывает к своей Москве. В его душе и сознании город и природа живут едино, слитно, они равно любимы и равно тревожат. Васильев не просто художник, но художник-пейзажист. Именно природа дает ему «воспламененье», помогает идти сквозь маету жизни, позволяет ощущать себя «травинкой этой травы... частичкой прекрасного ми-

ра» — испытанное однажды Васильевым в летней степи это чувство он полагает «равным бессмертию».

Пожалуй, такие вот «звездные мгновения», радость творчества, дружба с Лопатиным и украшают жизнь Васильева, признанного художника, человека в общепринятом смысле слова преуспевающего и процветающего. Но подлинно счастливых героев в этом романе нет. Счастье — в поиске его, оно как истина, к которой извечно устремлено человечество. Вопрос в том, где и что ищет человек. Глубоко несчастлив и тяжко наказан Рамзин — до дна испивает горькую чашу тот, кому отказывает в милосердии родная мать. Но не слишком радостна и жизнь Васильева, заглянувшего в глаза правде своих отношений с близкими, преисполнившегося тоской вины перед ними, может быть, и невольной, ощущением утраты того, чем он привычно существовал долгие годы. И все же он, жаждущий людской близости, ищущий истину в той любви, которую следует понимать как чувство возвышающее нас, заставляющее тревожиться о ближнем, страдать страданиями других людей, крепить сознание личной ответственности за все, что происходит вокруг, — он, Васильев, в преодолении своих страданий, в ощущении себя частью целого несет ту самую необходимую совестливость, человечность, в которой, в понимании Бондарева, только и есть залог будущего.

И здесь, в «Выборе», пройдя через вопросы, которых не может не задавать себе современный человек, в этом самом бесстрашном своем произведении, подобно «Берегу» обращенному к тревогам не только своего народа, но к заботам общечеловеческим, Бондарев остается художником, верящим в человека, в его разум и чувство, как в единственную ценность на земле. Не по-юношески, не от физической легкости несущего одну радость тела и необремененности души сомнением, а от зрелого, трудным опытом жизни полученного знания о человеке укрепляется эта вера писателя.

Бондарев привержен герою, которому «надобно мысль разрешить», у которого «душа болит», кто жаждет гармонии и потрясенно воспринимает все диссонансы действительности. Человек для него «такая же тайна, как мироздание». В попытке ее постижения писатель становится тем живописцем мысли и чувства, ищущим все новые формы познания человека, каким мы его видим сегодня. «Кто ищет — вынужден блуждать», — говорит Гете в «Фаусте». Одним из наиболее излюбленных способов «блужданий» в мире человеческих чувствований и разума стал для Бондарева последнего десятилетия цикл миниатюр «Мгновения» — произведение принципиально нового жанра.

Когда со второй половины 70-х годов в периодике начали появляться сюжеты, объединенные названием «Страницы из записной книжки», — этюды, наброски, эскизы, небольшие рассказы, — первой мыслью было: не стоят ли за ними перспективы будущего обширного повествования? Не контуры ли это новых образов следующего романа Бондарева, не «заготовки» ли к нему? Но после опубликования в разное время нескольких десятков «микросюжетов» стало ясно, что перед нами совершенно самостоятельный цикл, по структурной многосложности и некоторым другим признакам генетически более всего связанный с «Дневником писателя» Достоевского.

Вникая в своеобразное обаяние «Мгновений», мы не только прикасаемся к миру раздумий и чувствований яркой художественной личности, мы находим созвучия собственным душевным заботам, проникаемся пониманием интеллектуальной насыщенности нашего времени. В «Береге» и «Выборе» главные герои, глазами которых мы видим окружающее, — писатель и художник. Так Бондарев приближает нас к себе, к своему восприятию жизни. «Мгновения» делают это приближение максимальным. Бондарев «допускает» читателя к сокровенным глубинам своего внутреннего мира, и это позволяет понять значительность места и долга писателя в современности, всё возрастающие обязанности искусства. Беспощадная душевная распахнутость многих страниц «Мгновений» («Отец», «Быки», «Свет в окне») помогает воспринять драму мужественного поединка художника с жизнью. Осознавая, что «реальная действительность выше даже самой неограниченной гениальной фантазии», что «жизнь неизмерима воображением» и «творчество человека никогда не достигает исчерпывающей красоты или всей безобразности многоликой и многогранной реальности», писатель выходит навстречу миру, испытывая себя в усилиях присоединить добываемую лично им истину к многогранности Жизни.

Чувство времени, чувство истории, в такой высокой степени присущие Бондареву, пронизывают и «Мгновения». В размышлениях над всегда актуальными проблемами жизни и смерти, молодости и старости, гармонии, счастья, любви, добра, правды, совести, сострадания выразилось духовное богатство нашего современника, умеющего видеть как историю, так и «день текущий» частью собственной биографии и имеющего на это право. Размышления «о молниеносной быстроте уходящего времени» («Миг», «Апрельский день», «Ожидание»), подкупающая искренность в анализе таких чувств, как мучительность страха перед «фиолетовым холодом вселенной» («Звезда и Земля»), мужество в осознании факта конечности человеческого бытия — все это принадлежит

представителю поколения, смотревшего в глаза смерти еще на пороге зрелости. Отсюда это особое чувство «момента и его цены — цены жизни», «неповторимости мгновений жизни», почти материальное ощущение времени и — радость «ежедневного существования в окружающем мире»...

В статье «Моим читателям» Бондарев признавался, что поначалу считал себя прозаиком «малой формы». И потому особенно примечательно, что подлинной емкости этой «малой формы» достигает в «Мгновениях» писатель, давно овладевший мастерством создания эпических произведений, способностью концентрировать, как мы не раз уже отмечали, события, мысли и чувства человека в самую малую единицу времени. По праву можно говорить о плодотворном развитии с годами сказавшейся в «Мгновениях» способности художника обнаружить в «малой форме» новые ее возможности, до предела сгущая «изобразительно-мыслительную ткань», занимаясь исследованием человеческой души на грани сознания и подсознания. Ведь одни только сновидения становятся у Бондарева в «Мгновениях» полноправным жанровым «организмом».

«Нравственность — это не свод сухих назиданий, не кодекс сплошных догматических запретов, а совестливое отношение человека к жизни, к окружающему миру» — излюбленная мысль Бондарева, высказанная им перед широкой аудиторией, перед объективом телевизионной камеры (выступление в концертной студии Останкино в январе 1978 г.), переплавляется художественно в образ Совести («Беспомощность»). Ни неопрятная жалкость физически отталкивающего, чужого человека, ни «некрасивость» его страданий не могут остановить сердечность порыва прийти на помощь ему. В этом сюжете — воплощенная уже как бы в инстинкт ответственности *обязанность* знать о всяком горе и идти ему навстречу.

По словам Гете, «искусство — толмач неизречимого». Предчувствия, «сны-видения», когда лирический герой «Мгновений» погружается в «неохватимое, безмерное пространство, лишенное ощутимого времени, человеческого вчера и завтра», соединение реального и ирреального («Часы», «Рассказ режиссера», «Давнее гадание») — все в «Мгновениях» направлено на поиск истины о человеке и мире...

Эта доминанта творчества Бондарева — поиск истины — получает в «Мгновениях» благодаря их свободной композиции и жанровой раскованности неограниченный простор для воплощения всей причудливости, прихотливости движений человеческого ума и чувства в направлении познания окружающего мира.

В «Мгновениях» целый калейдоскоп художественных приемов, поворотов сюжета; порой тот или иной поворот обозначен всего лишь одной деталью, но такой, на которой держится вся «драматургия» вещи. Для миниатюр типична чрезвычайная емкость чувства и мысли, находящихся в подлинно бондаревском тесном сращении между собой.

В «тайниках потрясенной, прозревающей нечто, преобразующейся человеческой души» (Л. Леонов)[1] открывает Бондарев «изначальную и конечную связь» человека со всей вселенной, особую ценность «звездных мгновений» жизни — прикосновения к душе другого человека («Охотник и рыбак»), отсветы «давней памяти» и предощущения будущего... В том, как мучат автора «Мгновений» глубинные проблемы бытия, как требует он и от нас мучиться над ними, сказывается личность подлинного гуманиста, живущего верой в Человека, в его нравственную устойчивость, в его волю, энергию и разум, в его способность к преодолению трагизма бытия.

Цикл «Мгновения» далеко еще не завершен, автор постоянно пополняет его все новыми вещами. Они для Бондарева, никогда не прекращающего длительной работы над крупными произведениями, — как бы способ отозваться на явления действительности, чем-то особенно глубоко задевающие его и требующие непосредственного отклика.

Читая эту необычную книгу, воспринимаешь ее как еще одно доказательство вечной юности реализма, его порой самых неожиданных возможностей в познании и утверждении жизни.

Ирина Богатко

---

[1] См.: журн. «Москва», 1977, № 8, с. 90.

БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бомбежка длилась минут сорок. В черном до зенита небе, неуклюже выстраиваясь, с тугим гулом уходили немецкие самолеты. Они шли низко над лесами на запад, в сторону мутно-красного шара солнца, которое пульсировало в клубящейся мгле.

Все горело, рвалось, трещало на путях, и там, где еще недавно стояла за пакгаузом старая закопченная водокачка, теперь среди рельсов дымилась гора обугленных кирпичей; клочья горячего пепла опадали в нагретом воздухе.

Полковник Гуляев, морщась от звона в ушах, осторожно потер обожженную шею, потом вылез на край канавы и сипло крикнул:

— Жорка! А ну где ты там? Быстро ко мне!

Жорка Витьковский, шофер и адъютант Гуляева, гибкой независимой походкой вышел из пристанционного садика, грызя яблоко. Его мальчишеское наглое лицо было спокойно, немецкий автомат небрежно перекинут через плечо, из широких голенищ в разные стороны торчали запасные пенальные магазины.

Он опустился возле Гуляева на корточки, с аппетитным треском разгрызая яблоко, весело улыбнулся пухлыми губами.

— Вот бродяги! — сказал он, взглянув в мутное небо, и добавил невинно: — Съешьте антоновку, товарищ полковник, не обедали ведь...

Это легкомысленное спокойствие мальчишки, вид пылающих вагонов, боль в обожженной шее и это яблоко в руке Жорки внезапно вызвали в Гуляеве злое раздражение.

— Воспользовался уже? Трофеев набрал? — Полковник оттолкнул руку адъютанта и хмуро встал, отряхивая пепел с погон.— А ну разыщи коменданта станции! Где он, черт бы его!..

Жорка вздохнул и, придерживая автомат, не спеша двинулся вдоль станционного забора.

— Бегом! — крикнул полковник.

То, что горело сейчас на этой приднепровской станции, лопалось, взрывалось и малиновыми молниями вылетало из вагонов, и то, что было покрыто на платформах тлеющими чехлами,— все это значилось словно бы собственностью Гуляева, все это прибыло в армию и должно было поступить в дивизию, в его полк, и поддерживать в готовящемся прорыве. Все гибло, пропадало в огне, обугливалось, стреляло без цели после более чем получасовой бомбежки.

«Бестолочь, глупцы! — гневно думал Гуляев о коменданте станции и начальнике тыла дивизии, грузно шагая по битому стеклу к вокзалу.— Под суд сукиных сынов мало! Обоих!»

На станции уже стали появляться люди: навстречу бежали солдаты с потными лицами, танкисты в запорошенных пылью шлемах, в грязных комбинезонах. Все подавленно озирали дымный горизонт, и щуплый низенький танкист-лейтенант, ненужно хватаясь за кобуру, метался меж ними по платформе, орал срывающимся голосом:

— Тащи бревна! К танкам! К танкам!..

И, наткнувшись растерянным взглядом на Гуляева, только покривился тонким ртом.

Впереди, метрах в пятидесяти от перрона, под прикрытием каменных стен чудом уцелевшего вокзала, стояла группа офицеров, доносились приглушенные голоса. В середине этой толпы на голову выделялся высоким ростом командир дивизии Иверзев, молодой, румяный полковник, в распахнутом стального цвета плаще, с новыми полевыми погонами. Одна щека его была краснее другой, синие глаза источали холодное презрение и злость.

— Вы погубили все! Па-адлец! Вы понимаете, что вы наделали? В-вы!.. Пон-нимаете?..

Он коротко, неловко поднял руку, и стоявший возле человек, как бы в ожидании удара, невольно вскинул кверху голову — полковник Гуляев увидел белое, дрожавшее дряблыми складками лицо пожилого майора, на-

чальника тыла дивизии, его опухшие от бессонной ночи веки, седые взлохмаченные волосы. Бросились в глаза неопрятный, мешковатый китель, висевший на округлых плечах, нечистый подворотничок, грязь, прилипшая к помятому майорскому погону: запасник, по-видимому работавший до войны хозяйственником, «папаша и дачник»... Втянув голову в плечи, начальник тыла дивизии тупо смотрел Иверзеву в грудь.

— Почему не разгрузили эшелон? Вы понимаете, что вы наделали? Чем дивизия будет стрелять по немцам? Почему не разгрузили?..

— Товарищ полковник... Я не успел...

— Ма-алчите! Немцы успели!

Иверзев шагнул к майору, и тот снова вскинул мягкий подбородок, уголки губ его мелко задергались, в бессилии он плакал; офицеры, стоявшие рядом, отводили глаза.

В ближних вагонах рвались снаряды; один, видимо бронебойный, жестко фырча, врезался в каменную боковую стену вокзала. Посыпалась штукатурка, кусками полетела к ногам офицеров. Но никто не двинулся с места, лишь глядели на Иверзева: плотный румянец залил его другую щеку.

— Под суд! — низким голосом выговорил Иверзев.— Я отдам вас под суд! Полковник Гуляев, подойдите ко мне!

Гуляев, оправляя китель, подошел с готовностью; но этот несдержанный гнев командира дивизии, это усталое, измученное лицо начальника тыла сейчас уже неприятно было видеть ему. Он недовольно нахмурился, косясь на пылающие вагоны, проговорил глухим голосом:

— Пока мы не потеряли все, товарищ полковник, необходимо расцепить и рассредоточить вагоны. Где же вы были, любезный? — невольно поддаваясь презрительному тону Иверзева, обратился Гуляев к начальнику тыла дивизии, оглядывая его с тем болезненно-сострадательным выражением, с каким глядят на мучимое животное.

Майор, безучастно опустив голову, молчал; седые слипшиеся волосы его топорщились на висках неопрятными косичками.

— Действуйте! Дей-ствуй-те! В-вы, растяпа тыла! — крикнул Иверзев с бешенством.— Марш! Товарищи офицеры, всем за работу! Полковник Гуляев, разгрузка боеприпасов под вашу ответственность!

— Слушаюсь,— ответил Гуляев.

Иверзев понимал, что это глуховатое «слушаюсь» еще ничего не решает, и, едва сдерживая себя, перевел внимание на коменданта станции — сухощавого, узкоплечего подполковника, замкнуто курившего у ограды вокзала,— и добавил тише:

— А вы, товарищ подполковник, ответите перед командующим армией за все сразу!..

Подполковник не ответил, и, не ожидая ответа, Иверзев повернулся — офицеры расступились перед ним — и крупными шагами пошел к «виллису» в сопровождении молоденького, тоже как бы рассерженного адъютанта, щеголевато затянутого в новые ремни.

«Уедет в дивизию»,— подумал Гуляев без осуждения, но с некоторой неприязнью, потому что по опыту своей долгой службы в армии хорошо знал, что в любых обстоятельствах высшее начальство вольно возлагать ответственность на подчиненных офицеров. Он знал это и по самому себе и поэтому не осуждал Иверзева. Неприязнь же объяснялась главным образом тем, что Иверзев назначил ответственным именно его, безотказного работягу фронта, как он иногда называл себя, а не кого другого.

— Товарищи офицеры, прошу ко мне!

Гуляев лишь сейчас близко увидел коменданта станции; меловая бледность его лица, вздрагивающие худые пальцы, державшие сигарету, позволяли догадаться, что́ этот человек сейчас пережил. «Отдадут под суд. И за дело»,— подумал Гуляев и сухо кивнул подполковнику, встретив его ищущий взгляд.

— Ну, будем действовать, комендант!

Когда несколько минут спустя комендант станции и Гуляев отдали распоряжение офицерам и к горящим составам, зашипев паром, подкатил маневровый паровозик с перепуганно высунувшимся машинистом, а тяжелые танки стали, глухо ревя, сползать с тлеющих платформ, к полковнику, кашляя, задыхаясь, моргая слезящимися глазами, подбежал начальник тыла дивизии, затряс седой головой.

— Боеприпасы одним паровозом мы не спасем! Погубим паровоз, людей, товарищ полковник!..

— Эх, братец вы мой,— досадливо сказал Гуляев.— Разве вам в армии служить? Где ж вы фуражку-то потеряли?

Майор скорбно улыбнулся.

— Я постараюсь... Я все, что смогу...— заговорил майор умоляюще.— Комендант сообщил: прибыл эшелон. Из Зайцева. Стоит за семафором. Я сейчас за паровозом. Разрешите?

— Мигом! — скомандовал Гуляев.— Одна нога здесь... И, ради бога, не козыряйте. Как корягу, руку подносите, черт бы вас драл! И без фуражки!..

Майор сконфуженно попятился, рысцой побежал к перрону, неуклюже колыхая плечами, подпрыгивая, наталкиваясь на танкистов; они раздраженно матерились. Его мешковатый китель, взлохмаченная голова мелькнули в последний раз в конце перрона, в сизо-оранжевом дыму близ крайних вагонов, где с треском, с визгом осколков лопались снаряды.

— Жорка! А ну за майором! Помоги! А то носит его... видишь? За смертью гоняется! — сказал Гуляев.

Жорка усмехнулся, ответил небрежно:

— Есть,— и последовал за майором своей цепкой, скользящей походкой.

Полковник Гуляев ходил около вокзала, глядел на пылающие вагоны со вздыбленными крышами, сознавая, что все здесь охваченное огнем могло спасти только чудо. Он думал о том, что этот пожар, уничтожающий боеприпасы и снаряжение не только для истощенной в боях дивизии, но и для армии, оголял его полк, батальоны которого подтянулись к Днепру в течение прошлой ночи. И как бы умны ни были сейчас распоряжения Гуляева, как бы ни кричал он, ни взвинчивал людей, все это теперь не спасало положения, не решало дела.

Он видел, как убегал в дым и вновь выныривал в просветах пожара маневровый паровозик, свистя, носился по путям с прилипшим к буферу сцепщиком, разъединял искореженные осколками вагоны, оглушая лязгом железа, толкал их в тупик. Танки обрушивались через края платформы на бревна, скатывались на землю; недовольно ревя, будто обожженные звери, уползали к лесу за станционным зданием.

Мимо вокзала пробежал высокий танкист-подполковник, лицо его было озлоблено, все в темных пятнах гари, он не заметил Гуляева.

— Подполковник! — зычно окликнул Гуляев, чуть подбирая полнеющий живот, как делал это всегда, готовясь отдать приказание.

— Чего вам? — Танкист остановился. — Я вам не подчинен!..

— Сколько танков вышло из строя?

— Не подсчитано!

— Тогда вот что! Освободятся люди — пошлите их на расцепку вагонов! Сейчас придет еще паровоз...

— Я людьми швыряться не намерен, товарищ полковник! Как воевать без людей буду?

— А как же будет воевать дивизия? А? Вся дивизия? — спросил Гуляев, чувствуя, что снова сбивается на тон Иверзева, и раздражаясь на себя за это.

Воспаленные веки танкиста упрямо сузились.

— Не могу! Я отвечаю за своих людей, полковник!

В ближайшем вагоне с грохотом взорвалось несколько снарядов, взметнулась крыша, дохнуло обжигающим жаром. Лицам стало горячо. На мгновение оба отвернулись, их заволокло дымом; танкист закашлялся.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться? — послышался в эту минуту за спиной Гуляева насмешливый голос.

— По-до-жди-те! — холодно, не оборачиваясь, проговорил Гуляев и добавил жестко: — Я потребую... потребую выполнения, танкист!

— Товарищ полковник, разрешите обратиться?

— Кто еще тут? — Гуляев, морщась, круто повернулся и удивленно воскликнул: — Капитан Ермаков? Борис? Откуда тебя черти принесли?

— Здравия желаю, товарищ полковник.

Среднего роста капитан в летней выгоревшей гимнастерке с темными следами от портупеи стоял возле; тень от козырька падала на половину смуглого лица, карие, дерзкие глаза, белые зубы блестели в обрадованной улыбке.

— Ну, не узнаете, товарищ полковник! — оживленно повторял он.— Что, не верите? Доложить, что ли?

— Да откуда тебя черти принесли? — вновь проговорил Гуляев, сначала нахмурился, потом засмеялся, грубовато стиснул капитана в объятиях и сейчас же отстранил его, косясь через плечо.

— Идите,— буркнул он танкисту.— Идите.

— Дайте жрать, полковник! Толком четыре дня не ел! — сказал капитан, улыбаясь.— Я сутки без дымового довольствия!..

— Да откуда ты?.. Докладывай!

— Из госпиталя. Ждали в пути, когда кончится у вас тут. Потом появляется Жорка с майором, ну и... прикатили на паровозе.

— Легкомыслие? Шутишь все? — пробормотал Гуляев, всматриваясь в заштопанный рукав капитанской гимнастерки, и густо побагровел.— Не писал из госпиталя, хинная ты душа! А? Молчал, ухарь-купец!

— Я хочу не есть, а жрать! — ответил капитан, смеясь.— Дайте хоть сухарь! Водки не прошу.

— Жорка! — крикнул полковник.— Проведи капитана Ермакова к машине!

Жорка, до этого скромно стоявший в стороне, просветлел лицом, заговорщицки подмигнул капитану голубым невинным глазом:

— Тут в лесу. Недалеко.

Все, что можно было сделать в создавшихся обстоятельствах, было сделано. Устало догорали загнанные в тупики вагоны; с последним, как бы неохотным треском запоздало рвались снаряды. Пожар утих. И только теперь стало видно, что стоял теплый, погожий день припозднившегося бабьего лета. Чистое сияющее небо со стеклянно высокой синевой развернулось над лесной станцией. И лишь на западе неуловимо светились в бездонной его глубине беззвучные зенитные разрывы.

Порыжевшие, тронутые осенью приднепровские леса, окружавшие черное пепелище путей, обозначились четко, как в бинокле.

Полковник Гуляев, потный, разомлевший, не без наслаждения скинув горячие сапоги с усталых ног, подставив ноги солнцу и расстегнув китель на волосатой пухлой груди, лежал в станционном садике под облетевшей яблоней. Здесь все по-осеннему поблекло, поредело, везде неяркий блеск солнца, везде хрупкая прозрачная тишина, вокруг легкий шорох палых листьев, чуть-чуть тянуло свежим воздухом с севера.

Капитан Ермаков лежал рядом, тоже без сапог, без ремня и фуражки. Полковник, хмурясь, сбоку рассматривал его исхудалое, побледневшее лицо, прямые брови; черные волосы упали на висок, шевелились от ветра.

— Та-ак,— проговорил Гуляев.— Никак, раньше времени прибежал? Что, не терпелось, терпежу не было?

Ермаков вертел опавший яблоневый лист, задумчиво щурился на него.

— Променять госпитальную койку вот на это... стоило, честное слово,— ответил он, сдунул лист с ладони, проговорил полусерьезно: — Вы что-то, полковник, растолстели. В обороне стоите?

— Ты мне не вкручивай,— недовольно перебил Гуляев.— Я спрашиваю, почему прибежал?

Ермаков потянулся к яблоне, сорвал голую веточку, внимательно осмотрел ее, сказал:

— Вот, оторвал эту ветку — и она погибла. Верно? Ладно, оставим лирику. Как там моя батарея, жива? — И, слегка усмехнувшись, повторил: — Жива?

— Твоя батарея ночью форсировала Днепр. Ясно? — Гуляев повозился, поерзал животом по желтой траве, по сухим листьям, спросил: — Какие еще вопросы?

— Кто командует батареей?

— Кондратьев.

— Это хорошо.

— Что хорошо?

— Кондратьев.

— Вот что,— грубовато и решительно проговорил Гуляев,— хочу предупредить тебя, и без шуток, дорогой мой. Будешь грудью по-дурацки, по-ослиному пули ловить, храбрость показывать — к чертовой бабушке спишу в запасной полк! И баста! Спишу — и баста! Убьют ведь дурака! Что?

— Ясно,— сказал капитан.— Все ясно.

Обветренное, крупное, заметное покатым морщинистым лбом лицо полковника медленно отпускало выражение недовольства, нечто похожее на улыбку слабо тронуло его губы, и он проговорил с грустным весельем:

— Оторванная ветка! Ска-жи-те! Философ, пороть тебя некому!

Лежа на спине, Ермаков по-прежнему задумчиво глядел в холодноватую синеву неба, и Гуляев подумал, что этому молодому здоровому офицеру мало дела до его слов, до откровенного беспокойства, не предусмотренного никаким уставом,— они знали друг друга со Сталинграда. Был полковник одинок, вдов, бездетен, и он точно бы видел в Ермакове свою молодость и многое прощал ему, как это иногда бывает у немало поживших на свете и не совсем счастливых одиноких людей.

Долго лежали молча. Пустой, перепутанный паутиной садик был насквозь пронизан золотистым солнцем. В теплом воздухе планировали листья, бесшумно стукаясь о ветви, цепляясь за паутину на яблонях. В тишину долетало отдаленное гудение танков из леса, тонкое шипение маневрового паровозика на путях, отзвуки жизни.

Сухой лист упал полковнику на плечо. Он медлительно смял его в кулаке, скосил глаза на Ермакова.

— Прорывать оборону будем. Крепкий орешек на правом берегу. Что замолчал?

— Так, думаю. И сам не знаю о чем,— сказал Ермаков.

Со стороны вокзала, приближаясь, послышались голоса, показавшиеся странными здесь,— женские голоса, звучные и будто стеклянные в тихом воздухе полуоблетевшего сада. Полковник Гуляев, неловко повернув обожженную шею, крякнул от боли, недоуменно оглядываясь, спросил:

— Это что же такое?

По тропе, левее вокзала, через сад двигались две женщины, несли огромный сундук, переплетенный веревками. Одна, молодая, босоногая, в выцветшей блузке, небрежно заправленной в юбку, шла изогнувшись, напрягая крепкие икры, другая, постарше, была в мужской телогрейке, в сапогах, смуглое лицо измождено, волосы растрепались, и солнце, бившее сзади, просвечивало их.

— Далеко ли, красавицы? — крикнул Гуляев и, кряхтя, сел, потер колени.

Женщины опустили сундук; молодая выпрямилась, нестеснительно оглядела грузноватую фигуру Гуляева, игриво-дерзким взглядом скользнула по лицу Ермакова и вдруг фыркнула, засмеялась.

— Помогли бы, товарищ полковник, вещи у нас больно тяжелые! Серьезно...

Ермаков спросил с явным интересом:

— А вы что же, недалеко живете? Здешние?

Молодая заулыбалась, выставила грудь, ловкими пальцами поправила косынку над тонкими бровями, а та, что постарше, в телогрейке, потупилась, смугло покраснела. Молодая бойко сказала:

— Мы рядом тут. В лесу село... Одни мы! Просто одни. Помогли бы?..

— Пойдем? — полувопросительно сказал Ермаков.— А, товарищ полковник?

— Да ты что? — свирепым шепотом остановил его Гуляев и протестующе замахал крупной рукой.— Не в форме мы, красавицы, босиком, видите? Наше дело военное, бабоньки, некогда нам! Идите, идите себе!

Немного спустя, когда женщины скрылись в конце сада, полковник, наморщив озабоченно лоб, заторопился, стал натягивать шерстяные носки, говоря:

— Кончено. Поехали. Хватит.

Ермаков шутливо сказал ему:

— А может быть, пойдем? Надо бы помочь.

— Да ты что? — Гуляев, багровея, ожесточенно вбил ногу в узкий сапог, резко одернул на животе китель.— Нечего нам тут. Залежались. Дел по горло!

Косматое нежаркое солнце садилось в леса.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ночь застала их в дороге, холодная, звездная октябрьская ночь. Шумом, движением, людскими голосами была наполнена лесная темнота. Жорка изредка включал фары, и в белом коридоре то мелькала оскаленная, скошенная на свет морда лошади, то заляпанный грязью борт грузовика, то кухня, разбрызгивающая по дороге раскаленные угли, то щит орудия и нахохленные спины ездовых, то непроспанные лица солдат. Все это двигалось, шло, ехало, копошилось, скакало во тьме туда, где за лесами тек Днепр.

— Гаси! Гаси фары, дьявол! — метнулся от подпрыгивающей впереди повозки крик, мимо скользнуло белое лицо ездового, и по борту «виллиса» жестяно хлестнул кнут.

— Надо бы через спину тебя протянуть,— ворчливо пробормотал полковник.— А ну, гаси. И перестань жевать, ну?

Хмуро вобрав голову в плечи, Гуляев смотрел сквозь ветровое стекло на дорогу; Жорка лениво грыз сухарь, одной рукой держал руль, изредка поглядывая вверх, где текло мерцающее холодное небо.

— Вот бродяги! — сказал он и спрятал сухарь в карман.— Гляньте-ка, товарищ полковник, опять фонари развесили.

В небе распускался сумрачный желтый свет: четыре осветительные бомбы, роняя искры, высоко висели над

лесом среди звезд. Они медленно летели, косо и тихо опускаясь. Вверху выступили из темноты, четко прорезались оголенные вершины деревьев. Лес сразу ожил, черные тени кустов поползли, задвигались на дороге, мешаясь с тенями людей, машин, повозок; впереди ожесточенно взревели танки, кто-то зычно подал команду из глубины колонны:

— Сто-ой!

Жорка вопросительно поднял одну бровь; полковник проговорил в воротник:

— Объезжай.

«Виллис» обогнул колонну машин, тесно сгрудившиеся повозки, орудия, понесся впритирку к лесу, ветви захлестали, забили по бортам, упруго подбрасывало на корневищах. Деревья расступились, стало по-дневному светло. Над головой, разгораясь, плыли «фонари». Впереди с громом рванулось двойное пламя, и в лесу ахнуло, загремело, как в пустых коридорах.

— Куда? Куда под бомбы прешь? Не видишь? — закричал кто-то отчаянным голосом, и человеческая фигура метнулась перед радиатором.— Ку-уда?..

— Стоп! — скомандовал Гуляев, вынося вон из машины ногу.

«Виллис» с ходу затормозил, и Ермаков ударился бы о спинку переднего сиденья, если бы не спружинил руками. Полковник вылез, пошел вперед к сумеречно освещенной «фонарями» колонне танков; моторы работали, стреляя резкими выхлопами, танки продвигались толчками к матово отблескивающей воде. Там, в проходе, образованном съехавшими к обочине повозками и кухнями, они с гулом вползали на качающийся понтонный мост.

— Днепр? — спросил Ермаков, наклоняясь к уху Жорки.

— Не-е, рукав... Днепр дальше,— ответил Жорка.— Почуяли, бродяги, все время тут долбят... Во кинул, бродяга! Слышите — поросята завизжали?

Заглушая гул танковых моторов, крики у переправы, ржанье лошадей, новые пронзительные, рвущие воздух звуки возникли в небе. Небо обрушилось; ослепляя, брызнули шипящие кометы, полыхнули огнем в глаза; «виллис» с силой толкнуло назад. Ермаков, испытывая холодно-щекочущее чувство опасности, притупившееся в госпитале, смотрел на разрывы, затем увидел в хаосе

рвущихся вспышек на миг повернутое к нему лицо Жорки, сквозь грохот прорвался его голос:

— Ложи-ись, товарищ капитан! Пикирует!

И Ермаков, возбужденный, со сжавшимся сердцем,— отвык, отвык! — делая размеренные движения, вылез из машины и, чувствуя глупость того, что делает, заставил себя не лечь, а стоять, наблюдая за дорогой.

В ту же минуту металлический нарастающий рев мотора начал давить на уши. С белесого неба стремительно падала на переправу тяжелая тень, оскаливаясь пулеметными вспышками. И он поспешно лег возле машины. Красные короткие молнии, подымая ветер, отвесно неслись вдоль колонны. Упала, забилась в оглоблях, заржала лошадь. «О-ох, о-ох»,— послышалось из леса; что-то зашлепало по мокрому песку вокруг головы Ермакова, и он непроизвольно нащупал и отбросил горячую крупнокалиберную гильзу.

В глубине леса учащенно и запоздало застучали скорострельные зенитные орудия. Трассы вслепую рассыпались в небе, все мимо, мимо тяжелого низкого силуэта самолета. Гул его удалялся. Зенитки смолкли. Угасающие «фонари» опустились к самой воде. И было слышно, как на другой стороне рукава слитно рокотали танки: они переправились во время бомбежки. Ермаков поднялся с земли, разозленный, подавленный тем, что чувство страха оказалось сильнее его, отряхнул сырой налипший на колени песок, подумал: «Разнежился. Конец. Прежняя жизнь начинается».

— Из санроты! Где санрота? Санитары! — донесся крик из колонны, и она зашевелилась, задвигались фигуры меж повозок и машин.

— Жорка! — раздался голос Гуляева.— Все целы?

— Целы, целы. Поехали,— ответил Ермаков преувеличенно спокойно.

«Виллис» снова понесся по дороге к Днепру.

Ермаков смотрел на мелькающие стволы берез, на темную нескончаемую колонну; сырой ветер обливал холодом потную от возбуждения шею, еще не проходило раздражение на самого себя после только что пережитого страха: он не любил себя такого.

Так же, как большинство на войне, Ермаков боялся случайной смерти: смерть в нескольких километрах до фронта всегда казалась ему такой же унизительно глу-

пой, как гибель человека на передовой, вылезшего с расстегнутым ремнем из окопа по своей нужде.

— Началось наше,— сказал Жорка и осторожно захрустел сухарем, включил на мгновение фары. Вспыхнув, они скользнули по борту «студебеккера», осветили маслено заблестевшую пехотную кухню в кустах, толпу солдат с котелками; потом на перекрестке дорог выхватили на стволе сосны деревянную табличку-указатель «Хозяйство Гуляева». Эта стрела показывала влево, другая прямо — «Днепр». Машины, повозки и люди текли туда через лес, где неясный зеленый свет мигал и гас над вершинами деревьев.

Полковник Гуляев сказал:

— Давай в хозяйство.

— Жорка, останови! — громко приказал Ермаков.

— Что такое?

«Виллис» остановился; встречный ветер упал; был слышен буксующий вой «студебеккера», слитный скрип колес, фырканье лошадей, голоса. Ермаков молча спрыгнул на дорогу, потянул из машины планшетку.

— В батарею? — устало спросил Гуляев.— Стало быть, в батарею? Так вот что. Там тебе делать нечего. Н-да! Кондратьев там. Артиллерии в дивизии много. Найдем место. Не торопись. Была бы шея, а хомут...

— Может, в адъютанты возьмете, полковник? — усмехнулся Ермаков.— Или в комендантский взвод?

— А! Некогда мне с тобой антимонии разводить! Некогда! — Гуляев вдруг засопел, со злым раздражением толкнул Жорку локтем.— Поехали! Спишь? Гони, гони! Что смотришь?

Ермакова обдало теплым запахом бензина, махнуло по лицу воздухом, темный силуэт «виллиса» запрыгал в глубине лесной дороги, исчез.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Серии ракет всплывали на правой стороне Днепра; черная вода каскадом загоралась под обрывом дальнего берега. Свет ракет опадал клочьями мертвого огня, и тогда отчетливо стучали крупнокалиберные пулеметы. Трассирующие пули веером летели через все пространство реки, вонзались в мокрый песок острова, тюкали в стволы сосен, вспыхивая синими огоньками. Это были

разрывные пули. Срезанные ветви сыпались на головы солдат, на повозки, на котлы кухонь.

По нескольку раз подряд на правой стороне скрипуче «играли» шестиствольные минометы, низкое небо расцвечивалось огненными хвостами мин. Они рвались с тяжким звоном, засыпая мелкие, зыбкие песчаные окопчики. Немцы били по всему острову — на звук голосов, на случайную вспышку зажигалки, на шум грузовиков,— остров кишел людьми.

Ночью стало холодно, ветрено, сыро. Сосны по-осеннему тягуче гудели, от воды вместе с ветром приносило тошнотворный запах разлагающихся трупов — их прибивало течением.

Но там, возле воды, были и живые люди — постукивал топор, доносились голоса, кто-то ругался грубо, сиплый тенор, не сдерживая душу, костерил кого-то:

— Ты чего цигарки жуешь, а? Ты сколько раз собрался умирать, растяпа! А ну бросай!..

И было видно, как при взлете ракет темные силуэты саперов падали в воду, на песок; прекращался стук топора. Изредка тот же сиплый тенор, поминая бога и мать, звал санитара, и кого-то уносили на плащ-палатке, спотыкаясь в воронках.

А метрах в ста пятидесяти от берега, в воронке от бомбы, прикрытый брезентом, тлел костерок из снарядных ящиков. Было здесь дымно, пахло паром сырых шинелей.

Протянув разомлевшие ноги к жидкому огоньку, вокруг сидело и лежало несколько солдат-артиллеристов. Они молчали, дремотно поглядывали на наводчика Елютина, который, спокойно вытянувшись на снарядных ящиках, тихонько копался перочинным ножом в разобранных ручных часах.

Сержант Кравчук, крепколицый парень лет двадцати пяти, помял над огнем высохшую портянку и со строгим видом, держа ногу на весу, начал обматывать ее. Потом замер, глянул назад.

— Кто это там на голову сел?..— сурово поинтересовался он.— Глаза где?

— Лузанчиков вроде,— сказал телефонист Грачев, разлепляя глаза, и сонно подул в трубку.— Чего там у вас? Танки гудят?..

Кравчук шевельнул плечами, медленно повернулся. Подносчик снарядов Лузанчиков, сжавшись худенькой

фигуркой, привалясь к его спине, спал, охватив колени, тонкие до жалости руки подрагивали в ознобе; по детскому, заострившемуся лицу неспокойно бродили тени — отблески мутного сна. Кравчук угрюмо сказал:

— Беда с мальцами. Просто детские ясли.

— А? — спросил во сне Лузанчиков еле слышным голосом.

Кравчук, подумав, неуверенно приподнялся, потянул из-под себя плащ-палатку и с недовольным видом накинул ее на плечи Лузанчикова. Тот, не открывая глаз, дрожа веками, закутался в нее, беспомощно подобрал ноги калачиком.

— Н-да-а, чуток не захлебнулся,— сказал Кравчук, наматывая портянку.— Плавать не умеет. Намучаешься с ним.

Замковый Деревянко, весь черный, как жук, ехидно крякнул, сделал вспоминающее лицо, и тотчас солдаты повернули к нему головы.

— На Волге до войны катер ходил осводовский. И в рупор без конца орали: «Граждане купающие, по причипе общего утонутия просьба не заплывать на середину реки!» Туточки тебе, Кравчук, в рупор не заорут. Можно быть вумным, как вутка, а плавать, как вутюг! Ты сам за бревно двумя руками держался!

— Хватит молотить! — оборвал его Кравчук.— Смехи всё!

Деревянко вздохнул, сожалеюще заглянул в котелок.

— Какой смех! Второй раз на голодный желудок будем переправляться, не до смеху! Где старшина? Я б его пустым котелком разочков пять по загривку съездил. Аж звон пошел бы. Как на передовую — его нет!

— Ладно, разберемся,— ответил Кравчук, вставая.

В это время Елютин поднял глаза, прислушался и сказал:

— Летят.

Где-то вверху, над брезентом, возник давящий шорох — шу-шу-шшу-у,— перерастая в тяжелый рев, и близкие разрывы сотрясли землю, подкинуло костер, ящики, брезент взметнулся над краем воронки — и сюда, к костру, горячо дохнула, ворвалась ночь. Кравчук опытно пригнулся. Елютин быстро ладонью накрыл часы, словно птицу поймал с молниеносной ловкостью. Деревянко заинтересованно крутил в руках пустой котелок.

Откинув плащ-палатку, Лузанчиков испуганно вскочил, поводя круглыми, непонимающими глазами.

— Бомбят? — растерянно спросил он.— Да?

— Дальнобойная дура щупает,— ответил Кравчук, рванув брезент на воронку.— По квадратам бьет.

В наступившей тишине с тонким свистом над брезентом запоздало пролетел обессиленный осколок, тяжко и мокро шлепнулся в песок.

Тут, шурша ботинками по песку, в воронку скатился огромный солдат, в короткой не по росту шинели, его широкое лицо и незажженная самокрутка в зубах озарились отблесками костра. Он потер озябшие руки, весело, бедово глянул на Елютина, на нахмуренного Кравчука, присел на корточки к огню.

— Греемся, братцы славяне? Дай-ка за пазуху трошки угольков. Тебя, Кравчук, к комбату. И от Шурочки привет!

На щеках Кравчука зацвел смуглый румянец.

— Ты чего развеселился? — с ленивой суровостью спросил он.— Почему с поста ушел, Бобков, что, в деревне на печке?

— Если б на печке с бабешкой, кто бы отказался? Бобков выхватил уголек из огня, перекатывая его на ладони, прикурил, сосредоточенно почмокал губами.

— Старший лейтенант говорит: иди, мол, погрейся, я все равно, мол, дежурю. На снарядах с Шурочкой сидят. Мечтают вроде.

Кравчук сердито откинул брезент и выкарабкался по скату воронки наружу, в холодную тьму.

Ветер шумел, топтался в кронах сосен. Дуло студено с Днепра. Там по-прежнему, распарывая потемки, взмывали ракеты, освещая черную воду и черное небо.

Поеживаясь от холода (у костра разморило), Кравчук поглядел на красные стаи пуль, которые, обгоняя друг друга, неслись к острову, осуждающе послушал гудение машин, скрип повозок по песку, голоса в темноте и зашагал, натыкаясь на корневища.

— Старший лейтенант! — вполголоса позвал он, ничего не видя в плотных потемках осенней ночи.

Впереди кто-то простуженно покашлял, и отозвался мягко картавящий голос:

— Вы, Кравчук?

— Я.

— Подойдите, пожалуйста, сюда. Я послал Скляра искать старшину. Исчез куда-то старшинка. Кухни до сих пор нет.

— Тут ведь стреляют,— насмешливо произнес женский голос.

Кравчук огляделся: на снарядных ящиках, подняв воротник шинели, сутулился старший лейтенант Кондратьев, сбоку, почти сливаясь с ним, сидела батарейный санинструктор Шурочка. Когда же подошел Кравчук, она не отодвинулась от комбата; он сам немного отстранился, простуженно спросил сквозь кашель:

— Как дела, сержант?

— Что же вы к костерку-то не идете, товарищ старший лейтенант? — Кравчук неодобрительно глянул на освещенное ракетой лицо Шурочки, добавил: — Кашляете... А шинель мокрая небось...

— Все обсушились? — отозвался Кондратьев.— Как Лузанчиков?

— Озяб. Опомниться не может.

— Что от Сухоплюева?

— Танки, говорят, там ходят.

— Это мы и отсюда слышим,— по-прежнему насмешливо сказала Шурочка, точно мстя сержанту за его осуждающий взгляд.

— Да, это я отсюда слышу,— повторил Кондратьев задумчиво.— Гудят.

И в это время с правого берега ударили танки. Спаренные разрывы на кромке острова осветили склоненные фигуры саперов. И снова: выстрел — разрыв.

— Вот они... Прямой наводкой,— сказал Кравчук.— В обороне врыты. И зацепился он как зверь. Что ж, опять купаться будем, товарищ старший лейтенант?

Он спросил это без тени улыбки — Кравчук не умел шутить — и долго глядел на правый берег, ожидая, что скажет Кондратьев. Тот молчал, молчала и Шурочка, и, понимая это молчание по-своему, Кравчук подумал, что до его прихода был между ними иной разговор. Он осуждал командира батареи, но с особенной неприязнью судил он вызывающую эту Шурочку, которая открыто льнула к Кондратьеву. Он осуждал ее ревниво и хмуро, потому что хорошо знал о прежних отношениях ее и капитана Ермакова. Сержант недолюбливал Кондратьева за его странную манеру отдавать приказания: «прошу вас», «не забудьте», «спасибо» — и порой с чувством

неудовольствия и удивления вспоминал те времена, когда капитан Ермаков перед всей батареей называл старшего лейтенанта умницей.

После того как капитан Ермаков отбыл в госпиталь и место его занял командир первого взвода Кондратьев, санинструктор Шурочка стала властно, на виду всей батареи, брать его в руки, командовать им, и Кравчука оскорбляло это бабье вмешательство. До этого он пытался ее защищать: тонкая, с высокой грудью, в ладной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках, она вызывала в нем трудную тоску по женской ласке, но когда теперь Деревянко едко говорил, что она из тех, кто вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом, Кравчук не останавливал его, как прежде.

— Так как же, товарищ старший лейтенант? — переспросил Кравчук, в темноте чувствуя на себе взгляд Шурочки.— Снова купаться будем?

Помолчав, Кондратьев ответил тихо:

— Вряд ли все переправимся нынче ночью. Только что я разговаривал с саперным капитаном. Ругается на чем свет стоит — восемь человек у него за два часа выкосило. Пойдемте. Посмотрим, как там...

Он встал, и Кравчук увидел в мерцании ракет его сутуловатую фигуру в мешковатой шинели с нелепо торчащим воротником.

«Экий слабак, искупался в Днепре — простуду схватил»,— неодобрительно подумал никогда в жизни не болевший Кравчук. Шурочка тоже поднялась, гибко, бесшумно, только сапожки скрипнули. Сказала властно:

— Старший лейтенант Кондратьев!

— Что, Шурочка?

— С вашим бронхитом не советую лазить в воду. Вам у костра погреться надо. Портянки просушить. Шинель. Выпить водки с аспирином.

— Что же делать, Шурочка? — виновато ответил Кондратьев.— Старшины нет. Водки нет.

«Что ты, умная такая, раньше обо всем этом молчала?» — сообразил Кравчук и со злостью сказал:

— На войне нет бронхита.

Кондратьев смущенно проговорил:

— Да, да, конечно. Идемте, Кравчук.

— Что же, пойдем! — твердо сказала Шурочка, будто Кондратьев обращался к ней. И пока шли впотьмах меж

сосен, пока шагали по острову к берегу, Кравчук неотступно слышал позади тонкий, решительный скрип песка под Шурочкиными сапогами, думал: «Экая сатана-бабенка, ничего не боится, закрутит Кондратьеву голову. И кто это выдумал женщин на войне держать! Одна беда, неразбериха, тоска от них».

Они задержались на берегу, в сырой тьме, пронизываемые ветром. С явным недоверием прислушались к короткому затишью на той стороне — странно молчали пулеметы в непроницаемо сгустившейся ночи, оттуда, из темноты, веяло сладковатой гнильцой трупов.

— Вот, — прошептал Кравчук. — Притихли...

— Ужин,— ответил Кондратьев, сдерживая кашель.— Немцы пунктуальны...

Потом донесся спешащий стук топора, голоса вблизи воды, отрывистые команды: «Шевелись! По-быстрому!» Там, внизу, ползали саперы вокруг сколачиваемого парома, и Кондратьев окликнул:

— Капитан, капитан!

— Кто там? Эй! Кто там? — отозвался из потемок прокуренный начальственный баритон.— Давай сюда!

Кондратьев не успел ответить. Над Днепром с шипеньем повисли гроздья ракет, заработали пулеметы, смешались зеленые и белые светы в небе, смешались трассы, конусом несясь к парому, и весь берег, фигурки саперов озарились, проступили из ночи, как на желтом листе бумаги. Гулко сдваивая, ударили танки. Слева возник широкий дымящийся синий столб, скользнул по берегу и уперся в какую-то лодчонку, подле которой мигом рассыпались люди.

— Ложись!

Они упали на мокрый песок, в свежую щепу у самого парома, над головой взвизгивали трассирующие пули.

— Разрывные, — пояснил Кравчук и увидел: к лежавшему впереди Кондратьеву подползает от парома человек в офицерской фуражке.

— Кто такие? — спросил, преодолевая одышку, начальственный баритон.

— Как дела с паромом? — ответил Кондратьев.

— А вы не видите? Ей-богу! Ходите, демаскируете. Людей у меня косит. Дайте солдат. Человек пять-шесть. Пришлите людей... И дуйте отсюда.

— Сколько нужно людей?

— Десять человек.

— Много просите,— мягко возразил Кондратьев, и Кравчук, услышав, подумал облегченно: «Вроде правильно...»

— Давай, давай отсюда, артиллеристы... Видишь, прожектора появились... Давай! Не демаскируй!

Они ползком выбрались из района саперов и молча двинулись в глубь острова. Кондратьев покашливал. Шурочка шла рядом с ним. Кравчук спросил:

— Кого пошлем?

— Подумаем,— невнятно ответил Кондратьев.

Впереди послышалось фырканье лошади, легкий металлический звук; под деревьями, низко над землей, затлели угольки, дохнуло теплым запахом подгоревшей пшенной каши.

— Кто идет? — раздался неподалеку полувеселый окрик.

— Это вы, Скляр? — спросил Кондратьев.— Что, нашли старшину?

— Товарищ старший лейтенант, вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Вы не поверите своим ушам! — торопясь, оживленно заговорил невидимый в темноте Скляр.— Вы не поверите своим ушам, кого я привез от старшины! Он был у старшины...

— Что, что? — не понял Кондратьев.— О чем вы?

— Я вам не скажу, вы сами посмотрите! — восторженно воскликнул Скляр.— Это почти военная тайна...

Кравчуку не понравился такой вольный оборот речи.

— Что такое? — грозно повысил голос Кравчук.— Почему так со старшим лейтенантом?

— Я извиняюсь! Товарищ старший лейтенант... товарищ сержант, вы не поверите своим ушам! Вы сами посмотрите,— произнес Скляр секретным шепотом.— Там, в воронке!..

Они подошли к бомбовой воронке: снизу доносился говор. Кондратьев откинул брезент, и все трое соскользнули вниз, к костру, в дым, в тепло, в запах парных шинелей.

Возле огня в окружении солдат и потного растерянного старшины Цыгичко сидел на ящике капитан Ермаков, свежевыбритый, веселый, в расстегнутой на груди шинели, ел из котелка горячую кашу, дул на ложку, глядя на вошедших темными улыбающимися глазами. И обрадованный Кравчук мгновенно успел заметить, как Шурочка прикусила белыми зубами губу, как золотая пуговка на

высокой ее груди всколыхнулась, как у Кондратьева стало беззащитным лицо.

— Сережка!..— воскликнул Ермаков, швырнул со звоном ложку в котелок и, оттолкнув умиленно заморгавшего старшину, встал навстречу — Здравствуй, Сережка! Здравствуй, Шура! Здорово, брат Кравчук!

Он сильно обнял Кондратьева, потом Кравчука, шутливо обнял и Шуру, звонко поцеловал ее в щеку и засмеялся.

— А ну-ка садись все! Старшина, котелки да горячую кашу! Да пожирней у меня! Мигом!

— Слушаюсь, товарищ капитан!

Старшина Цыгичко, пожилой человек с острым хрящеватым носом и пухлым откормленным лицом не вылез — выпорхнул из-под брезента, струйка песка зашуршала, скатываясь к сапогам Шурочки, а Кондратьев опустился на угол ящика, проговорил взволнованно:

— Неожиданно ты. Из госпиталя? А я вот за тебя командую...

— Очень рад,— сказал Ермаков.— Слушай, по дороге узнал, что у тебя четыре орудия на той стороне, а здесь ребята рассказали, что только два... Значит, половины батареи нет? Объясни, пожалуйста.

Кондратьев вздохнул, положил руки на колени и сконфуженно стал говорить, что только два орудия удалось переправить на правый берег: одно прямым попаданием разбило на пароме, на середине Днепра, плоты затонули; четвертое орудие еще не вернулось из армейских мастерских, оно там второй день; вчера убило лейтенанта Григорьева, ранило сержанта Соляника, наводчика Дерябина, остальные добрались сюда вплавь, с ранеными. Это было прошлой ночью...

Ермаков ковырнул ложкой дымящуюся кашу, бросил ложку в котелок.

— Значит, фактически батареи нет?

— Да, я сейчас от саперов. Просят людей. Бесконечные потери у них.

— Сколько же они просят людей?

Кондратьев закашлялся, отвел лицо, смущенно стряхивая слезы, выдавленные бухающим, простудным кашлем.

— Шесть человек.

По острову пронеслись скачущие разрывы — вдоль берега, ближе, ближе,— брезент упруго вогнулся. Все сидевшие в воронке напряженно начали есть никто не глядел

на Ермакова, на Кондратьева, все ожидали: шесть человек, — значит, идти сейчас от этого костра туда, под огонь, в холодную воду, чтобы выполнять чужую работу саперов.

— На чужой шее хотят в рай съездить,— сказал Деревянко безразлично.

Лузанчиков, закутавшись в кравчуковскую плащ-палатку, блестя глазами, придвинулся к костру, Елютин с недоверчивым видом поскреб пустой котелок, перевернул его, на дно невозмутимо положил часы. И придержал их рукой, потому что часы, позванивая, заплясали от взрывов. Бобков преспокойно вытирал соломой ложку, посматривал на хмурого Кравчука, из-за спины его вопросительно выглядывал телефонист.

Разрывы скакали по острову. Один из них тяжко встряхнул воздух над брезентом.

Тогда в воронку, расплескивая на добротную офицерскую шинель кашу из котелков, шумно вкатился на ягодицах старшина Цыгичко, фальшиво посмеиваясь, сообщил:

— Як саданет коло кухни, чтобы его дьявол! Коней начисто побьет! А прожектором по берегу... Да пулеметы... Чешет, як сатана!

Он возбужденно раздувал хрящеватый нос, ставя котелки, и почему-то искательно улыбнулся Шурочке. А она, напряженно следя за колебанием костра, проговорила с насмешливой дерзостью:

— Все снаряды рвутся около кухни. Давно известно! Стреляют у нас, а снаряды рвутся у вас.

Но в это мгновение никто не поддержал ее. Старшина осторожно вздохнул через ноздри, отошел в тень, аккуратно соскребывая щепочкой кашу на шинели.

— Шесть человек? — переспросил Ермаков и посмотрел на Кондратьева почти нежно.— Ни одного человека. Куда, к черту, вы годны сейчас? Наворачивайте кашу.

— Я обещал саперам,— возразил Кондратьев, от волнения картавя сильнее обычного, и наклонился к огню, стиснув на коленях худые руки.— Видел, что происходит на острове? Саперы просто не успевают...

Ермаков носком сапога толкнул дощечку в костер, отчего зазвенела начищенная шпора, громко позвал:

— Старшина! — И когда Цыгичко со сладким ожиданием оборотил к нему сытое лицо свое, спокойно спросил: — Сколько раз за мое отсутствие опаздывали в батарею с кухней?

— Товарищ капитан!.. Як же можно?

— Полагаю, не меньше шести раз. Таким образом: отберите пять человек ездовых, вы — шестой. И в распоряжение саперов. Повара Караяна оставьте за себя. Все.

В быстрых, ищущих опору пальцах старшины сломалась щепочка, которой он чистил шинель, выбритые щеки задрожали.

— Товарищ капитан...

Ермаков внимательно оглядел его с ног до головы, спросил тоном некоторого беспокойства:

— Много ли у вас еще годных шинелей в обозе, Цыгичко?

— Нету, товарищ капитан... Як же можно?..

— На самогон меняете? Или на сало? У вас было двенадцать шинелей в запасе.— Ермаков бесцеремонно повернул мгновенно вспотевшего старшину на свет, опять осмотрел его.— Что ж, прекрасная офицерская шинель. Отлично сшита. Снимайте, она вам мала. Вы растолстели, Цыгичко. У вас не фронтовой вид.— И обернулся к Кондратьеву: — Снимите-ка свою шинель. И поменяйтесь. Как вы раньше не догадались, Цыгичко? Люди ходят в мокрых шинелях, а вы и ухом не шевельнете.

Цыгичко задвигался, не сразу находя пуговицы, начал торопливо расстегивать шинель, а Кондратьев, с красными пятнами на щеках, невнятно проговорил:

— Не стоит... Не надо это... Зачем?

Пальцы Цыгичко замедлили скольжение по пуговицам. Заметив это, Ермаков чуточку поднял голос:

— Снять шинель!

Старшина, суетливо ежась, как голый в бане, снял шинель, отстегнул погоны, и Кондратьев неловко накинул ее на влажную гимнастерку.

— Марш! — сказал Ермаков старшине.— И через десять минут с людьми к саперам. Думаю, ясно.— Он улыбнулся молчавшей Шурочке.— Пошли!

«Хозяин приехал»,— удовлетворенно подумал строго наблюдавший все это сержант Кравчук.

И понимающе посмотрел в спину Шурочке, которая вслед за Ермаковым покорно выбиралась из воронки.

— Ты ждала меня, Шура?

— Я? Да, наверно, ждала.

— Почему говоришь так холодно?

— А ты? Неужели тебе женщин не хватало там, в госпитале? Красивый, ордена... Там любят фронтовиков... Ну, что же ты молчишь? Так сразу и замолчал...

— Шура! Я очень скучал...

— Скуча-ал? Ну кто я тебе? Полевая походная жена... Любовница. На срок войны...

— Ты обо всем этом подумала, когда меня не было здесь?

— А ты там целовал других женщин и не думал, конечно, об этом. Ах, ты соскучился? Ты так соскучился, что даже письмеца ни одного не прислал?

— Госпиталь перебрасывали с места на место. Адрес менялся. Ты сама знаешь.

— Я знаю, что тебе нужно от меня...

— Замолчи, Шура!

— Вот видишь, «замолчи»! Что ж, я ведь тоже солдат. Слушаюсь.

— Прости.

Он сказал это и услышал, как Шура ненужно засмеялась. Они остановились шагах в тридцати от воронки. Ветер, колыхая во тьме голоса все прибывавших на остров солдат, порой приносил струю тошнотворного запаха разлагающихся убитых лошадей, с сухим шорохом ворошил листьями. Они сыпались, отрываясь от мотающихся на ветру ветвей, цеплялись за шинель,— по острову вольно гулял октябрь. Впотьмах смутно белело Шурино лицо, угадывались тонкие полоски бровей, но ему был неприятен этот ее ненужный смех, ее вызывающий, горечью зазвеневший голос. Ермаков сказал:

— Что случилось, Шура?

Он притянул ее за несгибавшуюся спину, нашел холодные губы, с жадной нежностью, до боли, почувствовав свежую скользкость ее зубов. Она отвечала ему слабым, равнодушным движением губ, тогда он легонько, раздраженно оттолкнул ее от себя.

— Ты забыла меня? — И, помолчав, повторил: — Забыла?

Она оставалась недвижной.

— Нет...

— Что «нет»?

— Нет,— сказала она упрямо, и странный звук, похожий на сдавленный глоток, вырвался из ее горла.

— Шура! В чем дело? — Он взял ее за плечи, несильно тряхнул.

Она все молчала. Справа, метрах в пятнадцати, ломясь через кусты и переговариваясь, прошла группа солдат к Днепру, один сказал: «К утру успеть бы...»

Нетерпеливо переждав, он опять обнял ее, приблизил ее лицо к своему, увидел, как темные полоски бровей горько, бессильно вздрогнули, и, откинув голову, кусая губы, она беззвучно, прерывисто, стараясь сдерживаться, заплакала. Она словно рыдала в себя, без слез.

— Ну что, что? — с жалостью спросил он, прижимая ее, вздрагивающую, к себе.

— Тебя убьют,— выдавила она.— Убьют. Такого...

— Что? — Он засмеялся.— Прекрати слезы! Глупо, черт возьми! Что за панихида?

Он нашел ее рот, а она резко отклонила голову, вырвалась и, отступая от него, прислонилась спиной к сосне; оттуда сказала злым голосом:

— Не надо. Не хочу. Ничего не надо. Мы с тобой четыре месяца. Фронтовая любовница с ребенком?.. Не хочу! И меня могут убить с ребенком...

— Какой ребенок?

— Он может быть.

— Он, может быть, есть? — тихо спросил Ермаков, подходя к ней.— Что уж там «может быть»! Есть?

— Нет,— ответила она и медленно покачала головой.— Нет. И не будет. От тебя не будет.

— А я бы хотел.— Он улыбнулся.— Интересно, какая ты мать. И жена... Ну, хватит слез. В госпитале я тебе не изменял. Умирать не собираюсь. Еще тебя недоцеловал. Поцелуй меня.

Шура стояла, прислонясь затылком к сосне.

— Ну, поцелуй же, — настойчиво попросил он. — Я очень соскучился. Вот так обними (он положил ее безжизненные руки к себе на плечи), прижмись и поцелуй!

— Приказываешь? Да? — безразличным голосом спросила она, пытаясь освободить руки, однако он, не отпуская, уверенно обвил их вокруг своей шеи.

— Глупости, Шура! Ведь я еще не командир батареи. Пока Кондратьев.

— А уже всем приказывал! Как ты любишь командовать!

— Все же это моя батарея. Честное слово, укокошит ни с того ни с сего, как ты напророчила, и не придется целовать тебя...

Шура со всхлипом вздохнула, вдруг тихо подалась к нему, слабо придавилась грудью к его груди, подняла лицо.

Он крепко обнял ее, ставшую привычно податливой.

«Опять, все опять началось»,— подумала Шура с тоской, когда они шли к батарее.

Ермаков говорил ей устало:

— Я рвался сюда. К тебе. Неужели не веришь?

«Нет, я не верю,— думала Шура,— но я виновата, виновата сама... Ему нужно оправдывать ненужную эту любовь, в которую он тоже не верит... Все временно, все ненадежно... Он рвался сюда? Нет, не я тянула его. Он относится ко мне как вообще к любой женщине, ни разу не сказал серьезно, что любит. Только однажды сказал, что самое лучшее, что создала природа,— это женщина... мать... жена... Жена!.. Полевая, походная... А если ребенок? Здесь ребенок?»

Злые, внезапные слезы подступили к ее горлу, сдавили дыхание.

А он в это время, сильно прижимая ее плечо к своему, спросил обеспокоенно:

— Ну, почему молчишь?

Тогда она ответила, сглотнув слезы:

— В батарею пришли.

В отдаленном огне ракет возникли темневшие между деревьями снарядные ящики. Силуэт часового не пошевелился, когда под ногами Бориса и Шуры зашуршали листья.

— Там, у ящиков! Часовой! — окликнул Ермаков.— Заснули? Унесут в мешке к чертовой матери за Днепр!

Круглая фигура часового затопталась, задвигалась, и тут же ответил обнадеживающий голос Скляра:

— Я не сплю, нет. Я слушаю, как ветер свистит в кончике моего штыка. Все в порядке.

— Так уж все в порядке? — сказал Ермаков, поглядев на скользящий по кромке берега голубой луч прожектора.— Немцы жизни не дают, а ты — «в порядке»...

— Так точно. Вчера искупали. Нас и пехоту. А пехота вся на этот берег — назад. Как мухи на воду. Все обратно, на остров... А если опять искупают?

— Позови Кондратьева,— приказал Ермаков.

— А он старшину с ездовыми к саперам повел.

— Узнаю интеллигента. Не мог послать Кравчука,— насмешливо сказал Ермаков.— Пошли, Шура, к ним.

— Куда? — Шура стояла, опустив подбородок в воротник шинели.

— К саперам.

— Не надо этого. Не надо! — неожиданно страстно попросила она.— Зачем тебе?

Он посмотрел на нее удивленно. Никогда раньше она не вмешивалась в его дела; просто он не допустил бы, чтобы она как-то влияла на его поступки. Но почему-то сейчас, после близости с ней, после ее приглушенных слез, к которым он не привык, которые были неприятны ему, он не мог рассердиться на нее. И он ответил полушутливо, не заботясь, что подумает об этом Скляр:

— Война тем война, что везде стреляют. Значит, ты не разлюбила меня, Шура? — Нагнулся, отцепил шпоры, небрежно кинул их на снарядный ящик.— Спрячь, Скляр.

— Это уж верно, демаскируют,— согласился Скляр.— Ни к чему. А мне как, товарищ капитан? К вам опять в ординарцы? Или как?

С дороги, гудевшей сквозь ветер отдаленным движением, голосами, внезапно вспыхнули, приближаясь, покачиваясь на стволах сосен, полосы света.

Скляр сорвался с места, суматошно крича:

— Стой! Гаси свет! Куда прешь? Не видишь — батарея? Гаси фары, говорят!

Фары погасли.

— А мне батарею и не нужно, не голоси, ради бога! Вконец испугал, колени трясутся. Мне капитана Ермакова.

Низкий «виллис», врезаясь в кусты, затормозил, и по невозмутимому голосу, затем по легким шагам Ермаков узнал Витьковского.

— Ты? Что привез?

— Я,— ответил Жорка, весь приятно пропахший бензином, и что-то сунул в руку капитана.— Скушайте галетку. Великолепная, немецкая. Вас срочно в штаб дивизии. Иверзев вызывает...

— Иверзев?

— Ага.— Жорка потянул Ермакова за рукав, дыша мятной галеткой, зашептал: — Тут вроде форсировать не будут. Что-то затевается. Вроде Володи. Вас — срочно. Скушайте галетку-то...

— Галетку? — задумчиво спросил Ермаков.— А много у тебя этих галеток?

Жорка обрадованно ответил:

— Да полмешка, должно. В машине с запчастями вожу. Чтоб полковник не заметил. Он что увидит — р-раз! — и за борт. И чертей на голову. В Сумах на немецких складах взял.

— Давай сюда, аристократ. Выкладывай мешок на ящики. Скляр, отнеси ребятам конфискованное...

Он подошел к Шуре, пристально взглянул в белеющее лицо и не увидел, а угадал затаенную не то тревогу, не то радость по выгнутым ее бровям.

— Что? — спросила она шепотом.

— Еду. Передай Кондратьеву. И пусть не щеголяет интеллигентностью.— И чересчур поспешно, холодно поцеловал, едва прикоснулся к губам ее. Она чувствовала тающий холодок его поцелуя и ревниво и мстительно говорила самой себе: «Уже не нужна ему. Нет, не нужна».

А он, садясь в «виллис», спросил:

— Может, со мной поедешь?

— Нет, Борис. Нет...

— Ограбили! — сказал Жорка и засмеялся.

«Виллис» тронулся, затрещали кусты. Шура, опершись рукой о снарядный ящик, смотрела в потемки, где трассирующей пулей стремительно уносился рубиновый огонек машины, и с тоскливой горечью думала: «Ограбили. Это он обо мне сказал».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В этом маленьком селе тылы дивизии смешались с полковыми тылами,— все было забито штабными машинами, санитарными и хозяйственными повозками, дымящими кухнями, распространявшими в осеннем воздухе запах теплого варева, заседланными лошадьми полковой разведки, дивизионных связных и ординарцев. Все это в три часа ночи не спало и жило особой, лихорадочно возбужденной жизнью, какая бывает обычно во время внезапно прекратившегося наступления.

Круто объезжая тяжелые тягачи, прицепленные к ним орудия, темные, замаскированные еловыми ветвями танки, Жорка вывел наконец машину на середину улицы, повернул в заросший наглухо переулок. «Виллис» вкатил под деревья, как в шалаш; сквозь ветви уютно светились

красные щели ставен. Жорка, соскакивая на дорогу, сказал:

— Полковник сперва к себе велел завезти. Свои, свои в доску! — отозвался он весело на оклик часового у крыльца.— Чего голосишь — людей пугаешь?

Ермаков взбежал по ступеням и, разминая ноги, вошел в первую половину хаты, прищурился после тьмы. Пахнýло каленым запахом семечек, хлебом. На столе в полный огонь горела трехлинейная керосиновая лампа с вычищенным стеклом, освещая аккуратно выбеленную комнату, просторную печь, вышитые рушники под тускло теплившимися образами в углу. Сияя изумленной радостью, от стола услужливо привскочил, оправляя гимнастерку, полковой писарь, и начищенная до серебристого мерцания медаль «За боевые заслуги» мотнулась на его груди.

— Товарищ капитан! Здравия желаю! — взволнованной хрипотцой пропел он, вытянулся, а правую, измазанную чернилами ладошку суетливо вытер о бок.— Из госпиталя? К нам?

— Привет, Вася! Жив? — ответил Ермаков и не без интереса заметил возле печи незнакомого солдата, который позевывал и с задумчивым видом поигрывал новеньким парабеллумом. Крепко сбитый в плечах, был он в офицерских яловых сапогах, в суконной гимнастерке, на ремне лакированно блестела расстегнутая немецкая кобура.

— Разведчик? — спросил Ермаков, слыша приглушенные голоса из другой половины. — «Языков» привели?

— Точно.— Солдат подбросил парабеллум, втолкнул его в кобуру на левом бедре: так носили пистолеты немцы.

— Полковник с ними разговаривает,— таинственно шепнул Вася.— Долго они чего-то...

Ермаков вошел в тот момент, когда полковник Гуляев, очевидно, заканчивал допрос пленных. Он сидел за столом, утомленный, грузный, со вспухшей шеей, заклеенной латками пластыря, повернувшись всем телом к узколицему лейтенанту-переводчику с косыми щеголеватыми бачками. Увидев на пороге Ермакова, оборвал речь на полуслове, в усталых глазах толкнулось беспокойство, сказал:

— Садись, капитан.

При виде незнакомого офицера высокий, в коротенькой куртке немец вскочил, разогнувшись пружиной, по-уставному вскинул юношеский, раздвоенный ямочкой подбородок. Другой немец не пошевелился на табурете; уже лысеющий со лба, сухонький, желтый, будто личинка, он, чудилось, ссутулясь, дремал; его ноги были толсто забинтованы, напоминая тряпичные куклы.

На столе с гудением ярко горели две артиллерийские гильзы, заправленные бензином.

Ермаков присел на подоконник, и высокий молодой немец тотчас же сел, задвигался на табурете, нервно пригладил рукой волосы, вопросительно озираясь на Ермакова.

— Сегодня взяли,— сказал полковник вполголоса.— Пулеметчики. Вот этот щупленький, раненый, когда брали, хотел себя прикончить. Ефрейтор... между прочим, рабочий типографии. Киндер, киндер, трое киндер у него. А этот молодой — слабак.

— Ja, ja [1],— с улыбкой, предупреждающе постучал себя в грудь молодой и показал палец, давая понять, что у него тоже есть ребенок, а лысеющий сутулый слепо посмотрел на его палец и равнодушно пожевал губами.

— Время идет,— недовольно сказал полковник переводчику. — Спросите этого еще раз... Где у них резервы? Расспросите подробнее. На что рассчитывают?.. Молодого не спрашивай, этот что угодно наплетет... щупленького...

Переводчик торопливо и отчетливо заговорил, обращаясь к щупленькому; немец неподвижно, как слепой, посмотрел ему в губы, приподнял одну ногу-куколку, переставил ее и начал отвечать замедленно, ровным, въедающимся голосом. Переводчик забегал карандашом по бумаге, упредительно наклонился к Гуляеву:

— Оборона вглубь на несколько километров. В несколько эшелонов. На флангах танки. Артиллерия. Это Восточный вал. Он закрывает путь к Днепру. Все офицеры и солдаты это знают. Приказ по армиям — ни шагу назад. За отступление — расстрел. Здесь люфтваффе. Они закончат здесь победоносную войну. Разобьют русские армии и перейдут в наступление. Днепр — это перелом войны. До Днепра немецкая армия отступала. Это был тактический ход. Сохранить силы... Причем здесь па-

---

[1] Да, да. (Здесь и далее переводы с немецкого языка.— *Ред.*)

ходятся и эсэсовские части. Они стреляют до последнего патрона. Потому что мы их не пощадим. Как, впрочем, не пощадим и немцев пленных. Мы им устроим телефон...

— Скажи на милость,— произнес Гуляев, рассеянно барабаня пальцами по столу.— Ни шагу назад. А спросика его, что такое телефон?

Опять ровный въедающийся голос, и опять карандаш переводчика забегал по бумаге.

— Им двоим, ему и вот этому молодому дураку, распорют животы, размотают кишки и свяжут их узлом. За то, что они зверствовали на Украине. Но это пропаганда. Война не идет без жестокости. Это знает русский полковник.

Когда переводчик договорил, щупленький снова переставил свою ногу-куколку, а лицо молодого окаменело, розовые губы растерянно-жалко растянулись, лоб и круглый подбородок покрылись испариной. Ермаков усмехнулся; полковник Гуляев сильнее забарабанил по столу, пристально из-под припухлых век разглядывая щупленького.

— Скажи ему,— строго произнес полковник,— что этот телефон устраивали эсэсовцы русским пленным под Гомелем. Кавардак у него в башке! И потом скажи ему... Как же так... он, рабочий, пролетарий... со спокойной душой воюет против русских рабочих... Знает он, что такое международный пролетариат? А? Спроси его... Как оправдывает он себя, что как самый закоренелый эсэсовец воюет?.. Ведь он все же рабочий?

Переводчик глубокомысленно собрал кожу на лбу и, так же как полковник, отчетливым, строгим голосом заговорил с щупленьким. Глаза немца, глаза больной птицы, подернутые пленкой равнодушия, неизбывной усталости, на миг вроде очистились, пропустили в себя смысл заданного вопроса, он ответил необычно быстро, почти брезгливо. И переводчик не совсем уверенно перевел:

— Когда после Версальского мира Германия голодала, международный пролетариат не помог ей. Германии нужен был хлеб, а не слова.

— Хватит! Достаточно!

Гуляев поднялся, и, как бы все уяснив, вскочил молодой немец, выставил круглый подбородок, вытянулся, замирая; тогда щупленький, как по команде, вздернув свою маленькую лысеющую голову, коротко и зло сказал что-то сквозь зубы этому молодому.

— Что он? — нахмурился Гуляев.

— Он сказал: спокойно, кошачье дерьмо, ты солдат! — неохотно ответил переводчик.

— Легостаев! Увезти. В штаб дивизии! — крикнул Гуляев.

Вошел разведчик мягкой походкой, поправил на левом боку кобуру парабеллума.

В ту же минуту молодой немец покорно стал на колени перед щупленьким, нагнул крепкую шею, бережно, словно ощупывая, где не больно, взял ефрейтора за талию и легко посадил его к себе на плечи, ноги-куколки повисли на его груди. Раненый немец передернулся от боли, сжал рот, но ни одного звука не издал.

— Давай,— сказал Легостаев, раскрыв дверь.

Пригибаясь, чтобы ефрейтор не задел за притолоку, молодой немец вынес его из комнаты, и Легостаев закрыл за ними дверь. Стало тихо. В раздумье Гуляев медленно складывал лежащую на столе карту.

— Что скажешь, капитан? Матерые сидят против нас? Шапками не закидаешь! На «ура» не возьмешь! А?

— Интереснейший тип этот ефрейтор,— проговорил Ермаков.

— Вы скажете, товарищ капитан,— робко возразил переводчик, опустив глаза.— Это убежденный гитлеровец. Что же в нем интересного? Странно...

Ермаков презрительно смерил переводчика взглядом.

— А я и не надеялся увидеть в этом ефрейторе сторонника русских.

— Прекратите бесполезные разговоры! — прервал Гуляев, рывком надевая шинель.— Вы свободны, лейтенант. Капитан Ермаков, останьтесь. Тебя вызвал не я,— сказал он, когда переводчик вышел.— Тебя вызывают в штаб дивизии.

— Зачем?

Гуляев отвел глаза, озабоченно ответил:

— Некогда. Пошли... Иверзев не простит опоздания.

В одной из нескольких хат, где размещался штаб дивизии, светло, чисто, подметено и среди сидевших вдоль стен офицеров та подчеркнутая и почтительная тишина, которая в военной среде всегда означает, что рядом присутствует высшее начальство: здесь педантично выбритые адъютанты и офицеры штаба двигались бесшумно,

тут привыкли говорить негромкими голосами, команды не повторялись два раза — здесь мозг дивизии. До последнего ранения Ермакову приходилось бывать в штабе дивизии при прежнем генерале Остроухове, и каждый раз, уезжая в батарею из этой полутишины, напоминавшей мудрое спокойствие забытых московских читален, он увозил с собой тягостное чувство неудовлетворенности, словно кто-то напоминал ему, что война — это не его профессия, что звание капитана, ордена, так легко доставшиеся ему, все чужое, и, может быть, он отдал бы это все за одну лекцию по высшей математике. Испытывал он это чувство потому, что давно и легко свыкся с офицерской формой, казалось порой, что воевал целую жизнь, а молва о нем как о смелом до дерзости офицере оставляла ему возможность относительной свободы: не тянуться в тылах, подчеркивая уважение к звездочкам, перед штабными офицерами, что очень не нравилось щепетильно-осмотрительному в вопросах субординации полковнику Гуляеву, говорить открыто, смеяться тогда, когда хотелось смеяться, то есть вести себя так, как может вести офицер, знающий себе цену и привыкший к откровенности отношений на передовых позициях.

Когда Ермаков вместе с полковником Гуляевым вошел в наполненную офицерами комнату, все, видимо, были в сборе, многие приветливо закивали Борису, и он увидел знакомых командиров стрелковых батальонов, усталых, плохо выбритых, в несвежих гимнастерках, и ответно подмигнул, улыбнулся им, но тотчас сделал притворно официальное лицо, заслышав густой, уважительно пониженный голос Гуляева, докладывающего полковнику Иверзеву о прибытии. Гуляев сделал шаг в сторону, двумя руками одернул китель на выступавшем животе, насупился, кашлянул в ладонь, сел к столу, где в зыбком папиросном дыму белели лица. Соблюдая субординацию, Ермаков должен был докладывать за полковником, однако не успел. Командир дивизии Иверзев, румяный, светловолосый, с синими холодными глазами, одетый в безупречно сшитый стального цвета китель, твердо сказал сочным голосом:

— Опаздываете, капитан Ермаков! Причины?

— Я только что с Днепра, товарищ полковник,— ответил Ермаков, уловив предупреждающий взгляд Гуляева.

— Надо успевать, капитан! Успевать! Садитесь!

С Иверзевым он встречался впервые; был тот прислан в его отсутствие, кажется, из запасного офицерского полка на замену старого, неторопливого генерала Остроухова, чрезвычайно осторожного в принимаемых решениях. За столом Ермаков увидел заместителя командира дивизии по политчасти полковника Алексеева. Тот сидел, трогая высокий лоб, гладко зачесанные назад редкие волосы; худое интеллигентное лицо было свежо, словно недавно умыто, умные глаза мягко и знакомо щурились. Ермаков кивнул замполиту, и сейчас же подполковник Савельев, начальник штаба дивизии, человек тихий, больной сердцем, вынул из зубов незажженную трубку и тоже закивал седеющей головой, явно обрадованный его прибытием.

По всем этим знакам внимания Ермаков мгновенно понял, что в штабе был разговор о нем, и тут же прочно убедился в этом, услышав сбоку шепот:

— Приветствую, капитан! Как говорят, с корабля на бал?

Это был Максимов, командир стрелкового батальона, офицер средних лет; добродушный, ласковый взгляд из-под золотистых ресниц светился девичьей озорной улыбкой; она весело брызгала и с его щек, всегда вызывая ответную улыбку.

— Похоже,— ответил Ермаков.— А что?

Максимов положил ему руку на колено, показывая бровями на Иверзева, сказал шепотом:

— Потом, потом...

— Прошу внимания!

Полковник Иверзев, высокий, плотный, ясно глядел перед собой; толстый карандаш был зажат в его маленьком крепком кулаке, кулак без стука опустился на карту, невольно привлекая к себе внимание офицеров. И Ермаков, вспомнив мягкую руку старика Остроухова, почему-то подумал, что кулачок этот беспощаден, властолюбив, неподатлив... Иверзев заговорил:

— Товарищи офицеры! Позавчера два передовых батальона полковника Гуляева подошли к Днепру, пытались форсировать его... Все это, как вам известно, решающих результативных последствий не имело.— Синие глаза Иверзева бегло коснулись нахмуренного лица Гуляева.— Огнем танков, артиллерии, пулеметным огнем батальоны были рассеяны по воде, выпуждены были занять прежнюю позицию на острове.— Острие карандаша

ткнулось в карту.— За исключением двух, только двух неполных стрелковых взводов и одного орудия полковой батареи, сумевших переправиться на правый берег.

«Почему одно орудие? Откуда эти сведения?» Ермаков пожал плечами, и тотчас Иверзев перевел на него взгляд— мимолетно синий, холодный свет почувствовал Ермаков на своем лице. Полковник продолжал:

— Все попытки двух батальонов форсировать Днепр вчера ночью закончились неуспехом. Наши батальоны столкнулись с глубоко и тщательно подготовленной эшелонированной немецкой обороной, весьма широкой по фронту, как известно теперь.— Иверзев снова опустил сжатый кулак на карту, губы его стали жесткими.— Наша дивизия южнее города Днепрова... Но мы сдерживаем правого и левого соседа, двое суток топчемся на месте.

Иверзев отбросил карандаш, провел пальцами по белейшей полоске подворотничка, видимо, давившего горло, четко повторил:

— Двое суток! Вчера дивизия получила пополнение боеприпасами, кроме того, нам приданы танки...

«Так вот оно что! — подумал Ермаков, вспомнив горящую станцию, и поймал тревожно ускользающий взгляд полковника Гуляева.— Что он?»

— Задача дивизии следующая! — звучал голос Иверзева.— Два пополненных батальона восемьдесят пятого стрелкового полка сегодня к рассвету, а именно к пяти часам утра, сосредоточиваются: в районе деревни Золотушино — первый батальон майора Бульбанюка; второй батальон капитана Максимова — в районе лесничества. Первому батальону придаются два орудия под командованием капитана Ермакова, второму — батарея сорокапятимиллиметровых пушек лейтенанта Жарова... Кроме того, батарея восьмидесятидвухмиллиметровых минометов повзводно придается батальонам.

«Так! Значит, я поддерживаю Бульбанюка. Но какими двумя орудиями?» — подумал Ермаков, поискал глазами и нашел в углу комнаты крупно скроенного майора Бульбанюка, немолодого, с заметными оспинками на непроницаемом лице. Не подымая головы, он неторопливо делал пометки на карте, разложив ее на коленях; из-под планшетки видны были давно не чищенные, в ошметках грязи, стоптанные сапоги. «Но какими двумя орудиями? Где они?»

— Цель батальонов: форсировать Днепр на правом фланге обороны, где разведка нащупала разрывы, вклиниться в оборону, выйти в тыл, занять и удерживать плацдарм в районе Ново-Михайловки — первому батальону, второму — в районе Белохатки и тем самым отвлечь на себя внимание немцев. К этому времени вся дивизия будет сосредоточена в районе острова, готовая как бы к прыжку.— Иверзев ударил ребром ладони по карте.— Как только батальоны, захватив плацдармы, заставят немцев оттянуть часть войск с фронтальных позиций, дивизия нанесет удар по фронту с задачей занять широкий плацдарм на правобережье, южнее города Днепрова. Завязав бой в районе Ново-Михайловки и Белохатки, батальоны дают знать по рации: «Дайте огня», в случае хорошей видимости — четыре красные ракеты. По этому сигналу дивизия всеми орудийными стволами поддерживает батальоны, затем открывает огонь по немецкой обороне и переходит в наступление, соединяется с батальонами. Такова задача дивизии. Вопросы?

Уперев кулак в стол, Иверзев, ожидая вопросов, долго в молчании смотрел на притихших офицеров. Но никто вопросов не задавал, делали вид, что внимательно изучают карты на планшетках,— каждый из этих давно воевавших пехотных и артиллерийских офицеров хорошо понимал: то, что легко и, казалось, просто начертается в штабах, нестерпимо трудно оборачивается в деле.

Сдержанный полковник Алексеев, одной рукой прикрыв подбородок, другой вертел массивный серебряный портсигар, и блики света, отскакивая от полированной крышки, скользили по залысинам над его высоким лбом. Подполковник Савельев, поглаживая кончик пустой трубки, сосредоточенно посасывал ее; оттененные синевой щеки его ввалились. Капитан Максимов, неопределенно улыбаясь, чистил спичкой ногти, взглядывал на ничего не выражающую спину Бульбанюка.

Было тихо.

Полковник Гуляев, наклонив крупную голову, так что заметна была багровая шея с заплатками пластыря, комкал носовой платок, уставясь в пол, и эта обожженная шея его, проседь в висках, скомканный носовой платок показались Ермакову жалкими сейчас. «Почему он не спрашивает ни о чем? Почему он не говорит, что на левом берегу не осталось ни одного целого орудия? Не знает?» Ермаков вырвал листок из записной книжки, бы-

стро написал: «На плацдарме не одно орудие, а два. Два остальных разбиты при переправе. На острове нет ни одного орудия моей батареи».

— Разрешите, товарищ полковник? — громко сказал Ермаков, обращаясь к Иверзеву.

— Вопрос?

— Нет, не вопрос.

И, провожаемый взглядами насторожившихся офицеров, Ермаков передал записку полковнику Гуляеву, а тот медленно, преодолевая боль в шее, обернулся к нему, утомленно обвел его улыбнувшееся лицо что-то особо знающими глазами, развернул записку, прочитал и ничего не ответил. «Почему он молчит? Что он?» — вновь раздраженно подумал Ермаков.

— Вопросы? — повторил отчетливо Иверзев.— Полковник Гуляев, вам все ясно? Кстати, кажется, вам передали записку? Может быть, она представляет интерес для всех?

Гуляев грузно встал, будто отяжелевший в ногах, и молчал так длительно, что лица офицеров напряженно оборотились в его сторону.

— Что вы молчите, Василий Матвеевич? — с какой-то надеждой спросил подполковник Савельев, и тогда Алексеев сказал:

— Дайте Василию Матвеевичу подумать...

— Товарищ полковник,— размеренным голосом проговорил Гуляев, ссутулив широкую спину,— приказ ясен... Но вот что... Из четырех орудий полковой батареи два на плацдарме. Два разбиты при переправе... Кого мне прикажете посылать? Я прошу дополнительных огневых средств.

— Два? Как два? — изумленно переспросил Иверзев. — Почему так поздно докладываете?

— Виноват, товарищ полковник,— выговорил Гуляев.— Я не мог знать. Я выполнял ваше приказание на станции Узловая.

— С орудиями мы решим,— утвердительно сказал полковник Алексеев.— Да, да. Придется, видимо, взять взвод в артполку. Да, придется.

— Товарищи офицеры! — сухо произнес Иверзев.— Всем немедленно приступать... Никого не задерживаю. Все свободны...

Из тепла, из света комнаты командиры батальонов стали выходить в плотную тьму улочки, в шум деревьев,

на холодный ветер, сквозь который понеслись колыхающиеся голоса:

— Липтяев, лошадь!

— Сиволап, давай сюда! Где пропал?

Продрогшие ординарцы подводили лошадей ближе к крыльцу, застоявшиеся лошади, привыкшие к фронтовой темноте, косили глазами на свет из дверей, фыркая, шевелили влажными ноздрями. Осенний воздух был зябок; и черное небо, вымытое в выси октябрьскими ветрами, мерцало студено, звездно, и ясен и чист был, как снежная дорога, Млечный Путь в холодных черных пространствах над этой деревушкой, над Днепром, над немецкой обороной по правому его берегу.

Командир первого батальона майор Бульбанюк, тяжко крякнув, перекинул сильное тело в седло, буднично спросил Ермакова, который, сходя по ступеням крыльца, закуривал, чиркал зажигалкой:

— Капитан, что там за ерунда на станции приключилась?

— Начальника тыла под суд отдают, кажется.

— Виноватого найти легко,— сказал Бульбанюк.— Липтяев, поехали!

И пустил коня рысью, опережая ординарца.

Полковник Гуляев вышел на крыльцо вместе с Алексеевым. В желтом квадрате распахнувшихся дверей Ермаков увидел их фигуры: невысокую, налитую полковника Гуляева, длинную, узкоплечую — Алексеева. И мгновенно в свежем воздухе запахло цветочным одеколоном — чистоплотный запах чего-то мирного, давным-давно забытого.

— Капитан Ермаков,— сказал Алексеев вполголоса, спускаясь по ступеням,— вы получите в артполку два орудия с расчетами. Добавите своих людей. По вашему усмотрению. Ну, дорогой мой, ни пуха вам ни пера! И людей... людей берегите, дорогой мой!

Это странное «дорогой мой», фраза «ни пуха вам ни пера» — обращение и непростое и необыденное — вдруг сказало все: то, что было несколько минут назад в штабе, очень серьезно, и если после боя он останется жив, то не услышит больше необычное «дорогой мой», не почувствует больше невоенного пожатия руки Алексеева — это переступало установленные взаимоотношения. К штабу полка шли молча, на ощупь обходя рытвины, наталкиваясь на влажные от росы повозки, и Ермакову каза-

лось, что в сыром воздухе еще таял ненужный, беспокоящий запах цветочного одеколона, напоминая о том, что простая, недавно тихая жизнь круто изменила русло, и это возбуждало его.

— Одного не понимаю,— сказал Ермаков и швырнул папиросу под ноги.— Зачем унижаться перед Иверзевым? Почему вы мало попросили огневых средств для батальонов? Посмотрели бы на комбатов — все ждали...

— Молчать! Мальчишка! — гневно перебил Гуляев.— Приказ есть приказ. Тысяу раз спрашивай о средствах — их не дадут, а приказ не отменишь! Фланги! — Гуляев зло рванул его за рукав шинели.— Ничего не понимаешь?

— На войне везде риск. Это нетрудно понять.

— Молокосос! Зяблик! Все с риском живешь, а не с умом!

Ермаков сказал:

— Я не хотел бы ссориться, товарищ полковник.

— Молчи! — прервал Гуляев.— Пойдем ко мне. Поужинаем.— И внезапно, как никогда этого не делал, притянул Ермакова к себе, стиснул до боли в плечах.— Успеешь. Дам лучших лошадей. Успеешь... туда, успеешь...

ГЛАВА ПЯТАЯ

По дороге в штаб батальона он не думал о Шурочке; лишь вскользь вспомнил насупленное лицо Гуляева за торопливым ужином: тот залпом выпил кружку водки, некстати сказал, что домой матери о своем возвращении из госпиталя хоть строчку бы черкнул, и, не закусывая, точно скорее хотел проститься, наконец остаться один, крикнул: «Жорка, двух лошадей. Поедешь с капитаном!» — и, даже не обняв на прощание, закончил сумрачно: «Всё!»

Каждый раз, когда капитану Ермакову приходилось выкатывать батарею на прямую наводку или, стоя впереди пехоты, стрелять по танкам, было это «всё». «Всё» — это конец прежнего, грань нового, черта жизни и смерти: сумасшедший огонь, раскаленные стволы орудий, тошнотворная вонь стреляных гильз, страшные, в копоти глаза наводчиков. Это называлось подвиг, почетный поступок, вызывающий потом зависть у тыловых

офицеров, отмеченный, как правило, боевым орденом или очередной звездочкой на погонах, но тяжелый, грубый, азартный, с солью пота на гимнастерках в тот момент, когда человеческие чувства предельно оголены, когда ничего в мире нет, кроме ползущих на орудия танков. Ермаков любил эти минуты и, не задумываясь, не жалел ни себя, ни людей: он честно рисковал, честно был там, где были все. Он верил в справедливую жестокость судьбы. В жестокость к тем, кто был уверен, что каждая взвизгнувшая пуля летит в него. На войне много раз было это «всё», и сейчас это новое «всё» не угнетало, не беспокоило его опасностью,— наоборот, он чувствовал подъем духа, возбуждение.

— Жорка, не отставать! — крикнул Ермаков, хлестнув коня, и разом стало холодно глазам от хлынувшего из тьмы встречного ветра.

— И не думал даже,— ответил Жорка, на рыси притирая вплотную коня к стремени капитана,— как часики, успеем.

Ему нравился этот Жорка, ясный, спокойный, как летний день, и он спросил весело:

— Жуешь все? Есть галеты?

— Все вашим артиллеристам оставил. Карманы чисты, как душа.

— Черт бы тебя взял,— неопределенно сказал Ермаков.

В землянке штаба батальона никого из офицеров не застали. Единственный телефонист, устало дремавший на соломе возле аппарата, сонным голосом сообщил, что роты полчаса назад снялись, а он по приказу уходит отсюда минут через двадцать. Ермаков спросил:

— Связь с артиллеристами, что на острове, есть?

— А на кой нам с ними-то, товарищ капитан? Только со штабом полка. И то снимаемся.

Ермаков раздраженно выругался, взглянул на фосфоресцирующий циферблат ручных часов (подарок наводчика Елютина), подозвал Жорку, державшего в поводу лошадей:

— Мигом скачи в батарею к Кондратьеву. Скажешь: в мое распоряжение Кравчука, Бобкова, Скляра и... Шуре — ни слова. Всех посадить на лошадей.

— Есть!

— Подожди. Встретимся в Золотушине. Это по дороге вдоль Днепра. На юг. Через час быть там. Ни минуты опоздания. Я в артполк. Ну, как ветер!..

В четвертом часу ночи прямо на огневых позициях артполка, стоявшего в лесу, Ермаков снял два орудия с полными расчетами.

Здесь уже знали приказ Иверзева. Орудия были приведены в походное положение, заспанные, ничего толком не понимающие солдаты жались кучками на станинах, зябко кутались в шинели. Командир батареи капитан Ананян, с осиной талией и тонкими усиками, и молоденький командир взвода лейтенант Прошин были тут же, на огневой. А когда Ермаков подал команду «на передки», и расчеты забегали, выкатывая орудия из двориков, и, звеня вальками, упряжки подкатили передки к огневым, капитан Ананян сказал:

— Помни, как сдаю тебе орудия и людей, так и получаю. Понял меня?

Ермаков ответил:

— Лейтенанта Прошина я мог бы не брать. Пусть остается в батарее.

— Но это же мой взвод, товарищ капитан,— умоляющим голосом заговорил лейтенант.— Я прошу вас, очень... Мне надо быть с людьми.

— Совершенно верно,— подтвердил серьезно Ананян.

Ермаков вскочил в сухо скрипнувшее седло; не ответив Ананяну, направил лошадь к орудиям, скомандовал:

— Держать самую короткую дистанцию. За мной! Ма-арш!

Через полчаса он вывел орудия на знакомую лесную дорогу, по которой вчера мчался на «виллисе» к Днепру. Теперь эта дорога вела в тыл, и пулеметные очереди за спиной, мигание ракет над вершинами леса, кишевшего войсками,— все сейчас отдалялось, затихало. И мнилось уже Ермакову, что в госпитале он вовсе не лежал, что вчерашнее было несколько месяцев назад. Просто вернулось знакомое: понтонный мост, где, громыхая, еще двигались повозки, темные бугры убитых лошадей, разбитый «студебеккер» на обочине дороги, воронки бомб; всплыло вдруг в памяти полное румяное лицо Иверзева, потом холодные, неподвижные губы Шурочки, донесся запах цветочного одеколона,— чувствуя, что первое возбуждение прошло, он рванул повод, тряхнул головой.

— Рысью марш!..

От небольшой деревеньки, битком набитой тылами, по ее улочкам, насквозь пропахшим кухонным дымом, Ермаков повернул взвод на южную дорогу, в сторону Золотушина: теперь она петляла в лесу вдоль фронта, в нескольких километрах от Днепра. И отсюда не было видно фиолетового света ракет, не было слышно пулеметов, лишь иногда с обвальным ухающим грохотом рвался одинокий тяжелый немецкий снаряд в сырой чаще, и эхо долго, замирая, бродило по своим воздушным тропам.

— Рысью ма-арш!..

Он повторял эту команду, чтобы не ослабить нервное напряжение. Глаза его давно свыклись с темнотой, но Ермаков скорее угадывал дорогу, инстинктивно нагибаясь, когда черные лапы елей влажно ударяли по фуражке; слышал, как сзади легонько звенели вальки передков, как колеса орудий тупо стучали по корневищам; и, оглядываясь, не видел во тьме, а представлял расчеты, цепко облепившие станины и передки: там их было пятнадцать человек.

— Стой, стой! — раздался крик сзади и оборвался в вязкой тишине.

Ермаков круто повернул лошадь, ударил ее плеткой, подскакал к орудиям.

— Что у вас еще?

Было тихо. Первое орудие стояло. Ездовой, ползая на коленях, со злобой ругаясь шепотом, возился около лошадей выноса, словно кнут потерял, шипел сквозь зубы:

— Ногу, ногу же, упарилась, дура... Да ногу же...

— Быстрей! — поторопил Ермаков.— Что возитесь?

Он нетерпеливо соскочил на дорогу.

— Быстрей, быстрей,— послышался неуверенный голос лейтенанта Прошина, и узкая фигура с поднятым до ушей воротником приблизилась к Ермакову, потом рядом он услышал шепот: — Что-то очень тихо, товарищ капитан... Замечаете? Возможно, тут еще немцы? Подозрительно как-то...

— Возможно, Прошин,— насмешливо ответил Ермаков.— Если уж напоремся на немцев, развернем орудия на дороге. А на всякий случай всегда сохраняйте один патрон в пистолете. Ну? Готово там? — И оглянулся в темноту на орудия.

— Готово,— ответил недовольный голос.

— Садись! Держаться самой короткой дистанции! Марш!

Рассвет он почувствовал по туману, сначала смутно, островами забелевшему в глубине чащи, затем справа и слева у дороги. Воздух вокруг посинел, заметно прояснилось впереди, и там заколыхалось что-то невесомое, живое, трепетное, как будто белый дым пополз от костра через кусты на дорогу. Мокрыми монетами заблестели в старой колее облитые росой опавшие листья. Сразу похолодало; по разгоряченной спине проползла сырая зябкость, рукава шинели покрылись влагой. Ермаков, поеживаясь, глянул назад: проступившие силуэты орудий двигались в серой мути рассвета.

— Подтяни-ись!

Внезапно впереди распались леса, и внизу открылась долина, до краев залитая туманом. В этом тумане угадывалась близкая вода, запахло рыбой, сыростью, намокшей осокой; купы кустов расплывчато темнели, над ними тянулась молочная мгла. Лесная дорога обрывисто уходила туда, вниз, в туман.

— С рыси на шаг! Одерживай! — скомандовал Ермаков и попридержал лошадь у обочины: он хотел посмотреть при свете утра на орудия, на расчеты.

Первая упряжка на рыси вынырнула из лесного сумрака, следом — другая; увидев спуск, выносные ездовые осадили потных, дымящихся лошадей; лейтенант Прошин, уже отогнув воротник шинели, легко мелькая хромовыми сапожками, первый спрыгнул на дорогу, побежал, споткнулся, скомандовал притворно бодро: «Всем орудиям одерживать!» — и живо посмотрел вокруг неестественно зеркальными после бессонной ночи глазами. И Ермаков понял его взгляд: видите, все хорошо, ночь прошла без осложнений, а теперь утро — как ни говорите, страшного ничего не случилось! — и понял он мимолетные недобрые взгляды невыспавшихся солдат, вразброд, неуклюже соскочивших со станин; угрюмые лица, торчащие, влажные от росы воротники, сгорбленные спины. Почти на каждом крепкие ботинки, новые, неумело и туго накрученные обмотки: наверняка пополнение из освобожденных районов. «Кто ты такой? — мрачно спрашивали эти взгляды.— Куда нас ведешь? Зачем?» И Ермаков вдруг разозлился на капитана Ананяна (кого послал?) и на этих людей (лежали, милые мои, на горячей печке у баб под боком, когда другие мерзли в окопах!)

и, поморщившись, так сильно махнул плеткой, что лошадь под ним шарахнулась в сторону.

— Всем опустить воротники! Не толкаться возле орудий, а лошадям помогать! Да дружней!

Командиры орудий, два ладных, подтянутых сержанта одинакового роста, торопливым эхом повторили команды, солдаты, кто суетливо, кто нехотя, опустив воротники, забегали у колес орудий, выказывая нарочитую старательность.

— Лейтенант Прошин, ведите первое орудие. Командиры орудий, ко мне!

Первая упряжка тронулась. Ездовые что есть силы натягивали поводья, коренные лошади, хрипя, мотая головами, приседали на задние ноги; передок, тяжестью орудия наваливаясь на коренных, вальками ударял по ногам. Упряжка спускалась в туман. Когда же второе орудие нырнуло в белесую мглу, Ермаков строго взглянул на командиров орудий и, несколько удивленный, помолчал. Перед ним стройно вытягивались два одинаково молодых сержанта, одинаково большеглазых, одинаково широкоплечих.

— Кажется, я не пьян,— немного отходя от прежнего чувства злости, сказал Ермаков,— но у меня вроде двоится в глазах. Вы что, близнецы?

— Так точно, товарищ капитан,— ответил один из сержантов.

— Что же, все время вместе воюете? Давно на войне?

— Так точно, товарищ капитан, второй год.

— Вы откуда сами?

— Из Москвы, товарищ капитан.

— Здорово! Земляки, значит! Где жили?

— На Таганке, товарищ капитан, а вы?

Один из братьев улыбнулся детской, чистой улыбкой, и другой улыбнулся тоже, словно в зеркале отразилось.

— Я? В Сокольниках! Ну, как же мне различать вас, братцы? Ваша фамилия?

— Березкины, товарищ капитан. А в батарее нас различают по именам: сержант Николай Березкин и сержант Андрей Березкин. Это только сейчас так. Вы к нам привыкнете. Будете различать.

Ермаков засмеялся.

— Черт его знает, первый раз на войне встречаюсь с близнецами! — И, перегнувшись с седла, спросил: — Вы

мне вот что скажите, Березкины: состав расчетов из пополнения?

— Так точно, товарищ капитан. Из Сумской области.

— В боях были? Или прямо к Днепру от печек?

— Никак нет, были в одном бою. Ничего. Конечно, не совсем.

— Ладно, проверю! По местам, Березкины!

Спуская коня по покатой дороге в долину, к орудиям, он услышал свежий голос лейтенанта Прошина. Лейтенант шел возбужденный, невесомо ставя ноги в хромовых сапожках, сияя навстречу улыбкой Борису, как давнему знакомому.

— Что, отдых, товарищ капитан?

— Какой отдых? — ответил Ермаков, с внезапной неприязнью увидев на молодом, веселом лице Прошина тонкие светлые усики. («Подражает Ананяну, что ли?») — Отдых будет на том свете, поняли? А усы зачем, усы?..

И, чувствуя, что сказал грубо, оскорбляюще, он нисколько не осудил себя за это, хлестнул лошадь, проскакал мимо обиженно покрасневшего Прошина, мимо солдат и орудий, мимо потных, поводивших боками упряжек. Он многое видел на войне и чувствовал за собой право так говорить с людьми, потому что презирал «сантименты» и больше других знал цену опасности.

— Рысью ма-арш!

В лесную деревушку Золотушино, расположенную в километре от Днепра, прибыли на ранней заре: над лесами чисто и розово пылало небо, и, подожженные холодным пламенем, горели стволы сосен, светились влажные палые листья на земле, над крышами домов краснели редкие дымки. В деревне было по-раннему тихо; кое-где во дворах темнели повозки; дымила на окраине одинокая кухня, и сонный повар, гремя черпаком, возился возле котла. Еще издали Ермаков увидел на околице Витьковского. Он был без пилотки, белокурый, грыз семечки, сплевывал шелуху небрежно на шинель, посмеиваясь, переговаривался с поваром. Когда орудийные упряжки вырвались из розового лесного тумана, Жорка стряхнул прилипшую к шинели шелуху и, подкинув запотевший от росы немецкий автомат на плече, вышел на дорогу.

— В порядке? — быстро спросил Ермаков, не слезая и сдерживая разгоряченную лошадь.— Батальон Бульбанюка здесь? Людей из батареи привел? Вижу, привел!

А Жорка светло, невинно смотрел голубыми глазами в лицо капитана.

— Привел одного Скляра. Остальные — тю-тю! С Кондратьевым на ту сторону поплыли. Скляр говорит: немцы на всю катушку огонь вели, а они в это время...

— Совсем досадно! — проговорил Ермаков. — Где Бульбанюк? Показывай, в какой хате штаб.

— А пятый дом направо.

Через несколько минут, отдав приказание лейтенанту Прошину разместить людей, он вошел в штаб батальона. Из комнаты повеяло теплом огня: тут топилась печь. Оранжевые блики играли на грязной ситцевой занавеске. Перед занавеской, в первой половине, прямо на полу, в соломе, храпел в воротник шинели обросший солдат, у изголовья на гвозде висели три автомата. Ермаков перешагнул через спящего, отдернул занавеску. На высокой кровати лежал начальник штаба батальона старший лейтенант Орлов, в галифе, но без гимнастерки и босой. Злое, цыганского вида лицо его с тонкими черными бровями было повязано пуховым платком. Он втягивал сквозь сжатые зубы воздух, пальцы на ногах беспокойно шевелились. На табуретке, на развернутой карте стояла недопитая бутылка мутного самогона, жестяная кружка, рядом — нетронутый кусок черного хлеба; планшетка валялась на полу подле грязных сапог.

— Ах сволочь! Ах стерва! — стонал Орлов, непонимающе глядя в потолок, прикладывая кулак к платку. — Чтоб тебя разорвало, собачья душа! Что ты возишься? Что возишься, как жук навозный? — закричал он, упираясь глазами в худую, робко пригнутую спину радиста, который сидел с наушниками около рации.— Что ты мне ромашками голову морочишь? Давай связь! Связь!

— «Ромашка», «Ромашка», плохо тебя слышу, плохо слышу... совсем не слышу...— речитативом выборматывал радист.

Ермаков усмехнулся.

— Зубы, Орлов?

— Зубы, стервы! Как назло! — простонал Орлов, потянулся к бутылке, налил в кружку остаток самогона, пополоскал зубы, скривился пополневшей щекой, занюхал корочкой хлеба. — И это не помогает! Ни хрена! — Он со

злобой затолкал бутылку под кровать, спросил крикливо: — Орудия привел? Два? Что не докладываешь?

— Привел. Два. Где Бульбанюк?

— На плотах. В лесу плоты к ночи сооружают. Выделяй своих людей на плоты. Давай, капитан! Ну? Ну? Чего? — закричал он радисту, заметив, что тот полувопросительно обернулся от рации.— Чего молчишь, как умный? Говори!

— «Ромашка» сообщила: пришли на место.

— Ах, пришли! Пришли, дьяволы! — закричал Орлов, крепко выругался, и пальцы на ногах зашевелились быстрее.— Ну, Максимов на место пришел! — И другим тоном обратился к Ермакову: — Один солдат рассказывал: в Сибири у них у таежника зуб заболел. Дупло. Врачи за тысячу километров. А терпежу нет. Что он сделал? Достал огромный гвоздь, вбил в дупло и, благословясь, рванул. Начисто выдернул. И никаких йодов. Может, так сделать? Один выход. М-м, душу выматывает! — Он слегка ударил себя кулаком по скуле, зло прокричал радисту: — Связь, связь держать! Связь!

— Шумишь, Орлов! На улице слышно. Значит, связь есть?

Вошел майор Бульбанюк, на шинели, на погонах — капли, к козырьку фуражки прилип влажный осиновый лист, рыжие стоптанные сапоги сплошь в росе — осень в лесу. Молча разделся, догадливо-опытными глазами окинул Ермакова, поднял с пола планшетку, положил к ногам Орлова, пальцы его мигом перестали шевелиться. Орлов сказал:

— Максимов на месте. Артиллеристы, как видишь, прибыли.

— Так. Твои орудия я видел,— заговорил густым голосом Бульбанюк, почесал широкий нос на крепком бронзовом лице, тронутом оспинками.— Так, Днепр форсируем ночью. Днем ни одной душе на берегу не показываться. И в деревне — тоже. За невыполнение приказа — под суд.— Он сказал это спокойным, размеренным голосом, подумал и прибавил: — Вот так.

— Как на том берегу, майор? Тихо? — спросил Ермаков, хорошо зная осторожность Бульбанюка.

— Тишине верить — знаешь, капитан? — все равно что интересным местом на муравейник садиться,— сказал Бульбанюк.— Они тоже не дурачки. Не попки. Соображают кое-что.

Взял кружку с табуретки, понюхал, неодобрительно уставился на Орлова, тот, в свою очередь, виновато скосил нестерпимо зеленые глаза на занавеску, за которой храпел его ординарец.

— Серегин виноват? — недоверчиво спросил Бульбанюк.— Врешь. Сегодня водки в рот не брать. Людей пропьем. Увижу — под суд отдам. Люблю тебя, а меня знаешь. Ясно?

— Подлюги зубы, майор,— проговорил Орлов, теперь уже косясь на радиста.— Замучили.

— У всех зубы. Не зубы заливаешь, а вот это.— Бульбанюк показал на сердце.— А ты это брось! Ясно? Вот так. После дела будем пьянствовать. Фланги, фланги — вот где загвоздка. Дай-ка что-нибудь пожевать. Только без Серегина, ясно? Пусть спит...

Орлов опять томительно посмотрел на занавеску, опустил ноги с кровати, нехотя сказал:

— Что-нибудь соорудим...

— Насчет плотов поможем тебе, Ермаков,— проговорил раздумчиво Бульбанюк.— Дам людей.

Выйдя из штаба, Ермаков испытывал желание не углублять того, что неясно было ни ему, ни Бульбанюку, ни Орлову. Он знал их обоих. Орлов, вспыльчивый, несдержанный, был известен в полку тем, что ежеминутно, пополам с матерщиной, разносил правых и неправых, открыто презирал разноранговых штабистов и, будучи сам начальником штаба, не раз, злой и азартный, с пистолетом в руке появлялся среди залегших рот, водил в атаку батальон, чего вовсе не делал Бульбанюк. Бульбанюк без артиллерийского огня в атаку не шел, кочку не считал укрытием, закапывал роты на полный профиль в землю; перед боем ходил по траншеям, деловито, как вспаханную землю, щупал брустверы; приседая, подозрительно поворачивая голову и так и сяк, подолгу уточнял ориентиры: было в этом что-то сугубо крестьянское, добротное, будто в поле к севу готовился, а не к бою. Артиллеристов он любил особо постоянной, нежной любовью, как это часто бывает у многоопытных, давно воевавших пехотных офицеров. Однако Ермакову больше нравился своей горячей бесшабашностью старший лейтенант Орлов, чем излишне осмотрительный, расчетливый Бульбанюк, хотя в глубине души он готов был понять вечную и неоспоримую на войне правоту майора.

Заря разгоралась над лесами, пожаром пылала в гуще деревьев, красные полосы этажами сквозили между слоями тумана, и деревья, крыши, вся деревушка, казалось, дымились в огне, сдавленном лесом.

Орудия стояли во дворе под облетевшими осинами; солдаты с помятыми, осовелыми лицами, точно в дремоте, маскировали щиты, станины; сержанты Березкины, сняв чехлы, протирали панорамы.

Лейтенант Прошин с веселой удалью отсекал топором ветви от срубленной, лежавшей на земле ели. А Жорка, невозмутимый, по-прежнему лениво лузгал тыквенные семечки и, простодушно посмеиваясь, советовал:

— Легче, легче. По усам попадете, товарищ лейтенант. Ей-богу, так и отчикаете.

Ермаков крикнул ему:

— Витьковский, остроты и семечки прекратить! — И потом более строго обратился к Прошину: — Почему разрешаете черт знает что? Вы — офицер!

Прошин, раскрасневшийся, со сбитым ремнем, неловко держал топор; в изгибе бровей — обида.

— Я уже четыре месяца офицер, товарищ капитан.

— Тем хуже для вас!

Почему не лежала у него душа к этому очень молодому, как и Жорка, лейтенанту со светлыми усиками? Силы и уверенности не чувствовалось, что ли, в нем? Или потому, что не любил людей, которые подражали другим?

Солдаты и сержанты Березкины смотрели на них от орудий, выжидающе молчали.

— К бою! — внезапно скомандовал Ермаков.— Танки справа!

Лейтенант Прошин отбросил топор, поспешно сделал шаг вперед, огляделся по сторонам и бросился к орудиям, заплетаясь ногами в длинной шинели.

— К бою! — крикнул он, и голос его странно сорвался.

— К бою-у! — эхом запели сержанты Березкины.

Тотчас все изменилось возле орудий: солдаты засуетились, полетела маскировка, раздвинулись станины, дрогнули и опустились стволы; кто-то упал, зацепившись ногой за лафет, донесся доклад командиров орудий:

— Готово!

— Отбой! Прошин, ко мне!

Быстро подошел, почти подбежал Прошин, губы его

обиженно дрожали, серые глаза блестели влагой, он прошептал:

— Не доверяете? Да? Вы... зачем... так... издеваетесь?

— Бросьте сантименты, Прошин,— спокойно оборвал его Ермаков. — Оставьте обиды для любовной аллейки городского парка. Ну? Успокоились? Трех человек от расчета на постройку плотов. Остальным спать. Отдайте распоряжение — и ко мне в хату. Жорка, веди в дом!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Он уснул, будто упал в мутную, теплую воду, и она поглотила его. Не было сновидений, не было даже обрывочных мыслей, отблесков чего-то недоделанного, нерешенного, как бывает всегда после бессонной ночи. Один раз неясная сила беспокойно вытолкнула его из сна. Он приоткрыл глаза: яркое солнце заливало неправдоподобно чистенькую хату, потолок сиял невинно белый, на стене уютно поскрипывали старые ходики: тик-так, тик-так. Чистота, покой, тепло — спать, только спать... А где-то рядом, в высоте, посреди этой светоносной счастливой белизны — тихое урчание мотора, и до шепота пониженный голос Жорки проговорил за спиной:

— «Рама». Над деревней вертится. Вон, смотрите, на крыло повернулась, высматривает. Теперь жди — через полчаса приведет косяк...

И голос Прошина — еле слышно:

— Вернее всего не заметит. Ни одного человека на улице. А вообще — дать бы по ней из ПТР. Залпами.

— Ерунда. Она бронированная.

— Спать всем,— негромко сказал Ермаков и, не поворачиваясь от стены, нагретой, неестественно белой, закрыл глаза.

И снова сон теплой волной подхватил его, а в сознании еще навязчиво и успокоенно, бесформенной легкой тенью мелькала мысль: «Чистота, чистота. Значит, опять я в госпитале? Почему я в госпитале?» Но скоро, уже каким-то необъяснимым чувством, он уловил настороженное движение в хате, топот шагов, шелестящий шепот, чей-то знакомый голос позвал его, и он очнулся от сна — эта привычка мгновенно просыпаться не покидала его даже в госпитале.

Он сел на кровати, неотдохнувшая голова немного болела. В дымно-лиловых полосах предзакатного солнца увидел одетых в шинели Жорку и лейтенанта Прошина, рядом с ними топтался связной Скляр; автомат на груди, тяжелые диски в чехлах оттягивали ремень, и все на нем сбито, мешковато — долго бежал, видимо.

— В чем дело? — спросил Ермаков.

Скляр шаром подкатился к кровати, по старой привычке ординарца подавая фуражку, затем, придвинув к постели сапоги, возбужденно заговорил:

— Срочно, срочно вас... экстренно к командиру батальона. Только есть «но». Я проведу вас огородами, «Рама» летает.

Жорка снисходительно-насмешливо, но и ревниво смотрел на Скляра, потом, сказав «извиняюсь», легонько, небрежно оттолкнул его, сам подал Ермакову шинель. Одеваясь, тот увидел усмешку на лице Прошина («Два ординарца вокруг одного офицера возятся!») и сказал резким голосом:

— Пойдете со мной!

— Слушаюсь, товарищ капитан.

— Что?

— Я говорю, слушаюсь.

— Собирайтесь. Поменьше ненужных интонаций, Прошин!

Лейтенант пунцово покраснел, и Ермаков, чувствуя непонятное для себя раздражение, заметил, что ресницы у него, как у девушки, длинные, темные, загнутые вверх.

— Пошли,— повторил он.

Вышли на крыльцо. В закатном небе над золотистыми соснами, над безлюдной деревней тихо урчала «рама». В осенней выси, там, где мирно алыми перьями таяли предвечерние облака, она ныряла, сверкая стеклами кабины, словно купаясь в воздухе,— далекая, опасная, чужая.

— Целый день торчит над головой, бродяга,— проговорил Жорка.

Ермаков мельком посмотрел на небо, не без едкости сказал Прошину:

— Вы, кажется, хотели стрелять по ней из противотанкового ружья? А вы ахните из пистолета. Упадет, как перепел.— И скомандовал Скляру: — Веди в штаб, быстро!

Ни майора Бульбанюка, ни старшего лейтенанта Орлова в штабе не застали — здесь был один радист; оторвавшись от рации, он деловито сообщил:

— На Днепре все.

Обоих нашли в лесу, вплотную подступавшем к воде, в свежем, недавно вырытом песчаном окопе. Бульбанюк наблюдал в бинокль правый берег. Орлов, с опухшей щекой, повязанной бинтом, шепотом ругался, курил, задерживая дым во рту, и сплевывал. Тут же ожидали приказаний ротные связисты, и среди них были заметны знакомый полковой разведчик с расстегнутой лакированной кобурой парабеллума на левом боку, в яловых офицерских сапогах, и командир минометного взвода — небритый молчаливый лейтенант в очках. Разведчик, показывая на другой берег, простуженно басил Бульбанюку:

— Левее, левее... Вон где боевое охранение у фрицев...

— Вызывал, Бульбанюк?

Они спрыгнули в окоп.

— Вызывал, Ермаков. Немедленно вызывал.— Бульбанюк опустил бинокль, глубокие морщины прорезались на лбу; он озабоченно глянул вверх: — Слышал?

— Слышал.

Бульбанюк раздумчиво почесал биноклем подбородок.

— Не нравится мне. Очень не нравится. Второй раз кружит. Вот что. Я людей из деревни в лес вывел. Всех. И минометчики здесь. Как улетит эта штучка, ты орудия свои сюда давай. Немедленно. Ясно? Теперь смотри сюда. Нет, подожди. Сперва отдай приказание. Это кто? Твой командир взвода?

Прошин по-уставному поднес руку к виску, задел локтем за широкую спину разведчика и сконфуженно заулыбался ему. Разведчик, чуть сторонясь, басовито хохотнул:

— Эй, эй, убьешь, лейтенант! Ровно танк двинул!

— Приведите орудия сюда,— недовольным голосом приказал Ермаков.— Быстро, Прошин!

Тот мгновенно выскочил из окопа, и Бульбанюк, проводив его узкими догадливыми глазами, помолчал некоторое время.

— Экий у тебя усач гусар, сизые перья! Дров не наломает? Ничего? Не из пеленок? Ладно. Гляди в свой шикарный бинокль. Осмотри весь берег. А потом поразмышляем. Одна голова хороша, две — хуже.

Вся печальная и тихая на закате водяная даль Днепра отсвечивала темно-розовым в увеличенном приближении бинокля: вот она, в пяти шагах, эта вода. И тоскою, странной, глухой, повеяло от лесов, потемневших на том берегу перед вечером. Был высок тот берег Днепра, а в межлесье прореза́ла полосу зари огромная высота, чистая, без кустов и деревьев. Там, на этой высоте, спиной к западу, отчетливым силуэтом, раздвинув ноги, стоял высокий немец, рядом сидели двое, прозрачные дымки сигарет таяли над их головами.

— Смазать бы их из винтовки, стервецов! — услышал Ермаков горячий шепот Орлова.— Уж больно ясно видны!

«Рама», неровно гудевшая над лесами, показалась в высоте над Днепром и, вдруг снизившись, с ревом пронеслась над самыми вершинами сосен, над нашим берегом, ушла, врезаясь в закат, и немец на голой высоте прощально пилоткой ей помахал.

Теперь стало очень тихо, по-вечернему тихо и пустынно. Было слышно, как листья в безветренном лесном покое отрывались, скользили между ветвей, падали на песчаный бруствер окопа.

— Вот так,— наконец сказал Бульбанюк.— Орудия поставишь здесь. И высотку эту на заметку возьми. Там что-то есть. В крайнем случае огнем накроешь. А орудия будешь переправлять последними. После рот. Вот так. Где ж этот твой усач гусар? Чего мешкает? Прилетят, это уж ясно.

— Должен успеть,— ответил Ермаков.

Говорили, что у Бульбанюка есть чутье, и, наверное, это было так. В восьмом часу вечера, ровно через двадцать минут после того, как Прошин привел орудия на берег, в темном, сплошь вызвездившемся небе послышался булькающий гул, и на той стороне с ясно слышными хлопками взлетели близкие ракеты, выгнулись тревожными дугами до середины Днепра. Ракеты взмывали и над той высотой, где стоял давеча немец, и над самой кромкой берега, и из глубины леса справа и слева.

— Запомнить все. Стрелять будем,— сказал Ермаков.

Он сидел вместе с Прошиным и братьями Березкиными на бруствере опустевшего батальонного окопа; Бульбанюк, офицеры и связисты были сейчас под бугром, в кустах около воды, куда солдаты, разговаривая сдержанными голосами, перетаскивали плоты из чащи — батальон готовился.

Гул невидимых самолетов накаленно дрожал над головами, и бледно в померкшем небе распустились, разбрызгивая свет, и поплыли над лесами первые «фонари». Под Прошиным зашуршал, посыпался песок, и коленка его задела ногу Ермакова.

— Сейчас будут,— прошептал лейтенант, сползая по брустверу, но, опомнясь, снова сел на краю окопа, стесненно улыбнулся.— Не люблю я бомбежку...

Братья Березкины часто задышали; Жорка с интересом смотрел в небо, вроде бы настроенный к занимательной и опасной игре.

— Всем в окоп,— приказал Ермаков.

И тотчас из звездных высот неосвещенного неба понесся к земле остро пронизывающий звук. Бомбы ударились в землю, толкнули ее, песчаный окопчик, осыпаясь, дернулся, затрясся под ногами, как живое тело.

— Деревню накрывают,— сказал Жорка хрипло.

Потом наступила тишина, последний «фонарь» устало догорел в лесах, багровое зарево в чаще — там, где бомбили Золотушино,— буйно боролось с темнотой, а тот берег, черный, затаенный, мертво молчал. Слабо, облегченно засмеялись в окопе,— кажется, Прошин, и, невольно вспомнив радиста, оставшегося в штабе батальона, Ермаков первым вылез из окопа; сквозь звон в ушах услышал он шорох осыпавшегося песка под чьими-то ногами — от берега бежал к орудиям человек, затем голос Скляра раздался из потемок:

— Товарищ капитан! Бульбанюк пошел! Сразу после бомбежки. Первая и вторая рота... Вам поддерживать!..

«Бульбанюк начал переправу? Он хочет выиграть время? Да, все должно свершиться сейчас».

— К орудиям, — скомандовал Ермаков вполголоса.

— А мне как же?..— растерянно и просительно вскрикивал Скляр.— Куда мне, товарищ капитан?

— К Бульбанюку, голубчик, связным! Ни шагу от него. К нему!

И он не видел, как исчез под обрывом берега Скляр, не до него теперь было.

Ермаков стоял между первым и вторым орудиями (а там ни звука, словно дыхание у всех замерло), и в черноте ночи, слившей без границ воду и небо, он улавливал тихие всплески отплывающих от надежной земли плотов, и вся тьма казалась живой, дышащей. Прошин шепотом сказал рядом: «Это наши... плывут»,— и Жорка

Витьковский едва слышно отозвался из темноты: «Вот бродяги!» — и кто-то сдавленно кашлянул, поперхнулся возле орудий. Все, что жило и шепотом разговаривало на левом берегу, напрягалось в нервном усилии увидеть, что сейчас было на воде, все это уже как бы не существовало, а было одно горячее, азартное, что захлестывало Ермакова всего: зацепиться в тишине за берег, подтянуть роты к лесу, атаковать высоту, взять ее...

И вдруг тишина оглушительно взорвалась и осветилась. Торопливо взлетая, ракеты смешались, змеисто извиваясь в небе и в воде. Все замерцало: свет — потемки, свет — потемки... Лихорадочно красными мотыльками забились вспышки на том берегу. Вперекрест запульсировали струи трасс, отвесно хлестнули по воде сверху. Свет — потемки, свет — потемки... В огнях ракет появилась река, рассыпанные плоты по быстрине, смутные фигурки людей. Свет — потемки, свет — потемки.

Тот берег ожил, загремел, зашевелился, тени деревьев то стремительно падали в Днепр, то разгонялись светом; пулеметные очереди мелькали вокруг плотов, вонзаясь в воду, на плотах разом беспорядочно задрожали всплески автоматов, и встречные трассы малиновым веером махнули по тому берегу; и гулко и сухо забили винтовки. Плотно покрывая эти звуки, с тяжким звоном распустились на середине реки мины. И следом за ними, туго сбрасывая высоту, сочно лопнул над Днепром бризантный, тяжело зашлепали осколки по воде, по песку, по стволам деревьев. Напо̇лз едкий запах тола.

— Огонь без команды по точкам! — крикнул Ермаков. — Ну-ка, Вороной, я начну! Нащупали высотку?

Шагнув за станину, он стиснул каменное от напряжения плечо наводчика Вороного, с трудом отстранил его, пальцы охватили подъемный и поворотный механизмы, прицел, крупно приближая вспышки, выделил из тьмы ту точку, где на высоте рождались трассы, и Ермаков вспомнил немца, что на закате курил там, прочно расставив ноги.

Короткое рваное пламя вырвалось в темноту, оглушив и обдав горячим воздухом до боли в ушах,— орудие резко откатилось, заскрипел песок под брусьями.

Борис заметил, как снаряд плеснул разрывом ниже и вбок от этой точки, где пульсировали трассы, на привычную ощупь увеличил прицел, и почти одновременно с его выстрелами справа выбросил в небо огонь минометный

взвод, а ближе слепяще мигнуло пламенем орудие Прошина, оттуда жарко и колюче ударило в щеку жухлыми листьями, сухой хвоей.

Толчок панорамы. Доворот. Пальцы сжались на рукоятках механизмов. Снаряды развернулись кострами на высоте, погасли, и вместе с ними погасли на высоте вспышки. Он ждал несколько секунд, а в панораму лез свет ракет, трассы спутанно огненными пунктирами летели в разные стороны. И снова в панораме упорно и живуче заплескалось пламя на высоте. «Крепок этот немец»,— подумал Ермаков.

— Четыре снаряда, беглый огонь!

Опять костры возникли на высоте. Чтобы лучше разглядеть их, он встал за щитом орудия и только тогда увидел, что все отчетливо и ярко иллюминировано ракетами. Явственно различимые плоты сносило течением, вокруг них бегло рвались мины, первый из плотов ткнулся в правый берег; другой, отстав, беспомощно кружил посередине Днепра — плот, очевидно, потерял управление, и частые всплески мин накрывали его.

— Четыре снаряда, беглый огонь!..

На высоте замолчал пулемет, и Ермаков видел спешащие разрывы прошинского орудия на другом берегу, искал глазами новые опорные точки, но там смешалось все — трассы, трескотня автоматов, вспышки ракет. Эти вспышки, свет ракет, удары артиллерийской стрельбы теперь возникли справа,— севернее начал переправу батальон Максимова, но Ермаков не смотрел туда.

Два первых плота пристали к берегу, сгорбленные фигурки запрыгали косыми тенями, заячьими скачками побежали по обрыву, к вставшему стеной лесу.

Сносимые течением плоты наискосок подгребали к правобережью, и с них непрерывно кричали что-то, вероятно, в сторону того плота, что кружил безвольно на быстрине. Столбы воды вплотную вырастали один за другим, донесся слабый, неразборчивый вопль, потом на этом плоту дыбом поднялись бревна — и люди, повозки, метнувшиеся лошади отвесно скатились в воду с одного бока. Визгливое предсмертное ржание лошадей прорезалось сквозь свист мин.

— Накрыло! Чего ж они, а? — досадливо сказал Жорка.

Ермаков понимал, что его орудия бессильны достать минометную батарею на том берегу, и все же скомандо-

вал выпустить беглым огнем восемь снарядов в направлении мерцающих над лесом зарниц, после крикнул возбужденно:

— Передки на батарею! Жорка, лошадей!

Было ясно: Бульбанюк зацепился за берег, завязал бой. Но странно было то, что ракеты уже не поднимались, не дрожали зарницы над лесом — на правый берег круто упала темнота. И в этой тьме постепенно смолкало разрозненное шитье автоматов.

Переправа была спокойной, без единого выстрела, только раз шальной, заблудившийся снаряд запоздало ухнул на середине Днепра.

Правый берег встретил густой теменью, нерассеянными запахами недавнего боя: горьковатой вонью еще теплых гильз, порохом, смешанным с сырой гнилью осеннего леса.

Черный, глухой,— враждебно затаенный,— он возвышался угрюмой стеной до самых звезд; в чаще его где-то отдаленно простучала очередь и затихла.

Сгружали орудия безмолвно, одни ездовые осипшими от волнения голосами понукали лошадей, в поводу сводили их на берег.

Ермаков сел на песчаный навал какого-то окопа, прикрыв полой шинели зажигалку, устало прикурил. Из окопа тянуло удушливым запахом подпаленной шерсти, он пошарил рукой, нащупал на песке кучу холодеющих гильз, сбоку колючую металлическую ленту и дернул ее — твердое, круглое ударило по колену. Это был немецкий ручной пулемет МГ, он узнал его по дырчатому кожуху.

С хмурым и чуть брезгливым любопытством к чужой жизни, которая представляется всегда иной, он посветил зажигалкой, и первое, что увидал в глубине окопчика,— сливочно-белую склоненную шею, заросшую белесыми, зябко оттопыренными волосами. Узкая пилотка-пирожок была надвинута на залитый кровью лоб убитого: должно быть, в последний миг сознания немец зажал рану пилоткой, будто с отчаянной предсмертной мольбой уткнув голову в острые колени. «До последнего сидел»,— подумал Ермаков, внезапно испытывая брезгливую жалость к этим оттопыренным белесым волосам, к этим острым коленям убитого немецкого пулеметчика. Встал, бросил

окурок, крикнул в темноту, где, тихо переговариваясь, возились близ орудийных упряжек люди:

— Скоро там?

— Вы кого здесь смотрели-то, товарищ капитан? — подходя, спросил Жорка.— Бродяга, что ли, убитый?

— Возьми МГ и ленты. Здесь, в окопе. Пригодятся. Погрузишь на передок.

— Сделаем,— сказал Жорка охотно.

Справа в лесу послышались голоса: вдоль опушки к берегу шли несколько человек. Кто-то, возбужденный боем, говорил с непонятным, отчаянным весельем:

— Как он ахнет, как ахнет промеж плота! Лошади, повозки — в воду! Сержант кричит: «Вплавь, вплавь давай!» Глянул, а у него лицо в крови, живот почему-то руками держит. Отошел так по бревнышкам и спиной в воду упал! Молодой был. Эх, молодой!..

А другой голос ответил слабым криком:

— Артиллеристы? Кто тут? Артиллеристы?

— Они самые,— отозвались из тьмы.

— Капитана Ермакова...

— Скляр? — окликнул Ермаков.— Ты откуда?

Темным колобком подкатилась к нему круглая фигура связного.

— От Бульбанюка. За вами прислал. Все вперед пошли... Что туточки было, товарищ капитан! — заговорил Скляр поспешно и тоже отчего-то весело.— Восемь человек ранило. Орлов впереди с первой ротой. Зубы у него. А как на берег спрыгнули — повязку как рванет: «Ни разу в бой не ходил с повязанной мордой!» Пистолет выхватил: «Вперед, ребята! Всем медали будут, никого не забуду!» — Скляр захлебнулся смешком.— Вам приказано: скорей! Там, на бугре, дорога, немцы драпанули!

— А это кто с тобой?

— Это санитары. Раненых переправлять.

— Прошин! Скоро там? По местам!

Как только орудия вывели по бугру на сжатую лесом пустую дорогу, Борис подал команду:

— Быстрым шагом, расчетам не садиться! — и вскочил на передок первого орудия Прошина, который отчужденно, молча отодвинулся, но, вроде бы не заметив неприязни, Ермаков полез за табаком, спросил спокойно: — Курите, нет?

— Я не понимаю вас, товарищ капитан,— заговорил Прошин с нотками возмущения в голосе.— Вам, наверно,

не жалко людей. Мы не ваша батарея. Поэтому... почему солдат не посадить на станины? Люди по-глупому бегут за орудием... Я слезу.

Он вынес ногу на ступеньку, однако Ермаков властно взял его за локоть, посадил на место.

— Прошин, вы стихи никогда не писали?

— Нет.

— Так вот. Всю войну мне пришлось воевать рядом с пехотой. Вам ничего это не говорит?

— Нет.

— Это наверняка ваше любимое слово.— Ермаков усмехнулся,— два раза подряд «нет». Хуже не бывает сонного пехотинца. А мы с вами сейчас почти пехотинцы. У вас никто не дремал на станинах, не падал ночью под колеса орудия?

— Нет.

Ермаков рассмеялся.

— Вы мне временами нравитесь своим упрямством, Прошин.

— А вы мне, а вы... нет, товарищ капитан.

— Вот спасибо. Благодарю за откровенность. Это уже мужской разговор.

Подрысил Жорка, притер лошадь вплотную к передку, поинтересовался вкрадчиво:

— Товарищ капитан, часы как у вас — точно ходят?

— А что?

— Часики ручные в окопе нашел. Лежат и идут себе. Вот посмотрите, фрицевские.

Жорка перегнулся в седле, протянул нагретые в ладони часы на металлической браслетке, круглые, сверкнувшие фосфорическим циферблатом. И Ермаков, вспомнив сливочно-белую склоненную шею, острые, прижатые к груди колени убитого в окопе немца, спросил почти равнодушно:

— Часы у вас есть, Прошин?

— Нет и не надо.

— Не бойтесь. Думаете, возьмете вещь убитого — убьет самого? Так?

— Возможно.

— Мертвецы не самое страшное на войне. Страшно другое...— сказал Ермаков.

Впереди, в глубине леса, прошил тишину тонкий стрекот автоматной очереди, оборвался, и где-то справа

ответил ему отдаленный бой пулеметов; Прошин, как бы не обращая внимания на выстрелы, спросил:

— Что самое страшное?

— Договорим когда-нибудь. За стаканом водки. К сожалению, нам мешают,— ответил Ермаков.— Жорка, возьми часы. Подари наводчику Вороному. Ручищи у него крепкие! И гамлетизм ему не свойствен. Давай коня!

Ермаков поскакал вперед по безлюдной, чудилось, дороге среди леса, пришпоривая лошадь, теперь все время слыша справа за лесом отдаленный бой пулеметов.

Вдруг из темноты закричали приглушенно:

— Стой! Кто такие? Куда леший несет?

И кто-то даже схватил за повод, выругавшись.

— Артиллеристы. Какая рота? Где комбат?

— Впереди...

Борис направил лошадь к обочине, впритирку к кустам, стал обгонять скрипевшие повозки хозвзвода, повозки минометчиков, рассеянную, далеко растянувшуюся колонну,— его то и дело негромко окликали,— и наконец выбрался на свободную дорогу и скоро нагнал нескольких всадников, в середине которых ехали Бульбанюк и Орлов.

— Какая обстановка, майор? — спросил Ермаков.

— Вот мозгуем над обстановкой,— ответил Бульбанюк густым голосом.— Ты кстати. Давай присоединяйся. Одна голова хорошо... Вот так. Справа, слышишь, пулеметики? Слышишь? Это Максимов. Слева тоже автоматики легонько разговаривают. Но так себе, слабо. Ну так вот. Похоже, глубоко в тыл к немцам едем. Оборона тут слабенькая, с разрывом была. Вот так проясняется. Ну, нам бой давать надо в районе Ново-Михайловки. А какой пес знает, тихо ли до нее дойдем? Ну? Как же? Может, рванем вправо через лес да и ударим по флангу? Вот так. Ну, давай размышляй. Тут короче будет.

Майор замолчал, обратил белеющее лицо к Ермакову, и тогда Орлов, с нетерпением ерзавший в седле, сплюнул, поцыкал больным зубом, заговорил не без раздражения:

— Оборону прорвали? Прорвали! Людей положили? Положили! Немцы не понимают сейчас, сколько нас, куда двигаемся и зачем. Пока они в себя не пришли, надо в тылу у них бой завязывать — в Ново-Михайловке или еще глубже... Только так создадим впечатление

серьезного прорыва. Так я понял приказ, Бульбанюк? А назад по лесам мы всегда выйдем к Днепру. А если наши с фронта двинут, то и выходить не придется... Соединимся.

— Н-да! Золотая твоя ухарская голова,— неопределенно, но, казалось, слегка осуждающе проговорил Бульбанюк.— А ты как думаешь-размышляешь, капитан?

— Думаю, Орлов прав. Чем дальше в лес, тем больше дров,— ответил Ермаков полусерьезно.— Если же идти к флангу напрямик, вряд ли пройдем без дороги с орудиями.

— Н-да! — произнес Бульбанюк и долго не отвечал, покачиваясь в седле, точно заснул; потом выговорил тихо: — Ну, вроде поразмышляли. Вперед идем... Вот так. Вперед.— И, выпрямляясь, осторожно подал команду: — Под-тя-ни-ись, братцы!

— Подтянись! — прошелестело по колонне.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Приняв решение, Бульбанюк время от времени задерживал колонну, поджидал разведчиков. Связной от разведки коротко докладывал, что впереди пока спокойно; офицеры сдержанными голосами отдавали команды, подтягивали роты, и батальон опять двигался по узкой дороге, сжатой непроницаемой тьмой леса. Старший лейтенант Орлов, то объезжая роты, то вновь присоединяясь к голове батальона, забыв про зубы, развеселился, курил в рукав, вместе с запахом дыма тянуло от него сладковатым душком самогона.

— Знаешь, капитан,— говорил он шепотом,— Бульбанюк-то у нас странный тип. В санитарах — ни одной женщины. Были две — услал в полк, твердо убежден, что женщины мешают воевать! Говорят, у тебя, капитан, хорошенькая пепеже в батарее? Слухи верны?

— Если верить слухам, то ты пьяница, бабник и вообще пропащий человек,— сказал Ермаков.— Верить?

— Врут, стервецы! — проговорил зло Орлов и сплюнул.— Вот языки! Пропащий человек! Верно, войну я начал капитаном! Потом на Северо-Западном — плен, два побега и всякая штука. В Сталинграде воевал солдатом. Котельников брал лейтенантом. А Сумы — старшим лейтенантом. Ну а Берлин — подполковником,

пожалуй? — Он рассмеялся.— Земля крутанулась для меня в обратную сторону. Неясно, наверно?

— Почти ясно. Но не совсем.

— Полюбилась мне на Северо-Западном фронте одна девчушка. Была в моем батальоне... Девочка совсем. Санинструктор, Верочка. Из Ленинграда. Ну и вышла, понимаешь, неприятная история с одним адъютантом. Терпеть его не мог. Карьерист из молодых, с тепленькими глазами. Приезжает он как-то с приказом взять Верочку в дивизию... Та в слезы. А я сгоряча выскочил из землянки с ТТ. Выпустил бы в него обойму, если бы не командиры рот. Повисли на руках... Я говорю: «Ладно»,— отдал кому-то ТТ и раза два смазал адъютанта по морде. Ну а тот раздул историю... Не столько из-за Верочки избил эту тыловую амебу, сколько из-за того, что на подхалимских докладах делал карьеру на войне, стервец! Есть на войне, Ермаков, одна вещь, которую не прощаю: на чужой крови, на святом, брат, местечко делать! Ну а Верочку забыть не могу... Ох, стервецы, опять зуб! Я сейчас.

Орлов хлестнул коня, исчез где-то в глубине колонны, и Ермаков некоторое время ехал один, приотстав от Бульбанюка, качающегося впереди. Из сырой непроглядности леса, обступившего эту чужую, незнакомую дорогу, неясно, горько повеяло шершавой тревогой, и с тоской вспомнились ему холодные, вздрагивающие губы Шуры: «Тебя убьют». Он знал о том, что она любила его, пожалуй, больше, чем надо, и хотя понимал, что близость между ними была не очень серьезна, не чувствовал вины перед ней, не признавая на войне ложных образцов добродетели.

Когда снова подъехал Орлов, дыша самогоном, Борис спросил:

— Ну а как она?

— Она? — Орлов сразу не понял.— Кто она?

— Ну, Верочка,— грубовато напомнил Ермаков.

— Она? Меня разжаловали... а она... под крылышко к адъютанту...

— Сто-ой! — раздалась приглушенная команда спереди.

Оба одновременно припустили рысью лошадей и сейчас же остановили их перед группой всадников, загородивших дорогу. Луна встала над лесом, пронизывала чащу ледяным синим светом. Несколько пеших людей,

придерживая автоматы на груди, негромко и поочередно докладывали Бульбанюку, который, досадливо кряхтя, слез с лошади, потер замлевшие колени, с недовольством спросил, выпрямившись:

— Вы что тут меня успокаиваете? Сам слышу, что тихо! Вы мне всю деревню прощупайте, по домику! Ясно? А потом докладывайте! Давай, давай вперед!

Бульбанюк сердито посмотрел на луну, повернулся квадратной спиной к разведчикам, при лунном свете его лицо было зеленым, жестким. Разведчики прошли несколько метров бесшумными щупающими шагами, канули в чащу, угрюмую, сизо-дымчатую в своем жутковатом осеннем молчании.

— Разреши-ка мне с разведчиками? Все наизнанку выверну! — сказал Орлов обещающе.— Ну?

— Ты что? — спросил Бульбанюк и приблизил лицо к лицу Орлова.— З-зубы?

— Зубы, Бульбанюк,— виновато ответил Орлов.

— Я т-те покажу зубы,— внезапно рассвирепел Бульбанюк.— Марш к ротам! Развернуть роты в цепь. И вперед. Марш! Артиллерист! — Он обернулся к Ермакову.— Подтяни-ка орудия сюда. Быть наготове. Слезай. И — за мной. Коней оставить тут.

— Передать: орудия сюда! — приказал Ермаков по колонне и спрыгнул на землю, торопливо пошел следом за Бульбанюком.

Краем выплыв из-за деревьев, луна светила на дорогу, и в чаще угрюмо и тускло заблестели влажные стволы голых осин. Мертвенным металлическим светом был облит весь лес. Печалью, ощутимой утратой несло от шелеста листьев, от холодной накаленной луны, от черных теней заброшенной этой дороги. Куда вело все? Где был конец этой осенней ночи?

Не сказав друг другу ни слова, миновали кусты, увлажненные, нагие, и разом остановились.

Лес кончился... И впереди везде был этот беспокоящий лунный свет: в пустынных полях, в извивах латунно неподвижной реки, за темными стогами, на деревянном мостике и в мертвых стеклах тихой деревни, разбросанной за рекой. Не слышно было ни лая собак, ни скрипа колодца, не пахло дымом в студеном осеннем воздухе. Все цепенело, молчало под луной, и только стаей голодных мышей полз ветер в стерне.

— Вот она, Ново-Михайловка,— вполголоса произнес Бульбанюк.— Вот она. Нет, ничего не слышу... И ничего башкой не соображаю.— Сел на пенек, крепко потер двумя руками лицо, скривил губы.— Никого? А с кем воевать? Ну, братец ты мой, дела-а!..

Задумчиво играя кнутом, Ермаков вглядывался в безмолвные, холодные от лунного света поля, в эту безжизненную деревню, пусто отблескивающую стеклами, и, смутно ощущая тревогу странной этой тишины, спросил:

— Разведку подождем?

Через сорок минут разведка вернулась и сообщила, что Ново-Михайловка совершенно пуста, лишь в одной хате нашли полуслепую, лет под восемьдесят старуху, которая ничего толком не понимала, ничего не могла объяснить, плакала, ползала по хате и все искала какую-то Тасю, и осторожный Бульбанюк после мучительного раздумья отдал приказ: занять деревню.

Батальон вошел в Ново-Михайловку.

Луна вольно и светло заливала пустынные улицы, сквозные, заброшенные сады, беленькую церковку, огромный парк на окраине деревни; в глубине его виднелось здание с железной синеющей крышей.

Ермаков вел орудия в растянутой колонне первой роты. Посреди Ново-Михайловки, на перекрестке дорог, рота задержалась, послышались невнятные голоса, и колонна стала обтекать что-то широкое, угольно-черное. Ермаков подъехал ближе. На перекрестке тяжело и прочно стоял немецкий танк, верхний люк был открыт, из него слабой полосой струился электрический свет. На броне борта опасно лежали четыре железные лепешки — мины. Двое солдат, взобравшись на танк, с интересом заглядывали в башенный люк, переговаривались:

— Как это он его оставил? Целехонький...

Один смело отодвинул ногой мину, выбил каблуками дробь, крикнул сверху:

— А ну, ребя, кто есть шофера? Садись! Там бутылок вагон и маленькая тележка! Легко воюют!

Было нечто лихое, бездумное в этом веселье, и засмеялась пехота, но тотчас кто-то, вздохнув, сказал: «Дуришь, Матвеев»,— и тогда пожилой лейтенант-пехотинец решительно скомандовал:

— Все от танка!

Ермаков вернулся к орудиям с обострившимся ощущением неопределенности: очевидно, чувство это испытывали теперь многие. С усилием он пытался заставить себя думать, что все идет хорошо, все идет как надо, но беспокойство не проходило.

Бульбанюк расположил штаб батальона в просторном, окруженном пристройками белом доме липового парка. Здесь до войны, по-видимому, была школа. Роты окапывались на окраинах. Ермаков приказал установить орудия в конце аллеи, зарыться в землю, затем долго ходил по скату холма, глядел на смутную громаду леса, где должен быть правый фланг немецкой обороны и которого словно бы не было.

Штаб батальона занял самую большую комнату в доме. Тут было накурено и людно. На столе бесшумно горели синими огнями немецкие плошки, четко повторялись во множестве зеркал, блестевших на стенах. Ермаков удивился, увидя себя наперекрест отраженным в этих льдистых провалах зеркал, которые были, вероятно, собраны сюда со всей деревни. Перчатки, черные и узкие, по виду женские, затоптанные валялись в углу. Там, около двух ящиков, среди хаотично разбросанных яркокрасочных обложек журналов и тоненьких книг, выстроились на полу ряды пустых бутылок.

Сквозь махорочный дым слабо пахло духами и чем-то еще — чужим, сладковатым, конфетным.

«Публичный дом, что ли, тут был?» — определил Ермаков и, встретив понимающий веселый взгляд Орлова, сел на ящик, который был распечатан: под разорванным целлофаном загадочно мерцало, тускло переливалось. Хмурясь, Борис достал оттуда новенький Железный крест, подбросил на ладони, подумал: «Был штаб или что-нибудь в этом роде»,— поднял глаза и увидел в зеркалах брезгливое лицо Бульбанюка, читающего какие-то бумаги.

— Вот дармоеды! На русском языке пишут! — густо проговорил Бульбанюк и, вдвое сложив, крепкими пальцами порвал бумагу.— Все собрались?

— Все, все,— оживленно сказал Орлов, подвигая к себе красочный журнал на столе.

В комнате уже стало душно. Здесь собрались командиры рот, молоденький офицер-корректировщик из артполка, молчаливый минометчик-лейтенант в очках, радист, штабные телефонисты — кто искоса, кто мрачно, но

все неспокойно оглядывались на зеркала. Было такое чувство, что все обнажено вокруг, что ничего не скроешь в этой раздевающей людей комнате, и пожилой, грязно обросший щетиной пехотный лейтенант с наигранной решительностью сказал:

— И выбрали же вы штаб, Орлов! Как баня!

— Как без штанов стоишь! Верно? — излишне громко отозвался Ермаков, чувствуя пошлость этой остроты, но понимая, что надо как-нибудь разрядить обстановку для всех, в том числе и для самого себя.

Бульбанюк сурово посмотрел на Орлова, никак не обратившего на слова лейтенанта внимания, но ничего не сказал ему, в раздумье кивнул командирам рот:

— Коротко. Думаю так. Пока разведка окрест леса прощупает, малость передохнем. Нащупают немца или не нащупают, через часок двинем на север, во фланг немецкой обороне. Завяжем бой. Всё. Вопросы есть?

Вопросов не было.

— Можно идти. По ротам. Приказания через связных.

По-прежнему оглядываясь на зеркала, командиры рот молча начали выходить. Вышли и связные в другую комнату. Стало тихо и пусто. И тогда Ермаков ясно понял, почему угнетала всех и его самого эта неопределенность положения. Батальон искал боя, а боя не было. И это было самое страшное, что могло быть на войне.

Бульбанюк сидел неподвижно, сжав кулаки на столе, тяжелым взглядом глядел перед собой. Он не замечал ни зеркал, ни телефонистов, ни курившего рядом Ермакова, думал о чем-то своем. А Орлов снял фуражку, щуря нестерпимо зеленые глаза, довольный, провел рукой по цыганским, колечками, волосам и, листая журнал, фыркнул, одна опухшая щека смешно скосилась.

— Стервецы,— сказал он,— одни голые бабы! Тьфу, чтоб тебя черти съели!

Но журнал долистал до конца, заложил руку за шею, с хрустом потянулся, выдохнул воздух: п-х-х-ха, так, что замигали огни плошек. Затем, вроде от нечего делать, лениво взял какой-то листок на столе, поднял красивые брови, поманил Ермакова пальцем:

— Посмотри-ка...

Тот взглянул. На ватмане карандашом была нарисована хорошенькая женская головка — большие внимательные зрачки, нежный, невинный подбородок, полные,

как бы обиженно и недоуменно полуоткрытые губы. Внизу наискось — тонким почерком: «Генька!! Помни 21 августа!!!» Ермаков долго рассматривал косую подпись, стараясь понять смысл всего этого, и вяло спросил Бульбанюка:

— Видели?

Словно очнувшись, Бульбанюк неприязненно покосился на рисунок, перевел узкие глаза на Орлова, замедленно сказал:

— Вот так, начальник штаба, передай командирам рот: удвоить посты. Никому не спать. Ни одному человеку не спать.

И кулаком несильно стукнул по столу, зеркала вокруг согласно повторили это движение.

— Передам,— лениво сказал Орлов и подмигнул Ермакову.

Он подошел к окну, начал перебирать бутылки, аккуратно читая этикетки, с разочарованным выражением понюхал горлышко пустой фляги.

— Хороший коньяк пьют, сапоги!

Ермаков, сунув руки в карманы, ходил по комнате, от зеркала к зеркалу, из головы не выходило: «Генька!! Помни 21 августа!!!» И то ли оттого, что в зеркалах он все время встречал бесшабашно прищуренный взгляд Орлова, этот Генька, которого он хотел представить себе, вдруг показался ему внешне похожим на Орлова — злой, гибкий, с такими же нестерпимо зелеными, отчаянными, готовыми ко всему глазами.

— Пойду к орудиям,— сказал Ермаков и надвинул плотнее фуражку.

— Давай,— не шевелясь, ответил Бульбанюк.— Часовых удвой.

Ночь была на переломе — луна еще сияла за деревьями, над тихой деревней, а в побледневшем небе звезды сгрудились в высоте и казались светлыми туманными колодцами. Парк сухо скребся оголенными ветвями, шумел предутренним ветром — свежо, влажно потянуло с низин.

В конце парка Бориса настороженно окликнули:

— Стой! Кто идет?

— Свои.

— Кто свои? — испуганно и грозно взвился голос.

— Капитан Ермаков.

— А-а,— облегченно произнес часовой.

Ермаков подошел к первому орудию — запахло сырой землей. Орудие стояло на чернеющей среди холма вырытой огневой позиции, станины раздвинуты, орудийный расчет маскировал брустверы; справа и слева чуть слышно скрежетали лопаты — копали ровики. Работали в молчании. Часовой проводил Ермакова до огневой, зашептал в темень кустов: «Лейтенант, лейтенант»,— и тут же отошел, исчез за спиной.

Лейтенант Прошин встретил его возбужденный, отвел в сторону, отрывисто заговорил:

— Ничего не понятно, товарищ капитан. Какие-то люди шляются. По дороге внизу... и здесь...

— Какие люди?

— Минут десять назад какие-то двое прошли. Часовой остановил: «Кто идет?» Отвечают: «Свои». Подошли. С фонариками. Посмотрели. «Окапываетесь? Где офицер?» Я говорю: «В чем дело?» Один спрашивает: «Где ваш сектор обстрела?» Я спрашиваю: «Кто вы такие?» Другой отвечает: «Я командир третьего батальона, не узнаете?» И наседает: «Где сектор обстрела, лейтенант? Мне пехоту закапывать нужно». Я ответил, что сектор обстрела еще неизвестен. А он засмеялся: «Эх вы, пушкачи — прощай, родина!» — и пошли вниз. Командир третьего батальона...

— Мальчишка! — с таким внезапным гневом сквозь зубы проговорил Ермаков, что Прошин отшатнулся даже.— Никакого третьего батальона здесь нет! Вы поняли? Здесь есть один командир батальона Бульбанюк. Вам ясно? Рас-те-ря-лись! Эх вы!.. Черт бы вас взял совсем!

— Я думал...— пролепетал Прошин заикающимся голосом.— Потом думал, что...

— Ничего вы не думали! — со злостью оборвал Ермаков.— Дали бы им в спину автоматную очередь, если не хватило смелости задержать живыми, вот тогда бы вы думали! Почему не сообщили сразу? Витьковского послали бы за мной! Где он, Витьковский?

— У второго орудия.

— Где вы видели людей на дороге?

— Вон там.

— Никого не вижу!

— Сейчас там никого... нет... Что это? Слышите?

Вдруг красный неопределенный свет возник в небе где-то над парком, и Ермаков отчетливо увидел бледное лицо Прошина и замерших с пучками веток солдат на огневой позиции. Все смотрели. Ракета, как бы сигналя кому-то, описала дугу и упала, затухая, в дальнем конце парка. Сразу нависла тишина... Откуда ракета? Чья? И тотчас вторая ракета стремительно взвилась уже впереди, над лесом, откуда пришел батальон, и пышно рассыпалась в полях. Искры угасли в сомкнувшейся темноте, и снова навалилась тугая тишина.

— Немцы? — шепотом выдавил Прошин и быстро повернул голову туда, где слева всплыла уже третья ракета.

— Да, это немцы,— сказал Ермаков.— Колечко видите? Они...

Он не договорил. Кто-то, задыхаясь, бежал по скату холма, цеплялся за кусты, издали звал нетерпеливо и хрипло:

— Лейтенант! Лейтенант!..

— Ты, Жорка? — крикнул Ермаков.

— Товарищ капитан... фрицы!..

— Быстро в штаб к Бульбанюку!

— Товарищ капитан...

— В штаб! Молнией!

Впереди, с околицы, ударили крупнокалиберные пулеметы, белые трассы хлестнули над головой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Эта маленькая полоска земли на правом берегу Днепра, напротив острова, называлась в сводках дивизии плацдармом, в разговорах штабных операторов — трамплином, необходимым для развертывания дальнейшего наступления. Кроме того, в донесениях из штаба дивизии Иверзева неоднократно сообщалось, что плацдарм этот прочно и героически держится, перечислялось количество немецких контратак, количество подбитых танков и орудий, число убитых гитлеровских солдат и офицеров и доводилось до сведения высшего командования, что наши войска концентрируются и группируются в районе острова, на узкой, расширяемой полосе правобережья, и готовятся панести удар. С конца прошлой ночи наступило неожиданное затишье, а известно, что в состоянии

вынужденных передышек высшие штабы требуют донесений более подробных, чем в период наступления, и в сообщениях из дивизии все выглядело на плацдарме чересчур планомерно...

Здесь же, в батарее старшего лейтенанта Кондратьева и в роте капитана Верзилина, точнее, в расчетах двух уцелевших орудий и в двух оставшихся после переправы стрелковых взводах, ждали и закапывались в землю. Узенькая — на две сотни метров — ленточка плацдарма тянулась по высокому берегу Днепра, днем просматривалась немцами и простреливалась с трех сторон, ночью ракеты падали и догорали в нескольких шагах от огневой позиции батареи.

Две землянки, похожие на большие норы, были выкопаны артиллеристами в отвесном обрыве; вырубленные в земле ступени вели наверх, к орудиям. Днем там лежал один часовой, ночью — два. Здесь, на бугре, орудия были глубоко врыты, стояли без щитов, накрытые камуфляжными плащ-палатками; ниши по бровку набиты снарядными ящиками, что удалось за ночь переправить сюда.

В ясный голубой день, засиявший над Днепром после ночной переправы, артиллеристы грелись на песке возле землянки; усталые, наслаждались осенним солнцем.

Старший лейтенант Кондратьев поеживался в несвежей нижней рубахе, неумело и конфузясь пришивал подворотничок к пропотевшей гимнастерке. Изредка он поглядывал на левый берег. Густо-синяя широта Днепра, облитая солнцем, песчаный остров, желтые леса, белые дороги на далеких холмах за лесами — все это, как в бинокль, на много километров было видно отсюда. Там, на белых дорогах, нечасто появлялись повозки, ползли в пыли, и тотчас со стороны немцев глухо ударяла батарея. Черные кусты разрывов вырастали на холмах, застилали на миг дорогу. Стараясь выбраться из этих кустов, повозки мчались, неслись вскачь, круто забирая в гору, и тогда у всех возникало острое чувство любопытства: накроет или не накроет?

Один раз повозку все-таки накрыло: на том месте, где была лошадь, образовался бугор. Маленький человек соскочил на дорогу и, петляя, побежал в сторону и вверх. И, как в укрытие, вбежал в черный куст разрыва. Больше по нему не стреляли.

Сержант Кравчук, держа на весу ногу и плотно, сильно наматывая на нее чистую портянку, сказал с осуждением:

— Эх и дураки бывают братья славяне. Все пристреляно, а он лезет. Чего лезет? Стороной объехать нельзя? Немец не полез бы...

— Глупая привычка — авось,— сказал Кондратьев и провел пальцами по влажному лбу.— Да, да...

Он покашливал, то зяб, то бросало в пот: простыл все же, когда немцы искупали в Днепре в ту первую ночь неудачной переправы.

Разыгравшееся осеннее солнце было тепло, ласково, он чувствовал это, но оно не согревало его всего: голове было горячо, спине холодно. Глубоко тыкая иголку в подворотничок — пальцы не слушались,— Кондратьев удивлялся и сердился даже: всю войну не болел, а тут вот на̀ тебе, чепуха какая!..

— А ты не торопись. Сказал, будут у тебя часы,— послышался спокойный, уверительный голос.

Шагах в трех от Кондратьева — головами друг к другу — лежали на плащ-палатке наводчик Елютин и подносчик снарядов Лузанчиков, худенький, с золотистым пухом на щеках. Как всегда, Елютин возился, чинил очередные часы: прищурив внимательно глаз, крутил острием перочинного ножа в разобранном механизме. А Лузанчиков глядел на сияющие колесики, на косматое солнце, на песчаный остров за Днепром, потом засмеялся и подул на светлые волосы Елютина. Тот, не поднимая головы, спросил:

— Это что же такое?

— Паутина,— сказал Лузанчиков.— Вон смотрите, на волосах. С деревьев тянется.

Елютин поднял голову. На берегу, среди синего неба, стояли, светясь каждым листом, рыжие осины, и оттуда, посверкивая тончайшими нитями, тянулась в чистом воздухе паутина.

— Действительно,— сказал Елютин удивленно.— Ну ладно, ты вот что. Давай помогай, без всяких глупостей. Или проваливай. И все. Тебя ничего не интересует. Ты как дрозд, Лузанчиков. Все видишь, а на одном не можешь внимания держать.

— А вот интересно: солнце, деревья, а птиц нет. Даже синиц. Почему?

— Перепугали синиц,— мягко сказал Кондратьев.

— Проваливай! — проговорил Елютин сердито.— От тебя толку не будет.

— Нет, я буду вам помогать! — взмолился Лузанчиков.— Честное слово...

— Пусть,— вмешался Кондратьев и улыбнулся виновато.— Что вы на него сердитесь? Паутина — тоже отличная штука.

Елютин был ленинградец, часовых дел мастер, золотые руки, золотая голова. Если сам Кондратьев, филолог по образованию, стал многое забывать, что когда-то очень любил, и теперь уже, казалось, жил одной войной, то Елютин, парень с шестиклассным образованием, как будто едва вдавался в логику военных событий,— ежедневно руки его были в знакомой работе.

В обороне почти весь полк сносил к нему немецкие, швейцарские и наши старенькие, случайно и не совсем случайно найденные механизмы, и каждый с радостным удовольствием уходил, чувствуя ожившие часики на руке. Не ремонтировал Елютин и отказывался чинить только тогда, когда приносили к нему часы карманные. Был случай: он наладил и выверил прекрасный трофейный «Мозер» для Кондратьева, тот подарил его лейтенанту из полковой разведки, а через неделю лейтенант погиб — разорвалась мина, раздробила карманные часы, и осколки механизма загнало в живот. Узнав об этом, Елютин несколько дней ни с кем не разговаривал, пролежал в землянке, отвернувшись к стене, и наотрез отказывался работать. Поэтому, не забывая роковой случай, Кондратьев порой чувствовал себя неловко перед ним.

Кондратьева знобило. Вздрагивающими пальцами он разгладил неровно пришитый черными нитками подворотничок, озябнув, натянул гимнастерку, застегнул воротник на исхудавшей шее.

— Смотри-ка, смотри-ка, товарищ старший лейтенант! Опять какой-то славянин лезет! — закричал Кравчук с досадой.— Соображает?..

Тотчас раздался сдвоенный взрыв. Будто что-то гулко лопнуло около ушей.

Кондратьев увидел холодную синь Днепра, на ней далекую песчаную желтизну острова. Там, отрываясь от желтизны, засновала на воде лодка, замелькали весла. Возле ушей Кондратьева снова оглушительно лопнуло, и рядом с лодкой вырос столб воды. Стрелял немецкий

танк. Он стрелял где-то слева, на высоте, и так близко, что было ощущение, словно в двух шагах рвались ручные гранаты. Лодка кормой пошла к берегу, ткнулась в песок, из нее выскочили двое, побежали к кустам. Сейчас же в той стороне, где прямой наводкой стрелял танк, заскрипел, заиграл шестиствольный миномет. Разрывы легли в середине острова, над вершинами деревьев пополз дым. А остров кишел людьми.

— Похоже, наш старшина хотел переправиться,— сказал без улыбки Кравчук.— Ночью, видишь, темно, а днем все удобства: солнышко печет, танки стреляют. Благодать!

— Вечная история,— сказал Деревянко,— дрожит, аж листья падают. Ну, что ты скажешь, Бобков?

Бобков, сидя на солнцепеке, в шинели, накинутой на голое тело — видна была просторная грудь,— старательно проверял швы нательной рубахи, говоря:

— Капитана нет, этот бы начесал старшине. На одной ноге вертелся бы. А то отъел морду — об лоб поросенка убить можно... Нашего-то он не особенно боится. На шею сел. Оседлал.

Сказал это веско, но вроде бы между прочим, занятый важной солдатской работой, и Кондратьев, услышав, сконфуженно нахмурил болевший лоб.

Снизу по берегу Днепра поднималась Шура с полотенцем, по-мирному перекинутым через плечо. Влажные волосы у маленького розового уха золотисто светились на солнце. Чистоплотно белел свежий подворотничок на тонкой шее; на погонах гимнастерки, плотно сжатой в талии офицерским ремнем и обтянутой на бедрах, блестели капли. Взглянула из-под мокрых ресниц на Кондратьева, серые глаза ясно прозрачны после ледяной воды, сказала:

— Батюшки, какая неловкость! Разве так пришивают подворотничок? И черными нитками насквозь. Снимайте-ка.

Она не засмеялась, не пошутила, с серьезной бесцеремонностью начала расстегивать пуговицы на груди Кондратьева; от глаз ее и от волос, мнилось, веяло непорочной свежестью. Он беспомощно оглянулся на солдат, дрожа в ознобе, легонько отстранил ее показавшиеся очень холодными пальцы.

— Не надо. Прекрасно пришит.— И, покашляв, забормотал: — Вы купались? В такой холод?

Шура, сдвинув брови, кинула вызывающий взгляд на Кравчука; он смотрел на нее пренебрежительно и ревниво.

— Подворотничок, конечно, чепуха, — сказала Шура.— И так сойдет. А вот полежать бы вам надо, товарищ старший лейтенант. А впрочем, может, и это сойдет.

— Нет, пожалуй, я пойду. Полежу, правда,— торопливо проговорил Кондратьев, зябко ссутулясь, и направился к землянке.

Он боялся и стеснялся Шуры, особенно при солдатах, стеснялся ее внимания к себе, своей грязной нижней рубахи и, чувствуя эту физическую собственную нечистоту, боялся ее женских упругих бедер, белой шеи, ее высокой маленькой груди, облитой гимнастеркой, ее внешней девственной чистоты и легкой вызывающей доступности.

— А мне подворотничок не подошьешь? — спросил Кравчук Шуру значительно-осторожно.— Я с охотой!..

— Давай уж! — сердито сказала Шура.

— Вот-вот, без охоты, вижу,— проговорил Кравчук.— Сам пришью.— И неожиданно спросил, криво усмехаясь: — К Кондратьеву липнешь? Быстро капитана забыла. Эх ты!

— Что ты понимаешь, свекровь несчастная? — живо сказала Шура и, покачивая бедрами, стала подыматься к землянкам вслед за Кондратьевым.

— Зачем ты пристал к ней? — заметил Елютин миролюбиво.

— Верно,— произнес Бобков с тяжеловесной защитой.— Ей тут среди нас тоже не мед. И не наше дело ей советовать.

— Капитана жалко,— ответил Кравчук, тоскливо глядя Шуре в спину.

Кондратьев между тем подошел к своей землянке, вырытой на берегу,— соблюдая субординацию, Кравчук приказал отрыть ее отдельно,— и тут же увидел в дверях соседней землянки телефониста Грачева.

— Товарищ старший лейтенант, к телефону!..

— Кто?

— Полковник Гуляев! Немедленно!

В землянке расчета, на ворохах листьев, укрывшись шинелями с головой, упоенно храпело несколько солдат: отсыпались после беспокойной ночи. Связист Грачев,

присев на корточки у телефонного аппарата, вежливо подул в трубку.

— Товарищ четвертый, шестой здесь. Передаю.

Кондратьев взял нагретую трубку, покашлял от волнения.

— Кто это там кашляет? — строго произнес отдаленный голос полковника Гуляева.— Ты говори, а не кашляй. Как дела? Почему редко докладываешь?

— Все в порядке пока, товарищ четвертый.

— Не верю. Харчей нет? Жрать нечего? Докладывай!

Кондратьев только кашлянул тихо.

— Опять кашляешь? Говори, нет харчей? Что ты, ей-богу, как барышня кисейная? Спишь никак?

— Нет,— сказал Кондратьев.

— Потерпите! Ночью буду сам. И не один. Старшину вашего... этого... как его... Цыгичко... вплавь погоню. К чертовой матери!

— Плавать он не умеет, товарищ четвертый,— слабо улыбнулся Кондратьев

— Не переплывет — туда ему и дорога! Теперь вот что. Здесь все готово. Слышишь, шестой! Сам поймешь. Ночью папиросники и самоварники у тебя будут. С линией. Сейчас, главное, точки замечай. Заноси. Используй день. Понял, голубчик?

— Понял, товарищ четвертый.

— Ну, то-то. Действуй!

Все понял Кондратьев из этого разговора: и то, что ночью готовились переправа и прорыв; и то, что ночью прибудут артиллеристы и минометчики со связью от левобережных батарей и что занести надо в схему огня цели, которые можно заметить отсюда.

Кондратьев поднялся по вырубленным земляным ступеням на самую высоту берега, скользнул, пригнувшись, в траншею. В десяти шагах справа, в конце кустарника, стояли орудия, приведенные к бою. Солнечно было здесь, на высоте, и тихо. Часовой, разнежась в тепле, лежал на бровке и, свесив голову, прислушивался к чужому разговору в ровике. Ровик этот соединялся с ходами сообщения пехоты, был глубоко вырыт в виде тупого угла для удобного обзора. Командир взвода управления, младший лейтенант Сухоплюев, необычайно большого роста, в куцей телогрейке, горбился подле стереотрубы — отросшие каштановые волосы спадали на воротник, — прогудел юношеским баском:

— Кто там?

И как бы нехотя обернулся, длинное молодое лицо ничего не отразило; был он сдержан, чуть высокомерен, никогда не улыбался никому.

— Наблюдаете? — спросил Кондратьев, закашлявшись.— Тихо?

— Не особенно.— Сухоплюев вынул кисет, сосредоточенно по сгибу оторвал полоску бумаги от свернутой книжечкой немецкой листовки, что разбрасывали самолеты ночью.

Впереди, метров на двести, шло голое, без кустарника, поле, покатое к немцам, и там, где подымалось оно, темнела еловая посадка. На краю ее четко видны были навалы первых немецких траншей, и в одном месте, как вспышки, летели прямо из земли комья: копали что-то. Немец в зеленом френче, застегивая брюки, шел вдоль посадки, не пригибаясь, во весь рост: с нашей стороны по нему не стреляли. Дошагал до того места, где копали, поглядел в нашу сторону и спрыгнул в траншею. Левее посадки начиналась дорога — желтела, извиваясь до леса, скрывавшего Ново-Михайловку и Белохатку.

По дороге этой, вздымая пыль, на рыси неслись четыре немецкие орудийные упряжки. Они приблизились, четче стали видны тяжелые короткохвостые першероны, немцы, муравьями облепившие станины. Упряжки скрылись за елями, а мгла пыли долго висела над дорогой. Потом в кустах посадки появилось одно приземистое, с обтекаемым щитом орудие, уже без упряжки. Немцы на руках выкатывали его позади траншей; трое отошли к деревьям, начали рубить штыками ветки, закидывать ими орудие. Никто не стрелял по ним.

Кондратьев сел на дно окопа, попросил:

— Дайте, пожалуйста, схему огня.

На каллиграфически вычерченной Сухоплюевым схеме Кондратьев увидел аккуратно обозначенные линии немецких траншей, пулеметные точки, танки в еловой посадке, минометные батареи в овраге за дорогой; он вынул карандаш и отметил на схеме немецкое орудие. Рука Кондратьева дрожала, карандаш порвал бумагу.

— Вы мне схему испортили! — вдруг вытаращил на Кондратьева молодые независимые глаза Сухоплюев.— Сказали бы, сам сделал! Хоть все снова перечерчивай! — И, отобрав схему, принялся стирать резинкой.

Кондратьев забормотал сконфуженно:

— Пожалуйста, не сердитесь. Только что звонил полковник Гуляев...

И, не сдерживая стук зубов, сутулясь и засовывая руки в рукава шинели, он передал суть недавнего разговора со штабом полка.

— Что это вы? Холодно вам? Или нервы? — насторожился Сухоплюев.

— Шут его разберет, немножко есть. Вы до Ново-Михайловки и Белохатки по карте точно прицел вычислите. Ночью там начнется. Мы поддерживаем. Все решится ночью...

— Что-то с вами не в порядке,— подозрительно сказал Сухоплюев.

— В самом деле ерунда собачья,— ответил Кондратьев и встал.— Ну, я пойду... Ночью все решится...

Кондратьев лежал в землянке, не сняв шинели, на ворохах листьев, укрывшись с головой брезентом. Голова горела, его знобило, была жаркая сухость во рту, и особенно нестерпимо хотелось пить, но он не мог сделать над собой усилие, открыть глаза, встать. «Сейчас, я сейчас,— думал он,— вот сейчас я встану, найду флягу и напьюсь... Вот только полежу немного...» И непонятно было то, что за землянкой с последней ярой силой светило октябрьское солнце и солдаты грелись, скинув шинели, разувшись, сидели на солнцепеке.

Голоса какие-то. Смех. Тишина. И опять голоса. О чем там можно говорить? Молчать, молчать... Надо ждать ночи. Ночью все решится... Где капитан Ермаков? Где Шура? Кравчук где? Подготовить цели. Ночью? Какая чепуха! Как приятно бездумно лететь в густую и, как пух, невесомую темноту... Напиться бы, только воды напиться, и все будет хорошо... Холодной, ледяной воды, ломящей зубы...

Освещенный огнями вестибюль метро. Из подъезда валит желтый пар, морозный, клубящийся, пронизанный огнями. Люди спешат, бегут в мохнато заснеженных пальто с поднятыми воротниками, вокруг чудесно скрипит снег. И везде ощущение праздника, ожидание радости. И смех другой — счастливый, влюбленный. Новый год, наверное? Он ждет Зину в вестибюле Арбатского метро, милую худенькую Зину с бирюзовым колечком на среднем пальце и детской привычкой растягивать слова. Лицо у нее юное, серьги ласково сверкают в нежных мочках ушей, глаза, темно-серые, спокойные, улыбаются

ему, а носок опушенного мехом ботинка на сильной ноге нервно старается продавить льдинку на тротуаре. И он тоже каблуком давит этот ледок...

«Встать, встать... напиться бы... Несколько бы глотков... В жизни бывает так: можно любить, в сущности, чужую тебе женщину, много лет любить... Но за что я любил ее?»

— Милый, милый! Какая же я Зина? Да разве так согреешься!

Кто-то расстегивал на его груди шинель, провел мягко ищущими пальцами по лицу, и Кондратьев, в жару, чувствуя горячую влагу слез в горле, смутно и радостно отдаваясь этим рукам, подумал: «Кто же ее привел сюда? Зачем она здесь?»

— Выпей это. Жар пройдет. Ну вот, молодец. Просто молодец. Бе-едный мой!..

Чьи-то руки обвили его шею, и тотчас упругое тело прижалось к нему, и губы, прохладные, легкие, коснулись его подбородка, и голос, знакомый, близкий, растягивал слова:

— Бе-едный мой, Сере-ежа, скоро все пройдет... Ты обними меня.

Он вдруг очнулся от этого голоса.

Темно было и влажно, пахло осенними листьями, и лиловая узенькая стрела света пробивалась сквозь плащ-палатку, завесившую выход, остро рассекала потемки.

— Это ты? — ослабленным голосом спросил он.— Неужели это ты?

— Это я... Лежи, лежи, прижмись ко мне, Сережа,— прошелестел над ним быстрый, успокаивающий шепот.— Я с тобой буду. С тобой...

А он все не мог согреться, боясь обнять Шуру, робко целуя ее пальцы.

— Милая, чудесная,— шептал Кондратьев, стуча от озноба зубами.— Зачем это? Добрая... Чудесная... А как же Борис?..

Она крепче прижалась к нему грудью, гладя его щеки, его шею.

— Он не любит меня, Сережа. Разве он меня любит? Всю душу без слез по нему выплакала... а с тобой спокойно... Как с ребенком... Бедный ты мой. Ты кого-нибудь любил?

— Не знаю...

— Ну, совсем как ребенок...

Бред это был или явь? Она растягивала слова, как Зина, было тесно, жарко, он не видел лица Шуры, выражения ее глаз, а она с торопливой нежностью ласкала его, и от близости с этой женщиной хотелось ему плакать и говорить что-то разрывающее душу, чего невозможно было сказать...

— Ты чудесная, чудесная... Чистая...— шептал он, благодарно целуя ее ладонь.— Ты удивительная, прекрасная...

— Тебе сколько лет? — спросила она.

— Двадцать три.

— Неужели ты никого не любил?..

Он уснул. А она, посидев немного возле него, вышла из землянки. Ни одного солдата не было вокруг. Стояла вечерняя тишина. Весь Днепр был оранжевым, накаленный закат на половину неба горел, подымался над берегом, и вычерчивалась там черная паутина застывших в этом свете ветвей.

Вдруг, со свистом вынырнув из заката, низко над водой пронеслись два «мессершмитта», вонзаясь в лиловый воздух над лесами. Там застучали зенитные пулеметы и рассыпались в небе трассы. А Шуре было горько и нежно.

Глубокой ночью Кондратьева разбудили. В теплую землянку ворвался холод, стук пулеметов, отсвет ракет, плащ-палатка со входа была сдернута. Кондратьев лежал в обильном поту, все тело болезненно расслаблено.

Голос Бобкова кричал в землянку:

— Вас срочно к полковнику Гуляеву! На НП. Товарищ старший лейтенант!..

— Прибыл? — еще ничего не понимая, хрипло спросил Кондратьев и вылез из землянки.

Правый берег и Днепр внизу освещались ракетами, над головой проносились трассы.

— Только что! Заваруха была! Неужто не слышали? Так спали? — прокричал сквозь дробь пулеметов Бобков.

Кондратьев, смущенный, спросил негромко:

— Где Шура? Не знаете?

Бобков ответил:

— А офицера одного при переправе ранило. Так она с ним,— и показал куда-то вниз.

Вместе с Бобковым поднимаясь к орудиям, покачиваясь от слабости, Кондратьев с замиранием сердца думал о недавнем бредовом счастье (было ли оно?), и не хотелось верить ни в щелканье пуль о стволы сосен, ни в частые взлеты ракет на берегу, ни в близкий треск пулеметов.

Но в первой же траншее пришлось пригнуться так, что железный крючок шинели впился в горло, головы поднять было нельзя. Проходя мимо орудий, он увидел при свете ракет, что расчеты лежат на земле и снарядные ящики раскрыты. В ровике осторожно звенели ложки о котелки: по-видимому, старшина прибыл.

Глубокий окоп НП младшего лейтенанта Сухоплюева был тесно набит знакомыми и незнакомыми артиллерийскими офицерами. Все они, возбужденные недавней переправой и чувством опасности, почти в голос переговаривались между собой, жадно курили в рукав. Двое радистов монотонно отсчитывали — настраивали рации.

Полковник Гуляев, грузно расставив ноги, стоял посреди окопа, лица не было видно, надвинутый на лоб мокрый козырек фуражки зажигался розовыми шариками — отблесками ракет.

— Спали? — с угрозой спросил он Кондратьева.— Царство небесное проспишь! Санинструктор сказала: ты болен. Болен? Что?

— Был немного. Сейчас лучше.

— Смотри сюда! — Полковник вытолкнул откуда-то из глубины окопа оробелого Цыгичко, проговорил: — Этого вояку на твое усмотрение. Хочешь — казни, хочешь — милуй... Он тебя накормит, сукин сын!

— Вы что же, Цыгичко? — тихо спросил Кондратьев.— Как вам не совестно?

И старшина, весь съеживаясь, вобрав голову в плечи, нелепый в кургузой кондратьевской шинели, испуганно забормотал:

— Не мог, товарищ старший лейтенант... Я ж тоже под огнем был. С саперами был. Вчерась ночью. Вы же знаете, товарищ старший лейтенант...

— Не мог? А люди могли быть сутки голодными? А, братец ты мой? — выговорил Гуляев резко.— В пехоту! В роту Верзилина. Как раз у него мало людей. Верзилин! — крикнул он через плечо.— Зачислить старшину Цыгичко рядовым в роту! И дать ему винтовку, сукину сыну!

И тотчас из глубины окопа ответили:

— Слушаюсь, товарищ полковник.

Цыгичко тяжело, словно его сзади ударили по ногам, качнулся к Кондратьеву, схватился двумя руками за полу его шинели.

— Не виноват я, не виноват... Щоб я детей своих не бачил...

— Э-э, голубчик, у всех дети! — грубовато сказал Гуляев.

— Что вы, что вы? Как не стыдно! — растерянно заговорил Кондратьев, неловко пытаясь отнять руки старшины, но пальцы Цыгичко вцепились в его полу и точно закаменели.— Товарищ полковник... Я прошу. На мою ответственность...

Полковник Гуляев, брезгливо поморщась, повысил голос:

— Марш в роту, Цыгичко! Кто вы, мужчина, советский солдат? Или старая баба? Капитан Верзилин, проведи-ка воина в роту!

Не обращая более внимания на Цыгичко, полковник Гуляев уже смотрел на ярко озаряемую ракетами полосу еловой посадки; артиллерийские офицеры, присев под плащом и светя фонариком, стали разглядывать схему огня. А Кондратьев не мог успокоиться, сворачивал самокрутку, пальцы не слушались, и хотелось сказать какую-то резкость, заявить о никому не нужном на войне самодурстве, однако вместе с тем он понимал, что не скажет этого. И все же Кондратьев сказал, преодолевая хрипотцу в голосе:

— Вы напрасно, товарищ полковник. Он ведь не хотел...

— Слушай, комбат! — жестко перебил Гуляев.— Дело идет о судьбе наступления, а ты мне голову морочишь сантиментами! Постреляет из винтовки, в атаку походит, сухарики погрызет, поймет, что такое война, на своей шкуре. Так вот что. Максимов уже завязал бой. Полчаса назад. Выбрось чепуху из головы и слушай!

Только сейчас сквозь бесконечное шитье близких пулеметов, сквозь хлопки и щелканье немецких ракет слева и впереди Кондратьев услышал, как из-за тридевяти земель, отдаленные, глухие, неровно пульсирующие раскаты. Началось?.. Там — началось?..

— Радист, связь! Связь с батальонами! — крикнул Гуляев.— Что у вас, рация или ночной горшок?

— «Ромашка», «Ромашка», «Ромашка»... Плохо слышу... Плохо слышу...— речитативом доносился голос радиста.— Плохо слышу... Плохо слышу...

Все замолчали в окопе. С визгом проносились пулеметные очереди над головой.

Радист, медленно разделяя слова, доложил:

— Товарищ полковник, Максимов у окраины Белохатки. Встретили сильное сопротивление. Потери двенадцать человек и одно орудие. Танки. Есть опасность окружения. Готовятся к атаке. Ждите сигнала.

— Ясно! Связь с Бульбанюком! Быстро!

Опять молчание. Теперь все офицеры тесно сгрудились вокруг Гуляева. Телефонисты, проверяя линию, еле внятно переговаривались с тыловыми батареями. И лишь радист в глубине окопа торопливо и отчетливо выговаривал позывные:

— «Волга», «Волга», «Волга»... «Волга», «Волга», «Волга»... Товарищ полковник, с «Волгой» связи нет!

— Еще вызывайте! Вызывайте!

— «Волга», «Волга», «Волга»... «Волга», «Волга», «Волга»... «Волга», «Волга», «Волга»...— звучало в ушах Кондратьева, и после паузы: — Товарищ полковник, с «Волгой» связи нет!

— Как нет? Что голову морочите! Когда я слышу слева бой! Была связь! Вызывайте! Вызывайте!

— «Волга», Волга», «Волга»... «Волга», «Волга»... Товарищ полковник, «Волга» молчит.

— Та-ак! Держать связь с Максимовым! Телефонист, штаб дивизии. Быстро!

Офицеры расступились перед полковником. Он опустился на дно окопа, выхватил трубку из рук телефониста, произнес коротко:

— Иверзева!

Молчание.

— Товарищ первый, докладывает второй. Максимов у Белохатки. Есть опасность окружения. С Бульбанюком связи нет! Полагаю, для связи надо послать людей. Поздно? Почему поздно, товарищ первый? Да, да! Идут бои. Слышно. Что вы говорите? Отзываете? Кого? Всех? Меня? Не слышу, товарищ первый!

— Товарищ полковник! — закричал радист.— «Ромашка» пошла. Максимов пошел! Огня! Огня! Огня просит. По Белохатке огня!

— Ракеты! — сказал кто-то из офицеров.

В ту же минуту Кондратьев заметил далеко слева над лесами круглые неясные пятна — они выплывали в небо и мгновенно гасли там. Четыре ракеты. Короткое затухающее мерцание — и вновь четыре мутных пятна возникли в небе. Это был сигнал Бульбанюка... А может, немецкие это были ракеты?

— Огня! Максимов просит огня! — повторял радист.— Передаю! Огня! Огня! Просит огня!

Гуляев громко заговорил в трубку:

— Товарищ первый, Максимов пошел. Сигнал Бульбанюка. Просит огня. Что-о? Не слышу! Не слышу! Что-о? Не открывать огонь? Почему? Вы не поняли! Батальоны пошли, просят огня! Вижу сигнал! Я открываю огонь! — И, прикрыв ладонью трубку, подал команду: — Артиллеристы! Из артполка! Давай!

— Цель номер четыре! — запели голоса офицеров.

— Отставить! Что-о? — закричал Гуляев, порывисто наклоняясь к аппарату.— Не могу понять! Не открывать огонь? Не открывать огонь? Это ваш приказ? Что? Мне?.. В дивизию?..

И скомандовал вдруг охрипшим голосом:

— Огонь не открывать! Огонь не открывать!

А за лесами одна за другой, как бы требуя и настаивая, рождались туманные вспышки ракет, и радист безостановочно повторял:

— Огня! Огня! Максимов просит огня!

Ничего не понимая, Кондратьев чувствовал, как у него холодеют кончики пальцев, стало трудно и тесно дышать. Почему, почему не открывать огонь?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Где-то слева в тумане сверкнула искра, как будто там ударили по кресалу, и посреди парка с опадающим грохотом разорвался снаряд.

Из низины нащупывающими очередями забили пулеметы.

— Идите ко второму орудию,— приказал Ермаков Прошину.— Вдвоем нам делать здесь нечего. И запомните: без приказа не стрелять!

— Окружают, да? — подавленно спросил Прошин.— Неужели кольцо?

Он подчеркнуто старательно зашагал через кусты, странно пружиня ноги, не пригибаясь, точно смелостью этой хотел искупить недавнюю свою растерянность.

Ермаков раздраженно крикнул:

— Бегом!

Его раздражала наивная неопытность лейтенанта, его неуклюжая молодость, неумение понимать все с первого слова.

Немецкие пулеметы, не переставая, работали в низине, трассы вылетали оттуда, врезались в землю возле площадки орудия. Стрельба в низине усиливалась; в нее влились тонкие строчки автоматов; тяжелые мины начали рваться на улочках деревни — дважды со скрежетом сыграл шестиствольный миномет.

Вся низина и река были затянуты серым туманом, и за рекой, впереди, невидимо приближаясь, тихо рокотали моторы то ли автомашин, то ли бронетранспортеров. Тот же звук, и выстрелы, и угадываемое на слух движение ощупью возникали слева и справа и, кажется, за спиной, и Ермаков понял, что это действительно суживалось колечко, сквозь которое пролезать надо было головой. Как ни был осторожен Бульбанюк, каким ни считался он расчетливым, свершалось то, чего нельзя было предусмотреть.

— Это не танки, товарищ капитан,— сказал один из сержантов Березкиных (Николай или Андрей, так он и не научился их различать),— танки по-другому...

И в глазах его засветились горячечные огоньки.

Никто не ответил; все смотрели в туман, туда, где был мостик. Эти почти незнакомые Ермакову люди в запачканных глиной шинелях, с воспаленными лицами вдруг ощутимо ближе стали ему сейчас; двое солдат ненужно протирали чистые снаряды, большие руки, натруженные за ночь, тряслись.

Торопливо сдваивая, заработала скорострельная пушка. Прерывистые трассы блеснули из тумана там, где был мостик, широкий силуэт выдвинулся к реке, и следом второй силуэт появился в белой мгле рядом.

— Бронетранспортеры,— сказал Березкин.— Это они...

Смутные живые фигурки забегали по берегу, близко рассыпались автоматные очереди, несколько человек, разбрасывая на бегу вспышки, тенями замелькали через

мостик. И тотчас навстречу им зачастил, захлебываясь, «максим» на околице.

«Ду-ду-ду... а-а-а!» — послышалось оттуда смешанное и протяжное.

— По левому бронебойным! Наводить точнее! Огонь!..— скомандовал Ермаков, ощущая жгучий азарт: «Смазать, смазать его с первого снаряда!»

Он не смазал бронетранспортер ни после первого и ни после второго снаряда — бронебойные, прочерчивая линии высоко над силуэтами, терялись в тумане. Туман изменял расстояние. Ермаков трижды снижал прицел и, когда после шестого снаряда заметил, что вблизи мостика туман порозовел, крикнул со злым весельем:

— По... правому!..

Но расчет медлил, и, сдвинув фуражку со вспотевшего лба — звенело в ушах,— он оглянулся на орудие: сержант Березкин, только что стоявший в двух шагах от орудия, сидел на станине, позеленев лицом, одними белыми губами странно улыбался, зажимая согнутой окровавленной рукой плечо, как если бы ею испуганно прихлопнул и не отпускал что-то.

— Ну что? — крикнул Ермаков.— Задело? Дуй в штаб батальона! Там — перевязку!

Он уже не обращал внимания на Березкина, который, не снимая руки с плеча, побежал по парку: справа надвигающийся силуэт бронетранспортера выбрасывал пучки огня, и белые пунктиры, перекрещиваясь, проносились над щитом орудия.

— По правому!.. Два снаряда, огонь!..

У мостика розовое дважды смешалось с ярко-красным, и ему показалось, что туман впереди закипел багровым пламенем — не то мостик горел, не то бронетранспортер. Гулкое дудуканье крупнокалиберных пулеметов не заглушалось беспорядочной автоматной трескотней, и это «ду-ду-ду» накалялось теперь слева в низине, но замолкло около мостика.

Тут что-то весомо задело по козырьку Ермакова, и он, удивленный, увидел под ногами срезанную мокрую веточку.

— Товарищ капитан!.. Пригнитесь!..

Сзади с силой дернули его за рукав, он быстро повернулся и в упор встретился со встревоженным широкоскулым лицом Жорки.

— Ты что?

— Пригнитесь, товарищ капитан! Сейчас Бульбанюка возле штаба обстреляли. Снайперы где-то в деревне сидят. По парку бьют! — И Жорка возбужденно засмеялся.— К вам бежал — лупанули, бродяги, по мне. Со всех сторон бьют!..

— Как у Бульбанюка?

— Колечко, товарищ капитан! Сейчас огня из дивизии собирается просить, а Орлов говорит: рано!

— Верно, пожалуй, рано! Пусть увязнут! Иначе не стоило заваривать всю кашу,— ответил Ермаков, вытирая пот на лице.

— Смотрите-ка! Никак наша пехота драпанула? — проговорил полувопросительно Жорка и лег грудью на бруствер, длинно сплюнул: — Ей-богу, огонь бы по ним открыл!

Было хорошо видно отсюда: на берегу реки одна за другой вскакивали, бежали к деревне размытые в тумане фигурки, разбрызгивая светящиеся пунктиры в разные стороны, а с того берега доносилось лихорадочно и глухо: «Ду-ду-ду-ду...»

— Какой... «наша»! — выругался Ермаков.— Вороной! Видишь? Четыре снаряда... беглый... огонь!

Разрывы взметнулись перед этими фигурками, туман смешался с дымом, ничего не стало видно, и тогда ближе разрывов, шагах в ста двадцати от орудия, выросли, как из земли, несколько человек, они бежали, нелепо опустив винтовки, нагнув головы, бежали прямо на огневую позицию к окраине парка.

— Говорил, наши драпают,— повторил Жорка и вскочил, дернул к себе автомат.— Куда ж они, славяне!..

В это же мгновение, опаленный внезапной злостью к этим убегающим куда-то людям, Ермаков прыжком перемахнул через бруствер, перекосив рот, бросился навстречу им со стиснутым пистолетом в потной руке, закричал бешено и неумолимо:

— Сто-ой! Наза-ад! Рас-стреляю первого! Наза-ад!

Жорка, бледный, с острым, отрешенным выражением лица, бежал в двух шагах за капитаном, щелкнув затвором немецкого автомата. Люди не останавливались. Ермаков видел дикие пустые глаза, жадно, широко открытый дыханием рот переднего солдата, вскинул руку.

— Сто-ой! — закричал он и выпустил две пули над головой переднего.— Куда драпаете, защитники Родины! Наза-ад! В траншею! Наза-ад!

Солдаты остановились; передний судорожно глотал слюну, затравленно озираясь,— его опустошенные глаза с поволокой дикого страха блуждали,— он сипло выдавил:

— Сбоку обошли... со спины обошли... Погибель нам всем... Завели...— и, сморщившись, зарыдал лающим, хриплым рыданием обезумевшего человека.

— Наза-ад! — злобно повторил Ермаков, и в следующий миг горячий воздух толкнул его в спину, забил звоном уши; это стреляло его орудие, и он крикнул, не слыша своего голоса: — Ну! Один ты, что ли, тут! В траншею! Жорка! Проводи-ка их! Бегом наза-ад!

— А ну! — Жорка с решимостью поднял над животом автомат, мотнул в направлении реки белокурой головой.— Потопали, бродяги! Давай!..

Солдаты столпились и вдруг, низко пригнувшись, горбя спины, неуверенно повернули в лощину, к реке, растаяли, исчезли в тумане.

Ермаков, разгоряченный, потный, на ходу вталкивая пистолет в кобуру, добежал до огневой. В этот момент орудие ударило беглым огнем, и, когда из дымящегося казенника вылетела последняя стреляная гильза, он поймал боковой, тревожно ищущий взгляд наводчика Вороного, устремленный на деревню. Снаряды вздернули землю на берегу реки, где хаотично двигались фигурки, и неясный крик «а-а-а!» донесся оттуда; этот крик колыхался и рос, сливаясь с тяжелым, нарастающим стуком скорострельных пушек и пулеметов на окраинах.

Ермаков успел заметить, что в низине, на восточной окраине, веселыми, жаркими кострами пылали две соломенные крыши и высоко над горящими крышами в утреннем небе стремительно и вертикально встала ракета...

И прежде чем он спросил у наводчика Вороного, сколько было ракет, Жорка перескочил через бруствер на огневую, закричал, обрадованный:

— Ракеты, товарищ капитан! Бульбанюк огонь вызывает! Сейчас наши сюда дадут! Сейчас фрицы как тараканы завертятся!

Трудно дыша, он опустился на снарядный ящик, взял горсть сырой земли, приложил к потному лбу и, сияя голубыми глазами, сообщил как о чем-то очень веселом:

— А по пехоте всамделе с трех сторон чешут! Эх, сейчас и баня начнется, а, товарищ капитан?

— Сто-ой! — скомандовал Ермаков.— Зарядить и ждать!

И, улавливая короткое затишье, он сквозь звон в ушах, сквозь выстрелы прислушался, пытаясь различить характерный шорох наших снарядов, далекий перестук начавшейся за лесом артподготовки, но ничего не услышал.

«Сигнал, что ли, не виден оттуда? Надо вызывать дивизию по рации. По рации! Пора! Самое время!»

В ту же минуту четыре ракеты вновь торопливо взметнулись в небе в стороне пожара и частой стрельбы и бессильно угасли, оставляя дымные нити...

— Не видят они разве! — закричал Жорка с досадой.— Лопухи слепые!

Пулеметные очереди остро резанули по брустверу, по стволам деревьев, за спиной трескуче защелкали разрывные, и что-то покатилось, зазвенело у ног Ермакова, он посмотрел: пустая гильза была пробита в двух местах.

Вороной сказал:

— Снайпера из деревни бьют.

— А может, этот бродяга на церковке сидит?—Жорка проворно встал, сузил глаза.— Может, проверить? Ведь житья не даст, гад. А, товарищ капитан?

Ермаков вскользь бросил взгляд на Жорку, молча отшвырнул ногой гильзу, Жорка, понимающе глянув, повесил автомат на грудь, подмигнул в пространство: «Проверить, а?» — и, перешагнув бруствер, боком раздвинул кусты.

Ермакову мучительно непонятно было, почему дивизия молчала, почему не открывала огня. Неужели не видят ракет? Есть ли связь с артполком? Что с батальоном Максимова? Было явно другое: немцы стягивали и стягивали кольцо вокруг Ново-Михайловки, стрельба усиливалась.

Туман рассеивался, сдавленное тучами солнце как бы нехотя скользнуло над желтыми полями за рекой, и все, что скрывала недавно белесая муть, теперь проступило отчетливо.

Вдоль опушки леса, за полями, неподвижным полукругом стояли, работая моторами, танки, и немцы в шинелях спокойно ходили там. Пересекая желтеющую меж овсяных копен дорогу, по которой ночью вышел из приднепровских лесов батальон, толчками ползли четыре тупоносых бронетранспортера. Две машины горели около моста. Треск очередей рвал воздух близ самой околицы.

На крайних домиках поочередно занимались соломенные крыши, пылали дымно и жарко.

Весь расчет, пригнувшись, глядел то на танки, то на бронетранспортеры — одни, умоляя судьбу глазами, незащищенно оглядывались, иные рукавами вытирали струйки пота на мигом осунувшихся лицах.

Ермаков понимал, что танки ждут, прикрывая бронетранспортеры, понимал и то, что несколькими снарядами он может расстрелять эти ползущие машины, после чего откроет орудие, и исход был ясен ему.

Но когда он подумал так, передний бронетранспортер с ходу тупо врезался радиатором в черные вихри орудийных разрывов, выросших на дороге,— колеса сползли в кювет. Это стрелял расчет Прошина.

— Быстро к орудию Прошина, вот ты! — приказал Ермаков первому попавшемуся на глаза солдату.— Передайте: заранее не открывать орудие танкам — не стрелять. Ждать команду!

Тот закивал, попятился за орудие, а когда побежал по опушке парка, неуклюже покачнулся, наступив на распустившуюся обмотку, упал, и тогда, почти натолкнувшись на него, из-за кустов выкатился маленький круглый солдат, упал рядом — по ним запоздало хлестнула пулеметная очередь откуда-то из деревни.

Вскочили сразу. Маленький круглый солдат вкатился на огневую позицию, с лицом, мокрым от пота, в пилотке поперек головы. Сел на землю — отдышаться не мог, хрипел только.

— Скляр? — крикнул Ермаков.— Что там в штабе?

— Товарищ... товарищ капитан... Товарищ капитан...— кашляя, задыхаясь, едва выговорил Скляр.— Бульбанюк ранен... Ранен тяжело. Орлов срочно... немедленно приказал орудия туда... Немцы ворвались... Танки там...

— Почему огня нет? Что в дивизии? С ума спятили?

— Батальонная рация разбита... А ротные не принимают... минами немцы засыпали. Наши ракеты... ракеты все время дают. Наверно, двадцать ракет...

Пулеметная очередь из деревни ударила по брустверу, они разом присели на снарядный ящик.

— Товарищ капитан... товарищ капитан,— повторял одно и то же Скляр.— Товарищ капитан... Немедленно орудие туда... Танки...

— Кой черт туда орудия! — выругался Ермаков.—

Когда здесь тоже танки. Я вижу, никто толком не понимает, что происходит. Вот что: дуй к расчету Прошина. Передай мой приказ — орудие к Орлову. Поведешь орудие.

И чуть усмехнулся, поправил пилотку на круглой стриженой голове своего ординарца, легонько толкнул в плечо:

— Давай!

— Здесь такое, товарищ капитан,— сказал Скляр, и в добрых глазах его задрожала тоска.— Если вас или меня...— и наклонился вдруг к Ермакову, прижался щекой к шершавому рукаву его шинели.— Любил я ведь вас, товарищ капитан...

— Это что? Как не совестно! Беги! — Ермаков со злобой отдернул руку.— Беги... к орудию!

И он долго смотрел вслед Скляру, на опушку парка, болезненно прищуриваясь, когда пулеметные очереди синими огоньками рвали веточки на кустах.

И за деревьями не видно было орудия Прошина.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лейтенант Прошин получил одновременно два приказа: первый — не открывать огня без сигнала, второй — немедленно выезжать на западную окраину деревни.

И он вызвал передки на батарею.

По-мальчишески возбужденный боем, стрельбой, кучей горячих гильз, запахом раскаленной орудийной краски, взволнованно-обрадованный видом горящих бронетранспортеров, он совсем не ощутил большой тревоги, когда увидел вдоль опушки леса танки.

Он был цел и невредим, его расчет был цел и невредим, и он испытывал то чувство опьянения боем, ту приподнятую, отчаянную самоуверенность, какая бывает только в двадцать лет у людей жизнерадостных,— опасность скользит мимо, а ты очень молод, здоров, тебя где-то любят и ждут, и впереди целая непрожитая жизнь с солнечными утрами и запахом летних акаций, с синеватым декабрьским снегом в сумерках возле подъезда и теплым, парным апрельским дождиком, в котором отсырело позванивают трамваи за намокшим бульваром,— целая непрожитая жизнь, которая всегда представлялась праздничной, счастливой.

Прошин не раз думал, что на войне его не убьют, но если уж суждено умереть, то он не погибнет случайно, сраженный шальной пулей. Нет, он доползет под огнем до разбитого орудия, обнимет ствол, поцелует его еще живыми губами, прижмется к нему щекой и умрет, как должен умереть офицер-артиллерист. Его понесут от орудия к могиле на плащ-палатке, и он почувствует, что солдаты скорбно смотрят на его молодое и после смерти прекрасное своей мужественностью лицо, и будут плакать, и жалеть, и восхищаться героической его смертью.

Потом прозвучит залп на могиле, и клятвы мстить, и последние слезы по любимому всеми лейтенанту, которого никто никогда не забудет, а капитан Ермаков, этот грубый солдафон, горько пожалеет, что был несправедлив и не полюбил его.

Но странное несоответствие было в этой смерти: погибнув, он обязательно должен был чувствовать все, что произойдет после его смерти. И то, что его просто не будет, что он ничего не сможет чувствовать и ощущать, не воспринималось им глубоко, он даже не думал об этом всерьез, как не думают об этом в двадцать лет.

— Товарищ лейтенант, передки прибыли! — доложил сержант Березкин.

— Отлично!

Прошин улыбнулся, затем нахмурился, будто недовольный нежданным приказанием капитана Ермакова, по не выдержал и, снова посмотрев на немецкие танки за рекой, на бронетранспортеры, курсирующие по полю, сказал оживленно:

— Жаль! Честное слово, жаль бросать эту позицию. Расщелкали бы мы эти танки, ужасно хорошая позиция. Правда, Березкин?

Сержант Березкин, кивнув как-то уж очень согласно, опустил голову, а Скляр, грязный, потный, с отчаянием вытаращил на лейтенанта глаза:

— Товарищ лейтенант... и там танки! Что вы говорите? Надо быстрей... быстрей! Там ждут! Быстрей...— И, поворачивая круглое мокрое лицо то к одному, то к другому из расчета, хрипло выкрикивал: — Быстрей же, быстрей!..

— Быстро, быстро! — звонким своим голосом скомандовал Прошин и, помогая выкатывать из огневого дворика орудие, уперся новеньким погоном в обросшее влажной глиной колесо.

И ездовые уже кричали из-за деревьев:

— Чего вы там? Нам под пулями сидеть!

Но едва выехали из парка, вернее, когда еще плутали, выворачиваясь между стволов толстых лип, и ездовые, согнувшись, начали хлестать лошадей, направляя их на дорогу,— свист пулеметных очередей пронесся по сухим листьям на земле, и левая лошадь выноса вместе с ездовым тяжело упала на передние ноги. Ездовой вылетел из седла, выносная рыхло повалилась, путая постромки, забилась головой и ногами о дорогу. Упряжка тотчас спуталась, потащила по-дурному в кусты, ездовые, оглядываясь испуганными, непонимающими глазами, бестолково задергали повода лошадей. Орудие застряло, задев колесом за ствол липы; пули снова резанули над головой с коротким взвизгом. Ездовых смахнуло из седел, они разом присели подле ног коренников.

— Орудие назад! Отцепляй! — скомандовал лейтенант Прошин, возбужденно покраснев всем лицом.— Ездовые, по местам!

— Да что у вас за ездовые? — плачущим голосом кричал Скляр. — Извозчики с-под Гомеля! Толстые зады! Убило лошадь, так выпрягай! Стреляют, так что же!..

Кусая губы, он пытался вытащить постромки бившейся, хрипевшей лошади, а ездовые неотрывно глядели в пространство, откуда могла прилететь пулеметная очередь, грузно, по-бабьи, приседали возле передка.

— Дураки! Ослы! Извозчики! — едва не плача, кричал Скляр и в бессилии тянул постромки из-под хрипевшей выносной.— Чего стоите, дураки, ослы? Ехать надо! Ехать!..

— А ты чего сволочишь? Сами-то умеем,— угрюмо отозвался коренной ездовой, боком придвигаясь к лошади.— Куда поедешь? Коня ухлопало...— Подошел и, нагнувшись так, что красные уши уперлись в воротник шинели, резанул перочинным ножиком постромки.

— Никак, летят? — осипло сказал выносной ездовой, под которым убило лошадь.

Давящий, тяжелый, прерывистый гул возник в небе, глухо расстелился над землей, и, когда Скляр, ездовые, лейтенант Прошин, весь расчет, со всей силой выталкивающий орудие меж деревьев, взглянули вверх, сомнений не было: слева, из-за лесов, заслоняя низкое солнце, шли, сверкая плоскостями, выравнивались над деревней

«юнкерсы». Гул моторов нарастал с неба и, казалось, туго заполнил канавы, окопы, рытвины на дороге, где застряла упряжка.

— Идут!..— сказал кто-то.— Развернулись! Всё!..

— По местам!

Лейтенант вскочил на передок и стоя высоким, зазвеневшим голосом подал команду: «Рысью марш!», и Скляр, готовый кинуться на ездовых с кулаками, увидел, как вползли ездовые на лошадей, как расчет плотно облепил станины, и он еле сумел зацепиться ногой за подножку передка ринувшегося вперед орудия.

Орудие неслось по дороге, подскакивая на ухабах, билось, гремело о передок привязанное ведро, и в бешеной этой скачке на трех лошадях в упряжке, в понукающих криках ездовых, в их подпрыгивающих, словно бы ощущающих небо придавленных спинах было нечто постыдное и унизительное для лейтенанта Прошина. А этот смешной, этот круглый связной кричал, захлебываясь ветром: «Быстрей вы... к околице, а потом направо... в переулок, где хаты горят!..» Прошин слышал и не слышал его, отчетливо вспоминая ту первую пулеметную очередь, которая убила выносную лошадь. Она могла убить и его — и эта мысль тоже была унизительной.

— Рысью! Рысью!..

И непонятно было: самолеты шли слева — орудие уходило от них, и вдруг, растянутые в линию, засверкав, появились они впереди, над дорогой, и первый «юнкерс», подставляя плоскости солнцу, споткнулся в воздухе и начал падать на деревню, все увеличиваясь, все вырастая в своих размерах. И с тем же унизительным чувством (оно билось в сознании) сердце Прошина, тоскливо замерев, стало падать, и вместе с сердцем падал он сам куда-то...

— Влево! Во двор! — крикнул Прошин, и показалось: не он кричал, а кто-то другой.

А когда упряжка, круто свернув, ломая плетень, влетела в первый двор, лейтенант Прошин помнил, что он отдавал команды, но сам уже не слышал их. Его оглушило покрывающим все грохотом, его несколько раз подкинуло на земле, и горло, грудь удушающе забило гарью, толом, и тут же вытошнило скользкой горькой желчью. Сплевывая, кашляя, испытывая прежнее отвратительное чувство своего бессилия, со слезами, застилающими глаза, Прошин едва поднял налитую звоном голову, и как будто

в лицо ему ударило низким, давящим ревом, захлебывающимся клекотом пулеметных очередей. Увидел, как стремительно и наклонно несся прямо на двор серебряный паук, шевеля огненными пульсирующими лапами, вытянутыми к нему справа и слева от стеклянной головы. Горячим ветром дохнуло по волосам, и, ожидая, что черное яйцо оторвется сейчас из-под белого брюха падающего паука, он успел заметить, как кто-то вскочил с земли и бросился за хату.

— Ложись! Ложись! Не бегать!

«Это кричу не я,— мелькнуло у Прошина.— Но почему я лежу? Что я делаю? Нельзя показывать, что я боюсь. Я ничего не боюсь. Надо встать, посмотреть, где люди... орудие... Они заметили нас с воздуха...»

Его снова подбросило на земле, ногами сильно ударило обо что-то твердое. Он теперь лежал лицом вниз. И снова возникший над головой, приближающийся рев заполнил поры его тела, уши, глаза. Ему тяжко было дышать. Он кашлял. Его позывало на тошноту и не выташнивало. Он пополз, не зная, зачем и куда. Было такое ощущение: ничего уже нет — ни тела, ни сердца, вместо всего этого звук, падающий тьмой сверху. «Боже мой, орудие не замаскировано...» И сейчас все прекратится, рев, достигнув своей предельной точки, оборвется, пропеллер врежется ему в голову и вопьется в землю вместе с ним.

«Что это? Неужели смерть? Так быстро? Не может быть! Нет, нет! Я не хочу! Нет, нет! Неужели я убит? Да, я убит... Нет, нет!.. Это стучат пули вокруг меня?.. Я еще думаю,— значит, не убит... Ох, как я не хочу умирать... Должна быть какая-то справедливость в мире... Я так не хочу...»

— По места-а-ам

«Кто это кричит? Чей это знакомый голос? Ах да, это капитан Ермаков! Нет, просто показалось. Нет, опять команда: «По места-ам!»

Он вскочил. Ему надо бежать к орудию. Он откинул голову и неправдоподобно близко увидел над собой выходящий из пике ослепительно-серебряный хвост самолета. Его ноги не слушались — он упал и, падая, почувствовал, как странно легко и свободно стало ему.

А было ли это? А может быть, ничего и не было? Артполк, Днепр, ночь, бой, стрельба по бронетранспортерам, убитая выносная лошадь, потом самолеты,— не кажется ли это ему? Может быть, он вовсе и не на фронте, а

спит на своей койке в училище? И через минуту горнист заиграет подъем? А утром так не хочется вставать...

Но в казарме разборчивее слышится та особая предподъемная беготня дневальных, быстрые, в полный голос приказания дежурного по батарее, и, наконец, вот она — знакомая, подымающая на ноги команда: «Подъ-е-ом!»

А за обмерзшими окнами — фиолетовый холод, студеный пар вваливается в двери казармы, и фигурки дневальных видны на пороге, как в дыму. Вчера он смертельно устал. Он вчера целый день откидывал снег от орудий после январской метели. А снег был крупчатый, пронзительно-солнечный, вонзался в глаза синими режущими иглами. И сейчас веки невозможно разомкнуть.

«Послушай, пожалуйста,— с закрытыми глазами говорит он дежурному.— Ты учти, будь добр. Я вчера работал, я на зарядку не пойду по приказанию командира батареи».

А кто командир батареи? Ах да, он вспомнил: капитан Гречик...

«По приказанию капитана...— говорит он дежурному умоляющим голосом.— Будь добр!»

«Подъем! — командует дежурный, как глухой.— Подымайсь! Орудие маскировать! Быстро! Струсил?»

«По приказанию капитана Гречика!..»

«Ничего не знаю! Подъем! А кто такой Гречик?»

Действительно, кто такой Гречик? Да и зачем это знать? Какое ему дело! Зачем ему знать? Он знает, что говорил дежурный... И хотелось ему тогда плакать от обиды, от стыда, от бессилия.

«Что это? Я думаю,— значит, я не убит. Но ничего вокруг нет... Нет, я не убит. Только бы вдохнуть воздух, глаза открыть...»

Он разомкнул глаза, и в эту секунду черная грохочущая стена накрыла его, и он не смог понять, что случилось с ним.

...Когда через двадцать минут после бомбежки Ермаков вместе со Скляром и сержантом Березкиным вбежал во двор, развороченный бомбами, усыпанный самолетными гильзами, на том месте, где лежал лейтенант Прошин, ничего не было.

То, что оставалось от него на этой земле, был почему-то уцелевший в своей первозданной чистоте новенький лейтенантский погон и найденная на огороде полевая сумка, которую принес и опознал сержант Березкин.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Почти не пригибаясь, вытянувшись цепочкой и обходя воронки, шли по деревне двенадцать человек. Многие из них двигались в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стрекочущего звона в ушах. Их осталось двенадцать артиллеристов, без орудий, без лошадей, лишь две панорамы — одну разбитую, другую целую — нес в вещмешке совершенно оглохший наводчик Вороной.

Деревня горела, черный дым полз над плетнями, искры и горячий пепел сыпались на шинели, жгуче-острым огнем пылающей печи дышало в лицо. Но никто из них особенно не чувствовал этого, не защищал волос, не прикрывал глаза от жара,— после неестественного напряжения боя какой-то темный козырек висел над бровями, мешал видеть и небо и землю. И хотя пылали вокруг окраины и оранжевые метели огня, дыма и искр бушевали за плетнями, никто не глядел по сторонам. Смешанный треск очередей, визг пуль в переулках, звенящая россыпь мин впереди — все это после получасовой бомбежки представлялось игрушечным, неопасным.

Ермаков шел, нервно засунув в карманы руки, не оглядывался, не подтягивал отстающих людей,— команды им были не нужны. Свой голос и голоса людей раздражали его. Было ясно: батальон сжат, как в игольном ушке, и главное, что могло произойти два часа назад, ночью, на рассвете, не произошло, хотя в сознании еще билась загнанная надежда: «А может быть... а может быть...»

На окраине деревни, густо затянутой дымом, озлобленно закричали левее дороги:

— Куда? Куда к немцу прешь? Не видишь?

И в дыму этом запорхали вспышки, залился в лихорадочной дрожи станковый пулемет,— двое солдат лежали в придорожной канаве за «максимом».

— Мне командира батальона,— сказал Ермаков, удивляясь странному спокойствию своего голоса.

— На высотке! Влево по траншее!

Вся эта высотка, сплошь опоясанная недавно аккуратными немецкими траншеями, сейчас была развороченa воронками, разрыта зияющими ямами, ходы завалены землей вперемешку с торчащими ребрами досок; валялись на брустверах окровавленные клочки шинелей, стреляные гильзы, немецкие коробки с противогазами, расщепленные ложи винтовок,— в места эти были пря-

мые попадания. И было все-таки непонятно, почему на высотке казалось пусто и почему встретили здесь всего три пулемета и человек десять автоматчиков около самого входа в блиндаж. Когда Ермаков вошел, старший лейтенант Орлов, в расстегнутом кителе, с землисто-серым лицом,— оно сухо подрезалось, и куда девалась припухлость на щеке,— кричал на остроносого, изможденного пехотного лейтенанта, державшего автомат в опущенной руке:

— Я тебе людей не рожу! Понял? Пришел, хреновину порешь с умным видом, а я будто не знаю! Каждого офицера, кто пискнет об отходе, расстреляю к ядреной фене! Куда отход? Куда? Дай тебе волю, до Сибири бы драпал! Не терпит кишка — уйди в дальний окоп, чтоб солдаты не видели, и застрелись. Но молча. Молча! Вот тебе совет! Двигай во взвод!

Невесомо, робко ступая, лейтенант вышел, а Орлов, сумрачный, злой, шагнул к двери, и в красноватых от бессонницы глазах его бешено плеснулась радость.

— Ермаков? Дьявол! Где орудия? Привел?

— Где связь с дивизией? — ответил Ермаков, устало оглядывая просторный немецкий блиндаж, в дальних углах которого жались к аппаратам двое телефонистов, худенький ротный радист и офицер-корректировщик, взволнованно красный, подчищали наждаком, соединяли проводники разобранной рации.

— Орудия где? — повторил грозно Орлов, глядя неверящими глазами, и, вдруг поняв, спросил дважды: — Накрылись? Накрылись?

Ермаков бросил фуражку на потертое одеяло железной кровати, усмехнулся:

— В донесении можешь передать: орудия разбиты. Одно при бомбежке, другое — танками. Запишешь на счет батальона — шесть бронетранспортеров, два танка. У меня от двадцати пяти человек осталось двенадцать. Со мной. Прошин убит. Это все. Прибыл в твое распоряжение. Могу командовать ротой, взводом, отделением. Посоветуешь стреляться — не застрелюсь. Кстати, злостью своей последнюю надежду из людей вытряхиваешь!

Он сказал это чрезмерно жестко, и под его взглядом Орлов медленно отвел глаза, но сейчас же потолок затрясся от частых разрывов, посыпалась земля, и он крикнул властно в дверь блиндажа:

— Что, атака?

— Танки бьют,— ответил кто-то из траншеи. И голос этот заглушило разрывом.

— Кажется, сейчас будет завершение. — Орлов застегнул китель, резко затянув ремень, вынул пистолет, щелкнул предохранителем и, засовывая его в карман галифе, спросил с горячностью: — Надежду вышибаю, говоришь? Я вышибаю? Правильно, Ермаков. Я вытряхнул из батальона надежду сорока ракетами. Я их выпустил в белый свет как в копейку. Где огонь? Где поддержка огнем? В ротах осталось по пятьдесят — сорок человек. Мы стянули на себя кучу немцев, мотопехоту, танки, авиацию. Надо быть остолопом, чтобы не понимать: время, время для наступления дивизии... Мы торчим в колечке шестнадцать часов. Где дивизия? С пшенкой ее съели?

— Не знаю,— ответил Ермаков и, опираясь о спинку кровати, искоса поглядел на молчавших связистов.— Выход один: ждать. И связь, связь... Мы не знаем, что там с дивизией. Поэтому — ждать. Мы делаем то, что и надо делать,— оттягиваем на себя силы. Иначе зачем мы здесь?

Орлов рассмеялся.

— Я шестнадцать часов говорю об этом солдатам. Говорю и... уже не верю себе. Еще час — и от батальона не останется ни человека! Полсуток в дивизии думают: начинать наступление или не начинать? Утром я поймал по рации полк. На три секунды поймал! Ни дьявола не принимала эта фукалка — леса мешают, и вдруг поймал. Два слова поймал: «Держаться, держаться!» Но сколько прошло времени! Там знают, сколько может продержаться один-единственный батальон?

— Что предлагаешь? — спросил Борис.— Что именно?

— Сохранить оставшихся людей.— Орлов подошел к двери блиндажа, плотнее прихлопнул ее.— Ясно?

— Конкретно. Как?

— Немедленно снять людей. Сконцентрировать на восточной окраине. И прорываться сквозь окружение к Днепру.

И хотя Ермаков снова почувствовал за этими словами правоту Орлова, все же непотухающая искорка надежды заставила его сказать:

— Положили здесь людей только для того, чтобы уйти назад? Так просто, Орлов? Бессмысленно! Надо ждать. И держаться.

Возле блиндажа раздался шум голосов, топот ног, и чей-то басок крикнул возбужденно: «Не тронь его, ребята! Стой, стой, говорю!» Дверь блиндажа рывком распахнулась, и несколько рук изо всей силы впихнули высокого, в кровь избитого человека в тугом шерстяном шлеме, в немецкой порванной шинели, без погон. Следом ввалился Жорка Витьковский, белокурые волосы растрепаны, нос страшно, неузнаваемо распух, на верхней губе засохшая струйка крови; вместе с ним вошел знакомый полковой разведчик, широкий, мрачно замкнутый, весь взмокший; расстегнутая кобура парабеллума отвисала на левом боку. Жорка ступил вперед, шмыгнул носом, проведя под ним пальцами, и, подтолкнув человека в спину, доложил:

— Вот этот с пулеметом на церковке сидел. Наш оказался.

— Как наш? — не понял Ермаков.— Чей наш?

— Ну... русский, что ли, шкура... Или как он там... Проститутка, в общем,— подбирая слова, объяснил Жорка, улыбаясь хмуро, и все трогал пальцами под носом.— Цельный час выкуривали его. Гранаты в нас кидал эти немецкие, а матерился, бродяга, по-русски, когда брали его... в шесть этажей...

— Власовец? — быстро спросил Ермаков, подходя к человеку в шлеме, впиваясь потемневшим взглядом в его лицо.— Власовец?

Человек стоял расставив ноги в немецких сапогах, засунув руки в карманы, кругляшок черных волос прилип к сгустку крови на лбу, продолговатая ссадина на щеке тянулась к виску, один обезображенный окровавленный глаз заплыл; в глубине другого, антрацитно-черного, остановилось, замерло выражение ожидаемого удара.

— Ну? Власовец? — переспросил Ермаков.— Что молчишь?

Пленный пожал плечами, невнятно выдавил:

— Ich verstehe nicht... [1]

— Врет,— насмешливо проговорил Жорка.— Дрейфит, проститутка, что власовца в плен не возьмут. Он еще по дороге начал: «Нихт, нихт!» А до этого в бога костерил! На чисто русском... Он наших в деревне не одного человека ухлопал. Церковка — все как на ладони. Т-ты! — крикнул он пленному и даже подмигнул, как знакомому.—

---

[1] Я не понимаю...

Закати-ка в три этажа. Для ясности дела. Да не стесняйся, ты!

Пленный молчал, открытый глаз его застыл в немигающей неподвижности, зрачок слился с влажной чернотой, и вдруг глаз мелко задергался от тика.

— Стрелял, значит? — Ермаков взял человека за подбородок, откинул его голову, взглядом нащупывая ускользающую черноту зрачка.

— Может, фамилию свою назовешь?

Почему русский этот, оставленный здесь, в деревне, стрелял в русских с упорством, на какое способен был только немец, уже не интересовало Ермакова. На такой вопрос никто из власовцев откровенных ответов не давал — и Борис проговорил медленно и раздельно:

— Ясно. Думаю, допрос не нужен. Как ты, Орлов?

Телефонисты, напряженно выпрямившись, застыли в углу; Орлов, сжав губы, смотрел в пол, и по его бледному лицу, на котором четко прорисовывались изломанные у висков брови, Ермаков прочел приговор.

— Допрос? — зло произнес Орлов, не подымая головы.— Ни одного вопроса! Родину, стервец, продал! А ну, выводи его. Фамилия? Не нужна фамилия. Он сам забыл ее!..

— Товарищи... Товарищи...— удушливо-хрипло и жутко выдавил горлом пленный и переломленно рухнул на пол, диким глазом умоляя, прося и защищаясь.— Товарищи...— Он стал на колени, вздымая и опуская руки.— Пощадите меня... Еще не жил я... Не своей волей... Пощадите меня... У меня жена с ребенком... в Арзамасе... Товарищи, не убивайте!..

Мутные слезы потекли по его лицу, и, не вытирая слез, он дрожащими пальцами слепо разорвал подкладку шинели, лихорадочно вытащил оттуда что-то завернутое в целлофан, торопясь, сдернул красную резинку.

Орлов гибко подскочил к нему, рванул за грудь так, что затрещала шинель, сильным толчком поднял его с земли. Бумаги посыпались под ноги власовца.

— «Товарищи... Не своей волей... Жена в Арзамасе»? Ах ты!.. А на церковке сидел до последнего? Умри хоть, сволочь, как следует!

— Товарищи... Товарищи...— Власовец со стоном вновь ослабленно повалился на пол и судорожно совал руки во все стороны, неизвестно для чего пытаясь еще подобрать рассыпанные бумаги.— Я не хотел... не хотел...

— Выводите! — испытывая омерзительное чувство, приказал Ермаков и отвернулся, чтобы не видеть этих унизительных, бегущих по щекам мутных слез, этого полного звериным страхом черного глаза без зрачка.

Власовца вывели. В траншее послышалась возня, и, накаленный животным безумием, взвизгнул умоляющий голос:

— Товарищи... Товарищи!..

Воздух полоснула автоматная очередь.

В блиндаже было тихо. Ермаков прошелся из угла в угол, увидел на полу бумаги уже не существующего человека и брезгливо собрал их, просмотрел потертый на углах аттестат, выданный на имя командира взвода разведки лейтенанта Сорокина Андрея Матвеевича, тысяча девятьсот двадцатого года рождения; потом, хмурясь, долго глядел на фотокарточку беловолосой девушки, доверчиво и смущенно улыбающейся в объектив; на обороте косым неокрепшим почерком: «Дорогому и любимому Андрюше от навечно твоей Кати. 11 апреля 1940 года, гор. Арзамас».

Он протянул бумаги Орлову, стараясь подавить чувство жалости к этой неизвестной ему Кате, которая никогда не узнает всю беспощадную правду о том, кто умер сейчас.

Орлов, сумрачный, мельком покосился на аттестат, на фотокарточку и, не проявляя никакого любопытства к документам, сказал озабоченно:

— Давай подумаем, Ермаков! Твоих людей посылаем в первую роту. Там самые большие потери. А! — с горькой болью произнес он и засунул документы власовца в полевую сумку.— Торчит перед глазами! Придется в штаб полка отдать. Ну, пошли, Ермаков!

Он задумался неожиданно, и на его лице появилось незнакомое просительное выражение:

— Боря... Из офицеров пока мы с тобой вдвоем... Я сам людей твоих распределю... А ты останься. За меня. По высоте снайперы со всех сторон лупят. И вообще мне, как говорят, необходимо, а тебе... Двоих укокошат — чепуха получится.

Из тепло зазеленевших глаз его проглянуло, заблестело нечто похожее на заботливую нежность, и необычное это выражение огрубевшего в матерщине, в вечной окопной грязи старшего лейтенанта чрезвычайно удивило Ермакова.

— Понятно, Орлов,—сказал он.

И, надвинув фуражку, первым вышел из блиндажа.

Все звуки, приглушенные накатом и тяжелой дверью, теперь выделились в угрюмом осеннем дне с отчетливой полновесностью. В двух шагах от блиндажа скрежетал, захлебывался ручной пулемет, стреляли во всей траншее; изредка, перезаряжая диски, люди оглядывались назад, глядели куда-то вбок, а позади высоты жарко пылала окраина, огонь сплелся над улицами и плетнями, дым упирался в низкие, грузные облака, полные октябрьской влаги. Немецкие танки били по высотке, вдоль брустверов всплескивали фонтаны земли, вибрирующий звон осколков бритвенно прорезывал воздух.

Орлов вскользь глянул поверх брустверов, крикнул в блиндаж:

— Телефоны сюда!

На дне траншеи, устало положив на колени карабины, сидели артиллеристы: курили, глядели тупо в землю, как люди, потерявшие что-то, виноватые и не понимающие, зачем они здесь. Только Жорка Витьковский, с распухшим носом, улыбающийся, как всегда, непробиваемо беспечный, показывал Скляру новый финский нож, его точеную костяную рукоятку, рассказывал увлеченно:

— Он меня — дербалызь, у меня сто чертей из глаз вылетело. Я — брык, а он крепкий, бродяга, навалился, хрипит и душит, злой, как гад ползучий. Ну, думаю, все, конец мне. В башке пух какой-то... Да... А сзади разведчик ка-ак ляпнет ему по шее...

Скляр слушал и мелко-мелко кивал, округляя добрые глаза, восхищаясь и любуясь чужой смелостью, поражаясь ее бездумной решительности. Скляр ненавидел немцев, но за всю войну по роду своей службы он еще не убил ни одного и был убежден, что это не так легко сделать. Жорка пять минут назад, не задумываясь, убил человека, вытолкнув его на бруствер, полоснув очередью из автомата. И хотя Скляр понимал, что Жорка не мог сделать иначе, и хотя знал, что самого его, Скляра, могла убить пуля этого власовца, все-таки жутью веяло от того, что произошло на глазах: стоило нажать спуск — и человека нет, будто он и на свет не рождался.

Рядом со Скляром, бережно прислонив к ногам вещмешок, в котором были прицелы, сидел наводчик Вороной, оглохший, весь ушедший в себя, и машинально грыз сухарь, трудно глотая. Он не слышал ни выстрелов, ни рас-

сказа Жорки, он был контужен и в своей глухоте плотно окружен тягучим звоном в ушах; изредка на остановившиеся глаза его набегала теплая, сверкающая влага. Он промокал глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных оружейной смазкой пальцах.

— Что у вас с глазами? — воскликнул Скляр с жалостью.

Наводчик не расслышал его слов, не угадал их смысла и, не ответив на вопрос, прошептал дрожащими губами:

— Лейтенант-то... лейтенант... мальчик ведь... Школьник... Свой паек, табак солдатам отдавал. До-обрый был...

Скляр вспомнил юное, застенчивое, краснеющее лицо Прошина, и щегольские хромовые сапожки, и длинную шинель, и веселый, звенящий голос команд, вспомнил, что его уже нет, что остались лишь знаки его жизни на земле — погон да полевая сумка, и, ища виновников этой смерти, внезапно гневно оглянулся на двух толстозадых ездовых, что давеча трусливо приседали около коренников, а сейчас шептались, прижимаясь к стене окопа. И с неудержимым бешенством он протянул к их крепким, крестьянским лицам маленький кулачок и закричал в неистовстве:

— Дураки! Трусы! Погубили лейтенанта! Вам морды... морды набить!.. Если бы не вы, дураки окаянные, мы бы успели.. Извозчики!

— Ты зачем? Ты для чего? — испуганно забормотали ездовые, отстраняясь и потупя глаза.— Мы разве виноваты... Мы разве...

— Скляр! — строго окликнул Ермаков, подходя к солдатам.— Что такое? Прекратить! Почему до сих пор Вороной здесь? Отвести в землянку для раненых. Остальные за мной!

Беглым огнем по высотке и деревне били танки.

— Давай, давай, ребята, сюда! — махнул рукой Орлов, шагая по траншее, высокий, гибкий, в туго перепоясанном крест-накрест ремнями кителе, в сдвинутой набок фуражке.— Будем воевать в пехоте! Не привыкли? Ничего! Ко всему нужно привыкать.— И, выругавшись, пошутил: — Ну и ездовые у тебя, Ермаков! Как тараканы беременные! Еще с кнутами пришли!

Когда же они вдвоем распределили людей по оголенным траншеям первой роты, когда, осыпанные землей

разрывов, пробивались назад, переступая через тела убитых, когда из мелких ходов сообщения им открывалась картина боя, Ермаков впервые ясно почувствовал, что батальон долго продержаться не сможет.

Впереди опушки леса немецкие танки стояли на овсяном поле, метрах в восьмистах от высоты, и не двигались, только медленно поворачивали башни, почти одновременно выбрасывая огонь выстрелов.

И может быть, именно то, что перед танками не было препятствия — реки, а лежало открытое поле, усеянное копнами, меж которых перебегали, падали и ползли, стреляя из автоматов, люди, — именно это говорило о том, что положение батальона тяжело и очень серьезно, если не гибельно. Теперь Ермаков искал надежду не только в себе, но и в тугой фигуре Орлова, решительно шагавшего по стреляным гильзам,— Орлов то и дело покрикивал с азартной шутливостью:

— Ну как, ребята? Патроны беречь! Иванов, чего тылом ныряешь? А? Ха-ха! Стоять! Гранаты беречь, как жену от соседа. Беречь!

Нет, оно еще жило, тело полуразбитого батальона, оно боролось, оно не хотело умирать и не верило в свою гибель, как не верит в преждевременную смерть всякое живое дыхание.

Люди не отвечали, не улыбались этим не казавшимся сейчас грубыми шуткам Орлова, один Жорка весело ухмылялся, нежно щупая распухший нос. Усталые, небритые, с грязными лицами, солдаты жадно встречали взгляды офицеров, и было в этих взглядах невысказанное: «Вот держимся! А как дальше?»

И хотя все знали, что отступать некуда, батальон окружен и нет даже маленького пространства, которое могло бы спасти, куда можно было бы отойти в невыносимом положении разгрома,— как ни странно, это пространство почти всегда занимает местечко в душе солдата, — ожидающие взгляды людей, скользнув по лицам офицеров, украдкой устремлялись назад, на горящую деревню, где учащались разрывы снарядов, треск автоматов, и в глазах мелькало выражение тоски.

— Что ж, товарищ старший лейтенант? Нет дивизии. Очумели там? Или не знают? — с подавленной злостью спросил пожилой плечистый пулеметчик, рывком расправляя ленту, и тут же заученно пригнул голову.

Бруствер рвануло грохотом и звоном: как метлой смахнуло землю в траншею, ядовитой гарью забило легкие. Орлов крикнул:

— Меняй позицию! Все пулеметы пристреляли, сволочи! Чаще меняй позицию!

— Так что же?—по-прежнему насмешливо спросил пулеметчик, отряхивая землю с пилотки.— Как же дивизия-то?.. Или впустую все?

— Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя,— значит, не впустую. Родину не защищают впустую!— вдруг спокойно, очень спокойно сказал Ермаков и непроизвольно улыбнулся чуть-чуть.— Скоро будет легче. Легче! Осталось немного терпеть! Дивизия будет здесь, в Ново-Михайловке! Немного осталось!..

— Вон как! Сообщение разве какое есть? — недоверчиво хохотнул пулеметчик и опять злым рывком продернул ленту.—Что-то вроде артподготовки не слыхать...

— Час назад дивизия перешла в наступление. Отсюда не услышишь. Витьковский! Еще раз сообщить всем в роте, что дивизия перешла в наступление час назад!— неожиданно для самого себя приказал Ермаков, ужасаясь тому, что̀ он приказывает, и повторил, прямо глядя в расширенные, невинно голубые, немигающие Жоркины глаза: — Бегом сообщить всем! Всем!..

И, не сказав ни слова, Витьковский побежал по траншее, а Орлов рванулся следом, бледнея, крикнул: «Назад!» — однако Ермаков крепко сжал его каменно напрягшуюся руку, укоряюще остановил: «Подожди!»

Это была ложь, но это была и надежда. Надо было жить и верить, верить в то, что могло наконец быть, что еще не свершилось, но в чем непереносимо страшно было сомневаться. Создав эту ложь, он сам удивился тому, что не испытывал душевных мучений и угрызений совести: эта ложь должна была стать правдой через час, через два, через десять часов, той правдой, которая помогала из последних сил еще держать здесь истерзанный батальон.

— Ты что, с ума съехал, дьявол? — яростно крикнул Орлов.— Ты понимаешь, что это такое?

— Все понимаю. Если батальон погибнет, то с верой. Без веры в дело умирать страшно, Орлов. И тебе... и мне... Ради жизни этого же пулеметчика сказал. Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай. Или...— он посмотрел в глаза Орлова,— я передам. Сколько у тебя коммунистов? В этой роте на высоте?

— С парторгом было девять человек. Сколько осталось — не знаю. Парторг убит утром...

Он не договорил: навстречу, задевая плечами края траншей, запыхавшись, обливаясь потом, бежал связной Скляр.

— Ну что? — вскинулся Орлов. — Что еще?

— Вас... вас обоих Бульбанюк просит, — зачастил Скляр, поправляя сбившийся ремень. — Все обстановку спрашивает. А там уж места для раненых нет.

— Иди, Коля, на капэ, звони в роты, — проговорил Ермаков и добавил грустно: — Я схожу к Бульбанюку. Нельзя жить без надежды, друг, нельзя...

Немецкий обшитый тесом огромный блиндаж был битком набит ранеными, везде лежали и сидели, душно пахло шинелями, кровью и йодом; в глазах мельтешило от белых бинтов, этого цвета слабости и боли.

Когда он вошел, внешне бодрый, в аккуратно застегнутой шинели, пропахшей порохом, в его карих глазах, похоже, теплилась улыбка ясного душевного спокойствия и губы тоже чуть-чуть улыбались, готовые для слов, с которыми он шел сюда. Он вроде бы внес с собой свежую частицу боя, горевшего за дверями блиндажа, и тотчас раненые зашевелились, зашуршали соломой, беспокойно всматриваясь в этого стройного, незнакомого многим молодого артиллерийского капитана. Дюжий, изможденный лицом санитар-старшина — окровавленные рукава его гимнастерки были засучены до локтей — на минуту перестал перебинтовывать стонущего на полу паренька, повернулся к вошедшему с равнодушным видом человека, знающего недорогую цену жизни на войне, оглянул Ермакова тускло и снова заработал неторопливо волосатыми руками. В блиндаже наступила тишина, лишь подымались головы из гущи тел. И кто-то — две ноги были замотаны бинтами — спросил осторожно:

— Как... там?

Ермаков сказал то, с чем шел сюда, в чем нужно было, по его мнению, убедить этих людей, для которых исход боя казался более важным, чем для тех, кто еще двигался, стрелял в траншеях; сказал и после неопределенного молчания услышал в ответ покашливания, стоны, сдержанные голоса:

— Скорей бы... Мочи нет тут валяться...

— А патроны есть?
— Сколько еще держаться нам?
— Часа два,— твердо ответил Ермаков, опять поражаясь своей уверенности.— Немного терпеть осталось.
— Иди сюда, капитан,— послышался сбоку знакомый голос, и Ермаков увидел на нарах майора Бульбанюка. Он лежал заметный и здесь, неузнаваемо осунувшийся за несколько часов; грудь, плотно перебинтованная и вся чисто-белая, тяжело вздымалась.

Ермаков придвинулся к нарам. Бульбанюк, слегка приподнявшись, встретил его настороженным, через силу долгим взглядом и, не выпуская преувеличенно спокойного лица Бориса из поля зрения, спросил тихо:
— Это... все, капитан? Больше... ничего?
— Все. Это все,— шепотом ответил Ермаков.

Майор опустил на солому голову, большая рука его слабо зашарила около себя и, ничего не найдя, бессильно затихла.
— Санитар,— позвал он странно окрепшим голосом.

Подошел санитар-старшина, вытирая ватой пальцы.
— Санитар,— сказал Бульбанюк.— Вынесите-ка меня в траншею... Душно тут. Воздухом подышать хочу...
— Нельзя,— коротко ответил старшина.— Не имею права.
— Я приказываю. Слышали? Нет? Выполняйте... Пока я жив, я командир батальона. Вот так... На воздух...

Его вынесли в траншею, и майор потребовал, чтобы его посадили на плащ-палатку, прислонили спиной к стене окопа. Он сидел без кровинки на тронутом оспой лице, жадно заглатывал воздух и смотрел в небо. Еще недавно он овевал всех добротным железным здоровьем человека, прожившего целую жизнь на полевом воздухе, и сейчас Ермаков, поняв все, негромко сказал:
— Товарищ майор, не хочу скрывать...
— Молчи... Знаю. Мне, может, и умереть судьба. А вот людей... людей... не уберег... Как член партии говорю. Первый раз за целую войну не уберег. Ничего не мог сделать. Слышу...— Он передохнул, криво улыбнулся.— Слышу... Дивизия перешла... Ишь из танков чешут... Эх, капитан, капитан...— Майор закрыл глаза и замолчал, будто прислушиваясь к самому себе.

Ермаков взглянул на курившего у двери блиндажа санитара, сделал ему знак отойти в сторону и, выждав немного, сам подошел к нему.

— Немедленно начинать эвакуацию раненых в деревню. Разыскать хоть одного из жителей — и по два, по три человека в хату. За жизнь раненых отвечаете головой. Мы вернемся.

— Прорываться? Когда?— спросил удивленно санитар-старшина, бросая цигарку под ноги.

— Пока нет. Но потом — возможно. Ходячих пока не эвакуируйте. Пришлю вам двух человек на помощь. Бульбанюка как зеницу ока берегите.

— И трех часов не вытянет, товарищ капитан. Грудь и живот. Осколки.

— Капитан!— вдруг чрезмерно внятным голосом позвал майор Бульбанюк и открыл глаза; в туманной мерцающей глубине их, борясь с болью, проступило что-то новое, решенное, незнакомое.— Ермаков... ты вот что... подари мне свой пистолет. Мой немцы покорежили. Ты себе... найдешь. И вынь из галифе мой билет. Сохрани...

Ермаков, не ответив, достал из его кармана теплый, влажный партбилет, пахнущий потом и кровью, затем стиснув зубы, вынул свой пистолет из кобуры и протянул старшине.

— Положите в сумку майора,— сказал он, представив себя на секунду в положении Бульбанюка и не мучаясь тем, что делал.

Танки пошли в тот момент, когда Орлов, охрипнув от злости и ругани, кричал в телефонную трубку, чтобы на просочившихся автоматчиков пе обращали внимания. Звонил командир третьей роты лейтенант Леденец, сообщая, что на левом фланге в деревню просочились автоматчики, бьют с тыла и вдоль траншей, в роте создалось положение «хуже губернаторского», головы не высунешь.

— Че-пу-ха! — кричал Орлов, поставив носок сапога в нишу для гранат.— Держи хвост пистолетом и не унывай, понял? Два-три автоматчика — хрен с ними, пусть ползают!

— Да не два-три, товарищ старший лейтенант.

— Хрен с ними, говорю! Фронт держи! Фронт! А о тыле мы побеспокоимся! Понял?

— Танки! — крикнул кто-то в траншее.

Орлов отшвырнул трубку, в полный голос витиевато выругался и посмотрел вокруг на возникшее в окопах движение, ударил резко по фуражке, надвигая ее на лоб,

и выглянул из траншеи. Он выглянул только на миг, потому что весь бруствер пылился и осыпался, срезаемый пулеметными очередями, металлический свист бушевал над траншеей. Однако того, что увидел Орлов, было достаточно, чтобы понять: это последняя немецкая атака, это завершение...

Немецкие танки с прерывистым гудением зашевелились в овсяном поле, тяжелые, квадратные, выбрасывая короткие молнии, ползли к высоте, подминая копны и широкими вращающимися гусеницами как бы хищно пожирая, пережевывая пространство между собой и траншеями, в которых замерла первая рота. Тотчас же позади танков, на всей скорости выезжая из леса, начали останавливаться крытые брезентом грузовики, с них прыгали немцы, бежали по полю, мелькая между копнами.

И Орлов скомандовал, напрягая сорванный голос:

— Бронебойщики, готовьсь! Пулеметчики, по машинам!.. Кор-роткими!..

Жорка Витьковский, деловито вправляя железную ленту в трофейный пулемет МГ, взятый в окопе убитого немца еще на переправе, полувесело, полусердито чертыхался, косясь на второго номера. Это был рыженький, остроносый артиллерист, который словно окаменел с выражением испуга в пестреньких, как речная галька, глазах; он шептал:

— Як же так мы без орудий, а? Що ж цэ буде?— И заговорил доверчиво совершенно о другом: — Я, понимаешь, конюхом в колхозе был. И все ко-они снятся, ко-они... Як же так?

— Як же, так же, вак же,— снисходительно передразнил Жорка, подмигивая.— Дрейфишь, бродяга? Наложил полным-полна коробочка. Вот мы сейчас им дадим жизни!

Остро прищурив светлые глаза, он выпустил длинную очередь трассирующих по прыгающим с тупорылого грузовика немцам, закричал что-то азартное, отчаянное, перемешивая в этом крике бродяг, проституток и шибздиков, а паренек с чувством непрочности двумя руками сжимал железную коробку, ослепленно моргая желтыми ресницами. Будто опаляющий ветер поднялся от ревущих танков, от пулеметов, от разрывов на брустверах, от учащенных ударов противотанковых ружей, от неразборчивого Жоркиного крика, поднялся и обрушился гибельно на голову паренька.

Траншеи не было видно в дыму, в облаках взметавшейся земли и пыли, и только беспрерывно высекались красные длинные искры. Но все же Жорка, меняя ленты, упорно пытался взглядом найти в серой мгле знакомую фигуру капитана Ермакова: за жизнь его он отвечал даже сейчас.

Сам Жорка жил нехитро и бездумно, как птица, и меньше всего думал о себе. Он не привык серьезно думать о себе: не закончил девять классов — надоело сидеть за партой, корпеть над алгеброй, глазеть на доску, бросил, не задумываясь, школу, поступил на курсы шоферов и потом два беспечных года до войны носился по улицам Харькова на такси, насвистывая модные танго и нагло подмигивая возле светофоров знакомым милиционерам. После субботних вечеринок у многочисленных приятелей он просыпался по утрам с болевшей головой и, чувствуя свою вину, целый день не глядел в укоряющие глаза молчаливой больной матери. Отца у него не было, не было ни братьев, ни сестер, и он любил мать той особой любовью, которую называл уважением. По ее совету он очень рано женился на милой, курносенькой, без памяти влюбленной в него продавщице Марусе, но по-прежнему дружки-шоферы затаскивали его на вечеринки, он тоже не мог обойтись без них, и дома повторялись горькие упреки, слезы, которых он терпеть не мог, и, наконец, прощение,— жена всегда прощала его, как, впрочем, и мать.

Мать умерла в эвакуации от истощения, и, узнав это, он, растерянный, непримиримо разозленный на жену за то, что не сумела сберечь мать, решительно написал ей, что любви между ними нет и не будет, и писем на фронт просил не писать. Но письма-треугольнички приходили все чаще, и на них дрожащим почерком было выведено: «т. Витьковскому Жоре», а он рвал их, не читая.

На войне пули и осколки летели мимо белокурой его головы, он не задумывался, убьют его или ранят, воевать было интересно и легко, а смерть, простая, как глоток воды, не хитрила с ним, не играла, просто он обладал спокойным воображением.

— Шибздики! Да-вай! — кричал Жорка сквозь торопливую дробь очередей, возбуждаясь от грохота боя, от жаркой гари раскаленного пулемета.

Телефонисты невнятно и глухо шумели за спиной на дне окопа, он слышал между очередями, как они в два голоса кричали, что старшего лейтенанта Орлова рядом

нет, а его требовали, вызывали к аппаратам из рот, минометчики докладывали, что один «самовар» накрыло, и Жорка краешком сознания догадывался, что началось главное. Однако не было теперь времени рассмотреть происходившее сейчас на окраинах горевшей деревни. Он слышал только: там везде рвали воздух снаряды, высоко завывая, гудели моторы, стрельба особенно накалилась сзади — и появилось смутное ощущение взгляда в спину.

Жорка видел перед собой это овсяное поле, ползущие танки, фигурки прыжками бежали меж желтых копен, и он испытывал жгучие толчки в сердце, когда пулеметные трассы врезались в эти фигурки и они падали, оставались лежать на стерне.

Он радовался, что убивал этих людей, которые хотели погубить его и всех, кто стрелял из траншеи. Он страшно радовался тому, что убивал немцев из их же оружия — послушного ему МГ, он никогда не ощущал такого мстительного, поглощающего все его существо чувства — в ушах грохотом отдавалась горячая дрожь раскаленного пулемета.

А паренек с пестрыми, как речная галька, глазами уже не моргал ресницами, не держал коробку; опустив лицо, он сползал в окоп, незащищенно прикрывая ладонью-ковшиком голову, непрочно щупая землю ослабевшими ногами, а другой рукой вяло цеплялся за Жоркину шинель.

— Держи ленту! Наложил! — крикнул Жорка насмешливо и пьяно, толкнул паренька ногой и поразился тому, что увидел.

Паренек сидел, прислонясь спиной к траншее, по-птичьи свесив набок голову на слабой шее, в профиль лицо было задумчивым, усталым и спящим... Лишь темное пузырящееся пятнышко возле виска открыло Жорке тайну этого спокойствия.

«А я конюхом был»,— вспомнил Жорка доверчивый, искательный голос паренька, и стало смутно и жутко: голос еще звучал, но его уже не было. «А мне, знаешь, все ко-они, ко-они снятся».

Жорка несколько секунд не мог поднять головы, глядя то на вялую шею затихшего в окопе паренька, то на телефонистов, что-то орущих в трубки одичавшими голосами. Он слышал: близкие пулеметные очереди взбивали бруствер над головой, взвизгивали остро, пронзительно, и,

хотя было ясно, что пулемет заметили и пристреляли, Жорка все же вынырнул из траншеи, уверенный, что пули ложатся не слишком кучно и прицельно, как это кажется снизу, из окопа.

Танки подползали к подножию высоты, и он видел теперь их черные, широкие, наклоненные лбы с траурными крестами, тупые башни, плещущие пулеметы и длинные стволы орудий, бегло выталкивающие огонь. Вся высота огненно кипела в круговороте разрывов, и вибрирующий рев моторов мгновенно вытеснил из Жоркиного сознания остатки воспоминаний об убитом пареньке с пестрыми глазами.

Он послал неприцельную очередь в лоб этой ползущей брони, поискал глазами то живое, ненавистное, что бежало и стреляло позади танков, и, найдя, даже всхлипнул, засмеялся от облегчения и радости, припал к МГ потной щекой.

Ему страстно хотелось думать, что это он и несколько ручных пулеметов на флангах роты задерживают атаку немцев, отсекают пехоту за танками и тем самым замедляют их движение. Однако это было не так. Немецкая атака замедлилась на флангах, ее удар был направлен на центр роты, на самую высоту, где немцы, не ошибаясь, предполагали местонахождение командного пункта. Жорка увидел, как три танка вырвались углом вперед, вползли на высоту, завывая моторами; короткие трассы вонзались в бугры траншеи, взрывая землю.

Там часто хлопали противотанковые ружья, но звук их казался игрушечным, фиолетовые огоньки лопались на броне, а танки двигались и двигались по скату, точно на дыбы вставали. И Жорка, размазывая пальцами по лицу пот, всхлипывая в бессилии, угадывая, что именно там сейчас капитан Ермаков, кричал:

— Дав-вай! Дав-вай!.. Ого-онь!..

А на командном пункте происходило вот что. Капитан Ермаков, понимая соотношение сил, не удивился, что немцы направили удар на центр высоты. Также он понимал, что в течение многих часов боя, носившего как бы разведывательный характер, немцы основательно прощупали огневые узлы батальонов и огонь, обрушившийся на центр высоты, где стояли три станковых пулемета и четыре расчета противотанковых ружей, явно был рассчитан на быструю парализацию обороны. Тогда он посоветвал Орлову — совет этот больше походил на приказ — оста-

вить на КП одно противотанковое ружье и один пулемет, а все сохранившиеся средства бросить на фланги.

В фуражке, присыпанной землей, неистовый от бешенства, Орлов лежал в это время, оттолкнув наводчика, у противотанкового ружья, посылал патрон за патроном в казенник. Его бесило, что он торопился, не мог прочно поймать в прорезь грань танка и промахивался. Его злило, что порвалась связь с третьей ротой. (Он сумел, матерясь, крикнуть в трубку: «Держись до последнего!») И особенно взвинчивала его жуткая, непонятная тишина на левом фланге, где тоже несколько минут назад замолчали пулеметы и после них — минометный взвод. Все эти тревоги, опасения, неопределенность, ощущение обреченности батальона, — все разом обрушилось на Орлова. В четвертый раз почувствовав удар ружья в плечо, он успел заметить фиолетово сверкнувший пузырек на корпусе танка. В ту же секунду он встретил круглый зрачок орудийного дула, в упор наведенный ему в глаза. Лопнувший звон наполнил болью голову. Его жарко толкнуло в грудь, осыпало раскаленной пылью, ударило спиной о противоположную стену траншеи. «Ну, кажется, я полковником не буду»,— мелькнуло в его сознании, и почему-то захотелось засмеяться над этой мыслью.

Ермаков был в четырех шагах, услышал в ядовито-желтом дыму, застелившем траншею, зовущий хриплый голос: «Орлова... Орлова...» Подбежал и увидел: тот гибко подымался с земли, отталкивая наклонившегося наводчика, грубовато говорил:

— Ладно, ладно, чего ты меня, как девицу, лапаешь? Глаза вот землей засыпало... Прицельно бьют, макушку не высунешь.— И закричал азартно на наводчика: — К ружью! К ружью, несусветный папаша!..

— Рассредоточь пулеметы и петеэр на флангах! — повторил Ермаков.— Слышишь? Хватит на капэ одного пулемета и одного ружья! С ними я останусь! Не медли!..

— Золотая голова, сволочь ты этакая! — неестественно и самолюбиво засмеялся Орлов.— Кто здесь командует: ты или я? Кто отвечает за батальон?

Он почти кричал: он был оглушен.

— Вместе ответим.

И Орлов снял людей, увел их с криком и руганью, на которую, привыкнув, давно никто не обижался, увел их, надежный, злой, горячий, налитый жизнью до краев. Ермаков, оставшись на КП с одним станковым пулеметом

и одним противотанковым ружьем, на мгновение вдруг ощутил странную пустоту, будто оголилась земля и, пагая, отказалась защищать. Просто стал ему близок за эти часы Орлов.

— Все расковыряло, а ружье цельное,— не без удивления прокричал молодой наводчик, вскипув продолговатое лицо, и слабо заулыбался тонкими губами, Ермаков не знал даже его фамилии.

— Смотри, что делают!— вторично крикнул наводчик, которому недоставало, видимо, людских голосов в опустевшем здесь окопе.

Внизу, под высотой, неохотно обволакиваясь угольными змейками, задымил танк; обтекая его, два других вырвались левее, взбирались на высоту, мелко задрожавшую от железного рева, стремительно запылили гребни брустверов, сшибаемые очередями, свистящими в уши.

Где-то в мире существовали теория вероятностей, всякие умные вычисления и расчеты средней длительности человеческой жизни на войне, были и расчеты количества металла, которое нужно, чтобы убить солдата. Очевидно, по этой теории роты, рассыпанной на высоте, уже не должно было существовать. Но она существовала...

После того как Ермаков решился сказать, что дивизия перешла в наступление, в нем остро жило ощущение, что батальон, упорно обороняясь, медленно умирает. А слух о наступлении молниеносно облетел весь батальон, и эта ложь, и последствия этой лжи, казалось ему, тяжкой давящей глыбой ложились на его плечи, но где был иной выход?

«В первый или во второй?» — глядя на танки, подумал Ермаков и, чувствуя, что сейчас многое решится, с недоверием, как и Орлов, оттолкнул наводчика, лег за ружье, уперся в землю локтем.

Он сделал подряд три выстрела, длительность между которыми не выдержал наводчик,— глаза его наполнились выражением ужаса. Эти выстрелы стоили Борису нечеловеческих усилий над собой. Его воля вынесла два выстрела. Третий сделал указательный палец, сам по себе надавив на спусковой крючок. Сработала уже не воля — инстинкт.

Две длинные искры высеклись на широком корпусе танка — это он хорошо заметил. Он заметил также и то, что второй танк, ревя, круто развернулся, извиваясь, и, набирая скорость, наискосок понесся по высоте. Он под-

ставил бок под ружье Ермакова. Этот бок ускользал и несся. Палец снова быстро нажал спусковой крючок. Но бронебойная пуля, сине чиркнув по борту танка, ударила рикошетом, ушла дугой в низкие облака. И вторая врезалась в облака красной стрелой.

Тогда он резко довернул ружье — и на этот раз пуля срикошетировала. Ружье было бессильно. «Орудие... Если бы орудие!» Танк прорвался к траншеям слева, наполз на окопы; он появился метрах в тридцати, со скрежетом подминая, разутюживая бруствер. Башня повернулась, как голова, хищно выискивая, и ствол орудия, кругло выделяясь дульным тормозом, повис вдоль траншеи и замер.

Жаркий огонь смерчем промчался над Ермаковым сквозь фуражку, чудилось, поджег волосы, придавил его к земле черной горящей стеной. В левом ухе стало очень тепло. В тот миг сознание убеждало Бориса, что он сейчас умрет, но это же сознание передавало свои животворные толчки, и его руки шарили по земле, судорожно искали то, что подсказывала память. Гранат не было... Гранат не было...

Потом он увидел в дыму, как солдат поблизости от него силился вылезти из траншеи, не мог подтянуть тело, ноги соскальзывали по кромке бруствера,— и память тотчас подсказала, что он отвечает за живых и мертвых в этой траншее.

— Назад! Куда под пули? В траншею!

Солдат с серым птичьим личиком блуждающе оглянулся в беспамятстве, прохрипел:

— Танки... прорвались... наши отступают...

С оглушительным гулом танк надвигался по траншее, обваливая, утюжа, давя блиндажи; дым разрывов перемешивался с горячими выхлопными газами.

— Где отступают, черт бы тебя взял? — закричал Ермаков и вскочил, пошатываясь.— Где?..

И то, что он увидел в этот момент, объяснило ему неотвратимо случившееся. Танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входили в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улицах среди домов. Перед ними в сторону траншей бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. А овсяное поле, дальняя опушка леса, окраины деревни — все гремело, вздымаясь разрывами, и небо дрожало от грубых басовитых струн. И воздух везде шуршал и колыхался, лопаясь громом, и капал мелкий, как пыль, дождь. И был,

оказывается, закат за высотой, багрово-кровавая щель светилась, сплюснутая тучами снизу и сверху. И на фоне этого заката Борис тоже отчетливо увидел на высоте черные силуэты танков. А небо непрерывно раскалывалось, вибрировало, налитое гулом, и в этом смешанном гуле неба и земли серыми тенями внезапно, совсем беззвучно и стремительно вынеслась над лесом партия штурмовиков, вытянулась и пошла в пике на высоту, выбрасывая к земле острые вспышки пулеметов. И в ту минуту, готовый плакать и проклинать это помогающее небо, Борис подумал одно: «Наши ИЛы!» — и страшным криком бессилия и тоски закричал в небо:

— Поздно!.. Поздно!..

Снижаясь, на бреющем полете, как бы прижатые дождем к плацдарму, штурмовики сделали пять разворотов над горящей деревней, скрипя эрэсами, стирая с земли звуки боя, железный рев танков. Наводчик противотанкового ружья сидел у стены, непонимающими глазами глядел то на Ермакова, то на пикирующие самолеты; из его ноздрей струйками текла кровь, и рукав шинели был в крови. Он был тяжело контужен. На коленях его лежало покореженное противотанковое ружье.

— А ты кто? Пулеметчик? Где пулемет? — закричал Ермаков на солдата с птичьим личиком.

И тот, моргая под каплями дождя, воровато озираясь, шевельнул губами:

— Убитый он... второй номер я... отступают наши, отступают... все убитые... Товарищ капи...

— К пулемету!..

Он с трудом отцепил мертво сжатые на рукоятках пальцы пулеметчика первого номера, его тело сползло в траншею, стукнуло возле ног,— и тогда понял, что все кончено. Потряхивая широкими плоскостями, ИЛы развернулись над деревней, где слабо дымили подожженные грузовые машины, ушли на восток, почти касаясь верхушек леса.

Снаряды не вздымали овсяного поля, меркло блестевшего под моросящим дождем, прибитый дым шести горящих танков тянулся по скату высоты меж копен, и там, спокойно перешагивая через тела убитых, шли по полю в пятнистых плащ-палатках человек восемь немцев, шли прямо на высоту. И именно то, что немцы приближались спокойно, а со стороны высоты не раздавалось ни одного выстрела (выстрелы хлестали справа, и слева, и позади),

сказало с предельной ясностью, что оборона сломана, ее уже нет.

С чувством, похожим на злорадство, он надавил на спусковые рычаги и увидел, что немцы упали, быстро поползли в разные стороны, прячась за бугорки убитых. И сквозь дробь очередей Ермаков крикнул солдату:

— Беги по траншее, собирай всех сюда! Всех, кто еще есть!..

Никто не отозвался,— может быть, он не расслышал, потому что оглох на левое ухо. Он отпрянул от пулемета: солдата с птичьим лицом нигде не было. И Ермаков бросился к другой стене траншеи.

В деревне, ломая плетни, с гудением разворачивались черные танки. Сморщась и потерев грудь, Ермаков поднял чей-то автомат и пошел по траншее. Все, что он делал сейчас, делал как будто не он, а другой человек, и то, что он думал, мелькало в сознании отрывочно, но обжигающе отчетлива была единственная мысль: батальон погиб.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Товарищ капитан! Это вы? Товарищ капитан!

Кто-то знакомый, вроде бы улыбаясь окровавленным лицом, в мокрой, обмазанной глиной шинели, выскочил навстречу из хода сообщения, и несколько человек солдат с угрюмо напряженными лицами столпились за его спиной, тяжело дыша.

— Жорка! — крикнул Ермаков, он едва узнал его: дождь смывал кровь со слипшихся волос, скулы и нежный мальчишеский подбородок — в красных разводах, а белые зубы влажно блестели, открытые обрадованной улыбкой.— Жорка, ранен? — отрывисто спросил Ермаков.— Это кто с тобой? С каких рот?

— Царапнуло меня.— Жорка небрежно махнул автоматом.— А это со всех рот. Человек тридцать. А я вас... на капэ искал... Вы сами ранены, гляньте-ка, кровь из уха! И кобура расстегнута! Выронили ТТ? Возьмите, у меня запасной!

— Что? — Ермаков не все расслышал и, взяв пистолет, никак не мог вложить его в скользко-липкую кобуру.

— Кровь у вас, товарищ капитан.— Жорка торопливо вынул и протянул Борису грязнейший носовой платок.— Вытрите. Контузило вас!..

— Где Орлов?

— Не знаю.

— Кто-нибудь видел его?

Солдаты молчали.

— Где Скляр? Раненых эвакуировали?

— Там одни убитые, товарищ капитан.— Жорка показал взглядом назад.

— Прорываться! — сказал Ермаков.— Будем прорываться. Есть здесь коммунисты и офицеры?

Жорка вытянул шею в ожидании; солдаты заворочались, задвигали головами, но никто не вышел из гущи людей — коммунистов и офицеров не было ни одного.

— Всех побило,— объяснил кто-то.— До последнего стояли. Танками давил. Разве поймешь что? Мы вроде одни и остались.

— Куда же прорываться нам? В мышеловку завели! — вдруг глухо выкрикнул солдат с обезумело сверлящими глазами.— Везде они! Хана нам, видать! — И, злобно оскалясь, потряс автоматом.— До последнего отстреливались!..

— Прекратить разговоры,— очень тихо проговорил Ермаков, бледнея, но тотчас, усилием сдерживая себя, ткнул автоматным стволом в грудь солдата.— Вы... в мышеловке? Оставайтесь, к чертовой матери! — Он повысил голос: — Кто не верит — в сторону!

Не оглядываясь, он быстро зашагал вперед по траншее, уверенный, что люди пойдут за ним, другого выхода не было у них. Лил дождь и, не охлаждая голову, сек по лицу, ослеплял, как удары иголок. Смыло багровый блеск заката, все свинцово затянуло хмарью, ускоряя сумерки, и Ермаков надеялся даже на это маленькое прикрытие, которое послало ему небо. Печально пахло горьким дымом, дождь пригасил пожары, но тугое урчание танков, торопящиеся, взахлеб, вспышки стрельбы доносились из деревни. Там добивали рассеянные остатки батальона, и автоматный этот треск сухо и остро давил Ермакову горло.

Вскоре Жорка догнал его, голова уже перебинтована, повязка побурела, набухла под дождем. Жорка прикладывал к повязке рукав шинели.

— Двадцать два человека, товарищ капитан, с вами,— доложил он.

— Кто остался?

— Все идут. Смотрите, у вас погон кровью залило! Дайте перевяжу, а?

— Ухо не перевяжешь, — усмехнулся Ермаков. — Совсем не буду слышать. Оставь!

Потом шли и бежали молча, иногда останавливались, прислушиваясь к гудению танков, к неясным крикам в деревне, один раз пулеметной строчкой прострекотал где-то мотоцикл, и почудилось: губная гармошка на околице проиграла.

Проходили огневую позицию минометчиков; четверо солдат, в неудобных позах застигнутые снарядами, лежали вокруг пустых лотков; и, прислонясь плечом к стволу единственного уцелевшего миномета, недвижно склонив голову, сидел малознакомый молчаливый лейтенант, командир взвода. Разбитые очки были втоптаны в землю. Он стрелял, очевидно, до последней мины и, без очков, не увидел свою смерть. Он был близорук, и автоматчик, по всей вероятности, подполз к самой траншее.

— Жорка, подорви миномет,— вполголоса приказал Ермаков.— Брось гранату в ствол. И возьми документы у лейтенанта.

Через минуту трескучий взрыв колыхнул воздух за спиной, и Жорка, на бегу вталкивая за пазуху перетянутый резинкой бумажник лейтенанта, догнал Ермакова.

Начались траншеи левого фланга роты, раздавленные танками, исполосованные широкими следами гусениц на обвалившихся брустверах. Обходили полузасыпанные темные тела, искореженные пулеметы, противотанковые ружья, торчащие из земли клочки шинелей; в одном месте была вмята в грязь офицерская фуражка, наполненная водой, как чаша. И будто током ударило Ермакова, когда он поднял эту фуражку: она могла быть Орлова. Да, это левый фланг, который держал Орлов. Ермаков глядел на желтые, обмытые дождем лица лежавших здесь убитых, но ни в одном из них не признал Орлова. И не было возможности искать. За ним шли живые, не терявшие последнюю надежду люди — двадцать один человек. Он вел их туда, к краю обороны, к реке, где должен был быть выход.

Впереди послышались голоса.

— Жорка, вперед! — приказал Ермаков. — Осторожно! Зря не стрелять!

— Понятно! — ответил Жорка и, раскидывая в стороны пудовые ошметки налипшей на сапоги глины, побежал, оскальзываясь, по траншее.

— За мной! — Ермаков ускорил шаги и тоже побежал.

За поворотом траншеи он едва не натолкнулся на Жорку. Тот стоял, переводя дыхание, и Ермаков крикнул:

— Что остановился?

— Братья Березкины,— тихо сказал Жорка.— Эх, черт! Смотрите... Оба...

Так до последнего момента Ермаков и не научился различать двух этих мальчишек-близнецов, стройных, ладных, никогда не разлучавшихся ясноглазых москвичей, он не знал даже, кого из них — Николая или Андрея — ранило в плечо утром.

Теперь они, преданно прижавшись щеками к земле, лежали на бруствере среди стреляных гильз перед противотанковым ружьем, лежали, будто спали, крепко и навсегда обнявшись. И один — кто из них это был, Николай или Андрей? — плечом загораживал другого, а из-под обнявшей навечно руки белел бинт и смятый сержантский погон на разорванной гимнастерке. А в пяти шагах от братьев отпечатались четкие вмятины гусениц поперек траншеи.

— Возьми документы и ордена,— сказал Ермаков Жорке и, стараясь больше не глядеть на братьев Березкиных, подал команду перехваченным спазмой голосом: — За мной! — И, выругавшись, повторил злее: — За мной!

Спотыкаясь и падая, они бежали по вязким багровым лужам, по скользкой грязи, густо заполнившей траншеи, бежали остатки батальона, те, кто еще жил и хотел жить.

Ермаков первый увидел: траншея кончилась... Он с разбегу достиг ее края и, задыхаясь, остановился — траншея упиралась в тупик. Высота отвесным обрывом висела над рекой, глубоко внизу мутно блестела вода, за ней недалекие леса проступали в дождевом тумане. Стараясь отдышаться, он грудью лег на размытый бруствер, сердце сумасшедше билось, стучало через шинель в мокрую землю.

А он пытался увидеть то пустое пространство, ту брешь, то игольное ушко, сквозь которое надеялся вывести людей. Ему все-таки казалось, что здесь во время боя в последние часы сохранялась относительная тишина, но

теперь стало ясно: игольного ушка не было. Он увидел танки. Они чернели квадратами между обмокшими овсяными копнами на сером пространстве поля, что отделяло реку от леса.

Уже за его спиной подбегали люди, уже слышно было их хриплое дыхание, хлюпанье набрякших грязью сапог, сдавленные злобой и отчаянием голоса: «Танки, танки!» — и в эту минуту он не знал, что надо делать.

Тогда он повернулся так быстро, что эти обросшие, потерявшие надежду растерянные люди, столпившиеся в траншее, в тупике, уловив отвердевший, безжалостный его взгляд, затихли, пряча глаза. Наверное, они поняли в это мгновение его готовность на все.

— Садитесь! — резко приказал Ермаков.— Все садитесь! Никому не маячить! Слышите? Вы!.. Там! Садитесь! Одному наблюдать! Жорка, наблюдать!

— Что он сказал? — послышались голоса задних.— Что он нам сказал?

— Капитан сказал: «Садитесь!» — глухо пронеслось по траншее.

И люди покорно подчинились, двадцать один человек, которые хотели жить,— кто опустился на дно траншеи, кто присел на корточки, неожиданно обнажив из-под шинели напряженно трясущиеся колени, иные обессиленно прислонились спиной к стене окопа, пригнув головы.

«Что я им скажу? Что я скажу? — соображал Борис.— Я не знаю, что им сказать!..»

Движения, которые он сейчас делал, уже не принадлежали ему: за ним следила двадцать одна пара глаз, и эти ждущие спасения глаза вбирали его в себя целиком.

— Так вот,— отрывисто сказал Ермаков и, сдержав дыхание, повторил: — Так вот... Всем слушать! Будем прорываться здесь. Вот здесь. За высотой. Там река. А за ней — танки. Всем ясно? — подымая голос, почти крикнул он.— За ней — танки. Броском через реку. Мгновенным броском. И мы в лесу. Кто устал, снять, к чертовой матери, шинели. Не жалеть шинели! Бросить! Кто не хочет прорываться — выходи!..

Он кидал эти острые, тяжелые, как камни, слова на головы людей, не жалея их, не прося пощады у совести. Он был уверен: так надо, так надо — возбудить, озлобить для беспощадного последнего броска, только это

еще обещало жизнь измученным зыбкой, ускользающей надеждой людям.

Расставив ноги и положив правую руку на кобуру, весь заляпанный грязью, вытирая смятым бурым платком струйку крови, колко щекочущую оглохшее ухо, он ждал: одно слово возражения, возглас недовольства — и он совершил бы то, что должен был сделать в этих обстоятельствах.

«Что я делаю? Разве кто-нибудь из них заслужил это? Неужели я в каждом вижу труса? Что я делаю?» — с холодным отчаянием подумал Ермаков, чувствуя, что вот сейчас до предела стиснутая пружина распустится в его душе и он, готовый плакать и скрипеть зубами от бессилия, потеряет волю над собой и людьми. И он высоким голосом повторил, сжимая пальцами скользкую кобуру:

— Так кто? Выходи!..

Никто не ответил. Все, к кому относились эти слова, скованно сидели, осыпаемые косо секущим дождем, прислушиваясь к мокрому кашлю пулеметов в деревне. Жорка, лежа на бруствере, вдруг свесил голову в окоп, сверху загадочно поглядел на солдат.

— Идут,— сказал он шепотом.— Траншеи вроде проверяют. Сюда идут...— И на животе сполз в окоп, ударил ладонью по магазину немецкого шмайсера.

Все в траншее вскочили с глухим шумом. Ермаков, сдвигая на грудь автомат, предостерегающе скомандовал:

— Ни одного движения! Тихо!

Вдоль траншеи, негромко переговариваясь, шли люди в тускло блестевших плащ-палатках, приседали, заглядывали в разрушенные блиндажи, там мигали фонарики. Потом кто-то позвал совсем рядом:

—Felix, Felix! Komm zu mir! Sie schlafen! [1]

Трое возникли на бруствере, и один из них, приседая, показал вниз, в траншею,— кажется, это было то место, где лежали убитые братья Березкины. Затем вздернул автомат, засмеялся и выпустил длинную струю пуль.

В следующее мгновение эти трое упали. В руках Ермакова и Жорки одновременно затряслись от очередей автоматы.

---

[1] Феликс, Феликс! Иди ко мне! Они спят!

— За мной! Вниз!..

Девятнадцать человек выскочили из тупика и покатились, падая, прыгая, скользя по обрыву высоты вниз, к реке. А вверху остался лишь Жорка Витьковский с двумя солдатами, фамилий которых Ермаков не знал. Он успел им крикнуть: «Прикрывай до реки!» Все было липко, размыто, скользко от дождя, он падал на обрыве несколько раз. И только в моменты падения его неоглохшее ухо улавливало стрельбу наверху.

— Вперед!.. Вперед!..

Этот крик бился в его горле, заглушал все.

Ермаков увидел черную воду, черные кусты, глянцевитую полоску размытой глины на берегу. Огненные мухи метались в кустах, резали ветви, влипали в вязкую глину. Он ничего не понял: была сплошная стена красных мух, они приближались наискосок, навстречу, сверху и слева, со стороны деревни.

Красный чудовищный рой, свистя и взвизгивая, несся над рекой, над берегом, и он вбежал в это свистящее сверкание, видя только глянцевитую полоску глины, которая мчалась ему навстречу, и слыша только свой голос — незнакомый и страшный:

— Вперед!

Перед самым стволом автомата появилась широкая и согнутая спина. Его обогнал солдат. Ермаков почему-то отчетливо заметил оторванный мотавшийся хлястик на металлической пуговице, заляпанные глиной распустившиеся обмотки, которые, змеями извиваясь, хлестко били солдата по ногам. Внезапно странно споткнулись, подкинулись обросшие ошметками ботинки. Солдат исчез. И тотчас земля, качаясь, бросилась в лицо Ермакова, он с размаху упал, налетев на большое, жесткое тело. Цепкая рука схватила его за полу шинели, дернула к себе, помутненные зрачки, изумленно расширяясь, старались найти его глаза, и ему послышался прерывистый хрип:

— Не спеши, капитан. Все на том свете будем...— И, выпустив полу его шинели, солдат схватился за грудь, выдавил с кровавой пеной горестно усмехнувшихся губ: — Только в разное время...

Сплошная багрово-красная метель сверкала, звенела, неслась над Ермаковым, застилая небо. Впереди никто не бежал к берегу, он оглянулся, увидел позади лишь несколько человек. Они ползли. Они почти бежали ползком. И еще он увидел: оттуда, сверху, из траншеи,

где оставалось прикрытие, захлебываясь, хлестали по берегу, по ползущим людям немецкие автоматы.

— Вперед!.. Вперед!..

Он вскочил и, сделав несколько шагов, снова оглянулся. Люди ползли. Сердце поднялось, билось где-то возле горла.

— Впере-о-од!..— закричал он диким голосом и вскинул автомат.— Впере-од!.. Встать!

Люди вставали и падали. Их тянула земля.

Он скачками подбежал к реке.

Он не почувствовал холода воды. Она глухо и плотно ударила его выше колен, облепила ноги путами. Преодолевая ее силу, задыхаясь, он бежал сквозь перекрещенные, спутанные, визжащие трассы, он стрелял из автомата, выкрикивая ругательства, а сердце, застрявшее в горле, независимо от его воли отчаянно ожидало острого удара в голову и падения в воду. «Вот это, я боюсь умереть...» — мелькнуло у него.

Все: вода, небо, тот дождливый, серый берег — гремело, бурлило, колыхалось перед глазами и мчалось вкось, как в бредовом жару. Кто-то упал рядом, нелепо вскинув подбородок, протянув вперед руки, выронившие автомат. Солдат без оружия, возникнув худенькой мальчишеской спиной, на которой подпрыгивал тощий вещмешок, обогнал Ермакова, зажимая простреленную кисть окровавленной пилоткой. И вдруг, раскрыв удивленно рот, выкатив испуганные глаза, мягко осел в воду, и она сомкнулась над ним.

Ермаков уже не бежал к приближающемуся берегу, а шел, пошатываясь, его валило с ног течение. Он хрипел:

— Вперед!

Он зацепился за глинистый берег, лег на него грудью, закинул ногу и медленно на слабеющих, дрожащих руках вытянул тело из воды. Он не мог встать. Не было сил. Он не мог передохнуть. Он чувствовал, что лежит на берегу перед немецкими танками и нет воли сдвинуться с места.

— Товарищ капитан! Ранены? — закричал кто-то над самым ухом, и тут он смутно увидел искаженное тревогой бледное лицо Жорки и вблизи его лица — мокрый немецкий автомат, придавленный к земле синими пальцами.

— Вперед, Жорка... в лес,— выдохнул Ермаков.— Где остальные? Где остальные?..

— Здесь Скляр! — закричал Жорка, мотая головой и отплевываясь.— Вон остальные! Гляньте! Ноль целых!..

Ермаков, стиснув зубы, стал на одно колено. Несколько человек карабкались на берег, впиваясь обессилевшими локтями в глину, упираясь в нее подбородками. Пули красным роем вились над ними, полосовали по воде.

— В лес! За мной! В лес!

Какие-то люди выбегали им навстречу, появляясь и пропадая меж копен. С ревом и грохотом выросло громадное тело танка, из открытого люка лучами выбивался свет,— взвизгнул над головой вихрь пулеметных очередей, окатило, как горячим паром, гарью бензина. Из-за танка, путаясь в треугольной плащ-палатке, боком выскочил человек, присел, вздернул автомат. Ермаков первый нажал спусковой крючок, и в тот же миг мимо уха промчалась шумящая радуга. Вновь надвинулось впереди огромное туловище танка. Два человека лежали на броне, и один прицельно стрелял сверху, другой прокричал что-то, взмахнув рукой. Потом они исчезли. Ермаков задел ногой за мягкий бугор, заметил пулемет, окоп, белое лицо в нем и выпустил в это лицо всю очередь.

— За мной! Не отставать!

И сразу стало темно, влажно, непроницаемо глухо, будто забило уши ватой. Как в сыром колодце, Борис бежал, захватывая ртом воздух, тяжело спотыкаясь,— сучья, колючие ветки острой проволокой цеплялись за ноги. Сзади вразброд каркали автоматы, но этот звук, угасая, скользил мимо сознания, кровь толчками стучала в висках, и единственное, что он твердо осознавал сейчас, было — прорвались в лес.

«Я вывел, кажется, я вывел людей»,— подумал он, и вдруг пустынное безмолвие затопило все вокруг, сдавило его, как песчинку во тьме. Он не услышал топота ног, движения за собой: никто не бежал за ним. Позади никого не было. Он был один. Тогда, обдирая о кусты руки, он повернул обратно к опушке, где замолкли отдельные очереди, и, расслышав хруст кустов в темнеющем сумраке, вскинул автомат, прохрипел:

— Кто идет?

— Товарищ капитан? Я это... Вы куда? Там фрицы!

— Жорка?! Где остальные? Где остальные?

— Полегли под танками. Бежали за вами, а потом...

Они стояли, прерывисто дыша друг другу в лицо.

— Я искал Скляра. Я видел Скляра,— говорил Жорка.— Я бежал за вами. Он отдал сумку Бульбанюка. Вот смотрите. Я видел, как он... Он успел в лес.

— Где остальные? Не может быть! Прорвался же кто-нибудь?

— Я видел Скляра, я видел,— повторил Жорка и, настороженно прислушиваясь, тихонько добавил: — Товарищ капитан, нам идти надо...

— Не может быть! Прорвался же кто-нибудь! — с тоской повторял Ермаков.— Прорвался же кто-нибудь!..

— Я видел Скляра. Поискать бы его...

Было темно, их душила застоявшаяся горькая прель гнилых папоротников. Ермаков сказал чужим голосом:

— Да, идем...

— Подождите...

— Что?

— Говорят. Впереди говорят.

— Где говорят? Бредишь, Жорка? Идем!

— Подождите. Говорят.— Жорка весь напрягся, подался вперед и неожиданно негромко и внятно окликнул: — Скляр! — И позвал громче и решительнее: — Скляр! Сюда!

— Что ты слышишь, Жорка?

— Тихо, слушайте!

Оба замолчали, вслушиваясь в густую тишину черного леса, в слабый лепет капель среди мокрых листьев,— недалекие людские голоса донеслись до них и угасли.

— Скляр! — снова позвал Жорка.— Скляр, сюда! Скля-ар!

Молчание застыло между ними и теми голосами, что всплыли и оборвались в сырой чаще осеннего леса.

— Скляр! — уже в полный голос крикнул Жорка! — Сюда! Давай сюда, чудак! Это мы!

Им почудилось: испуганное эхо задело ветви, и рядом посыпались капли с утихающим, струящимся шумом. Кто-то, казалось, опасливо шел к ним через кусты, едва уловимо похрустывали под ногами опавшие листья.

— Скляр!

И внезапно отчетливый и напряженный голос ответил из кустов:

— Я-а!..

Жорка тихо, обрадованно засмеялся и, суматошно ломая ветви, бросился на этот близкий, неуверенный голос; в ту же секунду оглушительный треск распорол тишину, и Ермаков увидел, как Жорка с разбегу натолкнулся на что-то огненное и острое, вылетевшее ему навстречу в грудь.

— Жорка! Наза-ад! — бешено закричал Ермаков, падая на землю, и услышал в ответ прежнюю затаенную тишину.

Лишь осыпались, невнятно перешептываясь, капли в чаще.

— Жорка!

И тот же голос, отчетливый и напряженный, ответил протяжно из кустов, где струились капли:

— Я-а!

Косточка указательного пальца сама собой впилась до онемения в спусковой крючок, автомат яростно заколотил в ключицу, как живой, и тотчас смолк — весь диск вылетел единой длинной очередью, а палец еще торопил, дергал крючок...

Ермаков очнулся в таком тягостном, в таком душном, цепенеющем безмолвии — не мог перевести дыхание; оглушали глухие удары сердца.

Ничего не видя, он встал, ощупью прошел к кустам, где натолкнулся на свою смерть Жорка, и так же ощупью нашел его. Он лежал лицом вниз, приникнув грудью к земле, в странном объятии раскинув руки. Ермаков охватил его за обмякшие плечи, осторожно положил на спину, назвал по имени с открытой и ненужной сейчас нежностью. Жорка, постанывая, еще дышал жарко и часто, но Ермаков, прикоснувшись на его груди к чему-то горячему, вязкому и влажному, понял, что все кончено с белокурым, отчаянным, веселым ординарцем командира полка...

Один он шел по непроницаемому лесу в дремотном шорохе капель. Он остался один-единственный из всего батальона, прорвавшийся сюда сквозь заслон танков на берегу. С ним были только сумка лейтенанта Прошина, сумка майора Бульбанюка, документы и ордена братьев Березкиных, документы и ордена Жорки Витьковского.

Иногда ему мерещилось, что его окружают в темноте голоса, наплывают вокруг красные, широкие,

бесформенные лица, вибрирующими перебоями гудят танки. Он вздрагивал и, приходя в себя, чувствовал непроходящую тоску, впившуюся в сердце. Прежде был он убежден, что любое чувство можно подавить, но теперь он не мог этого сделать и не пытался. Память, не угасая даже в мгновения забытья, была его мукой и наказанием, а он знал, что шел назад, к Днепру, не ища дороги, сцепив зубы, будто что-то тупое и знобящее воткнулось ему в грудь.

«Почему люди так боятся смерти? — думал он.— Ведь смерть — это пустота и одиночество. Вечное одиночество. Я последний из батальона... Я остался один. Так разве это не смерть? И зачем я еще живу, когда все погибли?..»

Его ладонь нащупала эту тоскливую, непрекращающуюся боль в груди, и он не испытал жалости ни к этой боли, ни к себе: указательный палец другой руки стал ощупью пробовать стальную упругость спуска. «Зачем? Стоило ли прорываться такой ценой? Зачем? — подумал он, закрывая глаза, обливаясь горячим потом.— Кто здесь судья? Я сам над собой. Убить себя — значит оправдаться перед памятью и людьми?» И он почувствовал зависть к Бульбанюку, у которого не было другого выхода.

Вдруг смутные голоса возникли в лесу, он приостановился, озираясь впотьмах: «Что это? Здесь рядом дорога?.. А! Спасибо вам, вы сами на меня идете. Я точно все рассчитаю. Спасибо вам!» Он усмехнулся одеревенелыми губами и, расталкивая кусты, напрямик пошел на голоса, до судороги стискивая ледяную рукоятку пистолета.

Но дороги нигде не было. Голоса затихли.

«Что это?» — опять подумал Ермаков и никак не мог вспомнить, в какой стороне были голоса.

Тут, за спиной, близко пробили автоматные очереди, и он, толчком повернувшись, увидел, как во тьме леса засветились огненные нити пуль. И он пошел туда, на эти выстрелы, дрожа от злости и ненависти, с бешеной верой в самого себя...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Полковник Гуляев, срочно вызванный с плацдарма, на исходе ночи переправился на левый берег Днепра и к утру прибыл в штаб дивизии.

Адъютант Иверзева, перетянутый крест-накрест ремнями, выказывая радостную приятность в лице, участливо спросил:

— Вы откуда? Вас обрызгало, товарищ полковник! Весь плащ... Лупцует? На лодке форсировали?

— Не ваше дело! Немедленно доложите! — поморщился Гуляев.— Слышите, вы! Быстро!

Адъютант, невозмутимо округлив ореховые глаза, проскользнул за дверь и скоро вышел, смиренно наклонил гладко причесанную голову.

— Вас очень ждут,— проговорил он, опуская слова «товарищ полковник» и как бы воспитанно мстя Гуляеву за грубость.

Полковник Иверзев после бессонной ночи ужинал, или, вернее, завтракал, на краю стола, застеленном белой салфеткой. Он, задумчиво глядя перед собой, отрезал кусочек мяса на тарелке, однако, заслышав шаги Гуляева, перестал есть, энергично промокнул губы салфеткой, прямо посмотрел на вошедшего синими невыспавшимися глазами и некоторое время ждал. На угрюмом опухшем лице Гуляева с набрякшими мешками под нижними веками было выражение раздраженности и непонимания. Он сказал:

— Я, возможно, ошибся, товарищ полковник, но...

— Связались с батальонами? — перебил Иверзев тем подчеркнуто официальным тоном, который все ставит на свои места.

Полковник Гуляев глухо ответил:

— С батальоном Бульбанюка связи нет. Батальон Максимова вступил в бой, требовал огня. Вы приказали огня не открывать. Не понимаю, в чем дело, товарищ полковник. Как командир полка, я прошу разъяснений.

Иверзев нервными, гибкими пальцами поймал на столе толстый граненый карандаш, переспросил нетерпеливо:

— Значит, приказ вам неясен? Совершенно неясен?..

— Пока еще нет, товарищ полковник,— сухо ответил Гуляев.

Отрезвляюще жестко поскрипывая сапогами, Иверзев приблизился, заложил руки за спину,— молодой, плотный, на голову выше Гуляева, и тот видел его чисто выбритый крутой подбородок, его свежий подворотничок. Иверзев сказал, отливая в тугие формы слова:

— Приказ о прорыве на нашем участке южнее города Днепрова отменен. Вся дивизия снимается и перебрасывается севернее Днепрова. Будем брать город с севера. Батальонам Бульбанюка и Максимова не отходить, держаться там, где они ведут бой. Вот суть приказа.

Было очень душно в этой комнате с занавешенными плотной бумагой окнами,— по-видимому, к ночи истопили печь, пахло жженой соломой и вроде бы одеколоном. Полковник Гуляев почувствовал щекочущие струйки пота под мышками, нестерпимо захотелось со лба, с шеи вытереть жаркую испарину. Он смотрел на Иверзева в упор тяжелым, немигающим взглядом. Потом ему показалось: кто-то бесшумно остановился за его спиной, задышал носом, и, обернувшись, он увидел начальника штаба Савельева. Сухое, умное лицо подполковника было болезненно серым, на ввалившихся щеках пролегли тени. Он поздоровался одними глазами и покойным, ровным голосом человека, привыкшего к штабной тишине, заговорил:

— Восемьдесят четвертый полк снялся, находится на марше. Пятнадцатый идет за артполком. Артиллеристы снялись час назад. Семенов запрашивает, убрать ли связь?

— Это, я думаю, вы могли бы решить и без меня,— пожал плечами Иверзев и быстро произнес в сторону Гуляева: — Вот видите, полковник не понимает сути приказа. Может быть, приказ недостаточно ясен? Может быть, мы недостаточно точно будем выполнять приказ командующего армией?

— Семенов запрашивает относительно связи,— несколько настойчивее повторил Савельев.— Это связь с плацдармом, товарищ полковник. С ротой Верзилина и батареей Кондратьева.

Гуляев не пытался уже вникнуть в смысл этих слов. Он боковым зрением ловил сочувственное внимание Савельева и думал, что судьба его полка, его батальонов теперь роковым образом зависела не от него, командира полка, а от какой-то всеподчиняющей высшей силы, которая управляла равно Иверзевым, им, полковником Гуляевым, его людьми.

— Нет, я понял суть приказа,— выговорил наконец Гуляев, мучительно сознавая всю сложность своего положения и всего того, о чем он думал сейчас.— Но батальоны вступили в бой, товарищ полковник... просят

огня... А как я понял — артполк снялся? Кто будет поддерживать Бульбанюка и Максимова?

Иверзев нетерпеливо вздернул брови, поглядел с жалостью, и Гуляев понял никчемность своего вопроса.

— О чем вы, полковник? Ей-богу, вы не первый день в армии! — холодно проговорил Иверзев, в синих глазах его затвердел льдистый блеск, который объяснил Гуляеву, что для командира дивизии все бесповоротно решено и взвешено.— Мне не нужно вам уточнять, что дивизию перебрасывают по приказу командующего армией. Я повторяю: действия двух батальонов попрежнему носят серьезный отвлекающий характер. Батальоны должны создать у немцев впечатление, что мы по-прежнему активизируем силы южнее города, именно на участке Ново-Михайловки и Белохатки. Цель операции: отвлечь часть немецких сил, подвижные резервы, дезориентировать противника. Главный же удар будет нанесен северное города. Думаю, что все понятно? Тем более что времени у нас в обрез. Любыми средствами передайте батальонам: держаться, до последнего держаться!

Гуляев молчал, наблюдая Иверзева ничего не выражающим, пустым взглядом.

Подполковник Савельев между тем, набив трубку, чиркнул спичкой, сделал затяжку, желтые его щеки ввалились глубоко.

— Василий Матвеевич,— сказал он ровным голосом.— Я только что связался по рации с Максимовым и передал ему приказ. Но я не мог связаться с Бульбанюком.

— Я вам сообщал, товарищ полковник,— говорил с упорством Гуляев, обращаясь к Иверзеву.— Сообщал, как сложилась обстановка в батальонах. Может быть, есть возможность связаться с артиллерией соседних частей? Или с авиацией?

— Вся работающая на нас авиация занята Днепровом, вся основная артиллерия концентрируется севернее города. Тем более что именно сейчас, когда мы с вами теряем время на ненужные объяснения, немцы контратакуют севернее Днепрова танками. Батальоны поддержит батарея Кондратьева, всеми снарядами, что есть на его плацдарме. Что касается авиации — я уже связался. Помогут штурмовики,— сказал Иверзев и, недовольно оглядывая грузную фигуру Гуляева, закончил строго:

— У меня создается впечатление, что вы в чем-то не уверены, полковник. В чем?..

— Не уверен?

Безмолвно сосал трубку Савельев, уставясь себе под ноги, обтянутые аккуратными сапогами, не скрывавшими худобы икр.

— Как командир полка, я в первую голову отвечаю за свои батальоны! — упрямо ответил Гуляев. Его злил холодный, сожалеющий взгляд Иверзева, его синие льдистые глаза, в которые ничто не проникало, злило участливо-беспомощное молчание Савельева.— Вы знаете, что в батарее Кондратьева действуют только два орудия?

Савельев слабой рукой тронул влажно заблестевший лоб, посмотрел вопросительно на Гуляева, затем — быстро — на Иверзева. Командир дивизии, подойдя к столу, с застывшим лицом забарабанил пальцами по карте.

— Идите и выполняйте приказания! — чересчур отчетливо произнес он.— Для связи с батальоном Бульбанюка находите любые средства!

— Мне все ясно.— Гуляев, побагровев пятнами, медленно оправил на животе плащ, еще не просохший от днепровской воды.— Больше, чем ясно,— добавил он. И, сдерживая одышку, надел фуражку.

Тишина провожала его во вторую комнату.

Адъютант Иверзева, тот самый излишне воспитанный лейтенант, небрежно поставив на лавку ногу в начищенном сапоге, ленивым голосом разговаривал с писарями. Слегка изменив позу, он лишь из-за плеча скользнул зрачками по старому, потертому плащу Гуляева и проговорил с томной вежливостью:

— Всего наилучшего! Вас проводить?

«Прыщ эдакий! Развели в штабе кур! Не-ет, при Остроухове такого не было!» — спускаясь по ступеням крыльца к «виллису», подумал Гуляев, не любивший ни благопристойных писарей, ни наглых адъютантов, приобретавших самоуверенность под сенью близости к власти.

Было темно, шуршали тополя, моросило.

Три часа назад Иверзев получил приказ командующего армией: немедленно перебросить дивизию на плацдарм севернее Днепрова, соединиться с истрепанной контратаками немцев 13-й гвардейской дивизией с даль-

нейшей задачей — участвовать в штурме и захвате города. Получая приказ, Иверзев понял, что форсирование Днепра на старом участке в районе острова после неудачных попыток теперь не играло первостепенной роли в общем наступлении. Прежняя цель — любой ценой переправить дивизию на правобережье, расширить плацдарм, занимаемый ротой капитана Верзилина, и начать наступление южнее Днепрова — меняла свой характер.

В тот момент, когда Иверзев получал приказ, он знал по донесениям, что батальону Максимова грозит окружение, что батальоны начали бой и просят огня, и на какую-то долю секунды он почувствовал с тревогой холод под ложечкой и мление в ногах. Он сказал, что два батальона в тылу немецкой обороны завязали бои, что батальон Максимова, по-видимому, в окружении, что дивизия готова к броску, и, говоря об этом, он все время думал о батальоне Бульбанюка, с которым не было связи по рации, и о неполном комплекте боеприпасов. После его доклада командующему об уничтоженном немецкими самолетами эшелоне боеприпасов, которые не успела принять и разгрузить дивизия, генерал нахмурился, и Иверзев сейчас же добавил, что более половины боеприпасов спасено. Он сказал также, что сам был на этой станции и видел, как сильно пострадала материальная часть других соединений, и поэтому не просит боеприпасов из резерва. Этого требовала справедливость по отношению к другим дивизиям.

Генерал сказал:

— Ваши батальоны удачно нащупали разрывы в немецкой обороне и начали действия южнее Днепрова под Ново-Михайловкой и Белохаткой. Эти действия носят вспомогательный характер. Цель батальонов сковать силы противника на этом участке, затруднить их переброску в район севернее Днепрова, где будет нанесен главный удар нашей армией. Ваша дивизия входит в состав ударной группы на севере. Вы поняли меня, конечно?

Иверзев ответил:

— Так точно, товарищ генерал.

— Отлично. Теперь эти батальоны многое решают. Они заставят обратить внимание немцев на себя. Они оттянут сюда часть сил от Днепрова. Там немцы усиленно контратакуют тринадцатую гвардейскую дивизию. Как говорят пленные, хотят искупать русских в Днепре и отстранить угрозу от Днепрова. Передайте батальонам —

вести бой на правобережье. Держаться в любых обстоятельствах.

И здесь Иверзев опять ощутил желание сказать командующему о том, что батальон Максимова, очевидно, в окружении, что неизвестно положение в батальоне Бульбанюка, но и это уже, как он понимал, не имело решающего значения. Выслушав приказ, он сказал тихим голосом: «Слушаюсь»,— и вышел решительно, твердыми шагами.

Однако по дороге в дивизию он почти расслабленно полулежал на заднем сиденье, и шофер не оглядывался на него — знал: когда полковник садился не рядом, а позади, тогда оглядываться и спрашивать не стоило. Командир дивизии не любил в эти минуты излишнего любопытства.

Думая о разговоре с командующим, Иверзев сознавал, что именно теперь, после нового приказа, он не сможет поддержать батальоны всей силой огня, как было задумано прежде. Выбор один: или огонь, поддерживающий под Днепровом дивизию, или огонь, облегчающий в какой-то мере участь батальонов. Другого выхода нет. И хотя он мучился тем, что не попросил снарядов из резерва, не попросил дополнительных огневых средств, он понимал, что и это не спасало положения. Он должен был перебросить артполк на северный плацдарм. Так или иначе, смысл операции полностью ясен. Батальонам держаться насмерть своими огневыми средствами.

Он внезапно приказал остановить машину и сел возле шофера с холодным, непроницаемым лицом, с тем самым выражением надменной непреклонности, какое видели подчиненные и которое вызывало у них неприятное к нему чувство.

Утро постепенно входило в силу, тусклое, пасмурное, осеннее. Туман серой водой затопил до крыш деревушку, подступил вплотную, прилип к окнам. В штабе полка не гасили ламп: никто не спал ночь, никто не вздремнул в сонливый час рассвета.

Полковник Гуляев, накинув на плечи шинель, оперршись локтями о стол, сидел, прикрыв тяжелые веки, дрожащими пальцами потирал лоб. Рядом ерзал на лавке, аккуратно поправляя прижатую бечевочной петелькой к уху телефонную трубку, связист Гвоздев, наивный, гу-

бастый парень с наголо остриженной головой. Он изредка старательно дул в мембрану, и тогда полковник спрашивал обрывисто:

— Ну? Что? Что вы там шепчетесь, Гвоздев?

— Никак нет,— шепотом отвечал Гвоздев.— Молчат...

Визгливо скрипнула дверь, на пороге выросла высокая фигура начальника штаба майора Денисова. Молодой, всегда улыбающийся смелыми живыми глазами, которые, казалось, постоянно готовы были озорно подмигнуть, он любил риск, острую речь, носил щегольские шпоры и порой чем-то напоминал полковнику капитана Ермакова.

— Не отвечают, товарищ полковник,— сказал Денисов.— Будь моя воля, снял бы я штаны с Бульбанюка да всыпал бы ему по тому месту, где спина теряет благородное название, и приговаривал бы: «Не хитри, не хитри, крестьянская твоя душа!» Ведет давно бой — и ни одного слова по рации. Час назад я успел передать одно слово: «Держаться!» И не получил данных. Что с ними? Что у них? Потемки... Не верю, чтобы Бульбанюка накрыло. Чрезвычайно осторожен. Но что у них?

Он достал портсигар, раздумчиво кинул папиросу в рот, высек огонь зажигалкой и вдруг, поверх огонька, пристально сощурясь, взглянул на серые окна — так иногда смотрел капитан Ермаков.

Полковник Гуляев спросил обеспокоенно:

— Ты почему... так смотришь?

— Нет, ничего.— Денисов, мигом опомнясь, погасил зажигалку и, не прикурив, пошел, звеня шпорами, к двери. На пороге стал вполоборота, некоторое время глядел на Гуляева с тем же пристальным выражением, наконец сказал: — Вот вы послали четырех разведчиков, товарищ полковник. Но нет большой надежды, что они установят связь с батальоном. Пройдут ли они через немецкую оборону?

— Ах ты!.. О чем балабонишь? — Гуляев хлопнул кулаками по столу, мигнула лампа, связист Гвоздев вздрогнул и робко нагнулся к аппарату.— Вызывать батальон по рации, без конца вызывать! Что у тебя за связь? А? Для чего вас в штабах держат? Для медсестричек из санроты? Ишь храбрецы!..

— Вы говорите обо мне во множественном числе,— без выражения обиды ответил Денисов и вышел более невозмутимый, чем обычно.

Гуляев слышал, как тонко протренькали шпоры майора в соседней комнате, затихли, и за стеной прозвучал его шутливый голос:

— Так вот, детка, кака̀ картинка — вызывайте, вызывайте, вызывайте. Душа из вас вон!

Шумно дыша — мучило сердцебиение,— Гуляев движением плеч поправил сползавшую шинель, крупно зашагал от стола к окну, остановился, исподлобья посмотрел на запотевшее окно, будто еще отражался там такой знакомый, такой самоуверенный взгляд то ли Денисова, то ли Ермакова.

«Экая простокваша! — подумал Гуляев, следя за шевелением тумана по стеклу, уже жалея, что накричал на майора, и поэтому еще более раздражаясь.— Для чего это я? Та-ак. Оч-чень мило!»

— Оч-чень мило! — произнес он вслух и передернул плечами, с отвращением увидев свое грубое отраженное в стекле лицо, и не увидел, а почувствовал свой полный, оттопыривающий китель живот, всю свою грузную фигуру — в нем давно не было дерзостного порыва молодости. Да, да, она, молодость, не оглядывается назад, за спиной нет ни бремени опыта, ни расчетливого холодного терпения старости.

— Оч-чень мило! — повторил он, раздраженно насупив брови.— Оч-чень!..

Гвоздев нерешительно вздыхал, разглаживал, мял на коленях кисет.

— Ну? Курить? — брезгливо спросил Гуляев. — Давно бы закурил. Ну-ка, давай сюда кисет. Что у тебя? Махра? Самосад! Завернем, да? Щоб дома не журились?

— Газетки бы, товарищ полковник,— обрадованно заулыбался Гвоздев, протягивая кисет.

— Найдем. Майор Денисов! — крикнул Гуляев.

Никто не отозвался. Однотонный голос радиста бормотал позывные за стеной, каплями падавшие в тишине:

— «Ромашка», «Ромашка», я «Роза»... я «Роза»... я «Роза»... Даю настройку... Один, два, три...

— Майор Денисов!

Денисов появился на пороге, распахнув завизжавшую дверь, сказал четко и весело:

— Связь с Максимовым!

Бросив кисет, Гуляев спеша прошел к рации, где неспокойным накалом горели лампы приемника. Оброс-

ший синеватой щетиной радист, придерживая наушники, поднял на полковника словно заострившиеся в воспаленных веках глаза и вдруг заговорил однотонно:

— По приказу остаюсь. Мы в окружении. Веду бои... Потерял больше половины единицы... Больше половины... Почему нет огня? Нет огня... У нас кончились огурцы! Кончились огурцы! Дайте огня... по шоссе... Дайте огня по шоссе. По шоссе из Белохатки... Восточная окраина... Дайте огня... Я «Ромашка». «Ромашка». Я кончаю. Я кончаю. Немцы атакуют... Я кончаю... Мы ждем огня...— потухающим голосом закончил радист.

Прошла минута, все стихло, радист молчал, и полковник Гуляев, уперев взгляд в его унылую спину, ждал и думал. Майор Денисов тыльной стороной ладони угрюмо гладил выбритую щеку и тоже ждал.

— Что там? А ну-ка, вызывайте Бульбанюка, без конца вызывайте! Вызывайте! — Гуляев прошел к себе, скомандовал связисту:— Плацдарм! Кондратьева! Немедленно!

— Быстренько шестого,— зашелестел в трубку Гвоздев.— Шестого, шестого, поняли?

Полковник резко шагал по комнате, отлично сознавая, что́ за приказ он отдаст сейчас. Однако он понимал, что там, на плацдарме, только два орудия, замаскированные в двухстах метрах от немецкой передовой, от еловой посадки, где стояли танки, и мог догадываться, что после первых же выстрелов орудия Кондратьева откроют себя и если не будут расстреляны прямой наводкой, то будут раздавлены танками. Но так или иначе, узнав в трубке мягкий картавящий голос старшего лейтенанта, Гуляев отдал приказ немедленно открыть огонь по шоссе, чтобы как-нибудь продлить существование батальона Максимова. И Кондратьев ответил с плацдарма: «Слушаюсь».

Полковник чувствовал себя еще сильным, когда отдавал приказание, но потом расслабленно огруз, опустился на лавку, шинель сползла с плеч, упала на пол, а он, сопя, морщась, дергал, теребил, развязывал тесемку гвоздевского кисета. Просыпая на стол табак, он едва скрутил папироску из газетной бумаги, торопясь, вдохнул горький дым,— обожгло горло, он удушливо закашлялся, сразу постарел лицом.

— Еще вызывать? — робко спросил Гвоздев, отворачиваясь, чтобы не видеть на глазах полковника выдавленных кашлем слез.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Шура везла на плащ-палатке каменно отяжелевшее тело Кравчука и, изредка оглядываясь, смотрела вверх на затянутые туманом кусты, где беглым огнем стреляли орудия.

Лежа на спине, Кравчук стонал, его суровое красивое лицо было обезображено болью, сильные руки беспомощно чертили по земле. Он был ранен первым, и она снесла его от орудия под обрыв, положила на плащ-палатку.

Ни Днепра, ни твердого берега не существовало — над всем нависла сырая, белая мгла осеннего утра. Плотный туман душил, лип к глазам, к потному лицу, как клей, и Шуре хотелось содрать его с ресниц, со лба, точно паутину. Она шептала самой себе:

— Ничего, любимый мой, ничего, потерпи. Еще немножечко потерпеть. Вот сейчас, вот и берег...

Она увидела в просвете холодный блеск Днепра, который с сумрачным шуршанием наползал на мокрый песок, зыбко качал в заводи черные плоты, на которых как будто год назад переправились сюда артиллеристы и пехотинцы капитана Верзилина. А туман был наполнен перекатами звуков, слепыми ударами наверху, где скакали мутно-красные вспышки разрывов, путаясь с частыми вспышками орудий.

Туман раскалывался, гремел обвальным перемешанным эхом над головой Шуры, и, фырча, перелетали болванки, тупо шлепались в воду.

— Вот видишь, все будет хорошо,— ласково сказала Шура, наклоняясь над Кравчуком.— Вот наложу бинт, и все будет хорошо. Ты потерпи. Подождем немного и переправимся... Туда, в госпиталь...

Бинт, второпях наложенный ниже живота, буро намок, даже на вид отяжелел. Она разорвала индивидуальный пакет, приподняла неподатливое тело Кравчука. Он замычал, скрипнул зубами.

— Я все сделаю,— шепотом заговорила Шура, продевая бинт под его широкую спину.— Все сделаю, родненький!

Он открыл глаза, влажные от боли, стыдливо оттолкнул ее руку со своего живота, странно кривя губы, уже осмысленно и ясно спросил:

— Ты это?

— Я...

Он опять как-то весь ослаб, застонал, приник щекой к плащ-палатке, и Шура, перебинтовывая, чувствовала, что и сейчас он презирал, осуждал ее, а она говорила, успокаивая его:

— Ты силу береги. Не говори ничего. Молчи, родненький... Так будет лучше...

Кравчук лежал тихо, заметно билась жилка на его сильной обнаженной шее.

— Не пришлось... Почему так, а? — еле внятно проговорил он.

— Что не пришлось?

— Пожить... Не вышло...

Кравчук с мучительной нежностью потерся небритой щекой о плащ-палатку, будто хотел и не мог приласкаться к этой ставшей неуютной земле.

— Искал. Выбирал. Строгую... Ее и детей на руках бы носил... Детей люблю. Увидел тебя, подумал: «Вот она...» А ты... не та... Не постоянная. Не мать...

— Кравчук, милый, что ты говоришь? Все будет хорошо, — зашептала Шура те обычные ласковые слова, которые привыкла говорить раненым, и, хотя по движению его бровей увидела, что он понимал ее неискренность, понимал, что уже осталось недолго жить, улыбнулась ему.— Переправим тебя в госпиталь, сделают операцию... Погоди, еще на свадьбе твоей погуляем. Ты откуда? Из Чернигова? Напишешь письмо...

А он попросил печально и просто:

— Ну, заплачь хоть, а? По мне заплачь...

Она глядела на него с ужасом — этого никто не говорил ей никогда. Но она не могла заплакать. Она наклонилась и поцеловала его в горячую щеку слабым прикосновением губ.

— Нет, ты хороший, Кравчук...

Тогда он насильно отвернулся, не открывая глаз, прошептал с тоской:

— Ох, как я тебя жалел бы!.. Жалел... Я ведь тебя любил...

— Эй, сестренка! Ты с раненым, сестренка? Артиллеристы? — раздался над ней задыхающийся голос.— Где плоты?

Она откинула голову. По берегу шли трое солдат-пехотинцев в плащ-палатках, возбужденно дыша. И еще человек десять солдат сбегали по бугру к воде; трое, придерживая, скатывали станковый пулемет.

— Вы куда? — не поняла Шура.
— Приказ отходить, сестренка. Раненого мы возьмем. На плот.
— Отходить? Как отходить? А артиллеристы?
— Не знаем. Те держатся. А нам приказ.
— Ах вон как,— она встала,— вон что...
Она сама погрузила Кравчука на плот, и простились они как близкие, понимая, что расстаются навсегда; он сказал по-прежнему просто:
— Прощай...
— Прощай, Кравчук,— ответила она грустно.— Прощай, милый.
Так первым ушел с плацдарма сержант Кравчук. А она раньше думала, что у него красивая, хозяйственная жена, дети, двое детей, но нет, ничего этого не было и, наверное, никогда не будет...
Потом она поднималась по земляным ступеням к орудиям, шла все быстрее и быстрее, пытаясь не думать о Кравчуке, и не могла. В ее памяти он был тесно связан с Борисом Ермаковым, и ей неожиданно вспомнилось, как они стояли на холодном ветру под гудящими соснами, на острове, в ночь переправы, и Борис, обнимая ее, говорил полусерьезно: «Не надо слез. Я тебя еще недоцеловал».
Грузные космы тумана, переваливаясь через гребень, сползали ей навстречу по скатам, пахло близкими ноябрьскими холодами. И Шура подумала, что Кравчук, возможно, никогда уже не увидит легкого мелькания первого снега, пахнущего свежим арбузом, белых полей, багрового морозного солнца над сугробами, даже такого вот неприятного сырого тумана. И от этой страшной простоты, неповторимости обычного стало ей трудно и больно глотать. Она остановилась, задохнувшись. «Кравчук ничего не знал. Ничего. Я люблю Бориса, только его...»
— Шурочка!
Она почти испуганно вскинула глаза, и первое, что реально ощутила, была тишина, хлынувшая ей в уши. Сверху спускался человек, без шапки, в распахнутой шинели, человек этот жестом невыносимой усталости откинул волосы — и она увидела знакомый лоб, знакомые брови и незнакомо чужие глаза.
— Сережа?..
Она подбежала к Кондратьеву, взяла за голову, на-

пряженно глядя в его неизбывно утомленное, в пороховых подтеках лицо.

— Есть связь с Бульбанюком? Да?

Он смотрел сквозь нее, не видя.

— Нет,— сказал он, и взгляд его приблизился к ее зрачкам.— Шура, мы выпустили половину снарядов по Белохатке. Кажется, Максимов держится,— договорил он.

— Приказ отходить?

— Нет, мы остаемся. Пехота уходит.

Все вокруг орудийного дворика было чудовищно распахано, разворочено снарядами; воронки смели бруствер, сровняли его с землей, чернеющей обнаженным нутром, всюду тускло поблескивали вонзенные в нее рваные края осколков. Тошнотворный запах немецкого тола, не рассеиваясь, висел в воздухе. Шура знала этот удушающий запах и хорошо представила, что̀ было здесь несколько минут назад... Наводчик Елютин осторожно протирал казенник, рассеянно взглядывая на остывающий ствол орудия, на котором зелеными колечками завилась раскаленная краска. Кроме Елютина, никого не было на огневой позиции, заваленной закопченными гильзами.

— Меняем огневую. Все копают, — объяснил Кондратьев, обессиленно садясь на снарядный ящик. — Нас заметили. Танки лупили прямой наводкой...

Он покашлял стесненно.

— Встань,— приказала она.

Он встал.

— Эх ты, ученый,— сказала Шура и начала застегивать его шинель.— Что, жарко? В госпиталь захотел? А где фуражка? Почему в кармане?

Она пригладила его влажные волосы, надела фуражку.

Он глядел в туман отсутствующим взглядом.

— Шура,— сказал Кондратьев, застенчиво покосившись на Елютина.

— Что?

Он коснулся ее локтя, отвел в траншею.

— Я прошу тебя не обращаться со мной как... с мальчиком,— заговорил он, торопясь и волнуясь.— Я не мальчик. Ты прости меня, что я тогда вел себя как осел. Пойми, Борис там, а мы тут. Солдаты всё видят — какая глупость! Я прошу тебя, будь со мной официальной... Ты ведь все понимаешь, правда?

— Сере-ожа, — протяжно проговорила Шура со снисходительной нежностью.— Я все время забываю, что ты старший лейтенант...

Отступив на шаг, Кондратьев округлил глаза — она впервые увидела сопротивление на его лице.

— Зачем ты так говоришь? — сказал он.

Его окликнули из пехотных траншей:

— Артиллерист, давай сюда!

В траншее шевелились, двигались люди, долетали приглушенные команды, звон очищаемых лопат. Кондратьев извинился и пошел, невысокий, мешковатый в своей широкой, не по росту, шинели.

Она стояла, прислонясь к стене окопа, прикусив губу до боли. Он казался ей незащищенным мальчиком, как-то неожиданно и случайно попавшим из тишины, от умных книг в эту грубую обстановку обнаженных человеческих чувств, в холод, грязь, во все то, что она испытала на себе. Он не умел носить ни формы, ни оружия, не умел отдавать распоряжения, звание «старший лейтенант» не шло к нему — к его косо затянутому солдатскому ремню, к стоптанным кирзовым сапогам, к этому поднятому не по уставу воротнику шинели... Невоенный весь. Но вид его говорил, что война не на целую жизнь, а было и придет время, когда с поднятым воротником можно будет пробежаться по сентябрьскому дождю или сквозь январский снегопад и потом войти в мягкое, уютное тепло, в яркий свет городской квартиры, в полузабытое далекое счастье.

На Кондратьева она обратила внимание месяца три назад, в летнюю жаркую ночь. Перекинув через плечо ремень автомата, совсем один ходил он по огневой позиции, задумчиво глядел на недалекие немецкие ракеты, задевающие бледными дугами красную, низкую, душную луну.

«Что вы не спите? — спросила тогда она.— Вы что же, часовой?» — «Нет... то есть да. Пусть они. Все спят»,—говорил он надтреснутым ото сна голосом, смешно чесал нос, и ей почему-то было жаль его, нездешнего, городского старшего лейтенанта, одинокого среди лунной ночной пыльной степи, по всему черному горизонту разрезанной ракетами.

С этого началось...

— Старший лейтенант Кондратьев! — неестественно спокойно окликнула Шура.

Он задержался у пехотных окопов, подождал ее.

— Что ты сказал о Борисе? — спросила она и даже привстала на цыпочках, чтобы ближе увидеть его глаза.

Около орудий лопнул танковый снаряд, перекатилось эхо, пронзительно заныли протянувшиеся в тумане осколки. И стало тихо. Лишь шуршали плащ-палатки, шаги в пехотных траншеях, придушенно звучали короткие команды: пехота отходила к Днепру.

Кондратьев ответил серьезно:

— С Бульбанюком ничего не известно. Дело в том, что дивизия уходит под Днепров, а батальоны и мы остаемся здесь до особого приказа. Мы поддерживаем батальоны.

— Поддерживаем?—изумленно воскликнула Шура.— Мы поддерживаем один батальон Максимова. А Бульбанюк?..

Кондратьев покашлял в замазанную землей ладонь.

— Ну? — спросила она.— Ну?

— Неизвестна точно позиция Бульбанюка,— проговорил он наконец.— Гуляев ждет связи. Неизвестно, куда стрелять.

— Эх, вы-ы! — сказала она с внезапной неприязнью и презрением в душе.— Чего вы ждете? Чего ждете?

— Шура, я тебе должен сказать прямо: все наши плоты и твой санитарный я отдал пехоте по приказу Гуляева. Им не хватает плотов.

— Зачем же санитарный? — сказала Шура насмешливо и упрекающе, точно он вновь нуждался в ее защите.— Ну, зачем?

Несколько минут спустя она появилась в глубоком окопе взвода управления. Никто из разведчиков и связистов не обратил на нее внимания. Младший лейтенант Сухоплюев, длинный, тонкий, как орудийный банник, лежал, вытянувшись, на шинели перед рацией, задумчиво сосал потухший окурок, прилипший к губе.

— Мне... связаться со штабом полка.— В голосе Шуры появилась требовательная интонация.— Срочно.

Сухоплюев, продолжая глядеть на рацию, бормотнул осипшим от долгого молчания баритоном:

— В чем дело?

— У тебя связь, милый? — не ответив ему, но уже с небрежным дружелюбием спросила Шура телефониста.— Дай штаб полка. Я насчет переправы раненых.

— А сколько раненых?

И Сухоплюев бесстрастно перевел взгляд на ее грудь.

— Еще не знаю, сколько будет.

Младший лейтенант подумал, напуская на лицо официальную серьезность.

— Соединяйте! — внушительно приказал он связисту своим низко гудящим баритоном, всегда вызывавшим удивление Шуры.

Он выглядел внешне суховатым, надменным, этот замкнутый младший лейтенант, но в батарее не было более исполнительно-аккуратных людей, чем он. Шура не знала, почему так заторопился Сухоплюев соединить ее, санинструктора, с высшим командным лицом в полку, не знала, о чем думал младший лейтенант. Сухоплюев же в это время думал о том, что очень скоро может совершиться многое, чего тайно желал, чем тайно жил последние часы на плацдарме. Из офицеров батареи в строю оставались лишь двое: он и старший лейтенант Кондратьев. Если Кондратьева ранит и его немедленно отправят в тыл, то место комбата займет он, Сухоплюев, а это — долгожданная самостоятельность, свобода действий, первая ступенька к ожидаемому счастливому случаю, к честной известности: в этом не было ему до сих пор особого везения. А при полной свободе действий он, младший лейтенант, мог взять на себя все, чего не мог сделать слишком мягкий старший лейтенант Кондратьев, и в этом он был твердо убежден.

— Штаб полка, штаб полка...— скороговоркой вызывал связист, косясь в направлении пехотных траншей, где по-прежнему не утихало движение.

— Вы, кажется, под трибунал захотели? — бесстрастным голосом остановил его Сухоплюев.— Забылись? Где установленные позывные?

— Четвертого, четвертого,— поправился связист и сейчас же передал Шуре трубку.— Полковник...

— Товарищ четвертый,— спокойно сказала Шура и замолчала.

Глухой голос недовольно заговорил в трубке:

— Кто? Говорите точнее! Кто?

— Я санинструктор от шестого,— повторила Шура окрепшим, решительным тоном.— Вы приказали весь транспорт отдать... соседям. Мне нужен один транспорт для раненых. Прикажите оставить один транспорт, товарищ четвертый...

— Для чего вы делаете это? — прозвучали раздельные слова за спиной Шуры, и от этих слов холодным сквозняком повеяло на нее.

Она повернулась как бы от физически неприятного прикосновения и в двух шагах увидела старшего лейтенанта Кондратьева, рядом с ним вытянулась, застыв, фигура старшины Цыгичко.

— Что вы делаете? — шепотом сказал Кондратьев, шагнул к ней, и следом, как заведенный, шагнул старшина.— Для чего?..

— Прошу вас, не мешайте мне,— попросила она и медленно сдунула волос со щеки, встретив глазами грустный взгляд Кондратьева.

— Это бестолковый разговор, голубушка. Как вас понять прикажете? Это я вам мешаю? — раздраженно загудел голос полковника.— Ну, уважаемая, время не для кокетливых шуток!

— Я не намерена шутить, товарищ четвертый! — выговорила она, будто падая с высоты.— Я имею право требовать, что положено для раненых. Прикажите оставить один транспорт, товарищ четвертый!..

— К телефону шестого,— суховато потребовал Гуляев.

— Вас, товарищ старший лейтенант.

Он встал к Шуре боком и начал торопливо и четко говорить, преодолевая смущение,— одни глаза оставались грустными,— и она, наблюдая его, уже не узнавала в нем того беспомощного человека, которого выдумала себе.

Он говорил:

— Есть. Слушаюсь... Слушаюсь. Никак нет. Немного, Кравчук. Отправлен с соседями. Так точно. Осталось двадцать пять огурцов. Туман большой. Никаких сигналов. Слушаюсь... Будем ждать. Будем ждать...

— Значит, ждать? — проговорил Сухоплюев.

Кондратьев, подтверждая без слов, кивнул, отдал трубку связисту. Шура, выпрямившись, с вызовом спросила:

— Значит?.. Значит, раненые будут переправляться вплавь?

— Пойдемте! — И не голосом, а выражением глаз он пригласил ее пройти по траншее вперед, и она подчинилась.

Цыгичко двинулся следом.

— А я, товарищ старший лейтенант? — забормотал он, забегая в ходе сообщения и напруженно вытягиваясь перед Кондратьевым.— Мне куда ж?

— К орудию.

— А они... Как же? Не знают, что меня вернули,— выговорил старшина, охваченный робостью.

— Я скажу. — Кондратьев полуласково подтолкнул Цыгичко в плечо.— Идите.

Теперь они были одни.

Из-за поворота траншеи доносился сдавленный голос Сухоплюева, с расстановками вызывающего «Волгу», затихали приглушенные туманом шаги Цыгичко. Было одиноко, сыро и жутко стоять вблизи опустевших траншей пехоты, чудилось — вся земля вымерла, задушенная туманом.

— Шура,— заговорил Кондратьев, трогая запотевшую золотую пуговицу на ее шинели.— Неужели вы не поняли? Мы остаемся здесь. Понимаете? Мы уйдем отсюда, когда Бульбанюк и Максимов будут на левом берегу, когда это будет — не знаю... А просить плот, — он усмехнулся,— просить плот, когда мы остаемся, просто неловко.

— Мы остаемся здесь навечно?

— Я не хотел бы, чтобы это случилось,— ответил он.— Все цепляется одно за другое.

Он отпустил ее пуговицу, и в тишине долетел до них из белесой мглы безнадежно бьющий в одну точку голос: «Волга»... «Волга», «Волга»...» — и Шура, с ужасом подумав, что свершилось что-то непоправимое с «Волгой», Борисом, с ней самой, с Кондратьевым, прислонилась к стене траншеи, страстно выговорила:

— Не верю, не верю. Ни во что плохое не верю! Все будет хорошо! Все будет хо-о...— И, прижав подбородок к груди, заплакала в бессилии и отчаянии, как если бы виновата была в чьей-то гибели.

— Шурочка, милая... Зачем вы? — растерянно зашептал Кондратьев. — Прошу вас, Шурочка, милая...

— Нервы,— ответила она, подымая лицо с сухо блестевшими глазами. — Я не знала, что у меня нервы.

Все случилось в сумерки.

Целый день холодный, сырой воздух очищался от тумана: то, расправляя синие дымы в низинах, выгляды-

вало солнце, и тогда веселели мокрые кусты на берегу; то небо до самого горизонта затягивало пепельной гарью низко клубящихся туч, приносивших влажный запах ноябрьского дождя — и мрачно и плоско отражалось небо в неуютном осеннем Днепре.

Целый день над плацдармом не было немецких самолетов, даже в те часы, когда прояснялись небесные дали. Раз они внезапно появились в стороне — их насчитали двадцать четыре; «юнкерсы» прошли мимо плацдарма, развернулись далеко над лесами и полчаса крутились и ныряли там — вздрагивала земля.

Люди глядели туда, сидя около орудий,— никто не думал о батальоне Бульбанюка, который еще жив, ибо мертвых не бомбят.

Тогда же Кондратьев позвонил полковнику Гуляеву, сообщил ему об этой первой весточке о батальоне.

— Надо открывать огонь по старым данным, товарищ четвертый! — сказал Кондратьев с волнением и радостью.

— А вы точно знаете новую позицию батальона? По своим лупанете? Связь мне с батальоном! Вот что — связь! Связь! — И, засопев в трубку, полковник прервал разговор.

А мимо летели, наслаиваясь, облака над притихшей немецкой передовой, над еловой посадкой, где затаились чужие танки. Тяжелый, едкий туман утра съел нежную желтизну осени, и везде посерело, намокло, утратило краски. Ветер мотал под обрывом голый кустарник, вызывающий тоску, вздымал в воздух последние черные листья, нес их стаями и бросал на пустынную, студено-фиолетовую воду Днепра. Там, вблизи посеревшего острова, не видно было ни одной лодчонки. И неприятно молчала немецкая артиллерия. В полдень далеко справа, откуда глухо доносилась канонада, еле видимыми комариками прошла группа штурмовиков, за ней волной прошла другая, третья, хмарное небо замельтешило, долетел слабый гул, и солдаты разом поглядели на Кондратьева.

Деревянко зло сказал:

— Не туда, не туда, дьяволы!

— Это на Днепров,— проговорил Кондратьев.

Только наводчик Елютин, спокойно лежа на снарядных ящиках, по обыкновению копался в механизме ручных часов, разложенных на носовом платке.

— Наладился! — сурово выговаривал Бобков и сводил широкие брови.— Нужны твои часы, как собаке

калоши. Брось, говорят, не то как махну по твоей механизме. Искры полетят!

— Ну а какой толк? — миролюбиво отвечал Елютин.— Может, тебе часы не надо, а я обещал Лузанчикову.

Бобков беспричинно раздражился:

— А на кой они мне? Я и так вподрез время узнаю, понял? По воздуху, понял? По нюху. Ноздрей!

— Ну, сколько сейчас времени? — Елютин улыбался, и, как отсвет этой улыбки, мелькало сочувствие в широко раскрытых глазах Лузанчикова.

— Дурак! — снисходительно отрезал Бобков.— И сроду, видно, так! Поверь! Поработал бы четыре года в поле на тракторе — часы б через забор забросил, как воспоминание! — И, огромный, широкий, шуршащий на ветру плащ-палаткой, враждебно глянул в сторону скрытых лесами Ново-Михайловки и Белохатки, где отбомбили самолеты и непрерывно и дробно постукивала молотилка боя.

Разговоры были не нужны, бессмысленны, но тяжелее всего молчание на плацдарме, тесно сжатом ненастным небом, бесприютно пасмурным Днепром и перекатами канонады слева и справа.

Стал накрапывать дождь, посыпался мелкой, нудной пылью, затянул сизым туманцем немецкие окопы, посадку, дорогу за ней, темные леса, остров на Днепре. Орудия и открытые в ящиках снаряды влажно заблестели; и потемнели капюшоны солдат, сидевших на станинах нахохленными воронами.

«Надо открывать огонь,— подумал Кондратьев, слушая несмолкаемый лепет дождя по капюшону.— Чего я жду? Позывных батальона? А будут ли они? Полковник, и солдаты, и я понимаем, что ждать глупо! Что же, я открою без команды огонь и отвечу... А если все изменилось там, я ударю по своим? Меня расстреляют за это. Но они просили на рассвете огня. Где же приказ, наконец?..»

Он огляделся. Солдаты цепко уловили его движение, и тотчас послышался над ухом вежливо воркующий голос Цыгичко:

— Пока... Поскольку без делов солдаты, товарищ старший лейтенант, разрешили бы им в землянках погреться. Тепло — ведь оно бодрость духа и моральное состояние придает. Основываясь, значит, на опыте прошлых боев с немецкими оккупантами.

— Да? — спросил Кондратьев. — Вон даже как? Очень хорошо!

— Следовательно, забота о живых людях,— едко сказал Деревянко. — Моральное состояние приподымает! Большой мастер приподымать!

— Старшина, ты, никак, свою палатку потерял? — в упор спросил Бобков.

— Да разве ж я о себе, хлопцы? — забормотал Цыгичко.— Я же не о себе...

«Что я стою? Почему я не подаю команду? — думал Кондратьев.— Есть ли оправдание тому, что люди гибнут сейчас, а я стою вот здесь как последний подлец и думаю о чистоте своей совести?»

— Старший лейтенант, к телефону!

Кондратьев отбросил капюшон,— шуршал в кустах дождь, из окопа тревожно высовывалась голова связиста,— и вдруг с горячо поднявшейся в душе злостью к самому себе скомандовал срывающимся голосом:

— К бою! Зарядить и ждать!

Все вскочили, а он, добежав до сухоплюевского окопа, покрытого сверху плащ-палаткой, крикнул связисту:

— Кто? Гуляев?

Кондратьев схватил трубку, облизнул шершавые, обветренные губы.

— Товарищ четвертый...

— Что?

— Я не могу ждать. На что мы надеемся?

Полковник Гуляев шумно дышал в трубку.

— На чудо. И терпение.

— Чуда не будет. Я открываю огонь!

Было молчание — долгое, мучительное, неясное.

— Открывай,— неожиданно тихо сказал полковник.— Открывай, сынок... Открывай. По Ново-Михайловке. Да людей своих береги. Вы ведь у меня... последние артиллеристы.

И Шура, прислонясь к стене окопа, не замеченная Кондратьевым, куталась в плащ-палатку, как будто знобило ее.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Глубокой ночью, ясно вызвездившей над Днепром, небольшой плот отчалил от правого берега, мягко зашлюпал по черной воде, качаясь и наплывая на синие зигзаги горевших в воде созвездий.

В эту ночь не зажигали реку немецкие прожекторы, не стреляли вдоль берега крупнокалиберные пулеметы, танки не били прямой наводкой по острову на шум машин, на случайный огонек.

Ночь, темная, с холодным воздухом, кристальной тишиной поздней осени, легла на успокоенные высоты, на уснувшую, измученную землю. Изредка слева, как бы сонно и нехотя, вспыхивали немецкие ракеты, без звука сыпались красные светляки пуль.

Бежала и нежно лепетала вокруг бревен вода, скрипели уключины, дремотно поскрипывали, терлись бревна.

«Кажется, весь день был ветер, а теперь какая странная тишина,— лежа спиной на соломе, думал Кондратьев, испытывая смешанное чувство легкости и беспокойства.— И куда мы плывем под этим звездным небом? В тишину... Но, кажется, кто-то убит. Что случилось с Сухоплюевым? Он лежал между станин лицом вниз... без фуражки. Рядом с Елютиным. А орудия где?»

Он напряг память, хотел вспомнить, что произошло несколько часов назад, но ничего не мог вспомнить. Мешала тяжесть в висках, ломило в надбровье, и путала мысли втягивающая студеная высота мерцающего неба. Скрипуче пели уключины, душно пахла солома, влажная плащ-палатка неприятно корябала подбородок. Он сделал движение, перебинтованная голова была точно привязана к бревнам.

— Шура,— слабо позвал он,— Шура...

Звезды исчезли, их заслонил кто-то, повеяло свежестью в лицо.

— Шура?..

— Я, Сережа,— прошелестел осторожный шепот из темноты.— Что, болит? А ты не поворачивайся, не надо...

— Шура, меня ранило? Ничего не помню... Где Сухоплюев?

— Нет его.

— А Елютин?

— Нет.

— Где они?

Она помолчала.

— Сними плащ-палатку,— попросил он и после добавил уже неуверенно: — Говори, Шура...

Она сняла плащ-палатку. Он, сдерживая дыхание, почувствовал запах ветра и пороха от колюче-холодного ворса ее шинели.

— Говори все.

Тогда она ответила полуласково:

— Хочешь, сказку расскажу? Я много сказок знаю. Ты в детстве любил сказки?

Он нащупал ее не отвечающие на его пожатие пальцы.

— Мы стреляли, а потом... потом?..

— А потом по орудиям стреляли танки,— договорила она, снижая голос.— А потом у нас кончились снаряды.

— Снаряды?..— повторил Кондратьев, глядя в огромное, переливающееся холодными звездами небо, на туманно искрящийся Млечный Путь.

Было ему кого-то непростительно, горько жаль, мнилось, что кого-то он тяжело, грубо оскорбил и тот вскоре погиб в двух шагах от него. Шура, вероятно, знала, видела это и потому не говорила всего до конца. И память не вдруг стала выхватывать несвязанные, отрывочные картины того, что случилось несколько часов назад.

Он помнил раскаленный догорячá ствол орудия, лихорадочно снующую между станин широкую спину Бобкова, его руки, бросающие снаряды в дымящееся отверстие казенника, его бешено-радостные глаза, его крик: «А, сволочи! Не жалко!» И рядом — сосредоточенное, неспокойное лицо Елютина, повернутое от прицела: «Угломер! Угломер! Угломер!» Неужели два орудия заменяли всю артиллерию дивизии? Восемь ящиков опустело, и тогда ехидный Деревянко сообщил: «Восемь сдуло!» И через минуту этот милый Лузанчиков восторженно-возбужденно повторил: «Десять сдуло, товарищ старший лейтенант!» А где был Цыгичко? Кажется, вместе с Шурой он носил ящики из ниши, раз упал, задев ногой за станину, и засмеялся глупо и жалко. Сыпал дождь, огневая позиция размякла, как каша... Что было еще?

Из еловой посадки ударили по орудиям танки. Оглушили звенящие разрывы в кустах и на бруствере. Срезанные ветки хлестнули по лицу горячим кнутом. И был открыт ответный огонь по танкам. Мелькали перед ним прижмуренные, ослепленные глаза Елютина и судорожно вцепившиеся в снаряд огромные пальцы Бобкова, остальных Кондратьев больше не видел. Началась дуэль между орудиями и танками. Вскоре его сознание прорезал крик, нет, не крик — радостный рев Бобкова: «Горят, горят!»

Затем разрыв, звон в голове, желтый опадающий дым, и из этого дыма поднялся без шапки, с окровавленной скулой Елютин, пошатываясь, нащупал левый рукав, пытаясь отогнуть его, словно на часы хотел посмотреть, сделал шаг за щит орудия и упал животом на бруствер.

Все исчезло после... Все поглотила черная, мягко качающаяся пустота, и он плыл в ней, как сейчас под этими звездами. Он очнулся от свинцовых капель дождя, от голоса, хрипло кричавшего непонятное и страшное: «Мы погибли здесь, выполняя приказ. Пришлите плот. За Кондратьева остался я, младший лейтенант Сухоплюев. У нас нет снарядов. Мы все погибли здесь, выполняя приказ!..»

«Он убит, но почему он докладывает еще? — соображал Кондратьев. — Разве он убит?» Сухоплюев лежал в бурой жиже, обнимая намертво телефонный аппарат, виском вмяв в грязь разбитую эбонитовую трубку. Как оказался телефонный аппарат близ станин орудия, при каких обстоятельствах погиб Сухоплюев, он не вспомнил, голова, скованная болью, была налита огнем. Скоро Цыгичко, Бобков и Шура понесли его куда-то вниз, и там, внизу, снова бездонная мгла закачала его на мягких волнах забытья.

— Тебе не больно, Сережа?

— Нет.— Он долго глядел на высокие звезды, мимо которых плыл темный силуэт Шуриной пилотки, а в ушах все возникал хрипло-незнакомый голос Сухоплюева: «Мы погибли здесь, выполняя приказ...»

— Сухоплюева там похоронили?

— Да.

— И Елютина?

— Да.

— А орудия как?

— Орудия были разбиты. Мы столкнули их с берега в Днепр. Ты приказал.

— Я?

— Да. А прицелы здесь. С нами. Ты приказал взять.

— А люди... остальные?

— Здесь они.

А вокруг бревен струилась, ворковала, плескалась вода, с упорной однообразностью повизгивали уключины, и не было слышно ни одного голоса на плоту.

— Я не слышу их,— сказал Кондратьев и окликнул: — Лузанчиков?

Ответа не последовало. Слева помигала ракета и сникла, растворилась в ночи.

— Он спит. Легкое ранение в ногу,— ответила Шура.— Мальчик... До свадьбы заживет.

— Деревянко.

Возле ног Кондратьева послышался стонущий вздох, кто-то завозился, сухо зашуршал соломой, и оттуда дошел шепот:

— Здесь я, товарищ старший лейтенант.

— Цел, милый мой, а?

— Самую малость, товарищ старший лейтенант. Едва задницу вдребезги не разнесло. Если б рукой не придержал, брызги б только полетели. А тогда ищи ветра в поле!

И до Кондратьева донесся смех: один — перхающий, заливистый, другой — густой, сдержанный. Но было ему удивительно и противоестественно думать, что это обыкновенный человеческий смех, признак будничной жизни, живого дыхания. Среди звездной бездны ночи едва заметные фигуры проступали у весел, и по смеху Кондратьев узнал их — это были Бобков и старшина Цыгичко. И он невольно спросил свое, навязчивое, спросил расслабленным, дрогнувшим голосом:

— Живы?

Цыгичко деликатно промолчал, а Бобков, вроде и не случилось ничего, ответил за двоих весело:

— Как полагается, товарищ старший лейтенант. Руки-ноги целы. И все места в здравии!

И захохотал приглушенно, за ним Цыгичко прыснул тоненько, по-бабьи.

— Не до смеху! — удивился Деревянко.— Какой смех!

«Так вот она, война, вот она, жизнь,— думал Кондратьев с облегчением и любовью к этим людям, родственно и крепко связанным с ним судьбою и кровью.— Вот оно, простое и великое, что есть на войне. Вот она, жизнь! Остались прекрасное звездное небо, осенний студеный воздух, дыхание Шуры, соленые остроты Деревянко, смех Бобкова и Цыгичко. И это движение под Млечным туманно шевелящимся Путем... И я... я сам не знаю, буду ли жить, буду ли, но люблю все, что осталось, люблю... Ведь человек рождается для любви, а не для ненависти!»

Звезды дрожали у него на ресницах, холодком касались их, переливались синими длинными лучами, убаюкивал мирный скрип бревен, и, как сквозь воду, слышал

Кондратьев отдаляющийся зыбкий шепот Шуры, шорох соломы, легкие стоны, и уснул он, разом провалился в горячую тьму, но даже во сне не покидала, тревожила его расплывчатая мысль о чем-то несделанном, недодуманном: «Разве они не заслужили любви?»

Он проснулся от влажного холода, потянувшего по ногам, от возбужденных голосов, топота сапог по бревнам и долетевшей команды:

— Кондратьева на берег!

Плот стоял; над головой, в мутной мгле рассвета, шелестели на ветру, заслоняли похолодевшее небо верхушки деревьев.

— Вы, товарищ старший лейтенант, за шею здоровой рукой меня обнимайте,— взволнованно наклоняя озабоченное, землистого цвета лицо, говорил старшина Цыгичко и, пахнущий порохом и ветром, елозил на коленях подле Кондратьева.

— Донесешь? Уронишь, не котелок с кашей нести! — недоверчиво прогудел Бобков, взглядывая через плечо старшины самолюбивыми глазами.— Дай-ка я... Бревна скользкие. Разъедутся ноги — и ляпнешься жабой! Уйди-ка!

— Вы только... помогите мне,— виновато улыбнулся Кондратьев.— Я дойду... ноги у меня здоровые...

— Нельзя ж! — прошипел Цыгичко.— Поскольку, значит, мы с вами... Як же можно? Я легонько вас. Как пушинку доставлю.

— Поторопитесь! Быстрее! — раздался окрик Шуры.

Кондратьев оперся о жилистое плечо Цыгичко и, крепко поддерживаемый Бобковым, непрочно встал на ноги, покачнулся от тошнотворно прилившей к вискам крови.

В тумане на бугре выстроились санитарные крытые повозки, и одна темнела внизу, заляпанная грязью; мокрая, обданная росой, дымилась спина лошади, дремлющей в сумраке шумящих деревьев.

И толпились вокруг незнакомые пехотинцы, по-тыловому выбритые, в новеньких плащ-палатках, в чистых обмотках, в касках, как если бы ни разу еще не были в бою.

Кто-то спросил свежим голосом:

— Откуда?

— С того света,— ответил Деревянко,— знаешь такой район чи нет? — И, усмехаясь, скользящим жестом локтей все поддергивал галифе, не державшееся на бинтах, оглядывался на строго озабоченную Шуру, которая торопила его садиться в повозку, объяснял: — Да на что же я сяду, солдат милосердия? Выходит, садись, на чем стоишь.

А из крайнего санитарного фургона белело за несколько часов неузнаваемо похудевшее, выделяясь огромными глазами, лицо Лузанчикова, до сих пор не верившего в гибель Елютина. Он, всхлипывая иногда, как сквозь пелену, смотрел на немецкие часики, зажатые в потной ладони, перед самым боем починенные и подареные ему Елютиным: они всё жили и бились, всё отсчитывали и отсчитывали секунды, будто сообщена была им вечная жизнь.

Глухой от стука крови в голове, Кондратьев ступил на твердый берег, и оттого, что не в силах был двигаться сам, стало неловко ему, и неловко стало оттого, что голова и левая рука перебинтованы, оттого, что незнакомые пехотинцы глядели на него с выражением молчаливого сочувственного понимания.

Бобков по-хозяйски подошел к санитарным повозкам, командно рявкнул на ездовых:

— Ближе, ближе! Что отъехали? Стреляют, что ль?

— Крепко старшего лейтенанта садануло! — проговорил кто-то.— Довезут ли до госпиталя?

Кондратьев никогда не отличался военной выправкой, не признавал неистово начищенных сапог, браво развернутых плеч, по-строевому наглухо застегнутых пуговиц — это сковывало его, сугубо гражданского человека, привыкшего к широким пиджакам и до войны никогда не любившего галстуков.

Но вдруг пальцы его ощупью заскользили по борту шинели, отыскивая холодные пуговицы, в то же время Цыгичко начал проворно оправлять на нем шинель и, раздувая ноздри, успокоительно заговорил:

— Ничего, шинелька эта теплая, на вате, согреетесь, товарищ старший лейтенант. А вернетесь из госпиталя — мы ее по вас сделаем. Укоротим. И — как влитую... Як же иначе?

И тут Кондратьев припомнил, что шинель эта не его, а провинившегося старшины, и со стыдом подумал: как это он забыл отдать ее раньше?

— Цыгичко,— сказал он.— Пожалуйста, снимите с меня шинель. И... поменяемся...

— Не понял, товарищ старший лейтенант! — удивился и испугался Цыгичко.— Никак нет! Не могу. Капитан Ермаков приказал. Привык я. Очень хорошая вещь шинель.

— Я приказываю,— повторил Кондратьев.

Тогда старшина Цыгичко осторожно и покорно, стараясь не задеть раненую руку Кондратьева, снял с него шинель; однако, не решаясь надеть, положил ее на песок. И, жилистый, слегка кривоногий, неуверенно затоптался в одной гимнастерке на свежем ветру рассвета.

— Возьмите свою шинель,— еле слышно приказал Кондратьев, чувствуя, что может упасть от боли в голове.

Две санитарные повозки спускались по бугру.

В это время позади них, бесшумно вылетев из серомглистой чащи леса, резко затормозил на опушке знакомый маленький открытый «виллис». Тотчас же пехотинцы зашептались, вытянулись, разом замолчали, а старшина Цыгичко замер, сдвинув свои кавалерийские ноги.

Прямо к Кондратьеву грузно, спеша шел невысокий полковник в старом, потертом плаще, с крупным, грубоватым лицом, воспаленным бессонницей.

— Кондратьева мне! Где Кондратьев? — хрипло крикнул он, и Кондратьев только по губам полковника догадался, что спрашивали его.

— Я...

— Жив?..— осекшимся голосом проговорил полковник и, точно не узнавая этого хрупкого, бледного, с перебинтованной головой и кистью офицера, долго и молча глядел в лицо ему пристально, ищущими, без слез плачущими глазами.— Жив, сынок?..

И Кондратьев внезапно почувствовал мучительно-сладкую судорогу в горле оттого, что на этом свете его жизнь так нужна была кому-то.

— В медсанбат. Всех. Немедленно...— отрывисто сказал полковник.

— Товарищ полковник,— шепотом произнес Кондратьев.— Прицелы с нами.

— Что мне прицелы, сынок! — перебил полковник с горечью. — Что мне прицелы, дорогой ты мой парень... Орудия будут, а вот люди...

С мягким хрустом колес подъехали санитарные повозки, следом за ними подкатил грязный и юркий, как маленькое лесное животное, «виллис»; подошли озабоченная Шура, недовольный чем-то Бобков, и медсанбатские неторопливые санитары при виде суроволицего пехотного полковника мгновенно забегали и закричали на лошадей.

— Какая дурья башка придумала прислать за тяжелоранеными колымаги? — спросил он таким недобрым голосом, что у старшего санитара подобрался испуганно рот.— Вы старший из медсанбата? Головотяпы! Грузить в «виллис». Мигом!

Через несколько минут погрузка была закончена; один Деревянко, который мог только лежать, устроен был в санитарной повозке. Полковник Гуляев сел впереди с шофером, нахмуренно взглянул на водянистую полосу зари, проступавшую над лесом; настала минута прощаться.

— Выздоравливай, Сережа,— сказала Шура и поцеловала холодными губами Кондратьева в подбородок.

— Прощай, Шурочка,— сказал Кондратьев.— Я тебя никогда не забуду.

— Счастливо, товарищ старший лейтенант,— угрюмо выговорил Бобков, отворачивая задергавшееся лицо.

Когда же повозки и «виллис» тронулись, старшина Цыгичко, до этого скромно стоявший в стороне, порывисто схватил шинель, сумасшедше бросился за машиной, загребая по песку кривыми ногами.

— Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Шинелька!..

Но «виллис» набирал скорость, стремительно взбирался в гору, и никто в машине не услышал его, а ездовые на повозках оглянулись с недоумением.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Часовой наконец узнал его и, не отрываясь, наблюдал, как он, в изодранной шинели, весь в грязи, обвешанный двумя полевыми сумками, шел по двору к хате.

Он так рванул дверь — в сенях задребезжало пустое ведро.

В первой половине, полутемной и жаркой, сидел за рацией молоденький сержант. Ветер шевельнул хохолок на его голове, он увидел вошедшего и, растерянный, ото-

двинулся от рации вместе с табуреткой, рывком сдернул наушники. Это был полковой радист.

— Товарищ капитан?.. Неужели? Вы... здесь?

Не слушая его, Ермаков распахнул дверь в другую комнату — осенние закатные блики косо лежали на глиняном полу, на пустых лавках под окнами. Не было тут ни связистов, ни связных штаба.

Полковник Гуляев в плаще, придавив кулаки к лицу, дремал за столом. Седина светилась в волосах. Рядом, на табуретке, виден был солдатский котелок с остатками застывшего борща, подернутого жирными блестками, лежал нетронутый ломоть хлеба.

Ермаков, зло морщась, ударом сшиб котелок на пол, он загремел, покатился в угол. Полковник во сне втянул носом воздух, потерся лбом о кулаки, спросил:

— Кто здесь? Кто вошел?

— Я здесь.

Полковник отнял кулаки ото лба, брови его, веки и морщины у переносья вдруг мелко затряслись, и в отяжелевших, непроспанных глазах вспыхнуло выражение беспомощного неверия.

— Борис?! — хрипло выдавил полковник.— Батальон... Где... батальон?..

Он медленно, с одышкой, приподнимался, глядел на потемневший от крови погон, на расстегнутую кобуру пистолета, на знакомый поцарапанный планшет, на эти чужие полевые сумки.

— Батальон — там, — ответил Ермаков почти беззвучно.— Посмотрите в окно. Там все.

Полковник Гуляев подошел к окну, маленькому, мутному, согнулся нерешительно и жалко, точно заглядывая в колыбель больного ребенка, и не сразу выпрямился.

— Это... все?..

Четверо солдат в измазанных землей, захлюстанных шинелях, грубо, буйно заросшие щетиной, с автоматами на коленях, расположились под плетнем на дворе, жадно затягивались; напротив, держа кисет, присел на корточки часовой.

— Бульбанюк... и офицеры...— начал полковник, но голос осекся, и он замолчал, перхая горлом.

Ермаков заговорил устало и жестко:

— Я прошу, вопросы мне не задавайте. Я не отвечу на них. Пока вы не ответите. Где же наступление дивизии? Где поддержка огнем?

— Что я могу тебе ответить? — вполголоса сказал полковник.— Приказ был отменен...

С неприязнью к этому тихому голосу Ермаков смотрел на полковника в упор неверящими глазами, болезненно горевшими на его темном, исхудалом лице.

— Отменен? Как отменен?..

Черная тоска была в этой низенькой комнате, забитой лиловым сумраком; и прежняя, острая, ноющая боль подступила, вонзилась в грудь, сжала его горло, как тогда в лесу, когда он готов был на все. Голос полковника звучал как через ватную стену, и он неясно слышал его: вся дивизия переброшена севернее Днепрова; два орудия Кондратьева лишь поддерживали батальон; не было связи, посланные к Бульбанюку разведчики, вероятно, напоролись на немцев; ни один не вернулся, они шли с приказом держаться до последнего, чего бы это ни стоило; от батальона Максимова осталось тридцать человек, два офицера. Максимов погиб... Ермаков выслушал, не прерывая, враждебный, непримиримо чужой, губы стиснуты, воспаленные глаза прищурены, а правая рука механически гладила под шинелью левую сторону груди, где была боль, и боль эта, что появилась в лесу, не утихала, обливала его ледяной тоской. Он спросил через силу:

— Значит, Иверзев... знал положение в батальоне?..

Полковник, насупясь, ответил:

— Так сложилась обстановка...

Ермаков проговорил:

— Я был в батальоне в момент его гибели, и я хотел бы видеть полковника Иверзева. Где сейчас... дивизия?

— Дивизия на плацдарме под Днепровом, штаб в Новополье. Но без меня ты не сделаешь ни шагу. Теперь и мне нечего делать в этой хате. Нечего... — И спросил некстати: — Водки хочешь?

— Нет. Вот возьми сумку и документы Бульбанюка. И ордена Жорки. Документы Прошина я сам передам в артполк...

Были поздние сумерки, когда они въехали в Новополье — прибрежное село, расположенное в сосновом бору. Несло запахом дождя из-под дымных туч, клубившихся над бором, от шумящих в этих тучах верхушек сосен, от песчаной дороги среди темных хат с фиолетовым блеском в стеклах, отражавших ненастное осеннее

небо. Безлюдно было на улицах, и только озябшие часовые несколько раз требовательно останавливали «виллис» на перекрестках. Полковник Гуляев молчал, молчал и Ермаков, усилием воли пытаясь обрести душевное равновесие, которое так необходимо было ему в предстоящем разговоре с полковником Иверзевым. Но этого равновесия не было: после вчерашней ночи все сместилось в его душе, и он ничего не мог забыть.

— Здесь останови,— раздался голос полковника Гуляева, и потом: — Часовой! Штаб дивизии? В этой хате разместился комдив?

Ермаков увидел синеющую под луной пустынную улицу; «виллис» нырнул в придорожной канаве, вплотню притерся к палисаднику, за которым протяжно пели на ветру сосны; под ними черно отблескивали стекла хаты с крыльцом, и фигура часового приближалась по песчаной дорожке к «виллису». Полковник Гуляев покряхтел, вылез из машины, в раздумье оглядел погашенные окна, спросил неопределенно:

— Спят в такую рань?

— Недавно с передовой вернулись. Цельный день там были. Должно, отдыхают, товарищ полковник,— ломким баском ответил часовой.— Вроде жена к командиру дивизии приехала. Да вон адъютант, на сеновале спал, кажись. Товарищ лейтенант, к вам! — крикнул часовой, отходя за машину.

Из глубины двора, из клуни, шел, покачиваясь спросонок, адъютант Иверзева,— шинель внакидку, красивое лицо помято,— видимо, не поняв в чем дело, он пробормотал, передергиваясь в судороге зевоты:

— Пакет, да? Давайте, давайте.

Гуляев с неудовольствием пожевал губами.

— Лейтенант Катков, доложите полковнику: командир полка Гуляев и капитан Ермаков.

— А! Это ты! Полковника? — И адъютант, уже осмысленно вглядываясь в Ермакова, заговорил торопливо: — Полковник только с передовой. К нему приехала жена. Приказал тревожить только в случае пакета. Но я сейчас, минуточку...

Адъютант взбежал на крыльцо.

Ермаков, чувствуя знобящую боль в груди, по-прежнему молчал. Полковник Гуляев упреждающе проговорил:

— Что ж, ты доложить обязан. Но без горячки. Спокойно. Только спокойно.

— Я вас не подведу, товарищ полковник,— ответил Ермаков, усмехнувшись.— Не волнуйтесь.

Тягуче гудели сосны в палисаднике, со скрипом, с деревянным стуком задевая ветвями крышу, а над нею и двориком то набухало темнотой, то лунно светлело, разорванным дымом неслось ноябрьское небо.

Затем в доме произошло оживление, вспыхнул свет в двух окнах, за стеклом скользнула тень адъютанта, и вскоре послышался приближающийся к двери полнозвучный, сильный голос Иверзева: «Почему не узнали?» Дверь открылась, и на крыльцо шагнул полковник Иверзев, высокий, возбужденный, в длинном стального цвета плаще; волосы его занесло ветром набок.

— Капитан?.. Капитан Ермаков? — воскликнул он изумленно.— Откуда вы? И полковник здесь? Слушаю, слушаю вас...

Возбужденьем, непоколебимым здоровьем веяло от молодого, полного лица, от сочного голоса, от прочной, большой фигуры уверенного в себе человека; и глаза его, которые, очевидно, так нравились своей холодной синевой женщинам, блестели сейчас настороженно-вопросительно. «Да, это тот Иверзев,— подумал Ермаков.— Тот, который отдавал приказ!»

— Я вывел батальон из окружения, товарищ полковник,— сказал Ермаков, взойдя по ступеням на крыльцо.— Я вывел батальон... в составе пяти человек, в числе которых один офицер. Но меня не удивляет эта цифра, товарищ полковник! И вас, наверно, тоже. Батальон дрался до последнего патрона, хотя вы, товарищ полковник, мало чем помогли нам...

— Что за тон, капитан Ермаков? — перебил Иверзев, сдвинув брови.— Полковник Гуляев! Объясните, в чем дело!

Полковник Гуляев поспешил к крыльцу, заколыхал полами потертого плаща и, подбирая живот, привычно вытянулся, поднял умный, как бы убеждающий взгляд на Иверзева.

— Капитан Ермаков командовал батальоном после гибели Бульбанюка и Орлова,— сказал он преувеличенно спокойно.

Наступило короткое молчание. Иверзев мгновенно потух, потускнело возбуждение на лице, но, помедлив

немного, он бросил на перила крыльца свою маленькую властную руку, переспросил с некоторой заминкой:

— Вы говорите, пять... человек и один офицер? — И вдруг, пристально и ожидающе глядя мимо Ермакова, заговорил ровным металлическим голосом: — Завтра, товарищи офицеры, будет взят Днепров. Полковнику Гуляеву, вероятно, известно, что в Городинск прибыло пополнение? Майор Денисов уже без вас заканчивает формировку новых батальонов. Вам немедленно отправиться туда. С капитаном Ермаковым. Сегодня ночью. Денисов знает приказ. Вы же, капитан Ермаков, напишите подробную докладную об обстоятельствах гибели батальона... Я вас больше не задерживаю! — Иверзев решительно оттолкнулся от перил крыльца, и, ни слова не ответив, хмуро поднес руку к козырьку полковник Гуляев.

«Что он сказал— пополнение? Да, да, конечно, разбитый полк будет сформирован. Да, да, дадут технику, дадут людей. Что ему до того, что застрелился раненый Бульбанюк, погибли Прошин, Жорка, братья Березкины... Докладную о них?..»

— Простите, товарищ полковник,— сказал Ермаков, не в силах сдержать себя.— Вы надеетесь, что моя докладная воскресит батальон?..

Ермаков выговорил это и будто оглох от собственного голоса, доносившегося до него как из душного тумана, и, в ту секунду отчетливо понимая и чувствуя, что правда, которую он скажет сейчас, будет стоить ему очень дорого, он с неприязненной резкостью договорил, разделяя слова:

— А мы там... под Ново-Михайловкой думали не о пополнении и докладных... О дивизии, о вашей поддержке думали, товарищ полковник. А вы сухарь, и я не могу считать вас человеком и офицером!

— Что-о?..— Иверзев сделал шаг к Ермакову, в его раскосившихся глазах, горячо блеснувших на белом лице, выразился несдержанный гнев, а пальцы правой руки нервно сжались в кулак, ударили по перилам.— Замолчать! Под суд отдам! Щенок!.. Под суд!..— И, внезапно, вмиг остановленный самим собою, хрипло выговорил надломленным голосом: — Попросите извинения, капитан Ермаков. Сейчас же, немедленно!

Растворилась дверь, в проеме света метнулась неясная тень адъютанта; на крик бежал часовой по до-

рожке, придерживая на груди автомат, и полковник Гуляев, кинувшись на крыльцо, схватил Ермакова за рукав шинели, затряс его, весь налитый тревогой, задыхаясь тяжелой одышкой: «Что ты делаешь?» Но в тот момент Ермаков соображал удивительно спокойно и сначала несколько поразился тому, что и адъютант, и полковник Гуляев вроде бы чувствовали вину именно его, Ермакова, а не Иверзева, и, тут же трезво поняв причины этого, поняв, что случившееся между ними виделось со стороны предельно страшным, усмехнулся, сказал:

— Я не чувствую за собой вины, товарищ полковник...

И, сбежав по ступенькам крыльца, прошел мимо часового, машинально отступившего с тропинки, мимо испуганно притихшего шофера к «виллису».

— Что ты наделал, капитан Ермаков? Понимаешь, что ты наделал? — повторял, задыхаясь, полковник Гуляев.— Понимаешь? Нет?..

— Если он прав — отвечу перед трибуналом,— неприязненно проговорил Ермаков и влез в машину.— Я отвечу, товарищ полковник...

Полковник Иверзев, взволнованный, сразу обрюзгший, ходил из угла в угол по комнате, сцепив за спиной пальцы. Безмолвие затаилось в штабе, шелестел дождь по стеклам, скатывался струями, изредка что-то шуршало в соседней комнате — не то вкрадчивые шаги адъютанта, не то капли постукивали в стены дома.

Лидия Андреевна сидела на кровати, в полусумраке проступало нежное, молодое лицо, светились изумленные глаза. Она молча клонила круглую шею, обтянутую воротом суконной гимнастерки, не моргая, следила за Иверзевым и выглядела подавленной. И эта затаенность в штабе, смешанное чувство собственной вины и собственной правоты, воспоминание о своем диком крике на крыльце (она слышала, конечно, этот крик) гнетуще действовали на Иверзева, и успокоение не наступало.

— Что случилось? — недоуменным голосом спросила Лидия Андреевна.— Ты можешь мне объяснить?

Он насильственно улыбнулся.

— Ничего особенного.

— Что случилось?

— Какой смысл вникать тебе в то, что происходит здесь?

— Да... Но что случилось?..

Он не дал ей договорить:

— Лида, я вызову сейчас машину, и тебя отвезут. Не обижайся, дела. Да, очень срочные дела...— Он обнял ее за плечи, поцеловал в губы, раздумчиво спросил: — Ты понимаешь меня, конечно?

Она сказала:

— Я так давно тебя не видела.

— Лида, извини, пожалуйста. Лейтенант Катков, машину Лидии Андреевне! — крикнул он через стену адъютанту.

— Ты очень торопишься,— сказала она обиженно.— Я же только приехала.

— Извини, пожалуйста. Я виноват... извини меня. Сейчас я не могу тебе все объяснить...

Потом он опять ходил по комнате и теперь жалел, что напрасно отправил жену, которую он не часто видел и которая полтора месяца назад перевелась в медсанбат дивизии с Белорусского фронта. Но все, что произошло, мучительно давило, угнетало его тем, что именно в этот вечер она была здесь и, вероятно, слышала все.

Шел дождь, было сыро в комнате, за окном сумеречно; уныло отсвечивали поникшие кусты в палисаднике, и на крышу, шумя по-осеннему, наваливались ветви сосен.

Пытаясь неопровержимой логикой рассуждений успокоить себя, он думал, что этому артиллерийскому офицеру, видевшему гибель батальона, еще трудно было понять, какое значение в общей операции армии под Днепровом приобретали бои в Ново-Михайловке и Белохатке. Что ж, за этим офицером стояла своя правда ответственности за гибель батальона; за ним же, Иверзевым, стояла еще бо́льшая правда ответственности за всю дивизию. И эта стойкость батальонов Бульбанюка и Максимова была для него, и не только для него, лишь шагом к Днепрову, маневром, который должен был в определенной степени обеспечить успех операции. Он знал, что завтра решится все...

Но эта, казалось, последовательная логика доводов не сумела успокоить Иверзева. Ему было хорошо известно, что офицеры не любили его, однако, даже сейчас, это его не беспокоило. Он считал, что не обязан внушать любовь к себе, а был обязан заставлять подчиненных выполнять свою волю. И поэтому он не мог простить капитана Ермакова; Иверзев знал также, что в случае неудачи, в которую не верил, будут искать виновных, а они должны быть, как бы он ни не хотел этого.

Шагая в раздумье по комнате, Иверзев позвал повелительно:

— Лейтенант Катков!

Всем видом выказывая почтительное участие, вошел адъютант, смиренно наклонил гладко причесанную голову.

Иверзев сказал:

— Лейтенант Катков, вызовите ко мне майора Семынина и двух автоматчиков.

— Так точно, товарищ полковник, прекрасно понял. Смотрите, как он, а? Наглец...

— Не вам судить, лейтенант Катков! — властно оборвал Иверзев.— Вы свободны. Еще раз предупредить Алексеева и Савельева: на наблюдательный пункт выезжаем в два часа ночи.

— Слушаюсь.

Адъютант закрыл за собой дверь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Всю дорогу до Городинска они не проронили ни слова; по разъезженному проселку, по вспыхивающим в свете фар лужам, в колеях, не переставая, сек дождь, летел навстречу косыми трассами.

На окраине села полковник Гуляев приказал остановить машину и тут на околице нашел свободную, без солдат, хату, затем скомандовал коротко:

— Идем!

Ермаков, ничего не ответив, пошел за ним.

Полковник потоптался на пороге чистенькой, подметенной комнаты с бумажными занавесками на окнах, мрачно насупил широкие брови, заговорил:

— За такие штуки полагается тебя под суд, понял? Заварил кашу, ведром не расхлебаешь! Ну а дальше? Дальше что?

— Уж если заварил, так буду расхлебывать до конца,— сказал Ермаков, бросая фуражку на стол.— Пока вот здесь, в горле, не встанет.

— Ты головой думаешь?

— Думаю, что есть такие, которые надеются: Россия большая, людей много. Что там, важно ли, погибла сотня или тысяча людей!

Полковник Гуляев промолчал — с козырька капало — и, заметив, как снимал Ермаков свою покорябанную планшетку и чью-то тяжелую полевую сумку, отвернулся.

— Мы с тобой как родные, со Сталинграда шли,— проговорил он.— Ты как сын мне... Но позволь сказать, хотя я тебя и люблю: ты глупец! Держать всегда надо себя, в руках держать.— И, опустив глаза, сдавленно договорил: — Ты офицер и должен правильно меня понять. Иначе, голубушка, дышать нельзя!

— Давайте помолчим, полковник.

— Так вот, мальчишка! — грубовато сказал Гуляев.— Сейчас я в полк к Денисову. Узнаю, что с формировкой. К ночи заеду. А ты, зяблик стоеросовый, считай себя под домашним арестом! Все понял?

Дождь порывистым набегом шумел по кровле, звенел по мутному, в потеках оконцу, за которым косо рябило под ветром лужи, где, плавая, мокли тополиные листья. Ермаков на секунду увидел сквозь мелькнувшую водянистую сеть, как неуклюже втиснулся полковник в «виллис», как машина тронулась, выдавливая колеи на мокрой траве за окном, и горькая нежность к Гуляеву шевельнулась в душе его.

— Хозяйка, можно ли горячей воды? А впрочем, и холодная сойдет.

Хозяйка, темноволосая женщина, статная для своих уже немолодых лет, аккуратная, крепконогая, мягко излучая из глубины прозрачных глаз ласковый свет, пропела звучно:

— Холодной? Обдеретесь весь. Вон яка щетина у вас. Мой чоловик холодной не брився... Разве жалко воды?

— А муж где же? Воюет?

— Где же ему быть? С сорок первого року. Може, и неживой уже.— Хозяйка всхлипнула, ноздри дрогнули, из-под ситцевой косынки трогательно белела по-девичьи ровная ниточка пробора.

— Ну, не стоит, не надо это, слезы никогда не облегчают,— заговорил Ермаков, и ему захотелось успоко-

ить ее, погладить по волосам возле этого жалко-аккуратного пробора.— Ну что же плакать? Война кончится, все станет ясным.— И тронул ее горячее круглое плечо.— Ведь всему бывает конец...

Она не отстранилась, только прерывистым вздохом высоко подняла грудь, сказала:

— Когда ж она кончится? Закрутила она весь свет, як цыган солнце!

— Да, закрутила,— задумчиво согласился Ермаков.— Закрутила...

Она как-то влажно смотрела сквозь смокшиеся ресницы, и он спросил почти родственно:

— Трудно одной?

— Ой, как лихо,— прошептала она и, закрыв глаза, покачала головой.

Брея́сь, он глядел в потускневшее зеркало на свое исхудавшее лицо, от которого за эти дни отвык, и не узнавал, иногда видел, как входила и выходила хозяйка, ловил внимательные взгляды украдкой и с нежной жалостью к ней, к неизвестной, одинокой жизни ее думал: «Если бы месяц назад...»

Тот знакомый и незнакомый человек в зеркале, задержав помазок на намыленной щеке, смотрел грустно, непрощающе.

Он чувствовал, что остыл, что выжглось что-то в нем, опустело и не хватало той прежней энергии, той силы, что не сдерживала его прежде. Он подумал о Шуре, о ее стыдливых и исступленных губах в первую ночь в землянке и вспомнил о том, как она обнимала его и будто не хотела этой близости. «Нет, ты не любишь меня, не жалеешь совсем. Тебе нехорошо со мной. Ну скажи, скажи!» И тот незнакомый ему, усталый человек в зеркале болезненно прижмурился, точно вспомнил, что был когда-то непоправимо виноват.

«О чем это я? Размотались нервы. Такое чувство, словно заплакать готов!.. Совсем никуда! — подумал он, испытывая знобкую боль в сердце.— Огрубел, огрубел за три года... Все казалось простым, как выбриться вот».

— С кем это вы говорите? — распевно спросил голос хозяйки за его спиной.— Сумно вам, чи шо? Кого ж вы в зеркале бачите?

Неслышно подошла сзади, наклонилась, чуть задев полной грудью его плечо, и, заглядывая в зеркало с медленной улыбкой, нежно касаясь мягким, как вода.

взглядом его лица, шепотом повторила, тепло обдав дыханьем его волосы:

— Что же вы бачите? Веселый были и нахмурились... Сумно?

И он, внезапно тронутый этим, погладил ее руку, шершавую, несмелую, сказал откровенно, будто давней знакомой:

— Устал я. Вот отдохну, все пройдет. Устал очень...

Она поняла его и тотчас кинулась к постели, начала взбивать чистые высокие подушки, а он тогда проговорил просто:

— Не надо. Мне на лавке. Спасибо. Мне только подушку.

Двигаясь легко, молодо, она накинула телогрейку, тихонько, не загремев, взяла ведро, взглянула своими прозрачными лучистыми глазами и вышла из хаты.

Ермаков облегченно бросил шинель на лавку. Дремотно стучал по крыше дождь, и жарко светила керосиновая лампа.

Он давно потерял ощущение времени, и этот дождливый вечер казался ему вчерашним осенним вечером, даже те ощущения, что были вчера, не покидали его и сегодня. Но был он смертельно утомлен всем, что случилось в эти ночи и дни; с желанием хотя бы короткого сна лег на расстеленную на лавке шинель, голова непривычно утонула в блаженном пуху подушки. Он долго не засыпал под тихое бормотание дождя. Затем сон мгновенно окунул его в теплую летнюю реку, прикоснулся к пяткам, накаленным песком желтого пляжа, залитого жарким солнцем, а по песку, в трусиках, с веслом на плече, шел кто-то знакомый, улыбающийся, но кто — он никак не мог узнать. «Кто это? — тенью толкалась во сне мысль.— Не может быть! Ведь Прошин убит...»

Он вскочил на лавке, увидел струи дождя, сбегающие по стеклу, и подумал: «Нервы, нервы расходились... Контузия, черт бы ее взял!» Он зажмурил глаза, и лицо его дернулось, выражая страдание.

«Прошин? Тот двадцатилетний лейтенант. Вот его сумка, после выпуска полученная вместе с пистолетом, с ремнем, с обмундированием».

Он расстегнул сумку. В ней были выданные в училище золотые погоны, суконная пилотка, завернутые в бумажку новые звездочки, бритвенный прибор, пара чистого белья, карандаш и школьная в линейку тетрадь; по-

следние листы были вырваны,— очевидно, для писем. Он нашел одно, недописанное, неотправленное. Стояла дата — 15 июня 1943 года.

«Прощай, Таня!

Ты меня простишь, конечно, что я не подошел к тебе на вокзале, когда ты разговаривала с лейтенантом Михаилом Дариновским. Я не хотел вернуть тебе твою фотокарточку, которая тебе не нравилась. Пусть она будет со мной, как воспоминание. Я ведь тебя любил!

Я вернусь к тебе другим, ты не узнаешь меня. Я еду на фронт, чтобы совершить... (зачеркнуто). Родина! Я люблю солнце, лес, воду, траву, маму, тебя... да, я очень люблю тебя...

> Я тоскую по паркам, садам,
> Где следов не найдешь уж моих,
> И по серым любимым глазам...
> Как мне грустно без них!

Это напевает Мишка Дариновский.

Едем в эшелоне. Я лежу на нарах, вспоминаю тебя и все вижу... Вижу, как будто все было сейчас. Уверен, меня не убьют. Мишка Дариновский сидит внизу, насвистывает, чистит ТТ. Значит, он тоже любил тебя? Но почему не сказал прямо? Честность, честность — без нее нельзя жить».

«Эх, Прошин... милый Прошин»,— думал Ермаков, до ясной отчетливости вспоминая его веселое, возбужденное лицо, его просящий мальчишеский голос: «Товарищ капитан, я не могу бросить взвод!» — и ту первую бомбежку в окруженной деревне, где он погиб.

Ему хотелось увидеть фотокарточку Тани, о которой так сдержанно, так непонятно писал лейтенант Прошин, но он не нашел ее в сумке. Она, по-видимому, осталась у него в нагрудном кармане, погибла вместе с ним.

Ермаков опять лег, отвернулся к стене и так лежал неподвижно, не раздеваясь, не снимая сапог, наконец медленно забылся.

...Глубокой ночью его разбудили громкий стук в дверь, певучий голос хозяйки вперемежку с мужскими голосами.

И он, еще ничего не видя в густой темноте, инстинктивно потянулся за оружием, окликнул:

— Кто там, хозяйка?

— К вам чи що? — растерянно ответила она из потемок.— Где ж зажичка? Туточки была.

Какие-то люди, топая сапогами, входили в хату.

Сейчас же чиркнула зажигалка, осветила полные белые плечи хозяйки, ее заспанное лицо; она зажгла керосиновую лампу; в комнате запахло свежестью дождя, подуло влажным ветром из растворенных дверей, и Ермаков громче спросил:

— Кто пришел?

В комнате стояли трое. Майор, сухощавый, с белесыми деревенскими бровями, и рядом — двое солдат в намокших плащ-палатках, под которыми оттопыривались автоматы.

Майор вопрошающим взором обвел Ермакова, некоторое время выждал; лицо майора было знакомо — оно не раз встречалось в штабе дивизии.

— Капитан Ермаков? — тусклым голосом произнес майор.— Ваша эта фамилия — точно?

Ермаков нахмурился, затягивая на гимнастерке ремень, оттолкнул на бедро кобуру: с вечера он не успел раздеться и сапог не снимал.

— Не совсем понимаю. В чем дело?

— Вы арестованы, капитан Ермаков. Сдайте оружие,— проговорил майор бесцветным голосом, и по тону его голоса Ермаков безошибочно понял все.

— Вам? Сдать? Оружие? — спросил Ермаков, бледнея, и, усмехнувшись, расправил ремень, привычно оттянутый тяжестью пистолета. — Вам? Сдать? Неужели?

— Ваше оружие!

Майор подошел вплотную, неторопливым жестом протянул руку ладонью вверх. Ермаков посмотрел на эту ладонь, резко вскинул глаза на майора — встречный холодный свет зрачков почти физически проник в его зрачки.

— Вероятно, мой арест связан с полковником Иверзевым? Так, значит, вам оружие?

Он стал с неспешной сосредоточенностью расстегивать кобуру.

— Не делайте глупости, капитан Ермаков! — предупредил майор настороженным тоном.

Ермаков вынул пистолет, окинул его быстрым, что-то решающим взглядом и несколько секунд помедлил неопределенно.

— Ладно, — сказал он с насмешливым спокойствием.— Вот мое оружие. Пойдемте. Я готов.

— Оденьтесь. Дождь,— посоветовал майор подчеркнуто равнодушно.

— Шинелька туточки, шинелька туточки,— неожиданно раздался замирающий голос хозяйки.— Ось она!

На пороге он задержался, ласково кивнул встревоженной, непонимающей хозяйке, которая выглядывала из другой половины, набросил шинель на плечи, сказал:

— Спасибо.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Когда артиллерийский огонь перенесли в глубину немецкой обороны и грохот разрывов отдалился от наблюдательного пункта полка, вырытого за трамвайной насыпью, когда пригороды Днепрова еще сплошь застилались дымом, из второго батальона сообщили: роты пошли.

Перескакивая через воронки, люди бежали к отдаленно проступающим из дыма крайним домикам под соснами. Полковник Гуляев не слышал крика атакующих рот; мнилось, люди бежали к немецким окопам молча, и после длительной артподготовки безмолвное движение батальона казалось ему малообнадеживающим и малодейственным. Это чувство непрочности всегда возникало у него в минуты начатой атаки.

Гуляев насупленно полуобернулся к Иверзеву, стоявшему в двух шагах с биноклем, перевел взгляд на полковника Алексеева и увидел нетерпеливое выражение на лице командира дивизии и странные прислушивающиеся глаза замполита. В это мгновение телефонист осипшим голосом доложил, что второй батальон капитана Верзилина ворвался в гитлеровские траншеи, и тотчас Гуляев, чувствуя колющие мурашки на спине, крикнул телефонисту:

— Первый и второй — вперед!

Были это новые, наспех сформированные батальоны, и зычная команда полковника задержала беготню связных на НП, голоса телефонистов мигом срезало, и только дождь хлестал по наступившей здесь тишине.

Первый батальон, занимавший позицию по фронту, поднялся из траншеи. Стала слышнее автоматная и винтовочная пальба, поле закишело людьми, они бежали в сторону поселка — к немецким окопам.

Частые разрывы мин квадратами легли перед поселком, загородили фигурки солдат, и Гуляеву было видно, как падали люди, зигзагами отползали в стороны от разрывов по всему полю.

— Первый и второй — вперед! — повторил Гуляев.— Вперед!

Мины вздергивали землю впереди и сзади наступающего батальона, но фигурки уже подымались, бежали и ползли сквозь ядовито-желтый дым, мимо оспин воронок, и опять поле словно стремительно покатилось к домикам.

— Молодцы! — возбужденно сказал Иверзев, опуская бинокль.— Молодцы ваши, полковник Гуляев!

Полное лицо Иверзева, покрытое молочной белизной возбуждения, было мокро от дождя, губы улыбались, потемневший от влаги плащ вольно расстегнут, и странно было видеть налипшую на рукава его окопную грязь.

«Ишь ты,— неприязненно подумал Гуляев,— вслед за Алексеевым сюда пришел!»

Полковник Алексеев, не торопясь, щелкнул портсигаром, нескладно наклонился к телефонисту — прикурить. Был он внешне покоен, заботливо выбрит, в сыром воздухе слабо тянуло запахом цветочного одеколона. Гуляев и многие офицеры в полку знали, что с тех пор, как Иверзев заступил командиром дивизии, замполит все чаще пропадал в полках; говорили, что комдив недолюбливал Алексеева так же, как Алексеев недолюбливал его.

— Молодцы! — воскликнул Иверзев, глядя в бинокль.— Молодцы! Кто командир батальона?

— Майор Лутов,— вяло сказал Алексеев.— Я не ошибся, Василий Матвеевич?

— Да, он,— подтвердил Гуляев.

— Представить майора и отличившихся солдат! — распорядился Иверзев.— Сразу же после боя! Позаботьтесь о наградных, Евгений Самойлович,— уже иным тоном обратился он к Алексееву.

Гуляев не расслышал, что ответил замполит. Рядом, ударив в землю и точно пытаясь расшатать ее, разорвались, оглушили бомбовым хрустом два дальнобойных снаряда, лавина земли обрушилась на окоп, комья зашлепали по плечам, по телефонным аппаратам, Иверзева откинуло к другой стене окопа, сбило фуражку. Возбужденно смеясь, он поднял ее, с удивлением разглядывая поцарапанный козырек.

— Все живы?

Полковник Алексеев, весь осыпанный песком, с любопытством вертел в пальцах мундштук папиросы, посмеивался:

— Вот и покурил, называется, табак выбило.

Желтый дым понесло в поле, и не стало видно бегущих там людей, круглых вспышек мин — все исчезло; вблизи наблюдательного пункта беглым огнем били прямой наводкой наши батареи, снаряды шипя проносились над трамвайной насыпью.

Низко под дождливыми тучами с рокотом прошла партия штурмовиков; на конце поля одна за другой описали полукруг красные ракеты — то давали сигналы самолетам стрелковые батальоны, и штурмовики снизились, протяжно заскрипели эрэсы.

— Что там в первом? — крикнул Гуляев связисту.— Передайте: не медлить, не медлить! Броском вперед!

По ракетам, по звукам стрельбы он знал теперь, что два батальона ворвались в район пригорода, и необъяснимая медлительность первого батальона взвинчивала его. Гуляев понимал, что значит потерять темп атаки, и, багровея крупным своим лицом, он выдернул трубку из рук связиста, поторопил:

— Капитан Стрельцов! Ты что медлишь? Что чешешься? А ну, подымай людей!

— У немцев два дзота, товарищ полковник. Лупят из пулеметов!

— Какие дзоты? Где? Артиллерия всё с землей смешала! А ты медлишь!..

— Никак нет, товарищ полковник. Уцелели как-то. Посмотрите около трамвая. Артиллеристам бы огоньку...

Гуляев раздраженно бросил трубку телефонисту и посмотрел. Метрах в двухстах тянулись траншеи первого батальона, и впереди позиции он хорошо видел распластанные на земле тела солдат, многие отползали назад в окопы, прыгали в них.

На окраине городка, возле дачных домиков, где делала круг трамвайная линия, лежал на боку красный вагон, и слева и справа от него виднелись два бугорка земли, откуда рывками плескал огонь.

Бесперебойно работали немецкие пулеметы. С чувством злости против артиллеристов Гуляев обвел биноклем ближние дивизионы артполка, бегло стрелявшие по дачному поселку, и нашел свою полковую батарею. Сформированная из пополнения, она стояла впереди дивизионов на прямой наводке в редких кустиках. Вокруг пушек сновали люди. Там командовал прибывший из училища новоиспеченный лейтенант, и Гуляев, взбешенный близорукостью батарей, бессилием и медлительностью баталь-

она Стрельцова, вдруг сказал, ненавидяще косясь на заострившееся лицо Иверзева:

— Капитана Ермакова бы сюда! Вот кого бы сюда, товарищ полковник! А Ермаков в кутузке сидит! Самое время!

Кровь прилила к его голове, он чувствовал, что теряет самообладание, но в следующую секунду мысль о том, что слова эти бессмысленны сейчас, заставила его трезво оценить положение.

— Связь с батареей есть? — сдерживая одышку, спросил он телефониста.

— Связной здесь.

— Связной из батареи! — закричал Гуляев.— Ко мне бегом!

Иверзев шагнул к брустверу, ноздри его раздувались, две волевые складки углубились в краях рта.

— Разглагольствуете тут, а батальон лежит! Весь батальон лежит! Двух дзотов испугались? Вперед! Всё испортите! Мы первые должны ворваться в город! Иначе — грош нам цена!..

— Я подыму этот необстрелянный батальон, товарищ полковник,— очень тихо ответил Гуляев.— Я подыму.

— Подождите. У нас, кажется, достаточно артиллерии. Я пойду к батарее со связным. Я вижу эти дзоты,— сказал озабоченно Алексеев.— Я отсюда хорошо их вижу.

Он легонько потискал локоть Гуляева и отошел, развязывая тесемки плащ-палатки. Она мешала ему. Алексеев кинул ее на солому траншеи, сказал молоденькому конопатому связному:

— Ну? Самым ближним путем! Есть?

Никто не остановил его.

Все видели, как он со связным вышел из хода сообщения, взобрался на трамвайную насыпь и сбежал в поле, хорошо заметный по росту в своей узкой длинной шинели не серого, а темного цвета. Он носил постоянно эту шинель, и в батальонах его узнавали по ней.

«Ложись! Ползком!» — хотелось крикнуть Гуляеву, в душе любившему Алексеева за сдержанность и интеллигентность, то есть за те качества, которых не хватало ему самому, и, глядя на полковника, он невольно пригибал голову.

— Замполит пошел,— свистящим шепотом сказал приподнявшийся у аппарата телефонист.— Честное слово, срежут его!

Алексеев и связной упали два раза, когда рядом рассыпались мины и обоих накрыло дымом. Все ждали, что они встанут, меряя взглядом то пространство, которое отделяло их от батареи. Но встал один Алексеев; он склонился над неподвижно лежащим меж воронок связным, затем нетвердо пошел к огневой позиции.

— Убило парнишку, что ли? — сказал Гуляев, кривясь.— А ну, Стрельцова! — скомандовал он телефонисту.

В это время Иверзев вызвал по связи полковника Савельева и передал ему приказ: открыть огонь по дзотам, срочно отозвать взвод танков из приданного дивизии подразделения. Ему ответили, что танки пошли по шоссе, прорвались к западной окраине поселка, ведут бои с немецкими танками; соседние дивизии, встретив сильное сопротивление, обходят Днепров в северо-западном направлении.

Иверзев кончил говорить и, разметывая полы распахнутого плаща, стремительно приблизился к Гуляеву, синие глаза его вспыхнули гневным горячим блеском.

— Лежат! Батальонов поднять не можете!.. Вы понимаете, что медлительность испортит все! Понимаете, что мы сдерживаем соседей, именно мы!.. Нельзя, нельзя ждать! Ни минуты, ни секунды!.. А ну! Автомат мне!..

Он произнес эти слова, и, сорвав с груди бинокль, сразу схватил чей-то прислоненный к стене окопа автомат, и в то самое мгновение, почувствовав в руках ледяное, обмытое дождем железо, ощутил в себе силу, злость и уверенность в том, что сам сейчас подымет залегший батальон, хотя сознанием понимал, что делать это командиру дивизии совсем неподобает. («Глупо, глупо! Зачем это я?») Но будто разжатая гневом стальная пружина толкнула его к действию, и он уже не искал оправдания тому, что делает, когда быстро пошел по ходу сообщения, возбужденный, неся свое большое тело с той нетерпеливой готовностью и яростной верой, которые возникают только в моменты непреклонной слепой решимости.

Все смотрели на него.

Он показался на трамвайной насыпи и ускорил крупные шаги, потом побежал к буграм окопов, где под огнем лежали люди.

Иверзев бежал как через багровую пелену, с обостренным ощущением, что земля катится, ныряет, падает под его ногами, мелькает и мчится вместе со свистом пуль,

летевших ему в грудь. Лицо и шею его осыпало дождем, и он мгновенно взмок, но не от дождя, а от жаркого пота облившего его.

«Только успех!..— огненными толчками плескалось в его сознании.— Неуспех — и не простят ничего!..»

И хотя Иверзев понимал, что рядом свистит смерть — впервые так близко слышал ее тонкий железный голос,— он горячо убеждал себя, что его не сразит пуля, и в голове ударами билась мысль о том, что не должен, не имеет права умереть в этом бою.

Когда же он подбежал к траншеям первого батальона и пулеметные очереди непрерывными трассами застегали по земле, под ногами его, лицо Иверзева, потное и гневное, было страшно, он, чудилось, увидел себя со стороны.

— Батальо-он!.. Впере-од!..

Он переступил тела убитых, ткнувшихся ничком в землю; бросились в глаза новые обмотки на их ногах, новые зеленые вещмешки на спинах, промелькнуло меловое лицо незнакомого капитана, выскочившего из траншеи с группой солдат, и тотчас появилась сбоку от капитана узкоплечая фигура в темной шинели, и зовущий крик прорезал треск пулеметов:

— Коммунисты, за мной!..

Тогда Иверзев понял, что это Алексеев, и, высоко вскидывая автомат над головой, наклонился вперед, подавая команду и не узнавая накаленный свой голос:

— Впере-од!

И оттого, что в трех шагах справа во весь рост двигался Алексеев, оттого, что люди бежали за ними, бежали, не пригибаясь к земле, раскрыв перекошенные криком рты, выставив строчащие автоматы в ту сторону, где вокруг перевернутого трамвая взлетали столбы артиллерийских разрывов, вдруг порывистые слезы радостного отчаяния заклокотали у Иверзева в горле.

— Батальо-он, впере-од!.. За мно-о-ой!..

«Вот оно как, вот оно как...— скользнуло в разгоряченном мозгу Иверзева, туманно видевшего, что зачем-то бежит он прямо на пулемет, в упор плещущий ему в грудь.— Вот оно как, вот оно...»

На НП видели: метрах в пятидесяти от дзотов он упал; Гуляев, до этого со злобой наблюдавший за неприцельной стрельбой полковой батареи, перестал следить за точностью огня. Вся артиллерия, что стояла на участке наступления полка, теперь била прямой наводкой по

двум дзотам, задерживавшим продвижение батальона. Дым заволок половину поля, в прорехах мельтешили силуэты солдат, краснело пламя — горел перевернутый трамвайный вагон.

Полковник Гуляев слышал, как заговорили, задвигались связисты и офицеры за спиной, произнося фамилию командира дивизии, однако и без того было ясно, что Иверзев убит или ранен.

«Да, я его не любил,— подумал он сейчас.— Иверзев был слишком не прост, и я хорошо понимаю, почему он сам повел в атаку батальон. Очень хорошо понимаю...»

Скоро дым развеяло, но Гуляев не рассмотрел на поле ничего, кроме воронок, неярко горящего трамвайного вагона за насыпью, тел убитых и санитарной повозки, мчавшейся по полю.

Батальоны заняли пригородный поселок. В глубине его отдаленно урчали танки. Слева тяжелые «студебеккеры» тянули по дороге орудия. К траншеям подкатили открытые, без брезента, «катюши» и с оглушающим скрипом, окутываясь желтыми тучами дыма, выметнули молнии в дождливое небо.

— Сниматься! — приказал Гуляев сердито.— Немедленно!..

Он выслушал донесения недоверчиво, после чего присел к телефонисту, вызывавшему капитана Стрельцова, поторопил полуласково:

— Что же ты, голубчик чертов, связист называется! Запроси потери, потери в первом батальоне... И пусть сообщат об Алексееве и Иверзеве.

Ему доложили потери батальона и сообщили, что Иверзев ранен пулеметной очередью в руку.

— «Виллис» сюда! — скомандовал Гуляев.

Здесь, на опушке соснового леса, вне зоны огня, Иверзев приказал построить первый батальон. Люди с осунувшимися лицами, мокрыми от потеков горячего пота, с расстегнутыми воротниками грязных, захлюстанных шинелей устало строились под соснами, пинками отшвыривая немецкие противогазы, железные коробочки сухого спирта, разбросанные на желтой хвое. Занимали привычные места неуверенно, оглядываясь по сторонам: не находили недавних соседей. И солдаты теснились, перекликались между собой нетвердыми голосами. Потом все утихло. Алексеев стоял поодаль — шинель внакидку, в

голове жарко и туманно. После только что пережитой атаки было одно желание — лечь на землю и лежать без движения в состоянии полной опустошенности. Но батальон был построен, и Алексеев, бессознательно-возбужденно улыбаясь, крутил в кармане пустой серебряный портсигар, искренне завидуя верткому низкорослому солдату, украдкой докуривавшему на левом фланге цигарку.

А Иверзев, без фуражки, в распахнутом плаще, замазанном глиной, стремительно шел вдоль строя, прижимая к груди раненую руку в бинтах, побуревших от крови.

Порой он останавливался, вглядываясь в потные, черные солдатские лица: очевидно, память его выбирала то лицо, которое запомнилось во время атаки.

Он делал шаг к солдату и крепко целовал его, обняв здоровой рукой.

Так прошел он вдоль всего строя батальона, а когда направился к Алексееву, глаза его были опущены.

— Составить списки солдат,— сказал он охрипшим голосом.— Весь батальон наградить. Всех! До одного солдата! Распорядитесь, Евгений Самойлович!

Алексеев передал распоряжение командиру батальона и парторгам рот и вернулся к Иверзеву, с усталым наслаждением дымя цигаркой непомерной величины, сказал:

— Вам нужно в медсанбат, Георгий Николаевич.

А Иверзев сидел на пеньке, исподлобья глядел на растянувшийся поредевший батальон, который скорым маршем двигался по дороге полуразбитого нашей артиллерией поселка, и, казалось, до его сознания не дошли слова замполита. «О чем он думает? — спросил себя Алексеев.— Может быть, сейчас он почувствовал облегчение — после вот этой атаки?»

Вся опушка леса, немецкие траншеи и поле перед ними были разворочены снарядами; зияли пустыми провалами разрушенные дзоты, и тут же, среди вспаханных огневых позиций, торчали колченогими станинами разбитые немецкие гаубицы; тучный артиллерист лежал, придавив животом снарядный ящик, прямые пепельные волосы свесились на его мертвое лицо. Везде белели стволы ощипанных осколками сосен, трава едко чадила — змейки дыма завивались над ней.

И Алексеев повторил:

— Придут машины, и вам нужно ехать в медсанбат, Георгий Николаевич. Вам следовало бы позаботиться, кому сдавать дивизию.

— К черту! Сдавать дивизию? Госпитальная война — не-ет! — крикнул Иверзев.

Он подозрительно взглянул на Алексеева, поправляя на перевязи руку в набухающей кровью повязке, и по тому, как углубились синие глаза его, Алексеев догадался, что он преодолевает боль, которую раньше сгоряча по-настоящему не испытывал.

— Ну что ж, говорите!..— с раздражением сказал Иверзев.— Что вы думаете?.. Говорите!..

Над вершинами сосен, чуть не задевая их поджатыми шасси, проносились партии штурмовиков; грозный и тяжелый рокот танков доходил сюда с западной окраины поселка.

— Простят ли нас матери убитых — не знаю,— сказал Алексеев как можно спокойней.— Я ненавижу кровь, товарищ полковник, хотя это и война.

— Мы взяли Днепров,— охрипло выговорил Иверзев.— Взяли!..

Минут через пять почти одновременно подъехали на «виллисах» полковник Гуляев и подполковник Савельев в сопровождении адъютанта Иверзева; адъютант с термосом и вещмешком, набитым продуктами, выскочил из машины, бросился к командиру дивизии, встревоженный.

— Что с вами, товарищ полковник?

— Там, на поле, возле дзотов, найдешь мою фуражку,— сминая слова, проговорил Иверзев и скомандовал Гуляеву, который молчаливо подходил к нему: — По машинам! Вперед!

Уже полулежа в «виллисе» справа от шофера, Иверзев попросил у Савельева карту. Начальник штаба, заметный болезненно ввалившимися щеками, не выпуская изо рта незажженную трубку, безмолвно подал на планшетке карту. Иверзев разложил ее на коленях, долго смотрел на извилистые нити дорог, ведущих к Днепрову, потом сказал излишне громко:

— Составьте наградные списки офицеров первого батальона. Сейчас же! Потрудитесь, Евгений Самойлович,— добавил он мягче.— Кажется, отныне наша дивизия будет называться Днепровской.

Составляя список на листке блокнота, Алексеев слышал сосредоточенное сипение пустой трубки Савельева, изредка начальник штаба ровным голосом подсказывал имена офицеров. «А он-то как? Что он думает?» — угадывал Алексеев, видя, как начальник штаба кончиками

подрагивающих пальцев ощупывал трубку, задумчиво уставясь на светлые волосы сидящего впереди Иверзева. И Алексеев подумал, что Савельеву, обремененному штабными заботами и больным сердцем, хотелось сейчас, видимо, только короткого отдыха, который был невозможен.

— Сердце? — с тихой строгостью спросил Алексеев.— Да, Семен Игнатьевич?

— Нет, нет, пустяки,— почему-то шепотом ответил Савельев.— Так, думаю. Мне кажется, вы забыли несколько фамилий.

— Кого?

— Бульбанюка, Орлова и Максимова,— также шепотом ответил Савельев.

— Я хотел составить на них отдельный список. Посмертный,— проговорил Алексеев и притронулся к худому колену начальника штаба.— Да, вы правы. Спасибо.

«Виллис» подкинуло на ухабах, Иверзев замычал сквозь зубы, поддерживая за локоть раненую руку, повернул к Алексееву осыпанное пóтом лицо.

— Готово, Евгений Самойлович?

Он прочитал список; сбоку видно было, что хмурый взгляд его задержался на трех фамилиях, написанных подряд, спустя долгую минуту попросил Алексеева:

— Дайте карандаш.

Затем придавил список к карте и против трех фамилий стремительным бегущим почерком дописал: «Посмертно. За взятие Днепрова. Ордена Красного Знамени».

Он поставил жирную точку, и грифель карандаша сломался,— опять качнуло «виллис», опять раненая рука задела локоть шофера,— и, отдавая список, Иверзев сказал сдавленным болью голосом:

— Припишите капитана Ермакова...

Первых пленных встретили на окраине Днепрова возле колонны танков, загородивших дорогу. Приглушенно работая моторами, танки стояли посреди мощеной улицы, подымавшейся в гору к домам с выбитыми стеклами. «Виллис» затормозил.

— Вот он, Днепров,— сказал Иверзев и вылез из машины.

В танках один за другим открывались башенные люки. Торопливо стягивая шлемы, подставляя головы дождю, прокопченные порохом танкисты выкарабкивались из горячих недр боевых машин, от которых жарко несло запахом нагретого железа, раскаленных стрельбой пушек.

Оживленно переговариваясь, танкисты ощупывали поцарапанную броню, крутили чудовищной толщины самокрутки; иные, спрыгнув на мостовую, разглядывали сгрудившуюся под желтыми каштанами толпу пленных. Их конвоировал глыбообразный, мрачного вида старшина, не в меру обвешанный гранатами, с автоматом за просторной спиной. Напрягая мощную шею, он командовал им что-то, указывая красной ручищей, а немцы молчаливо, бестолково жались в кучу, отодвигаясь подальше от танков, вбирали головы в плечи,— наверное, не понимали конвоира. Танкисты хохотали, крича с высоты башен:

— Ты им пошпрехай, черт иху курицу, пошпрехай!

Когда Иверзев и Алексеев подошли к пленным, танкисты перестали хохотать, мрачного вида старшина, щелкнув каблуками сапог, расправил крутую грудь, прогудел басом:

— Пленные в количестве девятнадцати человек, товарищ полковник. Сопровождаю в тыл. Не понимают русского языка, никак построить невозможно. Так полагаю, что фрицы думают, танками их давить будут. Разрешите вести?

— Подождите,— остановил Иверзев и, вглядываясь в изможденные лица немцев, спросил: — Офицеры есть? Среди пленных есть офицеры?

— Да кто их разберет, товарищ полковник,— пророкотал старшина, сурово озираясь на пленных, как бы очень недовольный тем, что среди них нет ни одного генерала.— Вроде один. По виду — важная птица. Прямо из машины взяли. Вон в середке стоит, видите? Губы поджал. Ком, ком, вот ты... Ком, ком, шпрехен, гут, гут!

Старшина со старательной деликатностью поманил пальцем невысокого пожилого немца в черном глянцевитом плаще, без фуражки, с рыхлыми холеными щеками. И немец этот, чуть-чуть дрогнув узким ртом, властно отстранив передних пленных, вышел из толпы, с почтительной холодностью возвел на Иверзева выцветшие глаза, произнес краткую фразу, сделав прусский поклон одним подбородком.

— Что он сказал, Евгений Самойлович? — спросил Иверзев.— Вы, кажется, знаете немецкий?

Алексеев ответил:

— Я могу ошибиться, но что-то вроде того, что он уважает храбрость русских офицеров, которые получают раны в бою.

— Поза! Стоит им попасть в плен, как сразу встают в благородную позу! — презрительно выговорил Иверзев.— Расспросите его подробно. Кто он? И чем командовал? Что он думает об операции русских под Днепровом, в Ново-Михайловке и Белохатке? Очень хотелось бы знать.

Алексеев начал задавать вопросы, а Иверзев видел, как после каждой ответной фразы у немца менялся цвет выцветших глаз, и по интонации голоса пленного, казалось, понял все, что отвечал тот.

Но полковник Иверзев слушал этот чужой, выговаривающий чужие слова голос и чувствовал, что и немец, и его шевелящиеся рыхлые щеки, и толпа пленных, и наши танки на мокрой мостовой сереют, расплываются, мягко покачиваясь в далеком колокольном звоне, и этот звон неровными ударами бьет в виски. Тогда он повернулся и, силясь идти еще твердо, направился к «виллису». Около машины он покачнулся и, только через несколько минут придя в себя, уже в машине, с досадой понял, что у него был обморок от потери крови.

Объезжая воронки на мостовой, горящие немецкие танки, «виллис» мчался мимо влажных сквозистых каштанов днепровских улиц, затянутых мелким дождем; мелькали намокшие плащ-палатки солдат на тротуарах. Сквозняки пронизывали машину, пахло гарью жженых кирпичей, брызги летели на горячее лицо Иверзева. Грудь и ноги его прикрывала темная шинель Алексеева, и сам Алексеев говорил позади вполголоса:

— Они были совершенно уверены, что удар по Днепрову будет нанесен южнее города. В том числе со стороны Ново-Михайловки и Белохатки. И даже после гибели батальонов держали там танки и мотопехоту. Но если бы мы... О господи! — Алексеев протяжно вздохнул, приказал шоферу: — Костя, в санроту.

— Значит, так,— глухо проговорил Иверзев, сделав усилие над собой, и с трудом приподнялся на локте.— Значит, так,— повторил он ослабевшим голосом и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза, но Алексеев вдруг заметил его задрожавшую щеку и услышал еле различимый, срывающийся шепот: — Если бы я мог... Если бы я мог...

Ни Алексеев, ни Савельев не смотрели на него, стесняясь этого жутко прозвучавшего голоса, каким не мог говорить Иверзев, и лишь шофер недоуменно скосился на командира дивизии, увидел незнакомо-страдающее лицо,

то лицо, которое привык видеть беспощадно властным, с холодным, не пропускающим вовнутрь взглядом. И было страшно то, что он кривился, закрыв глаза, но слез не было.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ермаков остановил первую попутную машину и устроился в кузове меж бензиновых канистр, которые дребезжали, гремели и весело подскакивали, напоминая о свободе, о скорости, о разбитой танками и орудиями дороге, этой обычной дороге наступлений.

Леса кончились, и развернулась, кружась, обдавая вольным сырым ветром, ровная даль с лиловым туманцем в низинах, с далекими темными извивами Днепра, ставшего будто на ребро; а над ним еще не четко проступали, уходя к чуть порозовевшему небу, громоздкие очертания города. Это был Днепров. А за этим городом теперь двигались по шоссе на запад новые батальоны полковника Гуляева. Так сказали Ермакову час назад, и он спешил, и спешила грузовая машина, на которой ехал он к Днепру, обгоняя покрытые брезентами «катюши», вскачь мчавшиеся повозки, а по обочине споро шагали солдаты, подоткнув за ремень полы шинелей,— все торопились, тянулись к переправе, к возвышавшемуся на горе впереди городу.

Свободный ветер летел ему в глаза, гудел в ушах, забирался в рукава, и он с наслаждением глотал этот ветер, чувствуя его щедрую освежающую силу.

Майор, армейский интендант, ехавший к передовой, поминутно высовывал из шоферской кабины голову, надвигал на лоб фуражку и, смеясь и захлебываясь ветром, кричал дурашливо, по-молодому озорно:

— Эх, Аню-ута-а! Давай жми, колымага! Газ на всю железку! Лихач! А, лихач ведь он, капитан? Он у меня лихач! Как с ним ездить, ха-ха! Невозможно! Не надеюсь на него, не-ет! Есть у меня, знаешь, лейтенант Таткин. Так тот в кузове с грузом ездит. А? Этот лихач ничего не видит, кроме баранки. А Таткин самолеты заметит и давай из пистолета палить: останови, значит! Жми, жми, Аню-ута! А «катюши»-то, «катюши»! Глянька, капитан! Гордецы, красавицы!

Ермакову нравился этот средних лет интендантский майор своим избытком энергии и разговорчивостью, ве-

роятно, возбужденной скоростью езды, розовым ноябрьским утром, близостью освобожденного города. Он сам испытывал некоторую приподнятость, и ледяной комок, затвердевший в его груди с тех пор, когда он выводил людей из окружения, уже не давил на душу так жестоко и гнетуще. Все эти дни он жил, готовый на крайнее, вплоть до самого тяжкого наказания. Он знал, что Иверзев мог твердо и разрушительно сжать пружину его судьбы, но после того, что он пережил в последнем бою, ничто, казалось, не могло заставить дрогнуть его сердце или почувствовать раскаяние.

— Ах, Аню-ута-а! — кричал майор-интендант, крутя головой и озорно подмигивая из кабины.— А? Грандиозный город!.. Знавал его до войны! До Днепрова, значит? Что?

— Дальше, майор.

— Лихач, лихач! Сбавь газ! Не видишь? В колонну врежемся, тарантас воронежский! Сто-оп! сатаняга, сто-оп!..

Голова майора нырнула в кабину, шофер затормозил, Ермаков едва удержался на ногах, прижавшись грудью к кабине; пустые канистры, зазвенев, покатились в кузове.

Впереди, вытянувшись метров на триста, приостановилась колонна. Хорошо видимый Днепр, открывшиеся дали, его песчаные пляжи, заросшие кустарником, и за простором воды силуэты окраинных садов, крыш, купола церкви на горе — весь город лежал в тихом розовом свете, затопившем край неба. И только ровный звон моторов плыл над утренней тишиной. Но этот звон вовсе не показался Ермакову опасным, даже когда услышал в колонне крики: «Мессера»!» — и увидел, как несколько машин, повозок и «катюш» лениво стали расползаться от дороги. Два тонких, как металлические муравьи, истребителя шли на большой высоте, сверкали там, нежнозолотистые в лучах зари, и это мирное сверкание в небе его почти не тревожило.

Гулко ударили зенитки у переправы, малиновые звездочки разрывов засверкали в лиловой высоте. Тотчас трескуче зачастили винтовочные залпы в колонне: ездовые, не слезая с повозок, вскидывали карабины, деловито-весело двигали затворами, целясь в снижающиеся самолеты. А они пошли в пике над переправой.

В это время майор-интендант вывалился из кабины на

дорогу, пригнувшись, ловко скакнул к кустарнику и, упав там на колени, дважды выстрелил из пистолета по выходящим из пике истребителям. С громом выросла на переправе водяная стена, и «мессершмитты» понеслись вдоль колонны, не набирая высоту, выказывая металлическое брюхо.

Звездочки зениток, снижаясь, заплясали над дорогой, ездовые нехотя отбежали от повозок, задирая голову, перезаряжая карабины; некоторые легли у колес; в вытянутой руке майора-интенданта все вздрагивал пистолет, бегло паливший в небо, но самолеты, звеня, промелькнули сбоку колонны.

Ермаков спрыгнул на дорогу. Майор жадно провожал глазами уходящие за Днепр истребители.

— Жаль, Анюта,— сказал он, сбивая фуражку на затылок.— Был у нас случай: один лейтенант уничтожил-таки из пистолета... чем черт не шутит! — сказал он с уверенностью, рассмешившей Ермакова, и тут же восторженно закричал, показывая на шофера: — Что я говорил! Лихач, ну не лихач ли, а? Заснул мирно под шумок и храпит, как трактор! Двигаем, двигаем! Садись, капитан.

«Катюши» и повозки, разъехавшиеся по сторонам во время бомбежки, вползали на дорогу. Колонна тронулась и тут же приостановилась. Послышались голоса:

— Что там?

— Переправу разбомбили.

— А саперы чего думают?

Мимо сгрудившихся повозок, санитарных и грузовых машин, мимо ездовых, куривших в ожидании, Ермаков пошел к переправе, увидев издали алеющий песок и около берега покореженные понтоны; там сновали фигурки людей. Саперы попарно, с бревнами на плечах, бежали к тому месту, где был разрыв, и прямо в шинелях прыгали в воду, погружаясь по грудь, поспешно взмахивали взблескивающими топорами.

— Отчаянно работают, товарищ капитан, а? — сказал Ермакову незнакомый шофер, лежа животом на крыле машины Красного Креста и с любопытством наблюдая за саперами.— Глядите, как они... Это что же? Опять летят? Что за хреновина?..

Шофер вскочил в кабину, крикнул что-то Ермакову, тот не разобрал в грохоте резко застучавших зениток. Люди побежали назад по понтонам, две-три искорки топоров еще упорно вспыхивали над водой, и Ермаков, оглу-

шенный командами, ревом разворачивающихся на дороге грузовиков, посмотрел в небо.

Возвращаясь, истребители со звоном неслись среди облачков зенитных разрывов. Ермаков сел на край песчаного окопчика, но визг бомб заставил его втиснуться в землю.

Когда после грохота разрывов он распрямился, ему кинулись в глаза этот поврежденный безлюдный понтон и поблизости непонятная искорка, поблескивающая над водой. Истребители сделали стремительный круг в высоте, снова стали падать на переправу, а Ермаков из окопа все глядел на эту упрямую единственную искорку, изумленный бесстрашием неизвестного солдата. Первый истребитель пустил косую очередь по понтону, второй нацеленно сбросил бомбу, разрыв накрыл волной конец моста, и уже искорки нигде не было — лишь над водой показалась и исчезла, как нырнувший поплавок, голова солдата. Кто-то выкрикнул из соседнего ровика:

— Ранило! За сваю держится! К берегу бы ему!..

В тот же миг необоримая сила, то ли восхищения, то ли мгновенной злобы на беспомощный крик: «К берегу бы ему!» — упруго вытолкнула Ермакова из окопа, и он понял, что бежит по качающемуся на волнах мокрому понтону к поблескивающему впереди просвету воды. А когда заложил уши пронзительный падающий звук с неба, когда красные стрелы пролетали вдоль понтона и со звенящим клекотом вверху пронеслись тени,— в ту минуту он заметил в конце разорванного моста торчащую свежую сваю и рядом в воде — голову солдата.

С разбегу Ермаков лег на скользкие, окаченные волной доски, крикнул:

— Плавать умеешь? Ранен? Два шага сможешь сделать? Давай руку!..

И тогда солдат сделал движение к мосту, оторвался от сваи; голубые серьезные глаза глядели в небо, где отдалялся свист моторов.

— Горит,— сказал он внятно.— Эх, топор потерял...

Он зацепился красными руками за доски; Ермаков изо всей силы подхватил его под мышки и вытянул на понтон; с солдата лились потоки воды, но, точно ничего не чувствуя, он по-прежнему молча смотрел в небо. и Ермаков удивился его спокойствию.

— Ты что же голову дуриком под смерть подставляешь? — спросил он наконец.— А, сапер?

— Все-таки упал,— со слабой улыбкой ответил солдат.— В лес упал.

И Ермаков невольно посмотрел назад: длинная струя дыма протянулась в небе и, круто снижаясь, обрывалась на востоке, над кромкой дальних лесов; другой истребитель, одиноко ныряя меж всплесков зенитных разрывов, уходил на запад.

— Санитаров сюда! Есть санитары?..

— Из медсанбата кого-нибудь!

Ермаков отряхнул шинель и зашагал назад. Майор-интендант, разгоряченный, наскочил на него, фуражка лихо сбита на затылок, волосы слиплись на висках, заорал азартно:

— Аню-ута-а! Капитан! Что тут отчубучилось? Кого ранило?

— Все в порядке. Идемте к машине.

— Не-ет, подожди. Что случилось? Ты чего улыбаешься?

— Все в порядке, говорю,— засмеялся Ермаков, и вдруг лицо его перекосилось, он оттолкнул майора, шагнул вперед, проговорил растерянно и изумленно: — Шура?! Шура?!

— Какая Шура? — захохотал майор.— Ты чего, Анюта? Спятил?

Нет, он очень ясно, очень четко увидел в толпе солдат на понтоне знакомое, родное, мелькнувшее милым овалом лицо, ее такую знакомую, тонкую фигуру, ее шинель, ее санитарную сумку, хромовые сапожки.

Но она не заметила его, не подняла головы в тот момент, прошла в толпе, и тогда негромкий, сдавленный волнением оклик настиг ее снова:

— Шура!..

Ее узкие плечи вздрогнули, она вся замерла, незащищенно обернулась, и он увидел ее неподвижные глаза, полные страдания и страха. И он повторил охрипшим голосом:

— Шура...

— Борис? — чуть шевеля губами, прошептала она.— Это ты?.. Ты?..

— Шура...

Он так сильно и горько обнял ее, что она пошатнулась, как бы не веря, зажмурясь, а он, не обращая внимания на людей, бестолково снующих по понтону, толкающих их, стал с болью целовать ее холодные, сомк-

нутые, не отвечающие ему в это мгновение губы, ее лоб, глаза, вздрагивающие брови, готовый отдать за эту встречу все, что мог еще отдать.

— Шура, пойдем,— повторял он.— Тебе нечего здесь делать. Там никого не ранило. Пойдем. Не надо этого...

Он прижимал ее голову к своему плечу, видел, как сквозь смеженные ресницы просачиваются светлые капельки слез.

— Борис... милый... Если бы ты знал...— прошептала она, с тоской блестя ему в глаза своими влажными глазами.— Если бы ты знал, что́ я передумала в эти дни... Я виновата...

— Ты не можешь быть виноватой. Видишь, все хорошо, мы встретились. Не надо слез...

— Не надо, да... не надо слез.— Она попыталась улыбнуться.— Лучше пойдем... Вон туда, на берег... Как ты похудел! Просто не узнать! Пойдем. Нет, ты не думай, я тебе все, все скажу. А то мы опять расстанемся и ты опять забудешь меня!..

— Шура, мы теперь не расстанемся! Ты будешь со мной. Ты слышишь? Я тебя никуда не отпущу. Ни на шаг от себя!

— Нет, расстанемся. Снова бои, бои...

— Это не сможет нас разлучить.

Они шли по берегу Днепра все дальше и дальше от переправы, постепенно затихали голоса позади, и воздух наливался нежным огнем зари, влажно шуршал песок одичавших пляжей, где оставались следы их сапог — первые, очевидно, за войну следы мужчины и женщины, шедших здесь вместе.

Он остановился, ласково притянул, повернул ее к себе, а она осторожно потрогала рукав его шинели, снизу вверх заглянула ему в лицо, медленно краснея, спросила:

— Неужели это ты? И ты вернулся?

— Я вернулся. И я люблю тебя.

— Я хочу, чтобы... ты меня любил,— прошептала она неуверенно.— Я хочу... только этого.

...Когда двое ушли отсюда, следы, оставшиеся на песке, сначала затянуло водой, потом их совсем рассосало, и они исчезли.

1957

ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЕЩЕ НЕ СМОЛКЛИ ПУШКИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Снег летел в свете мутных фонарей, дымом стекал, сыпался с крыш; всюду возле темных подъездов намело свежие сугробы. Во всем квартале было белым-бело, и вокруг — ни одного прохожего, как в глухую пору зимней ночи. А было уже утро. Было пять часов утра нового, народившегося года. Но им обоим казалось, что не кончился еще вчерашний вечер с его огнями, пахучим снегом на воротниках, толпами и сутолокой на трамвайных остановках. Просто сейчас по пустынным улицам спящего города еще мела, стучала в заборы и ставни прошлогодняя метель, и время замедлилось.

И вдруг в глубине космато дымящейся улицы показался трамвай. Этот вагон, пустой, одинокий, беззвучно полз, пробиваясь в снежной мгле. Трамвай напомнил о времени, и оно помчалось.

— Подождите, куда мы пришли? Ах да, Октябрьская! Смотрите, мы дошли до Октябрьской. Хватит. Я сейчас упаду от усталости.

Валя решительно остановилась, опустив подбородок в воротник; от дыхания мех около ее губ заиндевел, заиндевели и смерзлись кончики ресниц. Алексей проговорил:

— Кажется, утро...

— А трамвай такой же унылый, усталый, как мы с вами! — сказала Валя и засмеялась.— После праздника всегда чего-то жалко. Правда? Вот и у вас почему-то грустное лицо.

Он ответил, глядя на приближающиеся из метели огни:

— Я четыре года не ездил на трамвае. Я хотел бы вспомнить... Давайте прокатимся, а?

Действительно, за две недели пребывания в артиллерийском училище Алексей мало освоился с тыловой жизнью, изумленный тишиной, весь переполненный ею. Его умиляли отдаленные трамвайные звонки, непроницаемое безмолвие зимних вечеров, свет в окнах, дворники у ворот (совсем как до войны), лай собак — все, что, мнилось, было почти забыто. Когда же он шел по улице один, то невольно думал: «Вон там, на углу,— хорошая противотанковая позиция, виден перекресток, вон в том домике с башней может разместиться пулеметная точка, улица простреливается насквозь». Война еще привычно и прочно жила в нем.

Впервые с начала войны ему пришлось встречать Новый год не в землянке с крохотным мерзлым окошком в синь ночи, не на марше, трясясь на передке противотанкового орудия, не с фронтовыми ста граммами, привезенными под праздник старшиной прямо на огневую, а в глубоком тылу, в незнакомой компании, в которую бог весть как вошел Борис, его однополчанин, встречать Новый год и удивляться этому мирному веселью.

Здесь, в этой компании, Алексей мало пил и не пьянел — он чувствовал себя не очень ловко, не хватало чего-то простого, ясного, привычного. Он обратил на Валю внимание во время танцев, когда Борис рыцарским наклоном головы пригласил ее и она пошла с ним, чуть покачиваясь на высоких каблуках, улыбаясь, и Алексей заметил, что это почему-то было неприятно хозяйке дома, худенькой, с темными, как ночная вода, глазами: она следила за ними с беспокойным ожиданием.

Танец кончился; смеясь и разговаривая, они сели на диван. Валя как бы случайно скользнула взглядом по лицу Алексея, и он услышал ее голос:

— А кто вон тот, весь в орденах?

— Андрей Болконский в байроническом плаще,— не задумываясь, ответил Борис и весело подмигнул в его сторону.

Поняв, что говорят именно о нем, Алексей встал и, преодолевая стеснительность, подошел к Вале, сказал не совсем ловко:

— Простите, этот остряк знает мое имя около двух лет. Я — Алексей... А вы?

Она подняла глаза, и он увидел, как ее ухо с нежной мочкой залилось румянцем. Она откинула со лба светлые волосы и с шутливым видом протянула руку:

— А меня зовут Валя. Фамилия моя — Мельниченко. Только к вашему комбату Мельниченко я никакого отношения не имею. Об этом Борис уже спрашивал.

— Но я и теперь не знаю, кто вы.

— Кто? Я — вольная синица, что море подожгла.— Она тотчас встала, спросила, глядя ему в глаза: — Вы, конечно, танцевать не умеете?

— Попробуем.

Когда расходились перед рассветом и долго со смехом толкались в тесной передней, разбирая пальто, галоши, боты, оказалось, что Валино пальто висит под шинелью Алексея, и он, не спрашивая разрешения, помог ей одеться, сказал:

— Я вас провожу.

Она кивнула:

— Что ж, проводите, если вы такой храбрый...

И вот теперь они стояли среди снегопада совершенно одни на трамвайной остановке — за незначащими словами скрывалось любопытство.

— Так прокатимся? — спросила она.— Ведь вы хотели вспомнить...

Они сели в вагон, совершенно безлюдный, насквозь ледяной; морозно искрились заиндевелые стекла, кое-где к ним были прилеплены использованные билетики — следы вчерашней предновогодней сутолоки. Старик кондуктор в перепоясанном солдатским ремнем тулупе дремал, глубоко уткнув нос в поднятый воротник, изредка заспанно бормотал наугад название остановки и снова втягивал голову в меховые недра воротника. Все в трамвае скрипело от стужи, взвизгивали колеса, на сиденьях остро сверкала изморозь.

Валя подобрала пальто вокруг ног, сказала:

— Конечно, за билеты платить не будем. Поедем «зайцами». Так интереснее. Тем более что кондуктор видит новогодние сны!

Одни в вагоне, они сидели напротив и так близко друг от друга, что шинель Алексея задевала Валины колени. Она вздохнула, потерла перчаткой скрипучий иней на окне, подышала; пар от ее дыхания пополз по стеклу, коснулся лица Алексея, а она отряхнула перчатку

о колени и, выпрямившись, подняла близкие глаза, спросила серьезно:

— Вы о чем подумали сейчас?

— О чем? — Алексей в упор встретил ее вопросительный взгляд.— Вспомнил одну разведку. И Новый год под Житомиром, вернее — под хутором Макаровым. Нас, троих артиллеристов, тогда взяли в поиск...

— И что же было?

— Мы благополучно прошли нейтралку, подползли к немецким траншеям. Когда ползли по нейтральной полосе — ни одной ракеты. Ни выстрела. Спрыгнули в немецкую траншею — везде пусто, тихо. Только огоньки видны сквозь снег, и чудится: где-то поют. У немцев, оказывается, праздновали сочельник. Подошли к крайнему блиндажу. Ни одного часового. Из трубы искры летят. Заглянули в окошко — видим: на столе картонная елка, на ней свечи и пятеро немцев сидят вокруг и поют. Поставили сержанта часовым у блиндажа и сразу вошли в маскхалатах, с автоматами. Все в снегу — просто привидения. Немцы увидели нас и замолчали. Смотрят — и ничего не поймут. В общем, видим: самый старший в блиндаже — обер-лейтенант, и, конечно, командуем: «Оружие сдать! Идти за нами!..» И тут обер-лейтенант опомнился: «Это русские!» — и за парабеллум. Один из нас ударил его гранатой по голове, он упал. В эту минуту мы испугались одного — за жизнь обер-лейтенанта, он был ценным «языком».

— А что вы сделали с остальными?

— Когда обер-лейтенант упал, остальные немцы открыли огонь, и мы тоже. Потом подхватили обера и — в траншею. Вот и все.

— А немцы?

— Когда мы отошли метров на пятьдесят, у них поднялся шум, вслед нам стали бить пулеметы, но вслепую — метель была страшная...

Трамвай катился по улицам, мерзло хрустели колеса; Валя наклонилась к протертому «глазку», который густо налился холодной синью: видимо, метель прекратилась, и в небе появилась луна.

— Ну вот, проехали две лишние остановки,— внезапно сказала Валя.— Слезаем.

Они вышли на углу против аптеки с темными окнами. На голубоватом снегу сразу увидели свои тени и длинные тени тополей. Было необычайно тихо, как бывает

только после обильного снегопада. Накаленная холодом высокая январская луна ныряла в облаках над городом.

Они шли по лунным переулкам, мимо залепленных свежим снегом домов, мимо закрытых темных парадных. Валя сказала:

— Как вы просто говорили о войне. Ужасно ведь это... Что же вы молчите?

— Слушаю, — задумчиво ответил Алексей. — Слушаю скрип снега... Весь город спит... А мы с вами одни. И тишина во всем мире.

— Возьмите меня под руку,— неуверенно проговорила она.— Видите, сугробы?

Он взял ее под руку, ощутив ее близость.

— Вам не холодно?

— Нет. Руки немножко замерзли.

Он сейчас же снял свои перчатки.

— Наденьте, они меховые. А то у вас какие-то несерьезные, по-моему, летние.

— А как же вы?

— Я привык после Сталинграда...

— Хорошо, давайте ваши,— не сразу согласилась она.— А вы подержите мои.

Он со странным чувством взял ее легонькие перчатки, усмехнулся, сунул в карман шинели.

Они миновали мост над железной дорогой — здесь пронзительно дуло; далекие огни вокзала дрожали в розоватом пару. Потом опять лунные сугробы, опять скрип снега под Валиными ботиками.

Неожиданно она остановилась.

— Пришли.

Они стояли перед большим домом без огней; над подъездом — эмалированная дощечка с номерами квартир; единственная лампочка светила в фиолетовом кругу.

— Возьмите свои фронтовые перчатки. Действительно — теплые. Спасибо.

Алексей, хмурясь, тихо и ненужно спросил:

— Это ваш дом? Вы здесь живете? Удивительно...

— А вы что — не верите? — Она засмеялась.

— Валя,— серьезно проговорил Алексей.— У дома несчастливый номер — тринадцатый.

— Вы так суеверны?

— Представьте.— Он осторожно взял ее руку.— Постойте, не уходите...

— Нет, все-таки лучше — до свидания.

Валя вбежала в подъезд, гулко хлопнула дверь парадного, разметая снежинки на тротуаре. Простучали ботики в глубине лестницы — и наступила тишина.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Минут через десять он уже шагал по синим теням домов, около мохнатых от инея заборов; снег под сапогами жестко и празднично визжал на весь квартал. «Что ж, с Новым годом! — говорил он весело сам себе.— С Новым годом, Алешка!»

В последнем переулке, который сворачивал к училищу, он услышал позади торопливый звон шагов в студеном воздухе, насвистывание — и оглянулся, сразу узнав по этому свисту Бориса. Тот шел своей гибкой, прочной походкой, в избытке чувств похлопывая кулаком по фонарным столбам, словно во что бы то ни стало желая нарушить покой спящего города, и еще издали крикнул, искренне обрадованный:

— Алешка! Так и знал, что тебя встречу. Все дороги этого города теперь ведут в училище!

Он был возбужден, новая шинель распахнута, белые ровные зубы светились в улыбке.

— Слушай, ты куда это так таинственно исчез с Валей? Провожал?

— Да.

— Ну и как?

— Что — «как»?

— Ладно. Все ясно. Молчу, и закуривай! — Он откинул полу шинели, извлек из кармана коробку папирос.— Вчера покупал у пацана возле кино. «Дяденька, берите «Казбек» с разбегу!» Давно мы папирос не курили! Не спеши, нечего нам торопиться. В дивизионе все еще дрыхнут. Вот шел и думал, неужели погоны — наша судьба? Представь, кончим училище и лет через пятнадцать встретимся полковниками где-нибудь на глухом полустанке... Неужели на всю жизнь?.. Ну и, конечно, жаль, что праздник окончился так быстро! Тебе понравилась Майя?

— Это та, у которой мы были? По-моему, она похожа на Бэлу. Помнишь, у Лермонтова?

— Когда-то в школе читал, но помню еле.— Борис, чиркая зажигалкой, сдвинул брови.— А в общем, сморозил глупость! Вырос уже, чтобы целоваться под фонарями. Ну да черт с ним, с этим! Слушай, Алешка, неужели мы с тобой в тылу? Не верю — и все!

Месяц назад они были в ветреных, лесистых Карпатах, за тысячи километров отсюда, и вот теперь шли по белым новогодним улицам незнакомого тылового города с уютным названием Березанск — и было непривычно, что нет на чистом снегу черных оспин воронок, следов танковых гусениц, глубоких колей орудийных колес. И Алексей сказал с чувством непрочности, будто еще раз убеждая себя:

— И я не верю. Кажется, тысяча девятьсот сорок пятый... а?

Впереди в переулке послышались неразборчивые голоса, смех, и на крыльце из открывшейся двери мелькнул свет, потом из деревянного домика шумно вывалила на мостовую подгулявшая компания, в переулке хрипнул, застонал аккордеон — трое парней, обнявшись, пьяно побрели навстречу и, покачиваясь, запели старательными голосами:

Развевайся, чу-убчик, по ветру...

— Смотри, «Чубчика» наяривают,— улыбнулся Борис.— Фронтовая братва, что ли?

— Похоже,— сказал Алексей.

Веселая компания приближалась — вразнобой поскрипывали щегольски собранные в модную гармошку хромовые сапоги, а ноги парней заплетались, то и дело загребая в сугробы на обочине мостовой. Сбоку шел высокий, в военном полушубке аккордеонист, лениво пожевывая потухшую папиросу. Его взгляд мимолетно скользнул по лицу Алексея — и внезапно чужие глаза парня сузились, зло вспыхнули из-под надвинутой на лоб каракулевой шапки; выплюнув окурок, он сипяще-горловым голосом выдавил:

— Стой, братцы, он... Ей-богу, он!..

— Кто «он»? — спросил Алексей, понимая, что человек этот принял его за кого-то другого.

Песня оборвалась, и Алексей тотчас увидел, как двое, молча и тихо, сразу протрезвев, будто по уговору, зашли сбоку и сзади — он услышал их дыхание, окружающие шаги, осторожный волчий хруст снега под ногами.

— В чем дело, милые? — насмешливо спросил Борис, поправляя перчатки на пальцах.— В чем дело, хотел бы я знать?!

— А ты, если целым остаться хочешь, отойди! Тебя нам не надо!

— Кто? Этот? — напряженно спросил один из парней, вглядываясь в Алексея.— Этот?

— Он! — заорал аккордеонист.— Так это ты, падла, заштопал меня с сахарином? На Лопатино-Товарной? Э?

Он злобным движением поставил аккордеон на мостовую, заговорил с придыханием:

— Я эту паскуду давно искал, всю жизнь мечтал встретиться! Посмотрим, какой ты сейчас будешь! Молись, лягаш!..— И он поспешно опустил правую руку в карман.— Я т-те фары выбью!..

— Очень жаль, дурак! — сквозь зубы сказал Алексей и коротко, резко ударил верзилу по скуле.

Каракулевая шапка полетела в снег. Аккордеонист отшатнулся, взмахнул угрожающе рукой, в которой что-то тускло блеснуло, крикнул разбухшим голосом:

— Бей его, курву! В кровь... бей гадюку!..

И кинулся на Алексея, нагнув голову, однако на этот раз реакция Алексея была мгновенной — второй удар сбил аккордеониста в огромный сугроб, продолговатый блестящий предмет упал на мостовую, и Алексей наступил на него,— все это произошло в течение нескольких секунд. Когда же двое других парней с криком одновременно подскочили сзади, он едва успел повернуться и в этот миг увидел, как кулаки Бориса дважды мелькнули в воздухе; сбитый с ног, один из парней, екнув, сел на мостовую, другой отскочил в сторону, заревел пьяно и дико:

— Стрелять буду!..

— А, у тебя еще оружие, сволочь!..

В два прыжка Алексей настиг его, рывком притянул к себе, сильно стиснув ему запястья, и Борис, бросившись следом за ним, стал лихорадочно ощупывать в поисках оружия карманы парня, выговаривая со злостью:

— Если найдем оружие, им же тебя по башке! Понял?

— Братцы, пошутил, бра-атцы!..

Оружия не было.

— Бери этого, я задержу тех двоих! — крикнул Алексей.

Двое бежали посредине мостовой, освещенные луной, тени их скакали по сугробам.

В эту же минуту всех ослепило направленным, боковым светом фар: два маленьких «виллиса» беззвучно въехали в переулок. Парень, хрипя, рванулся головой, тупо ударил в плечо Алексея, и, когда тот накрепко скрутил ему руки за спиной, шагах в пяти от них первый «виллис» круто затормозил, окатив холодной волной снега.

— Что такое? Прекратить! — раздался раскатистый бас из открытой дверцы машины.— Что здесь такое? А ну!..

Из «виллиса» грузно выбрался глыбообразный человек в шинели и в бурках; из второй машины, звякнув шпорами, спрыгнули два молодых офицера. И Алексей узнал в этом грузном человеке в бурках командира первого дивизиона майора Градусова, его крупное, мясистое лицо было перекошено гневом.

— Драка? Курсанты? Артиллеристы? Немедленно прекратить!

С тяжелой одышкой майор Градусов шагнул вперед, точно готовый опрокинуть всех своей огромной фигурой.

— Кто такие? Немедленно объяснить, в чем дело!..

Алексей ответил насколько можно спокойно:

— Товарищ майор, этот вот тип угрожал нам оружием. На испуг брал...

Он не договорил, парень опять замотал головой, завыл истошным голосом:

— Изби-или! Напа-али!..

— Прекратите! — крикнул Градусов с яростью.— Вы угрожали оружием курсантам? Кто на вас напал? Они? В артиллерийском училище нет курсантов, которые нападали бы на штатских! Предъявите документы! Курсант, отпустить его!

Алексей возбужденно усмехнулся, оттолкнул от себя парня, и тот, сутулясь, сплевывая тягучую слюну, выдавил:

— Не имеете права документы!..

— Это наверняка спекулянты, товарищ майор,— разгоряченно пояснил Алексей.— Они первыми напали, приняли нас за кого-то...

— Та-ак!..— басовито протянул Градусов.— Вы понимаете, гражданин, что́ в военное время полагается за нападение на военного человека? А? Нет? Товарищи

офицеры, задержать! Проверить у коменданта. Ну а вы? Как смели? — Градусов гневными глазами полоснул по лицу Алексея.— Как смели ввязаться в драку? Передайте о наложенном на вас взыскании капитану Мельниченко: месяц неувольнения! Обоим! Вконец распустились!..

— Ваши они, товарищ майор? — спросил один из офицеров, сопровождавших Градусова. — В нашем дивизионе я что-то их ни разу не видывал.

Не ответив, Градусов, тяжко ступая, зашагал к машине, из которой выглядывал шофер, влез на сиденье; металлически щелкнула дверца. «Виллис» тронулся. Вторая машина еще стояла, работая мотором. Офицеры, видимо командиры батарей из соседнего дивизиона, подсадив съежившегося парня в «виллис», негромко поговорили между собой, затем один из них скомандовал:

— А ну, курсанты, марш в училище! И доложить обо всем дежурному!

И сразу стало очень просторно в переулке от освобожденного белеющего снега на мостовой — гул моторов стих; друзья подавленно молчали.

— За что такая милость? — наконец ядовито выговорил Борис.— Не можешь объяснить — майор был трезв?

— Это не имеет значения, Боря.

— Начинается тыловое воспитание! Когда мы там лупили всякую сволочь — награждали, а здесь — наряды. Ведь этих спекулянтских слизняков расстрелять мало! Да и откуда же майор взялся?

— Дьявол его знает! Наверно, из офицерского клуба, встречал Новый год.

Потом Алексей наклонился и поднял втоптанный в снег блестящий предмет — остренькую, как шило, автоматическую ручку, вероятно служившую оружием, и брезгливо швырнул ее в сугроб.

Молча дошли до училища. Над дверью проходной будки тускло горела электрическая лампочка. Дневальный — совсем юный дед-мороз с винтовкой, в колоколообразном тулупе — высунул нос из воротника, оглядел курсантов с нескрываемой завистью:

— Эх, проходи...

— С Новым годом, браток! — поздравил Алексей сочувственно.— С новым счастьем!..

— Слушаюсь,— ответил одуревший от одиночества дневальный.— Так точно.

Над училищным двором плавала в звездном небе

холодная льдинка луны. В офицерском клубе еще светились окна; перед подъездом цепочкой вытянулись машины. Хлопали двери, на миг выпуская звуки духового оркестра; офицеры выходили из подъезда, разъезжались по домам. Наступало утро.

Валя поднялась на третий этаж, позвонила осторожным звонком, подумала, что все давно спят; но тотчас же дверь открыла тетя Глаша, всплеснула руками.

— Ба-атюшки! В инее вся! — ахнула она и, схватив с полки веничек, замахала по ее плечам.— Не одобряю я этого, чтобы так по гостям засиживаться. Личико вон как вытянулось, а глаза спят...

— Ох, тетя Глаша, еле на ногах стою! — Валя присела на сундук в передней, расстегивая пальто.— Ужас как устала...

— Ишь, как сосулька замерзла,— заворчала тетя Глаша.— Дай-ка я тебе пальто расстегну, небось руки совсем онемели.

— Спасибо. Я сама. На улице такой холодище, но, слава богу, меня спасли фронтовые перчатки!

— Какие еще?

— А вот точно как Васины.— И Валя кивнула на кожаные перчатки, лежавшие на полочке. — Вася дома?

Тетя Глаша вздохнула:

— Не в настроении он. Письмо с фронту получил. Хорошего его лейтенанта в Чехословакии убили... Вот и не спится ему. На Новый год не пошел, а дежурный офицер два раза звонил.

Валя, озябшая, вошла в комнату, внеся с собой холодок улицы, задержалась возле голландки, притронулась ладонями к нагретому кафелю, усмехнулась:

— Ну вот еще новости! Капитан артиллерии лежит на диване в состоянии мировой скорби? Ты не был в клубе?

Василий Николаевич в расстегнутом кителе, открывавшем белую сорочку, лежал на диване и курил. На краю еще не убранного стола — недопитая рюмка, тарелка с нарезанным сыром.

— А, прилетела синица, что море подожгла,— сказал он, наугад ткнул папиросу в пепельницу на полу.— Что ж, садись, выпьем, сестренка? Выпьем за озябших на трескучем морозе синиц!

Он не стал дожидаться согласия, приподнялся, налил Вале, затем себе, чокнулся с ее рюмкой, выпил и опять лег, не закусывая, на секунду закрыл глаза.

— Хватит бы, Вася, причины-то выдумывать, — заметила тетя Глаша.— За один абажур только и не пил, кажись.

— Вы самая заботливая тетка в мире, это я знаю.— Василий Николаевич провел пальцами по горлу, точно мешало там что-то, снова потянулся к папиросам.— Меня, тетя Глаша, всегда интересовало: сколько в вас неиссякаемой доброты? И поверьте, трудно жить на свете с одной добротой: очень уж забот много.

— Эх, Вася, Вася! — Тетя Глаша, с жалостью вглядываясь в него, покачала головой.— И чего казнишь себя? И чего мучаешься? Что проку-то! Разве вернешь?

По ее мнению, был он человеком не вполне нормальным: прошлое сидело в нем, как неизлечимая болезнь. Главная причина его дурного настроения накануне Нового года заключалась, наверно, в том, что за два месяца к нему не пришло с фронта ни одного письма. Где-то очень далеко, за Карпатами, то ли забыли его, то ли некогда стало писать; однако была и другая причина. По вечерам, возвращаясь из училища, он часто запирался в своей комнате, долго ходил там из угла в угол, и даже ночью из-за стены доносились в тишине дома его равномерные шаги, чирканье спичек, а когда утром тетя Глаша входила в его опустевшую, выстуженную комнату, подметала, вытряхивала из пепельницы окурки, везде — на столе, на тумбочке, на стульях — лежали книги с мудреными военными заглавиями, меж раскрытых страниц темнел папиросный пепел. О чем он думал, что делал по ночам?

Раз во время утренней уборки из середины какой-то книги выпала крохотная, уже пожелтевшая от времени фотокарточка; на обороте неокрепшим круглым почерком было написано: «Родной мой, я всегда тебя буду помнить». Тетя Глаша, охнув, опустилась на стул и заплакала — это была Лидочка, покойная жена Василия Николаевича: с тонкой шеей, с наивной, смущенной полуулыбкой, которая как бы говорила: «Не заставляйте меня улыбаться, я не хочу...» — это почти детское лицо поразило ее. И целый день тетя Глаша думала об этой улыбке, об этой тонкой, слабой шее и несколько раз доставала и смотрела на маленькую зеленую пилотку со звездочкой,

которая лежала в чемодане у Василия Николаевича, свято хранимая им. Это было все, что осталось от Лидочки, его жены, которая погибла на какой-то высоте 235, около польского города Санок.

Тетя Глаша никогда не видела ее живой, никогда не слышала ее голоса — знала только, что она была военной сестрой и работала в санчасти, где Василий Николаевич познакомился с ней.

«Господи,— прижимая руки к груди, думала она в тот день, когда увидела фотокарточку.— Ну за что ее убили?»

Недавно к ним зашла молоденькая медсестра из госпиталя, и, когда Валя представила ее: «Это Лидочка», Василий Николаевич быстро взглянул на девушку, и, почудилось, в глазах его толкнулось тревожное выражение невысказанного вопроса. «Очень приятно, Лидочка», — сказал он и произнес слово «Лидочка» так медленно, так неуверенно, что она, покраснев, спросила: «Вам не нравится мое имя?» Он слегка улыбнулся, ответил, что имя это очень ей подходит, и ушел в свою комнату, сухо извинившись.

В Новый год он не пошел на вечер в училище, конечно, потому, что ранним утром принесли письмо. Тетя Глаша вынула из ящика белый треугольничек, сразу увидала на штемпеле: «Проверено военной цензурой», — и крикнула радостно:

— Васенька!

А он вышел с намыленной щекой, без кителя, в нижней рубашке, взял письмо, тут же нетерпеливо раскрыл и прочитал его и вдруг крепко выругался вслух — видимо, забыв, что рядом тетя Глаша.

— Убило кого? — спросила она упавшим голосом.— Товарища твоего?

— Да... старшего лейтенанта Дербичева. Какой парень был — цены ему нет!..

И быстро ушел к себе, слышно было — затих, а когда теперь он лежал на диване, весь день не выходя из дому, и когда говорил о доброте, тетя Глаша чувствовала, о чем он думал, и в приливе непроходящей жалости к нему, к Лидочке, к неизвестному ей погибшему на фронте старшему лейтенанту спросила все-таки некстати:

— Письмо тебя давеча расстроило, Васенька?

А Валя сидела, усталая, вертела в пальцах рюмку, волосы упали на щеку. Возбуждение прошло, и в теплой комнате после мороза ее охватила такая сладкая истома

и до того горели щеки, что хотелось положить голову на стол и отдаться необоримой дремоте. Легкая отдаленная музыка звучала в ушах, или, может быть, это казалось ей, веки смыкались, и все мягко плыло вокруг.

— Да у нее глаза спят! — громко сказал Василий Николаевич.— А ну-ка марш в постель!

— Нет уж! И не собираюсь! — Валя тряхнула волосами, выпрямилась. — Знаешь, в госпитале на дежурстве я привыкла дремать чутко, как мышь. Хочешь, я повторю твою последнюю фразу: ты говорил...

— О чем? — спросил Василий Николаевич.— О танцах, по-видимому?

— Ох, совсем в голове все спуталось! — Валя засмеялась.— Разве можно спрашивать сонного человека?

— Ты права,— сказал он.— Это ни к чему.

Нахмурясь, он задумчивым движением загасил папиросу в пепельнице, снова налил себе водки. Тетя Глаша пристально-осуждающе смотрела на рюмку, а Валя проговорила настороженно:

— Почему ты пьешь?

Он ласково взял ее за подбородок, заглянул в глаза.

— Вряд ли ты поймешь. Я пью за тех, кому не повезло.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Первый дивизион артиллерийского училища, в котором капитан Мельниченко командовал батареей, формировался две недели и только несколько дней назад приступил к занятиям. Сформированный из фронтовиков, артспецшкольников и людей из «гражданки», весь дивизион в первые дни имел разношерстный вид. Фронтовики, прибыв в глубокий тыл прямо с передовой, ходили в обхлюстанных, прожженных, пробитых шинелях, в примятых, выбеленных солнцем, вымоченных дождями пилотках: в бесконечном движении осеннего наступления некогда было менять обмундирование, старшины едва успевали догонять батареи.

Серебристый звон орденов и медалей весело наполнял классы и длинные коридоры.

Среди очень молодых были и такие, которые, не думая долго задерживаться в тылу, не расстались с оружием, привезли его с собою в училище — главным образом трофейные парабеллумы, «вальтеры» и офицерские

кортики — оружие, которое фронтовые старшины не успевали брать на учет. По приказу трофейное и отечественное оружие сдали в первый же день. Сдал свой незаконный пистолет ТТ и Борис Брянцев. Он провел пальцами по его рукоятке, задумчиво сказал: «Что ж, пусть отдохнет, авось не отвыкнет от хозяина»,— и, передавая пистолет Мельниченко, полушутливо поцеловал полированный металл.

До свидания, оружие! Все воевавшие с сорок первого и сорок второго года были твердо уверены, что им еще придется заканчивать войну.

Однако капитан Мельниченко твердо знал, что ни ему, ни его батарее, ни одному курсанту этого набора не суждено вернуться на фронт. Перед отправкой в тыл из разговора с членом Военного совета армии он хорошо понял: в глубоких тыловых городах создается офицерский корпус мирного времени. И в середине декабря 1944 года вместе с эшелоном фронтовиков капитан прибыл в Березанск. Он попросил назначение в училище того города, в котором жил до войны.

Новый год прошел, наступили будни, и, как ни странно было чувствовать себя оторванным от фронта, капитан Мельниченко начал втягиваться в тыловую жизнь.

Здания училища огромны и просторны.

Широкая мраморная лестница с зеркалами на площадках, с красным ковром на ступенях ведет на этажи, в батареи. Над головой сверкают старинные люстры; тоненьким звоном вторят они бодрому позвякиванию шпор в коридорах, мирно отражаясь в стеклянно натертых полах. В главном вестибюле толпятся курсанты, вениками стряхивают снег с сапог. После морозного воздуха на плацу здесь тепло, шумно, оживленно, доносятся смех и громкий говор. Дневальный строгим взглядом проверяет входящих, то и дело начальственно покрикивает:

— Слушай, ты сознательный человек или несознательный? Ты труд дневального ценишь? Как у тещи, снега нанес, понимаешь! Очищайсь!

— Не грусти, милый, не грусти! — отвечает ему кто-то из бойких.— Я небесной канцелярией не ведаю. В общем, не делай страшных глаз! И не пугай, ради бога! Мы — пужаные!

Утренние занятия окончены. Время — предобеденное. Капитану Мельниченко нравится это время: дивизион наполняется движением и ритмом — жизнью.

По лестницам в новом обмундировании вверх и вниз бегут курсанты; толпа — и разом пусто: в училище всё делают бегом.

Вот какой-то хрупкий мальчик идет позади краснолицего старшины-выпускника, который по-хозяйски нахмурен, грозен и нетороплив. Курсант, спотыкаясь и робея, тащит на спине ворох пахнущих снегом шинелей; краснолицый зорко оглядывается на него и недовольно басит:

— По полу, по полу! Кто ж это по полу шинели валяет, дорогой товарищ курсант! Смотреть надо! В каптерку заносить! Да в кучу не валяйте. Не дрова. Думать головой надо! А не ягодицей, ясно?

Увидев капитана, краснолицый изображает уставное рвение, бросает руку к виску, курсант же отпыхивается, оскальзываясь на паркете; он не может поприветствовать — на нем гора шинелей. Этого новичка капитан знает: спецшкольник из первого взвода; кажется, его фамилия Зимин.

Вслед за шинелями несут лопаты, дальномеры в чехлах, буссоли с раздвижными треногами, прицельные приспособления, стопки целлулоидных артиллерийских кругов с логарифмическими линейками. Это обычная жизнь училища в предобеденный перерыв, у этой жизни — свой смысл.

Сейчас капитан стоит в вестибюле, смотрит вокруг и стягивает перчатки. Он только что вернулся с плаца. Дежурный по дивизиону, при шашке и противогазе, не отрывает от него ждущих глаз и с преданной готовностью выпячивает грудь.

— Попросите ко мне в канцелярию лейтенанта Чернецова, курсантов Дмитриева и Брянцева!

Дежурный стремглав бросается к лестнице и командует с усердными голосовыми переливами:

— Лейтенанта Чернецова, курсантов Дмитриева и Брянцева к командиру первой батареи!

— ...Перво-ой батареи!..— разноголосым эхом катится команда, подхваченная дневальными на этажах.

Капитан поднялся по стертому ковру на четвертый этаж, в батарею, где тихо, безлюдно — все ушли в столовую. Безукоризненно натертые полы празднично мер-

цают; кровати и тумбочки, педантично выравненные, отражаются в паркете, как в воде.

Везде на кроватях лежат свернутые шинели: в столовую курсанты ходят в одних гимнастерках.

Где-то вверху, над крышей, обдувая здание, ревет ветер, наваливается на черные стекла; порывами доносится сквозь метель отдаленный шум трамвая, а здесь веет благостной теплынью и по-домашнему уютно, светло.

Дневальный по батарее — Гребнин, прибывший в училище из полковой разведки, навалясь грудью на тумбочку, недоверчиво ухмыляясь, что-то читал; заметив капитана, он поспешно спрятал книгу, вскочил, придерживая шашку.

— Батарея, смир-рно!

— Отставить команду. Книгу вижу, дневальный.

В упор глядя на капитана бедовыми глазами, Гребнин спросил с нестеснительным интересом:

— Вы не в разведке служили, товарищ капитан?

— Нет. А что?

— Глаз у вас наметанный, товарищ капитан.

— Ну, артиллерист и должен иметь наметанный глаз. А книжку, дневальный, все же спрячьте подальше, чтобы не соблазняла вас.

В канцелярии капитана Мельниченко уже ожидал командир первого взвода лейтенант Чернецов; в гимнастерке с золотыми пуговицами, золотыми погонами, он, весь сияя, тотчас же встал.

— Вызывали, товарищ капитан? — спросил он таким до удивления звонким голосом, что капитан подумал: «Вот колокольчик».

— Да, садитесь, пожалуйста.

Некоторое время он молча рассматривал Чернецова: небольшого роста, живые глаза, чистый — без морщинки — юношеский лоб, нежный румянец заливает скулы; на вид ему года двадцать три; окончил училище по первому разряду, на фронт отправлен не был — оставили в дивизионе.

— Во всех взводах уже назначены младшие командиры,— строго сказал Мельниченко.— В вашем еще нет. Почему?

Лейтенант Чернецов покраснел так, что даже шея над аккуратно подшитым подворотничком порозовела.

— Товарищ капитан, во взводе много фронтовиков... Я присматривался. Вот.— Он вынул список.— Я наметил старшину Брянцева, старшего сержанта Дмитриева, старшего сержанта Дроздова... Все они из одной армии.

— Брянцев и Дмитриев докладывали вам о взыскании, полученном от майора Градусова?

— Так точно.

— Ну, а вы не думали, как отнесется к этому назначению командир дивизиона?

— Товарищ капитан, Дмитриев и Брянцев три года были младшими командирами на фронте. Кроме них во взводе нет сержантов. Что касается этой драки, то майор Градусов приказал младшему лейтенанту Игнатьеву отвезти задержанного к коменданту. При проверке выяснили — темная личность без определенных занятий.

И он не без волнения подергал свою новенькую портупею. «А колокольчик-то не такой уж робкий,— подумал капитан.— Интересно, кем он хотел быть до войны?»

В дверь постучали.

— Разрешите?

— Да, пожалуйста.

В канцелярию вошел курсант Дмитриев: вот этот гораздо старше Чернецова, воевал с первых дней войны — в нем неуловимое сочетание детскости и взрослой серьезности. Его мальчишеские ресницы были влажны от растаявшего снега, лицо чуть-чуть удивленно. Он доложил:

— Курсант Дмитриев по вашему приказанию прибыл!

— Садитесь, старший сержант Дмитриев. Мы с лейтенантом Чернецовым хотели бы назначить вас помощником командира взвода. С сегодняшнего дня.

Дмитриев с недоверием посмотрел на Мельниченко.

— Разрешите сказать, товарищ капитан? Прошу вас не назначать меня помощником командира взвода.

— Почему?

— Просто не хочу.

— Просто не хотите? Вы чего-то не договариваете. Но я, наверно, не ошибусь, если скажу: здесь, в тылу, не хотите тянуть сержантскую лямку. Так?

— Фронт — другое дело, товарищ капитан.

— Да, другое, это верно,— согласился Мельниченко.— Но мы хотели назначить командирами отделений Брянцева и Дроздова. Это ваши однополчане. Вместе вам будет легче работать.

— Все равно, товарищ капитан! — сказал Дмитриев решительно.— Прошу меня не назначать. Я буду плохим помкомвзвода.

— Дивизион, смирно! — гулко раскатилась по этажу отчетливая команда, и сейчас же в глубине коридора голос дежурного возбужденно зачастил: — Товарищ майор, вверенный вам дивизион...

Покосившись на дверь, лейтенант Чернецов одернул гимнастерку, провел пальцами по ремню, как курсант, готовый к встрече старшего офицера.

Наступила тишина, в коридоре послышался раскатистый голос:

— Вольно! — и, распахнув дверь, шумно отдуваясь, вошел майор Градусов — шапка доверху залеплена снегом, лицо свеже-багрово с мороза, накалено ветром. Все встали. Командир дивизиона рывком поднес к виску крупную руку, произнес басистым голосом:

— Здравия желаю, товарищи офицеры!

Резким взмахом он стряхнул с шапки пласт снега, сбоку скользнул глазами по Дмитриеву; внезапно широкие брови его поднялись.

— А, боксер-любитель! Вот вам, пожалуйста, товарищи офицеры, не успел приехать в училище — и сразу драку на улице учинил!.. Что прикажете с ним делать?

— Товарищ майор,— сказал Дмитриев,— это нельзя было назвать дракой.

— Когда военный человек дает волю рукам на улице, это стыд и позор! При любых обстоятельствах драться курсанту артиллерийского училища значит втаптывать в грязь честь мундира, честь армии! Не хватало еще, чтобы прохожие тыкали в курсантов: «Вот они какие, наши воины!..»

Говоря это, Градусов снял шинель, сел к столу, хмуро забарабанил пальцами по колену.

— Эх вы! «Нельзя назвать»! Где этот ваш... как его?.. соучастник... Брянский?.. Брянцев?.. Вы вызывали его, капитан? Они докладывали вам о взыскании?

— Брянцев должен сейчас прийти,— ответил Мельниченко.— Я вызвал их обоих. Но по другому поводу, товарищ майор.

— А именно?

— Я хотел бы назначить их младшими командирами. Обоих. Дело в том, что в комендатуре выяснены обстоятельства и причины этой драки.

— Вот как? Из грязи в князи? Та-ак...

Громко хмыкнув, майор Градусов положил большую руку на край стола, глянул на капитана, вроде бы в крайнем сомнении, затем круто повернулся к понуро стоявшему Чернецову.

— А вы как полагаете, командир взвода?

Лейтенант Чернецов опять до пунцовости покраснел, споткнувшимся голосом ответил:

— Я думаю... они справятся, товарищ майор.

— Что же вы, лейтенант, так неуверенно? — Градусов с кряхтением встал, прошелся по канцелярии.— Н-да! Может быть, может быть... Все это очень интересно, товарищи офицеры! Очень занятно...— как бы раздумывая, заговорил он и сильным толчком открыл дверь.— Дежурный! Вызвать курсанта Брянцева!..

Борис шел по коридору корпуса.

Ему, отвыкшему от чистоты и домашней устроенности, нравился этот прямой светлый коридор, залитый зимним солнцем, эти старинные люстры, натертые паркетные полы, эти дымные курилки, эти полузастекленные двери по обе стороны коридора с мирными надписями: «Каптерка», «Партбюро», «Комната оружия». Ему нравилось, когда мимо него пробегали новоиспеченные курсанты, недавние спецшкольники, и с восторженным уважением глазели на два ордена Отечественной войны, на пленительно сияющий иконостас медалей, позванивающих на его груди.

Когда он подошел к канцелярии, возле двери толпилось человек пять курсантов с прислушивающимися вытянутыми лицами; один из них говорил шепотом:

— Тут он, братцы... Сейчас заходить не будем, подождать надо...

— Это что? — насмешливо прищурился Борис.— В каком обществе, молодой человек, вас учили подслушивать? Там, за дверьми, решается ваша судьба? Немедленно брысь! — добродушно сказал он и постучал в дверь.— Курсант Брянцев просит разрешения войти!

Он вошел, вытянулся, щелкнув каблуками, увидел нахмуренного Алексея, пытливым взглядом окинул офицеров, тотчас же понял, о чем шел здесь разговор, и на какой-то миг чувство полноты жизни покинуло его.

— Курсант Брянцев по вашему приказанию прибыл!

Майор Градусов, сложив руки на животе, стоял посреди комнаты, с некоторым даже недоумением разглядывая Бориса.

— Однако, курсант Брянцев, вы не торопитесь. Надеюсь, на фронте вы, когда офицер вызывал вас на позицию, ходили быстрее? Запомните, в нашем училище все делают бегом!

Борис пожал плечами.

— Товарищ майор, я не умею обедать бегом. Я был в столовой.

Лицо Градусова стало наливаться багровостью.

— Прекратить разговоры, курсант Брянцев! Удивляюсь! За четыре года войны вас не научили дисциплине! Вижу — во многом придется с азов, с азбуки начинать! Забываете, что вы уже не сержанты, а на одну треть офицеры! На фронте возможны были некоторые вольности, здесь — нет!..

— Товарищ майор,— не сдержался Алексей.— Вы нас можете учить чему угодно, только не фронтовой дисциплине. Военную азбуку мы немного знаем.

— Так! Значит, вы абсолютно всему обучены? — отчетливо проговорил Градусов и, словно бы в горьком разочаровании продолжал усталым голосом: — Так вот, вчера я был свидетелем безобразного скандала, но сомневался, насколько вы оба в нем виноваты. Сейчас мне не требуется никаких объяснений. Я отменяю свое прежнее взыскание. Курсанту Дмитриеву — двое суток ареста за драку и пререкания. Вам, как зачинщику драки и за грубость с офицером,— он перевел желтые глаза на Бориса,— трое суток ареста. Завтра же отправить арестованных на гауптвахту. Разрешаю взять с собой «Дисциплинарный устав»! — И, кивнув капитану Мельниченко, добавил жестко: — Приказ об аресте довести до всего дивизиона. Можете идти, товарищи курсанты. Вы свободны до завтра.

Они вышли в коридор и возбужденно переглянулись.

— Старая галоша! — со злостью бросил Борис.— Понял, как он наводит порядок?

— Не то бывало. Переживем как-нибудь, надеюсь, и это.

— Ну конечно! — раздраженно отозвался Борис.— Остается улыбаться, рявкать песни!..

— Ладно, кончай,— сказал Алексей.— Вон смотри, Толька Дроздов чапает! Вот кого приятно видеть.

Их однополчанин Дроздов, атлетически сложенный, с широкой грудью, шел навстречу по коридору, мял в руках мокрую шапку; его загорелое даже зимой лицо еще издали заулыбалось приветливо и ясно.

— Боевой салют, ребята! А я, понимаете, со старшиной в вещевой склад за обмундированием ходил. Шинели получали. Снежище! Да что у вас за лица такие кислые? Что стряслось?

— Поговорили с майором Градусовым, как шнапсу напились — и вышли образованные,— сказал Алексей.— Завтра определяемся с Борисом на гауптвахту.

— Бросьте городить! За что? Вы серьезно?

— Совершенно.

Вечером в батарее царило необычное оживление.

Взводы были построены и стояли; шумно переговариваясь, все поглядывали на крайнюю койку, где лежали кипы чистого нательного белья. Помстаршина из вольнонаемных, Куманьков, старик с розовыми ушами, озадаченно суетился перед строем и с разных сторон озирал худощавую и длинную фигуру курсанта Луца, который держал перед собой, потряхивая, пару новенького белья, говоря при этом с ядовитым недоумением:

— Нет, товарищ помстаршина, вы только подумайте: если на паровоз натянуть нижнюю рубашку, она вытерпит? Вас надули на складе. Эти белые трусики со штрипками попали из детяслей...

— Ну, ну! — уязвленно покрикивал помстаршина.— Какие тебе еще детясли! Ты, это, не тряси! Знаем! Ишь моду взял — трясти! Ты словами не обижай. Из спецшколы небось? Я, стало быть, тоже три года на германской... А ну давай сюда комплект! Па-ро-воз!

— Прошу не оскорблять,— вежливо заметил Луц под хохот курсантов.

— Смир-рно-о! Разговорчики!.. Безобразий с бельем не разрешу! Ра-авнение напра-во!

Взводы притихли: из канцелярии вышел капитан Мельниченко. Он был в шинели, портупея продернута под погон; похоже — приготовился к строевым занятиям.

— Вольно! Помстаршина, что там у вас?

— Не полезет белье, товарищ капитан,— невинно объяснил Луц.— Отсюда все неприятности.

— Верно, никак не полезет. Помстаршина, постарайтесь заменить!

Куманьков почтительно наклонился к капитану, с явной обидой зашептал:

— Невозможно, товарищ капитан. Рост, стало быть. Размер...

— А в каптерке у себя смотрели? В НЗ?

— В каптерке? — Куманьков кашлянул.— Да ведь, товарищ капитан... А ежели еще внушительнее рост объявится? Эвон гвардейцы вымахали-то... Есть заменить! — добавил он с неудовольствием.— Прямо горит на них обмундирование, ничего не напасешься...

— Две минуты вам на раздачу белья.

— Слушаюсь.

Как многие помстаршины и прочие армейские хозяйственники, Куманьков, видимо, считал, что обмундирование служит не для того, чтобы его носить, изнашивать и заменять поношенное, а для того, чтобы хлопотливо выписывать и не без усилий получать на складах, — кто мог понять весь адский труд помстаршины?

Пока Куманьков возился с комплектами, капитан Мельниченко молча, размеренно ходил вдоль строя, заложив руки за спину.

Ровно через две минуты батарея с шумом, смехом, стуча сапогами, повалила по лестнице вниз в просторный вестибюль, к выходу.

Дежурный — из старых курсантов,— снисходительно провожая оживленную толпу со свертками под мышками, лениво сообщил:

— Банька у нас что надо, друзья.

— Военную тайну не разглашать! — грозно посоветовал Луц.— Устава не знаете?

Батарея весело выходила на улицу.

В вечернем воздухе мягко падал снег, над плацем двигалась сплошная пелена, закрывала город; уличные фонари светили неяркими желтыми конусами. Только все четыре этажа училищного корпуса, уходя в небо, тепло горели окнами сквозь снегопад. Вокруг послышались голоса:

— В снежки! Атакуй спецшкольников!

И сейчас же разведчик Гребнин, наскоро слепив мокрый снежок и азартно крякнув, изо всех сил запустил его в длинную спину Луца. Тот съежился от неожиданности, крикнул:

— А дисциплина? Нарядик хочешь огрести?

— В такую погоду какая дисциплина! — Гребнин ухмыльнулся, подставляя ему ногу. — Извиняюсь, Миша, здесь сугроб! Не падай, тебе говорят!

Луц, скакнув журавлиными ногами в сугроб, набрав снегу в широкие голенища, упал на спину, замотал ногами, завопил:

— Погибаю! Где мой комплект? Я не могу без комплекта!

— Становись! — растерянно командовал Куманьков, бегая возле рассыпавшейся батареи, испуганно следя за мельканием узелков в воздухе. — Белье! — кричал он. — Комплекты! Чистые дети! А еще фронтовики! Снегу не видали? Эх, да что же вы, в самом деле! Устав забыли? А ну, равняйсь. Р-равняйсь, говорят!

Наконец батарея выстроена. Из главного вестибюля показался капитан Мельниченко, подошел к строю, заинтересованно спросил:

— Запевалы есть?

— Есть... Есть! Миша Луц — исполнитель цыганских романсов!

— Гребнин, что молчишь? Ты ж у нас Шаляпин!

— Отлично. Гребнин и Луц, встать в середину! Какие знаете песни?

— «Украина золотая».

— «Артиллерийскую».

— «Война народная».

— Шаг держать твердый. Слушай мою команду! Батарея-а! Ша-агом... марш! Запевай!

Батарея шла плотно, глухо звучали шаги, и, как это всегда бывает, когда рядом ощущаешь близкое плечо другого, когда твой шаг приравнивается к единому шагу сотни людей, идущих с тобой в одном строю, по колонне электрической искрой пронеслось возбуждение. И эта искра коснулась каждого. Люди еще теснее прижались друг к другу единым соприкосновением. Только от дыхания через плечи впереди идущих проносился морозный пар.

— Раз, два, три! Чувствовать строй, ощущать локоть друг друга! — командовал капитан особым, поднятым голосом.

Гребнин взволнованно вскинул голову, призывно взглянул на Луца, который, казалось, сосредоточенно прислушивался к стуку шагов, легонько толкнул его пле-

чом: «Начинай, самое время!» Луц помедлил и слегка дрожащим голосом запел:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Они запевали в два голоса; глуховатый голос Луца вдруг снизился, стихая, и тотчас страстно подхватил его высокий, звенящий голос Гребнина; затем снова глуховато вступил Луц, но голос Гребнина, удивительной металлической силы, выделялся и звенел над батареей.

И будто порыв грозовой бури подхватил голоса запевал:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна-а.
Идет война народная,
Священная война...

Алексей хмурился, глядел на город. Неясное, холодное, розоватое зарево — отблеск домен — зловеще светлело вдали над шоссе, и Алексей внезапно вспомнил Ленинград, дождливый день, эшелон, мокрый от дождя, себя в сером новом костюме, сестру Ирину, мать... Тогда под гулкими сводами вокзала звучала из репродуктора эта же грозная песня. И мать смотрела на него долгим, странным взглядом, будто прощалась навсегда, а он убеждающе говорил ей: «Мама, я скоро вернусь». Но когда все, возбужденные, что-то весело крича провожающим, стали влезать в вагоны, мать взяла его за плечи и, как прежде никогда не делала, надолго прижалась щекой к его лицу и, сдерживая рыдания, выговорила: «Мальчики, мальчики ведь!..»

«Мама, я скоро вернусь!» — повторил он и побежал к вагону — эшелон уже тронулся. Ему тогда легкомысленно казалось, что война лишь на несколько месяцев, он многое узнал потом... И, только получая письма, вспоминал, что в тот далекий день, на вокзале, он заметил, что у мамы, сразу постаревшей после смерти отца, около губ горькие морщинки и шея тонкая, как у Ирины. «Милая, родная моя, как я виноват перед тобой! Я знаю, как ты думала обо мне все это время! Разве я не помнил тебя? Прости за короткие, редкие мои письма. Я все расскажу, когда мы увидимся! Я все расскажу...»

И Алексей не слышал больше ни песни, ни голосов запевал. Приступ тоски по дому, нежности к матери и всему далекому, дорогому, довоенному, захлестнул его, мешал дышать и петь.

Песня прекратилась, и теперь слышалась только тяжелая, слитная и равномерная поступь взводов.

Обычно после отбоя, когда училище погружалось в тишину, а к черным стеклам прислонялась ночь, во взводе начинались разговоры; порой они не замолкали до рассвета.

В этот вьюжный вечер перед гауптвахтой Алексей лежал на своей койке, слушая вой ветра в тополях и дальние, слабые гудки паровозов сквозь метель.

А в полутьме кубрика, в разных концах по-шмелиному жужжали голоса завзятых батарейных рассказчиков; там хохотали приглушенно, шепотом, чтобы не услышал дежурный офицер; и кто-то грустно мурлыкал в углу:

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки...

На соседней койке вдруг заворочался Дроздов, потом властно сказал кому-то:

— Прекрати «Стежки-дорожки»!

Мурлыканье в углу прекратилось. Дроздов спросил негромко:

— Спишь, Алеша?

— Нет.

— Я тоже.— Он приподнялся на локте; ворот нижней рубахи открывал его крепкую шею.— Понимаешь, Алеша, странно все,— проговорил Дроздов вполголоса.— Прошел войну, остался жив, вот теперь в училище... А Сережи Соловьева нет. И знаешь, как он погиб? Сидели в хате, тепло, дымище, за окном снег падает, вот как сейчас... За Вислой уже. Километра два от передовой. Сережа сидел около стола, писал письмо и тихо напевал «Позарастали стежки-дорожки...». Всегда он это пел. А я слушал. И грустно мне было от этих слов, черт его знает почему! «Позарастали мохом, травою, где мы гуляли, милый, с тобою...» И, видно, лицо у меня нахмурилось, что ли. А Сережа увидел, подмигнул мне и спрашивает: «Ты чего?» И, знаешь, встал и начал языком

конверт заклеивать. И вдруг — дзынь! — две дырочки в стекле. А Сережа медленно валится на лавку. Я даже сразу не понял... Только что эти стежки-дорожки — и конец. Все. Никогда этого не забуду!..

Под сильным телом Дроздова заскрипели пружины, он лег, положив руки под голову, глядя в темноту.

— Я тоже помню его,— тихо сказал Алексей.

И внезапно все то, что было прожито, пережито и пройдено, обрушилось на него, как обжигающая холодом волна, и это прошлое показалось ему таким неизмеримо великим, таким огромным, беспощадным, что невозможно было представить: прошел все, десятью смертями обойденный... И тут же с замиранием подумал о той школьной милой жизни, до войны — о Петергофском парке, о горячем песке пляжа на заливе, о прозрачной синеве ленинградских белых ночей, о Неве с дрожащими огоньками далеких кораблей — «Адмирала Крузенштерна» и «Товарища»,— о том, что было когда-то и ушло совсем, навсегда.

Утром взвод был выстроен. Холодное зимнее солнце наполняло батарею белым снежным светом.

— Курсанты Дмитриев и Брянцев, выйти из строя!

— Курсант Дроздов, выйти из строя!

«Зачем же вызвали Дроздова?»

— Вот вам, курсант Дроздов, записка об аресте, возьмите винтовку, пять боевых патронов. Вам ясно? Курсанты Дмитриев и Брянцев! Снять ордена, погоны и ремни!

Они сняли ордена, погоны, ремни, а когда Алексей передавал все это Дроздову, у того дрогнула рука — на пол, зазвенев, упал орден Красного Знамени. Алексей быстро поднял его, стиснув зубы. В сорок третьем он получил этот орден за форсирование Днепра: погрузив орудия на плоты, два расчета на рассвете переплыли на правый берег, закрепились там на высоте и двумя орудиями держали ее до вечера...

— Отвести арестованных на гарнизонную гауптвахту!

— До скорого свидания, ребята,— сказал Алексей.

— Не унывай, братва,— поддержал Гребнин из строя.— Перемелется — мука будет.

В шинелях без ремней, без погон, они спустились по лестнице, миновали парадный вестибюль, вышли на училищный двор. Над розовеющими крышами учебного корпуса поднималось в морозном пару январское солнце. Тополя цепенели в тяжелом инее. Искрилась в воздухе изморозь. Под ногами металлически звенел снег. Алексей вдруг вспомнил, как в Новый год он провожал Валю по лунным переулкам, как она шла рядом, опустив подбородок в мех воротника, и посмотрел на Бориса: тот шагал, засунув руки в карманы, зло глядя перед собой.

Потом они шли через весь город, по его немноголюдным в этот ранний час улицам. На них оглядывались; сухонькая старушка остановилась на тротуаре, жалостливо заморгала глазами на сумрачного Дроздова.

— Куда ж ты их ведешь, сердешных?

— В музей веду, мамаша,— серьезно ответил Дроздов.

Прошли мимо госпиталя — огромного здания, окруженного инистой белизной деревьев. У ворот — крытые санитарные машины: должно быть, в город прибыл санитарный поезд. От крыльца к машинам бежали медсестры в белых халатах: там начали сгружать носилки.

«Они туда, а мы на гауптвахту... Тысячу раз глупо!» — подумал Алексей, отворачиваясь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Во всем учебном корпусе стояла тишина; после перерыва пахло табаком; желтые прямоугольники дверей светились вдоль длинного коридора, как обычно в вечерние часы самоподготовки.

Курсант Зимин, худенький, с мелкой золотистой россыпью веснушек на носу, вскочил со своего места и тоненьким обиженным голосом проговорил:

— Товарищи, у кого есть таблицы Брадиса? Дайте же!

— В чем дело, Зимушка? Почему волнуешься? — солидно спросил до синевы выбритый Ким Карапетянц, поднимая голову от тетради.— Чудак-человек! — заключил он и протянул таблицы.— Зачем нервы тратишь?

Зимин с выражением отчаяния отмахнулся от него, схватил таблицы, зашелестел листами, твердя взахлеб:

— Вот наказание... Ну где же эти тангенсы? С ума можно сойти!..

Рядом с Зиминым, навалясь грудью на стол, в полной отрешенности, пощипывая брови, курсант Полукаров читал донельзя потрепанную книгу. Читал он постоянно — в столовой, на дежурстве, даже в перерывах строевых занятий; пухлая его сумка была всегда набита бог знает откуда взятыми романами Дюма и Луи Буссенара; от этих книг, от пожелтевших, тронутых тлением страниц веяло обветшалой стариной и пахло мышами; и когда Полукаров, развалкой входя в класс, увесисто бросал свою сумку на стол, из нее легкой дымовой завесой поднималась пыль.

Был Полукаров из студентов, однако в институте с ним случилась некая загадочная история, вследствие чего он ушел в армию, хотя и острил мрачно насчет того, что армия есть нивелировка характеров, воплощенный регламент, подавление всякой и всяческой индивидуальности. Сам же Полукаров был небрежен и неуклюж в каждом своем движении. Только вчера батарею обмундировали, подгоняли по росту шинели, гимнастерки, сапоги, но он выбирал недолго, пренебрежительно напялил первую попавшуюся гимнастерку, натянул сапоги размером побольше (на три портянки — и черт с ними!), мефистофельски усмехаясь, глянул на себя в зеркало: «Мне не на светские балы ездить! Сойдет!» — и выменял у Гребнина «вечный» целлулоидный подворотничок, чтобы непроизводительно не тратить времени на армейский туалет.

На самоподготовках, для отдохновения от дневных занятий, Полукаров запоем читал французские приключенческие романы, но читал их по-особому — так было и сейчас: изредка он менял позу, ворочался с неуклюжестью просыпающегося медведя и, тряся большой головой, стучал огромным кулаком по столу, рокочущим баритоном во всеуслышание комментировал прочитанное:

— Остроумно и прелестно! «Скажите, сударь, над чем вы смеетесь, и мы посмеемся вместе!» Мо-ло-дец! Умел загибать старик. Уме-ел! — И опять в восторженном изнеможении погружался в чтение, шелестя страницами, не замечая вокруг никого.

— Да что ж это такое? Только сосредоточился! —возмутился Зимин.— Все время мешают!

Весь распаренный, с вспотевшим от волнения носом, он случайно сломал кончик карандаша, разозлился еще больше, отшвырнул линейку, крикнул Полукарову:

— Замолчи, пожалуйста! Тоже мне Дюма! Майн Рид несчастный!

— Ба-алван! — громогласно возмутился Полукаров чему-то в книжке и тяжеловесно хлопнул ладонью по столу.— Упустил!..

В классе засмеялись. Дроздов сказал впушительно:

— Не бредишь? У тебя всегда так в это время?

— Ничего не получается! Ужас!..— воскликнул Зимин, и таблицы Брадиса полетели обратно на стол к Карапетянцу.

Тот аккуратно положил таблицы поверх сумки, осуждающе проворчал:

— Не кидай вещами.

— Ты сам болван! — с негодованием объявил Зимин Полукарову.— Курица жареная!

Вокруг Зимина зашумели, а Полукаров, будто проснувшись, фыркнул ноздрями и заговорил, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Ах, ну и книга, братцы мои! Погони, выстрелы, прекрасные глаза леди, шпаги... Умел, умел старик закручивать: дым коромыслом, скачут, убивают, любят, как леопарды... И что удивительно: старик наляпал столько романов, что количество их до сих пор не подсчитано! Но умер в бедности, трагически. Последние дни зарабатывал тем, что стоял манекеном в магазине. Вот вам и Дюма. Пентюхи необразованные! Кто там сказал, что я — курица жареная? Я прощаю всех милых младенцев!

— Тише! — оборвал его Дроздов.— Восторгайся про себя!

А в это время Гребнин и Луц сидели за последним столом, сбоку окна, и разговаривали вполголоса. В самом начале самоподготовки Гребнин не стал решать задачи вместе со взводом: взял свою фронтовую сумку и, презрев тангенсы и косинусы, уныло поплелся в конец класса, чтобы написать «конспект на родину», то есть письмо домой. Здесь, в углу, было так уютно и тепло от накаленных батарей и так по-разбойничьи свистел, гудел ветер за окном в замерзших тополях, что Гребнин задумался над чистым листком бумаги, рассеянно покусывая кончик карандаша. Тогда Луц, увидев его насупленное лицо, медленно встал и направился к нему. Когда перед столом возникла его нелепо длинная фигура, Гребнин с досадой сказал:

— Чего приперся? Письмо не дадут написать.

— Письмо? — кротко спросил Луц.— Пиши себе на здоровье. Ходят усиленные слухи, что у тебя табак «вырви глаз». Давай скрутим на перерыв. Почему ты уединился, Саша, утяпал от взвода в гордом одиночестве?

— А что мне там делать? Хлопанье ушами никому не доставляет удовольствия. Вот, например, абсцисса.— Он с насмешливо-удрученным видом поднял палец.— Абсцисся! А що цэ такэ? Ничего не понимаю! Вот и хлопаю ушами, как дверью на вокзале!

Он сказал это не без горечи, но до того покойно глядели на него карие улыбающиеся глаза Луца, так невозмутим был его певучий голос южанина, что Гребнин спросил вдруг:

— Ты вроде из Одессы?

— Да, эта королева городов — моя родина. Какой город — из белого камня, солнца и синего моря. И какие чайки там!..

— Ну, чайки хороши и на Днепре. Подумаешь — чайки!

— Сравнил! Речные чайки — это те же жоржики, что надели тельники и играют под морячков.

— А шут с ними!.. А мать и отец где?

— Мать и отец у меня были цыгане, умерли от холеры. Я жил с тетей и дядей в Киеве. Собственно, не родные тетя и дядя, а так, усыновили.

— Эвакуировались?

— Ушли пешком. Тетя с узлом, а я сзади плетусь. Потом тетю потерял под Ганьковом во время бомбежки... вот, а меня подобрала какая-то машина, потом — на Урал. Там в подручных на заводе работал, а потом — в спецшколу... Ну ладно, биографии будем рассказывать после отбоя. У меня к тебе серьезный вопрос: почему тебе невесело?

— Откуда ты взял, что невесело? — Гребнин в раздумье покосился на инистые папоротники темного окна.— Не то сказал.

— Прости, если обидел. Решил выяснить обстановку. Если хочешь побыть один и писать стихи, я могу уйти.

— Нашел великого поэта! Сиди и давай разговаривать. Эх, что там с моим Киевом? Я жил на улице Кирова, рукой подать до Крещатика, там растут прекрасные каштаны. Рядом — Днепр, шикарные пляжи. Эх, Мишка! Забыл даже, какой номер трамвая ходил по набережной! Забыл!

— А я на Островидова,— глубоко вздохнул Луц.— Тоже улица! Но ездили купаться в Аркадию. Трамвай останавливался на кольце, слезаешь и идешь к морю...

Они помолчали. Ветер жестокими порывами корябал снаружи холодной лапой стекла, снежная пыль летела с крыши, неслась мимо фонарей на плацу.

— Снег...— сказал Луц грустно.— Ты, Саша, ходил в такую погоду в разведку? Холодно было?

— Нет, ничего... Полушубок, валенки. И водки немножко. Сто граммов.

— «Языков» приводил?

— Не без этого.— Гребнин послушал, как дребезжат стекла от навалов ветра, и вполголоса продолжал: — Однажды вот в такую погоду вышли в разведку. Вьюга страшная. Ползли и совершенно потеряли ориентировку. Вдруг слышу: скрип-скрип, скрип-скрип. Ничего не могу сообразить. Ресницы смерзлись — не раздерешь. Присмотрелся. Сбоку метрах в пяти проходят двое. К нашим окопам. Потом еще трое. Что такое? Встречная немецкая разведка. Троих мы живьем взяли...— Он взлохматил на затылке белокурые волосы, спросил: — А ты почему вдруг о разведке?

Луц задумчиво погладил ладонью край стола, сказал ласково:

— Убедительно тебя прошу, Саша, выкладывай, как на тарелке, что тебе неясно в артиллерии. Разберемся. Идет? Вот тебе прямой вопрос: что такое оси координат? Думай сколько тебе влезет, но спокойно и без паники.

— У нас так в Киеве говорили в сорок первом: спокойно, но без паники,— добавил Гребнин и не очень уверенно ответил, что такое оси координат.

— Правильно, ты же прекрасно соображаешь! — воскликнул Луц, с преувеличенным восторгом вытаращив глаза.

— Без комплиментов. Лучше свернем «вырви глаз»,— уклончиво проговорил Гребнин, отрывая листок от газеты.— У меня сейчас в голове как в ночном бою. А дело в том, что стереометрию я в свое время осилить не успел. Ушел в ополчение, когда немцы были под Киевом. Не закончил девятого. А в училище меня послали, видать, за боевые награды...

Где-то в глубине коридора пропел горн дневального, оповещая конец первого часа занятий.

— Встать! Смирно! — скомандовал Дроздов.— Можно покурить, после перерыва на второй час не запаздывать!

— В армии четыре отличных слова: «перекур», «отбой», «обед», «разойдись»,— пророкотал Полукаров, захлопывая книгу и потягиваясь всем телом.— Братцы, кто даст на закрутку, всю жизнь буду обязан!

Во время перерыва в дымной, шумной, набитой курсантами курилке к Гребнину подошел Дроздов и, улыбаясь, подув на огонек цигарки, обрадованно объявил:

— Завтра освобождают хлопцев. Уже готова записка. Видел у комбата. Два дня чертей не было, а вроде как-то пусто без них! Как они там, а?

В то утро, когда дежурный по гауптвахте сообщил Алексею, что арест кончился, он, покусывая соломинку, вытащенную из матраца, неторопливо надел все, что теперь вновь ему полагалось,— погоны, ремень, ордена,— после этого оглядел себя, проговорил с усмешкой:

— Кажись, опять курсантом стал... Взгляни-ка, Борис.

Тот, обхватив колено, сидел на подоконнике прокуренного помещения гауптвахты; с высоты неуютных зарешеченных окон виден был под солнцем заснеженный город с белыми его улицами, тихими зимними дворами, сахарными от инея липами. Борис хмуро глядел на этот утренний город, на частые дымки́, ползущие над ослепительными крышами, и Алексей продолжал не без иронии:

— Слушай, не остаться ли мне еще на денек, чтобы потом вместе явиться в училище к Градусову и доложить, что я за компанию с тобой отсидел лишний день? Думаю, Градусову страшно понравится моя сознательность.

— Брось ерничать! — Обернувшись, Борис соскочил с подоконника, лицо его покривилось, стало злым. — Не надоело за два дня?

Дежурный по гауптвахте — сержант из нестроевых,— пожилой, малоразговорчивый, в куцей помятой шинели, обязанный по долгу службы присутствовать на церемонии освобождения, значительно кашлянул, но ничего не сказал, лишь поторопил Алексея сумрачным взглядом.

— А все-таки, Борис? Остаться? Я не шучу...

— Хватит тебе, хватит! Иди! А плохо одно: майор теперь проходу не даст. Наверно, по всему дивизиону склонял наши фамилии, и всё в винительном падеже!

— Наверно.

— Пошли до ворот,— надевая шинель, проговорил Борис.— Разрешите, дежурный?

— Разрешаю, пять минут, ежели...

В молчании Борис проводил его до ворот, быстро пожал руку и вдруг выговорил с бессильным бешенством:

— Черт его дери! Соображать же не одним местом надо! Из-за чего посадил нас!..

Алексей втянул в себя морозный воздух, сказал:

— Верно. Но если бы еще раз пришлось встретить эти физиономии, десять суток согласился бы отсидеть.

Спустя сорок минут он стоял в канцелярии перед капитаном Мельниченко и, глядя ему прямо в глаза, насмешливым голосом докладывал, что прибыл с гауптвахты для прохождения дальнейшей службы. Мельниченко невозмутимо выслушал его, кивнул на стул:

— Садитесь, Дмитриев. Мы с вами тогда так и не договорили.

— Спасибо... Я двое суток сидел,— ответил Алексей, подчеркивая слово «сидел» и показывая этим, что ледок неприязни между ним и капитаном не исчез.

Зазвонил телефон; положив руку на трубку, капитан спросил, как будто не поняв иронии Алексея:

— Вы знаете, Дмитриев, я все же очень хотел бы, чтобы вы были помощником командира взвода у Чернецова.

— Почему именно я, товарищ капитан? — проговорил Алексей с вызовом.— Вы переоцениваете меня.

— Может быть. Но подумайте до вечера. Я буду ждать.

После этих слов он снял трубку, сел на край стола и, крутя в пальцах спичечный коробок, отпустил Алексея:

— Я вас больше не задерживаю.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Четвертые сутки мел буран, обрушиваясь из степи на город, ветер пронзительно визжал в щелях заборов, с гулом хлестал по крышам, свистел в садах дикие степные песни. На опустевших, безлюдных улицах, завиваясь, неистово крутились вьюжные воронки. Весь город тонул в непроглядной мгле. В центре дворники не поспевали убирать сугробы, и густо обросшие инеем трамваи ощу-

пью ползли по улицам, заблудившись в метели, останавливались на перекрестках, тускло светясь мерзлыми окнами.

По ночам, когда ветер особенно ожесточался, на окраинах протяжно и жалобно стонали паровозные гудки, и казалось порой — в городе объявляли воздушную тревогу.

Взвод не занимался нормально вторые сутки.

В одну из буранных ночей, в два часа, батарея была разбужена неожиданной тревогой:

— Ба-атарея! Тревога!.. Подымайсь!

На всех этажах хлопали двери, раздавались команды, а в короткие промежутки тишины было слышно, как тонко, по-комариному, в оконных рамах звенел острый северный ветер.

Алексей отбросил одеяло, нырнул головой в гимнастерку, не застегивая пуговиц, натянул сапоги.

Со всех сторон переговаривались голоса:

— В чем дело? Какая тревога?

— Ребята, всю батарею на фронт посылают, мне дневальный сказал! — кричал Гребнин.— На Берлин! Миша, возьми свои сапоги. Да ты никак спишь?

Заспанный басок Луца рассудительно объяснял из полутьмы казармы:

— Саша, не беспокойся, портянки я положил в карман, пожалуйста, не тряси меня...

— Братцы, луна с неба упала! — на весь взвод мощно рокотал Полукаров.— Говорят, в нашем районе!

— Заткнись, остряк! — обозлились сразу двое, и по голосам можно было узнать Дроздова и Карапетянца.

— Товарищи курсанты! Разговоры прекратить! — нетерпеливо раздалась команда Чернецова.— Строиться! Помкомвзвода, стройте людей! Быстро!

— Строиться! — скомандовал Алексей.

Рядом с ним, посапывая спросонок, молча возился, судорожно зевая, курсант Степанов. Он, видимо, толком не проснувшись, был уже в гимнастерке, в сапогах, но без галифе и теперь без всякой надобности разглаживал, мял в руках шапку, недоумевающе рассматривая ее.

— Ну что ты делаешь? — крикнул Алексей, не сдержав смеха. — Снимай сапоги и берись за галифе. Иначе ничего не получится.

Застегиваясь на ходу, он побежал к двери; Дроздов и Борис, рывком затягивая ремни, бежали впереди него.

У выхода, строясь, толпился взвод. Лейтенант Чернецов, оживленный, свежезавьюженный снегом, стоял тут же и, сдвинув шапку, вытирал платком мокрый лоб.

— Строиться на улицу! — звенящим голосом скомандовал он.— Сержант Дмитриев, выделите курсантов к помстаршине для получения лопат! Взвод, выходи на улицу!

— Полукаров и Брянцев, останьтесь,— сказал Алексей.— Давайте, ребята, к помстаршине за лопатами! Борис, ты распишешься в получении. Я — к взводу.

— Однако ты, помкомвзвода, сделал удачный выбор,— поморщился Борис, одергивая шинель.— Слушаюсь — получить лопаты. Пошли!

Задержавшись на площадке, Алексей посмотрел ему вслед, на его прямую решительную спину — и побежал по лестнице вниз.

Коридоры были уже пусты. Только в шумном вестибюле сталкивались команды офицеров. В открытую дверь валил студеный пар, обволакивая лампочку, светившую желтым огнем под заиндевевшим потолком.

На дворе ледяные вихри до боли ударили по горячему лицу, колюче залепило глаза, ветер мгновенно выдул все тепло из шинели. Была полная ночь. В снежном круговороте неясными силуэтами проступали пятна орудий, вкось плывущие по двору.

Налегая грудью на упругую стену метели, Алексей побежал к плацу; ветер рвал с головы шапку; из бурана доносились обрывки слов:

— А...ва...в...ви...ись!..

Загораживая лицо от хлещущих ударов снега, он добежал до взвода в тот момент, когда чернеющие на плацу фигуры зашевелились.

— Кома-андиры взводо-ов, строить взводы!..

Взвод возбужденно строился.

— Братцы, светопреставление! Дышать невозможно. Противогазы бы надеть. А тут еще лопаты чертовы,— отпыхиваясь, гудел Полукаров, подбегая к строю с лопатами.— Хватай — не посачкуешь!..

— Несоответствующее паникерство прекратить! — начальственно и весело рявкал Луц.— Кто острит? Это вы, Полукаров? Почему так мало лопат?

— Ложку бы ему такого размера, как лопата! — выговорил с сердцем Борис и бросил лопаты в снег.— Взял десять совковых и ныл щенком! Разбирай штыковые!

— Ба-атарея-а! Равня-айсь!

Только сейчас Алексей услышал команду капитана Мельниченко и увидел его. Он стоял перед строем, ветер трепал полы его заснеженной шинели.

— Смирно-о! — Команда оборвалась, и сейчас же после нее: — Товарищи курсанты! В пригороде завалило пути, два эшелона с танками стоят на разъезде. По приказу военного округа училище направляется на расчистку путей! Ба-атарея, слушай мою команду! Товарищи офицеры, занять свои места. Шагом ма-арш!

Шагали, нагнув головы, защищаясь от бьющего навстречу снега. Ветер дул вдоль колонны, но в середине плотного строя, чудилось, было теплее, разговоры там не умолкали, и батарея шла оживленно. Уже за воротами проходной Луц откашлялся, громко спросил:

— Споем?

— Запевай, Миша! — ответил Гребнин.

Луц, как бы проверяя настроение, переглянулся с товарищами, подмигнул Гребнину и начал глуховатым баском:

За окном черемуха колышется,
Осыпая лепестки свои...

— Саша! — крикнул он, смеясь.— Саша, подхватывай!

Но песни не получилось. Ветер разом оборвал ее. От этого стало еще веселее, хотелось кричать что-то в этот ветер, броситься, распахнув шинель, в неистовые снеговые налеты.

В непонятном волнении шли по шоссе среди гудящего тополями города, затемненного бураном.

На перекрестке колонна неожиданно остановилась. Из бурана, дымясь красными окнами, с гулом выкатился огромный утюг трамвайного снегоочистителя и тут же исчез в метельной мгле.

— Шагом ма-арш...

По обеим сторонам шоссе потянулись косматые силуэты качающихся деревьев, низенькие дома со ставнями — начались окраины. Потом впереди проступили мутные сквозь летящий снег большие огни. А когда колонна приблизилась, то увидели огромное здание вокзала, ярко освещенные широкие окна, должно быть, уютного теплого ресторана, вьюжно залепленные фонари у пустынных подъездов. И донеслись далекие или близкие — не понять — непрерывные гудки паровозов.

— Ба-атарея, стой! Командиры взводов, ко мне! — разнеслась команда.

Вдоль колонны проносились рваные белые облака, буран крутился меж заваленных снегом скамеек пристанционного сквера.

— Закуривай, пока стоим! — сказал Борис, прикурив от зажигалки под полой шинели, и окликнул, стоя спиной к ветру: — Алексей, хочешь табачком согреться?

Алексей воткнул лопату в сугроб, подошел к нему; Борис переступал ногами, точно выбивая чечетку, возле заборчика сквера.

— Слушай, мне показалось — ты что-то надулся на меня? Объясни, в чем дело?

— Я? — удивился Борис.— Ерунда! Из-за чего мне на тебя дуться? Только меня коробит от этих твоих приказаний: «Получить лопаты», «Распишитесь в получении имущества» — просто начался мелкий тыловой быт, Алеша! Вот ты мне спокойно говоришь «распишись», словно ты уж к этой жизни давно привык. Неужели?

— Тебе показалось,— сказал Алексей, понимая и в то же время не до конца понимая, о чем говорил Борис, чувствуя некую недосказанность в его словах.— А я подумал, мое приказание обидело тебя.

— Я уже сказал — не по мне это! Чувствую, не сумею я тут ужиться! Градусов все равно жизни не даст! Удирать на фронт нужно, вот что мне ясно!

И он злобно швырнул окурок, затоптал его каблуком.

— На фронт никого из нас не отпустят,— ответил Алексей.— Это я понял давно. Как только прибыли сюда.

Чей-то раздраженный голос проговорил за спиной:

— Чистая Арктика! Насквозь продувает, как в трубе!

Ссутулившийся Полукаров, подняв воротник шинели, остервенело хлопал себя рукавицами по бокам.

— Арктика, говоришь? — усмехнулся Борис.— Холодно было не здесь. Конечно, задачи в теплом классе решать да Дюма читать легче.

— Расскажешь очередной фронтовой эпизод? Иди к дьяволу со своими нотациями! — огрызнулся Полукаров, подпрыгивая.— Чего ждем? Вот бестолковщина! Остановили на холоде, и стой как осел. Вот она тебе, хваленая ди-сци-пли-на!

Издали донеслась команда:

— Ма-арш...

Это был участок железнодорожного полотна, занесенный снегом от станции до разъезда.

Пути проходили по котловине.

На буграх в нескончаемом круговороте носилась метель, всю котловину будто обволакивало густым дымом, ветер не давал никакой возможности работать.

Алексей бросал лопату за лопатой, с тягостным нетерпением ожидая, когда острие стукнется о рельсы. Он работал автоматически, не разгибаясь. От беспрерывных движений заболела поясница; ремень стягивал намокшую, отяжелевшую шинель, затруднял движения, уши шапки были давно спущены, но снег набился везде, и влажные ворсинки корябали щеки. Алексей был весь мокрый от пота; гимнастерка прилипла к груди, и он ощущал на спине знобящие струйки растаявшего за воротником снега. Сколько прошло времени? Два часа? Три? Почему не объявляют перерыв? Забыли?

— Товарищи курсанты,— понеслось по котловине,— отдыхать по одному! Работу не прекращать!

— Легко командовать,— часто дыша, выговорил Полукаров и, обессиленный, сел в сугроб.— Стоит, понимаешь, и командует, а ты врубай... Перекур!

— Что, выдохся, товарищ студент? — вежливо спросил Луц.— Такой богатырь — и устал! Где твоя сила Портоса?

— Не язви, не твое дело! — со злостью огрызнулся Полукаров. — Тошнит от твоих острот!..

— Понятно,— вонзая лопату в снег, вмешался Луц.— Ему своего здоровья жалко.— И, вытирая лицо, закричал в ветер: — Саша! Как дышишь?

— А-а! Ава! — донеслось из бурана непонятное.

— Привет от Жени Полукарова! — снова закричал Луц.— Он жив и здоров! Того и тебе желает!

— Заткнись, надоело! — опять рокотнул Полукаров.

Алексей выпрямился, задыхаясь, поспешно сбросил ремень, сунул его в карман, расстегнул шинель: так просторней было и легче работать. Но ветер подхватил мокрые полы шинели, заполоскал ими, холод остро ожег колени, грудь; снег облепил влажную от пота гимнастерку леденящим пластырем.

— Помкомвзво-ода!

Алексей обернулся. Сквозь проносившееся облако снега увидел в двух шагах худенькую фигурку Зимина —

тот покачивался на ветру, как тополек, руками загораживая лицо.

— Не могу больше! — сказал он и привалился к сугробу.

— Что, Витя? — крикнул Алексей.

— Полукаров ушел, Луц курит. Только Саша и Борис работают,— выдавил Зимин.— А снег... а снег... Надо быстро его... А то ничего не сделаем. Ведь я им не могу приказать.

Где-то в движущемся небе тоскливо звучали едва уловимые слухом паровозные гудки, метались разорванными отголосками над степью, над темными окраинами. А там одиноко желтел огонек. Раньше его не было. Наверно, скоро утро.

— Паровозы гудят,— сказал Зимин вздрагивающим голосом.— А мы тут... Эшелоны ведь стоят...

Он внезапно повысил голос:

— А Полукаров ушел. Говорит: «Сейчас». Очень образованного из себя ставит. Подумаешь!

Алексей огляделся: на участке было почти пусто; только вдали шевелились силуэты Дроздова и Гребнина.

— Вот черт возьми! — с досадой выругася Алексей и закричал изо всех сил: — Лу-уц! Полукаро-ов!

— Да, да-а-а!

Из-за сугроба показалась высокая фигура Луца, при каждом шаге он спотыкался; похоже было — хромал. Завидев Алексея, улыбнулся сконфуженно, лицо его было серо-землистым, волосы заиндевели на лбу. Он взял лопату, отбросил глыбу, закричал преувеличенно бодро:

— Был у Саши! У них лопаты об рельсы стучат. Понимаешь? Стоп! А где студент? Не слышу его острот!

— Полукарова нет,— сказал Алексей, уже злясь.— Где Полукаров?

— Товарищ помкомвзво-о-да!

Вдоль котловины, наклонясь, преодолевая порывы ветра, нетвердыми шагами продвигался лейтенант Чернецов. Он приблизился — из-под заледенелой шапки смотрели возбужденные глаза.

— Как у вас?

— Не могу похвалиться!

— То есть?

— Куда-то ушел Полукаров.

— Куда?

— Не знаю. Не доложил!

— Сейчас же переставьте людей на участок Гребнина! Зимин, вы будете связным у комбата. Карапетянц вас сменит.

— Товарищ лейтенант, вы не думайте...— забормотал Зимин растерянно.— Я не хочу...

— В армии нет слова «не хочу».— Чернецов повернулся к Алексею.— Полукарова найти немедленно. Хотя бы для этого вам пришлось обойти весь город. Возьмите с собой Брянцева. Впрочем, я сам пришлю его к вам. Идемте, Зимин.

Они исчезли в несущейся навстречу мгле.

Минут через пять Алексей и Борис вышли из котловины, зашагали к окраине по огромным сугробам, у них не было сил говорить, силы уходили на то, чтобы вытаскивать ноги из снега.

Начались темные, пустые дачи с окнами, забитыми досками; крылечки, клумбы и террасы — все завалено, завьюжено, из горбатых наносов проступали обледенелые колодцы.

— Эй! — неожиданно закричал Алексей.

Впереди что-то зачернело: как будто шел человек, и Борис тоже окликнул:

— Кто идет? — потом обещающе недобро добавил: — Ну, если встречу этого студента под горячую руку, лежать ему носом в сугробе!

Человек стоял на дороге: незнакомое лицо паренька, в зубах папироса, от которой огневыми трассами сыпались по ветру искры.

— За своего принял? А, курсанты? Соседи. Погреться, наверно? Второй дом, во-он огонек. Там наши девчата и один ваш товарищ... Веселый парень! — Он вскинул лопату на плечо, пропал в метели.

Вскоре они увидели впереди расплывчатое пятно снега. Оно розово мерцало в окне маленькой дачи в глубине узенького переулочка, загроможденного до заборов сугробами. Гребни их перед крыльцом извилисто дымились, точно оползали.

— Зайдем сюда,— сказал Алексей.

Они взбежали на крыльцо и вошли в темноту большой стеклянной террасы; здесь слабо и морозно-свежо пахло почему-то осенними холодными яблоками. За стеной слышались голоса, смех.

Алексей ощупью нашел дверь, постучал.

— Войдите, пожалуйста! — приветливо ответили из-за двери.

Одурманивающе повеяло теплом горящих березовых поленьев. Около гудевшей, малиново раскаленной железной печи, развалясь в соломенном кресле, сидел Полукаров в расстегнутой шинели, без шапки и с удивлением глядел на вошедших. Вдруг он засмеялся и воскликнул с нарочитой беспечностью:

— Привет товарищам по оружию! Соня и Клавочка, познакомьтесь: друзья по взводу!

Просторная эта комната смутно освещалась керосиновой лампой. Полукаров был не один: на диване, прижавшись друг к другу, сидели две девушки в бараньих полушубках; около ног лежали лопаты; девушки украдкой переглянулись.

— Выйди поговорить,— сказал Алексей сухо.

— Поговорить? Пожалуйста.— Полукаров поднялся с готовностью.— Извините великодушно,— закивал он девушкам, улыбаясь.

Они вышли в морозные потемки террасы, Алексей сказал хрипло:

— Бери шапку, и идем.

— Куда идем? — непонимающим голосом спросил Полукаров.

— Ах ты, вундеркинд! — не выдержал Борис.— Он еще спрашивает — «куда»! В ресторан на вокзал! Пить коньяк и закусывать пирожными!

— Но, но! Потише! Окрашено!

— Что-о?

— Подожди, Борис,— прервал Алексей.— Вот что, Полукаров, бери свою лопату, и идем во взвод!

— У меня, братцы, неважно с желудком,— секретным шепотом заговорил Полукаров, оглядываясь на дверь.— Да вы что, ей-богу! Не младенец я!..

— Ты болен? У вокзала стоит машина санчасти. Мы поможем тебе дойти, если ты болен,— сказал Алексей, едва сдерживаясь.

— Да бросьте вы! Пройдет приступ, сам приду. Я не виноват... Это можно понять?

Наступило неприятное молчание. Мерзло скрипнула дверь, мимо осторожными тенями проскользнули две девушки с лопатами; одна сказала на крыльце:

— До свидания, товарищи курсанты.

— Вы куда, девушки? — с наигранным оживлением воскликнул Полукаров.— Так скоро? — И глянул на Бориса со злобой.— Дьявол вас возьми! Что вы ко мне пристали? Кто я вам — родственник? Что вы так обо мне заботитесь?

Борис презрительно выговорил:

— Работы испугался? Так, что ли, поклонник Буссенара?

— Расчищать путь в буран — это все равно что ходить строевым шагом в уборной. У меня кровяные мозоли уже, Боренька!..

Алексей сказал резко:

— На разъезде стоят два эшелона с танками. Ты или наглец, или сволочь! Слишком уж много говоришь о своих страданиях.

— Размазня! — Борис придвинулся к Полукарову.— Слизняк! Видеть тебя тошно!

— Да отвяжитесь вы! — застонал Полукаров.— Отстаньте от меня!..

Алексей сказал как можно спокойнее:

— Слушай, мы с тобой просто нечаянно встретились. Я ничего не буду докладывать. Ты о себе доложишь сам: мол, курил — и все. Идем!

Он сказал это и, не дожидаясь ответа, пошел к выходу; Борис выругался и вышел следом, с треском хлопнув дверью.

Алексей стоял на крыльце, засунув руки в карманы, и ждал.

— Либеральничаешь? — разгоряченно заговорил Борис.— С такими субъектами поступают иначе! Ясно?

— Как именно?

— Приводят силой. Он же шкурник высшей марки.— Борис поморщился. — Впрочем, как знаешь!

Алексей не ответил. Красный отблеск раскаленной печи по-прежнему безмятежно теплел в окне этого чужого уютного домика, а внутри дачи — ни звука, ни шороха, ни шагов.

Затем со стуком распахнулась дверь, и Полукаров, подымая воротник, сбежал по ступеням крыльца, проговорил глухо:

— Пошли, что ли, — и зашагал, ссутулясь, в буранную темень переулка.

Когда они подошли к котловине, по-прежнему носились в метели жалобные гудки паровозов, снег хлестал по

лицу, будто мокрой тряпкой, и влажная шинель облепила грудь сырым холодом. В нескольких шагах от участка Алексей остановился и начал счищать снег с шинели. Пальцы были как неживые. Борис и Полукаров стали спускаться в котловину, и внезапно оба заметили между сугробами полузанесенный «виллис». Возле машины двигались два снежных кома — это были лейтенант Чернецов и майор Градусов. Они говорили что-то друг другу сквозь ветер, не разобрать что.

— Судьба моя решена,— сказал Полукаров, нехотя опуская воротник.— Заранее считаю себя на гауптвахте. А, была не была!..

Карабкаясь по сугробам, Борис прокричал ему в спину:

— Гауптвахты для тебя мало, щенок!

Офицеры, заметив их, перестали двигаться.

Едва справляясь с дыханием, Борис подбежал к «виллису», и лицо его преобразилось, приняло холодно-решительное выражение.

— Товарищ майор, разрешите обратиться к лейтенанту? Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнено! Мы нашли Полукарова в пустой даче возле печки, привели его чуть не силком!

Чернецов молчал, и было странно видеть на лице его робкое, виноватое выражение, словно его ударили случайно.

— Как... вам... не совестно? — отрубая слова, выкрикнул Градусов.— Как... не совестно, будущий... вы... офицер!

Спустя минуту, сбежав с насыпи, Алексей увидел: Градусов, запахивая на коленях шинель, с мрачным, отчужденным видом садился в «виллис», рядом стоял вытянувшийся Чернецов.

— Слушай, какое ты имел право докладывать в такой форме? — зло сказал Алексей Борису, когда узнал все от Чернецова.— Я же обещал Полукарову! В какое глупое положение ты меня ставишь?

— Нечего возиться с этим маменькиным сынком! — ответил Борис.— Пусть привыкает, не у бабки в гостях!..

Войдя в маленькую, жарко, до духоты натопленную будку обходчика, капитан Мельниченко сбил перчаткой снег с рукавов набухшей влагой шинели. За синеющим

оконцем не утихал буран, царапал стены, яростно колотил в стекло. Электрический свет в будке не горел — ветер порвал провода. Слабо мигала закопченная керосиновая лампа.

Как только Полукаров шагнул через порог, желтый свет лампы упал на его большелобое лицо; тонкие губы поджаты — и лицо, и губы эти ничего не выражали, и Мельниченко заговорил первым:

— Слушаю вас.

Полукаров посмотрел себе под ноги, с нарочитым равнодушием сказал:

— Понятно. Вы должны наказать меня. Наряд, гауптвахта? Мне все равно.

— Не верю,— холодно возразил Мельниченко и припустил огня в лампе.— Не верю, что вам все равно.

Полукаров с насмешливостью пошевелил покатыми плечами.

— Извините, пожалуйста, я превосходно понимаю, что совершил, так сказать, неэтичный поступок. Просто я не герой, товарищ капитан...

— Вы плохой артист, Полукаров! — с неприязнью перебил Мельниченко.— Вы говорите так, словно жизнь ударила вас когда-то и разочаровала. Сколько вам лет?

— Двадцать один, товарищ капитан.

— Когда же вы успели набраться скепсиса?

— Разрешите не отвечать, товарищ капитан? — тихо и выжидающе сказал Полукаров, и большелобое лицо его отклонилось в тень.

— Можете не отвечать.

Полукаров стоял не двигаясь.

— Кто меня будет арестовывать? — спросил он безразлично.

— Арестовывать вас не будут. Я хотел это сделать, но раздумал. Зачем вас унижать? Вы сами себя унизили. Я вас больше не задерживаю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Путь был расчищен к утру.

Капитан Мельниченко вел батарею в училище и видел, как вяло, пошатываясь в дреме, шагают курсанты, как часто меняет ногу колонна, как растягиваются левофланговые,— прошедшая ночь вымотала людей вконец.

В столовой расселись без обычного шума; одни обессиленно привалились к столам и сейчас же заснули; у иных клонились головы, ложки выпадали из рук.

Из столовой Мельниченко ушел в канцелярию посмотреть расписание. Последние часы в первом взводе — тактические занятия, выбор наблюдательного пункта на местности; в остальных взводах — артиллерия, топография, занятия по классам. Утро было ослепительно солнечным, жестоко морозным, но дымы не поднимались из труб вертикально в сияющее пустое небо, а стлались, сизые тени их ползли по белизне крыш, по свежим сугробам. Стволы орудий плотно заросли инеем, поседели. Возле орудий ходил часовой, из-за поднятого воротника тулупа вырывался пар. Было двадцать пять градусов ниже нуля.

Капитан, щурясь, глядел на белые до рези в глазах сугробы, на слепящее косматое солнце и чувствовал, как голову медленно обволакивает теплая глухота сна. Он потер выступившую на щеках щетину, вызвал дежурного.

— Объявите батарее отбой! Преподаватель тактики в училище?

— Никак нет, еще не приходил.

— Ясно.

Капитан поднялся на третий этаж, к командиру дивизиона.

Положив жилистые руки на подлокотники кресла, Градусов читал какую-то бумагу. Он был в очках, китель расстегнут на верхнюю пуговицу — это придавало ему домашний вид. Увидев капитана, майор застегнул пуговицу, снял очки и сунул их в футляр. Он стеснялся своей старческой дальнозоркости.

— Садитесь,— сказал он, и губы его чуть поползли, готовясь к улыбке.

— Я хотел поговорить с вами, товарищ майор,— начал капитан.— Думаю, что занятия по тактике первого взвода...

— Знаю, знаю,— перебил Градусов, и скупая улыбка осветила крупное его лицо.— Люди вымотались на заносах, так? Вот тоже просматриваю расписание.

Белки его глаз были красноваты после бессонной ночи: час назад он вернулся в училище, усталость чувствовалась в том, как он сидел в кресле, во взгляде, в медленных движениях его большого тела.

Он снова улыбнулся, размышляюще побарабанил пальцами по столу.

— Все это верно, люди устали,— повторил он, мягко глядя на капитана.— Курите! — Придвинул раскрытый портсигар, сам взял папиросу, но только помял ее и аккуратно положил на прежнее место, шумно вздохнул и продолжал ровным голосом: — Но меня вот какой вопрос интересует, капитан. Что подумают сами курсанты, когда поймут, из-за чего мы отменили занятия в поле? Положим, вот вы — строевой офицер, ваши люди всю ночь копали орудийные позиции, устали, а утром вступать в бой. Как вы поступите? Курите, курите... Не обращайте на меня внимания. Я мало курю.— Он потер грудь.— Сдерживаюсь...

«Старик выигрывает время. У него еще нет решения»,— подумал Мельниченко.

— Благодарю,— сказал он и отодвинул портсигар.— Я только что курил. Я говорю о самом простом. Люди вымокли, вымотались на заносах, и занятия в поле...

Градусов с ласковой снисходительностью перебил его:

— В данную минуту вы рассуждаете, простите, не как военный человек. Существует, голубчик, великое суворовское правило: «Тяжело в ученье, легко в бою». Золотое, проверенное жизнью правило. Н-да! Не для парада ведь людей готовим, голубчик. И вы-то должны это прекрасно понимать!

— Есть существенная разница между необходимостью и условностью,— проговорил Мельниченко, поднимаясь.

Градусов постучал пальцами по столу.

— Да, капитан, есть разница. Вчера первый взвод сверх меры скверно, если не употреблять других выражений... показал себя: в самую тяжкую минуту этот... из студентов, Полукаров... бросил товарищей, ушел греться, трудно ему, видите ли, стало! Были и у меня такие, как Полукаров, в тяжкие минуты я их не жалел, не щадил, а потом с фронта письма присылали, благодарили! Никого по головке не гладил, а в каждом письме — «спасибо». Именно так!

Градусов встал из-за стола. Был он плотен, широк, с короткой сильной шеей, и если бы не живот, слегка оттопыривающий китель, фигуру его можно было бы назвать красивой той немолодой красотой, которая отличает пожилых военных.

— Так вот.— Он отогнул рукав кителя, взглянул на часы, игрушечно маленькие на его широком запястье.— Ровно через час поднимайте взвод!

Взвод был построен на бугре, в двух километрах от города, где начиналась степь — по ней волнами ходила поземка, шелестела вокруг ног, завиваясь вихорьками.

У преподавателя тактики, полковника Копылова, заметно индевели стекла очков.

Курсанты — с катушками связи, буссолями, стереотрубой, лопатами — стояли, переминались в строю; непросохшие шинели влажно топорщились; лица заспаны, бледны; иногда кто-нибудь, сдерживая судорогу зевоты, кусая губы, вздрагивал, глядел в синее пустынное небо с выражением тупой усталости. У Вити Зимина, стоявшего на левом фланге, то и дело клонилась голова, и когда Копылов сказал: «Наша пехота прошла первые рубежи», Зимин, клюнув остреньким носом, будто в знак согласия, встрепенулся и недоуменно глянул на полковника.

Из блистающих под солнцем далей донесся гудок паровоза. Послышались голоса:

— А танкисты далеко уже...

— Я что-то никак не согреюсь. Ноги как чурбаны, а шинель — как кол!..

— Люблю занятия в поле в этакую благодать! Особенно когда мороз и солнце — день чудесный!..

Вокруг невесело засмеялись.

В задних рядах курсанты топали ногами, терли уши.

— Закаляют нас, братцы, на благо общего дела.

— А ты знаешь, как мужик козу на льду закалял?

— Знаю. Вместо беканья она лаять стала.

— Хи-хи, остроумно.

В снежной дали, над застывшей до горизонта морозной степью, возник, пополз лиловый дымок паровоза. Все головы повернулись в ту сторону. Кто-то сказал:

— А танкисты сидят возле печки и кашу наминают, хор-рошо!

— Товарищи курсанты, разговоры прекратить, прошу минуту внимания! Вы плохо слушаете...

Преподаватель тактики, Копылов, немолодой худощавый полковник в каракулевой папахе, подняв острые плечи, снял очки, подул на них; посиневшие его губы скованно круглились, его аккуратно подстриженная бородка была сплошь седой от инея.

— Что-то не очень, Василий Николаевич, не того...— сказал он шепотом, взглядывая на Мельниченко, который

с нахмуренным лицом стоял рядом.— Сегодня все странные какие-то, знаете...

Капитан проговорил негромко:

— Дмитрий Иванович, не обижайтесь, ради бога, но, может быть, стоит проводить только практическую часть занятий. Ужасно замерз, и курсанты замерзли...

— Вы так думаете?

— Убежден. Если это вас не обидит, то разрешите мне... практическую часть. — Мельниченко улыбнулся. — Разрешите тряхнуть стариной.

Полковник Копылов смущенно вынул платок, махнул им по стеклам очков, кашлянул в бородку, пар окутал ее, как дымом.

— Н-да,— проговорил он тихо,— кажется, сегодня не совсем получается... Нехорошо как-то. Занятия-то можно было — того...

— Так разрешите мне, Дмитрий Иванович?

— Да, да, против вашего предложения я не возражаю, пожалуйста, Василий Николаевич,— поспешно закивал бородкой Копылов и, обращаясь к взводу, объявил: — Товарищи курсанты, вторую часть занятий проведет командир батареи. Прошу вас, товарищ капитан.

— Курсанты Дмитриев, Зимин, Полукаров, Степанов, ко мне! Взвод, слушай приказ! — громко скомандовал Мельниченко, подходя к строю, и показал в степь.— Противник отступает в направлении железнодорожного полотна. Наша пехота прошла первую линию вражеских траншей, ее контратакуют танки противника. Мы поддерживаем сто тридцать пятую стрелковую дивизию, вошедшую в прорыв, двести девяносто девятый полк. Вам, Дмитриев, занять энпэ в районе шоссе, немедленно открыть огонь. Срок — двадцать минут. Курсант Полукаров остается со связью. Курсанты Зимин и Степанов, взять катушку, буссоль и стереотрубу. Шагом марш!

Все трое молча двинулись в степь, змеившуюся поземкой.

Полукаров, присев на корточки, заземляя телефонный аппарат, с неуклюжим напряжением втискивал в снег железный стержень.

— Рукавицы! Рукавицы прочь! — подал команду капитан.— Кто работает со связью в рукавицах?

Полукаров зубами сдернул рукавицы, схватил железный стержень и словно обжегся. Он сидел на земле, шум-

но дышал на закоченевшие пальцы, но Мельниченко неумолимо приказал:

— Окапывайтесь!

Полукаров ударил лопатой в ледяной наст — он захрустел и не поддался.

— Мерзлая. Не берет! — с усилием выговорил Полукаров, испуганно озираясь на капитана.

— Кайлом долбите! Взво-од, за мной! Бегом марш! — скомандовал капитан и побежал в степь, где уже терялись из виду трое курсантов.

Холодный воздух ошпарил лицо, перехватил дыхание.

— Шире ша-аг!

Люди двинулись за Мельниченко с мрачными, недовольными лицами, и он видел это. Но надо было согреть людей, с беспощадностью держать их в движении, «на вздержке» — это было, пожалуй, сейчас самое главное. Топот сапог, скрип снега звучали за его спиной, и капитан слышал позади бег людей, их полусердитые, полунасмешливые возгласы; никто еще толком не понимал, для чего он взял у Копылова этот час занятий.

Алексей Дмитриев, Степанов и Зимин шли скорым шагом, почти бежали. Связь разматывалась. Тоненькая фигурка Зимина была наклонена к земле, он спотыкался, преодолевая тяжесть катушки. Дмитриев хрипло повторял команду:

— Вперед! Вперед!..

Шинели, обмерзшие на морозе, стояли колом, на них застыла корка льда, мешавшая движению.

Догнав Дмитриева, капитан спросил:

— Сколько времени двигаетесь?

— Пять минут.

Капитан быстро взглянул вперед. Из-за дальних холмов синеватой стрелой выносилось шоссе, редко обсаженное тополями. Там, взвихривая снежную пыль, мчались машины. Белая насыпь возле шоссе; опущенные ветви кустов у голубой впадины оврага.

— Какое расстояние до шоссе? Определите!

— Около двух километров.

— За десять минут уложитесь?

— Думаю, да.

— Отставить «думаю». Говорите точно.

— Да, уложусь. Бего-ом марш! — крикнул Дмитриев связистам.

— Отставить! — жестко скомандовал капитан.— Снять шинели!

Дмитриев, удивленный, повернулся к нему.

— Командиру взвода и связистам — снять шинели! — властно повторил капитан.— Делают это вот так. Быстро! И не задумываясь!..

Он снял шинель, кинул ее в сторону, под скат сугроба.

— У нас осталось десять минут, вашего сигнала ждут на прежнем энпэ! Танки противника видны отсюда. Они в трехстах метрах от шоссе. Решайте!

Дмитриев и Степанов первые сбросили шинели; Зимин, вытаращив на них глаза, суетливо скидывал с плеча лямку катушки, торопясь, непослушными пальцами отстегивал крючки. Взвод смотрел на них в молчании.

— За мной бегом марш! — махнул рукой капитан и бросился вперед, к видневшемуся меж тополей шоссе.

Он пробежал метров пятьдесят — шестьдесят, зная, что его догоняют Дмитриев, Зимин и Степанов, потом оглянулся и, зажигаясь волнением, увидел, что за ним возбужденно, россыпью бежали люди — весь взвод, и он со знакомым чувством радостной боли и азарта крикнул в полный голос:

— Вперед! Вперед!

Ветер колючим холодом резал, корябал лицо, но тело от движения наливалось жизнью, и тут Мельниченко с удивлением услышал смех. Он не ошибся: он услышал за спиной прыскающий смех Гребнина:

— Миша!.. Ей-богу, умру... Ты сейчас похож на верблюда, который бежит по колючкам! Посмотри, Ким, как Мишка бежит вприпрыжку. Фу-ты! Даже в рифму вышло!

Шоссе было уже метрах в двухстах, и Мельниченко ясно видел мчавшиеся по нему машины, гладкий, как стекло, асфальт, холм у шоссе, голубую щель оврага, которая заметно приближалась, а снег, покрытый коркой льда, зеркально мелькал под ногами, вспыхивая отраженным солнцем.

— Вперед!

Он бежал не оглядываясь, но теперь понимал, что брошенная им искра возбуждения не потухла, а разгоралась, словно раздуваемая вторым дыханием, тем знакомым азартом порыва, что сумел подчинить ему, увлечь за собой предельно усталых людей.

Капитан добежал до оврага и здесь перевел дух.

— Сто-ой!

К нему, окутанные паром, подбегали Дмитриев и Степанов, их догонял Зимин; грудь у него заледенела от дыхания, отсвечивала металлическим панцирем; он никак не мог отдышаться и, подходя мелкими шажками к Мельниченко, пошатывался, ошеломленно глядя на капитана, мальчишеское лицо его, докрасна обожженное морозом, выражало одно: «Я не подвел вас, правда?» — и, покачиваясь, как если бы собирался упасть на землю, он, с трудом придерживая вращающуюся катушку, вдруг неожиданно прерывистым всхлипом засмеялся:

— Вот так в атаку, да, Степанов?..

Капитан подозвал Дмитриева. Тот приблизился, не говоря ни слова, лицо его точно подсеклось после бега, сразу похудело.

— Вы успели за девятнадцать минут,— сказал Мельниченко.— В нашем распоряжении еще одна минута. Пусть люди передохнут, а вы действуйте, командир взвода.

— Зимин, связь!

— Где будете выбирать наблюдательный пункт? И почему идете во весь рост? Вас видно противнику! Бьют пулеметы!

— Наблюдательный выберу на холме.— Дмитриев пригнулся и, неожиданно поскользнувшись, упал на колени, но сейчас же встал, потирая грудь; его губы посерели.

— Что с вами? — спросил капитан.

— Ничего... ерунда...— проговорил Дмитриев почти шепотом и повторил: — Выберу энпэ на склоне холма...

— Всем окапываться! — крикнул Мельниченко.

И наклонился к Зимину, который, лежа на снегу, с ожесточением долбил лопатой.

— Связь, связь!

— Не... не готова, товарищ капитан,— ответил Зимин и, отбросив лопату, сильно подул в трубку.

— Вызывайте «Дон».

— «Дон», «Дон», я — «Фиалка»... «Дон», «Дон», я... Полукаров, где ты там? Спишь? Кто? Это я! — Зимин счастливо заулыбался. — Ну как ты? Ага! Понятно! А ты давай притопывай!

Он вскочил и доложил тоненьким старательным голосом:

— Связь готова, товарищ капитан.

— Хорошо. Доложите о связи командиру взвода.

— Слушаюсь!

Добежав до холма, Зимин кинулся на землю, пополз по склону, задыхаясь, позвал издали:

— Товарищ командир взвода! Товарищ командир!..

Дмитриев сидел на скате холма, закрыв глаза, грыз комок снега, тер им себе лоб, и было похоже, ему смертельно хотелось спать. Услышав Зимина, он нахмурился, будто не поняв, о чем тот докладывал, хрипло спросил:

— Связь?

— Ага! То есть... так точно,— осекаясь, пробормотал Зимин.

— Эх ты, Зимушка,— сказал Алексей.— Давай связь. Я открываю огонь...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Весь мокрый от пота, Алексей шел по улице.

Невыносимая жажда жгла его. Зайти бы в любой дом, попросить напиться, зачерпнуть железным ковшом ледяную воду из ведра и пить, слыша позвякивание льдинок о край ковша, с наслаждением чувствуя, как обжигающая влага холодит горло.

Это было единственное, о чем он думал. У него болели шея и грудь; он ощутил эту боль, когда оступился возле холма, и потом она уже не прекращалась.

Он вбежал в умывальную прямо в шинели и шапке, открыл кран, подставил рот и долго глотал пахнущую жестью воду; еле перевел дыхание и снова жадно пил захлебывающимися глотками.

Вскоре его окружила тишина. Он был один в батарее. Все ушли в столовую, но мысль о еде была противна ему: его знобило и подташнивало.

Как приятно было раздеться и почувствовать чистую, хрустящую простыню, подушку под головой. Стуча зубами, он накинул поверх одеяла шинель, пытаясь согреться. Но как только тепло охватило его, мгновенно представилось: медсанбатская машина в слепяще-морозной степи и человек без сапог зигзагами бежит, скачет по сугробам, крича и падая, а его догоняет маленькая медсестра с испуганным лицом. Что это такое? Ах да, это комбат Бирюков, заболевший тифом, в беспамятстве выскочил из машины и кинулся искать батарею...

Потом ему захотелось вспомнить что-то хорошее, светлое, чистое, что случилось недавно... Где? Когда случилось?

...Да, тогда они вдвоем с Валей шли по переулку, холодная заря догорала за крышами, сосульки розовели на карнизах, а в парке зажегся огнями госпиталь, разом вспыхнул всеми окнами, весело выплыл из-под земли, из-за оснеженных деревьев в ранние мартовские сумерки.

Он был в сухой отутюженной шинели, на сапогах потренькивали новенькие шпоры, и он немного смущался их бодрого, легкомысленного звона; видел, как Валя шла, касаясь губами, наверно, теплого, нагретого дыханием воротника, и молчала, чуть подняв брови.

— Что? — остановилась она.— Что вы хотите спросить?

— Не знаю,— неуверенно ответил он.— Только я сегодня устал, ну просто очень устал. И вдруг вспомнил, что вы живете в этом городе. И, знаете, Валя, подумал: это очень хорошо, что вы живете в этом городе...

— В этом городе вы больше никого не знаете,— сказала она и, отогнув воротник от губ, продолжала: — Как вы нашли меня? И как узнали, что я работаю в госпитале?

— Это было легко.

Начал сеяться редкий нежный снежок. Валя на ходу поймала звездчатую снежинку, сказала:

— Какой мягкий мартовский снег! — И, казалось без всякой последовательности, добавила: — Я знаю, за что вы попали на гауптвахту.

Они остановились. Валя подняла глаза, осторожно сделала шаг к Алексею и, положив руку на его ремень, безмолвно глядела ему в лицо.

Их разделял падающий снег.

Он повторил, стараясь не двигаться:

— Валя, как хорошо, что вы живете в этом городе...

Она отняла руку, подошла к крайнему крыльцу, скатала на перилах снежок, сказала весело:

— Он уже весной пахнет! Чувствуете? Сейчас брошу вон в тот фонарь! Вон, на углу, видите?

Она неловко бросила снежок, засмеялась, и этот смех почему-то напомнил ему знойный, горячий пляж, мягкий шелест волны, белые тенты на песке — милое, давно ушедшее довоенное прошлое...

— Эх вы! Хотите, научу вас меткости? — шутливо предложил Алексей и тоже слепил снежок.

— Хвастун! Ну-ка, ну-ка, покажите свои способности! Вы, конечно же, снайпер, заранее согласна!..

— Хорошо, смотрите!

Он размахнулся — однако снежок не влип в столб фонаря, а пролетел мимо. Но от сильного размаха кольнула резкая боль в груди, там, где после тактических занятий все время тягуче болело, и знакомый солоноватый вкус появился во рту.

— Валя, подождите,— проговорил он, отошел в сторону и сплюнул. И тотчас ясно увидел красное пятно на снегу.

— Что это? — изумленно спросила она.— У вас кровь? Вам что, зуб выдернули? Надо холодное на щеку. Прижмите к щеке снег!

Он неуверенно ответил:

— Да, кажется... зуб.

И, вынув платок, приложил его к губам.

— Помешало,— договорил он с досадой и насильно улыбнулся ей.— До свидания, Валя. Мне пора...

— Что с вами? — неспокойно спросила она.— Идите в училище. Я вас провожу. Идемте же, идемте!

Через четверть часа они расстались.

— ...Немедленно врача из санчасти.

И от этого голоса Алексей очнулся: таким знакомым показался ему этот голос, таким много раз слышанным, что он почувствовал жгучую радость: почему, почему здесь комбат Бирюков? И даже в тот момент, когда неприятно-яркий, режущий свет электричества до слез больно ударил по глазам, заставив его прижмуриться, он хотел еще громко спросить: «Товарищ комбат, как вы здесь?», но тут же понял, что это привиделось в бреду. Он смутно увидел над кроватью фигуру капитана Мельниченко; рядом лейтенанта Чернецова, бледное лицо Бориса, и до сознания дошел зыбкий, затухающий его шепот:

— Алеша... что ты?

В батарее — тишина, окна чернели: наверно, глубокая ночь. Мельниченко присел на кровать, спросил сниженным голосом:

— Сильно знобит?

— Немного, товарищ капитан...— прошептал Алексей.

— Понятно,— сказал капитан и потрогал пульс прохладными пальцами, а глаза его напряженно смотрели куда-то в сторону.

И Алексей до пронзительности ясно вспомнил буранную ночь в котловане, тактические занятия, себя, бегущего без шинели, холм, шоссе. Потом опять была Валя, тени снежинок на ее лице, красное пятно на снегу. Его стало давить удушье, оно плотно и вязко подступало оттуда, из ноющей боли в груди,— и снова появился тошнотно-солоноватый вкус во рту.

— Отойдите, товарищ капитан,— успел лишь сказать Алексей, склонившись с кровати.

У него пошла кровь горлом.

В одиннадцатом часу ночи Алексея отвезли в гарнизонный госпиталь: открылось пулевое ранение в правом легком.

В комнате дремотно пощелкивало отопление. Валя села перед зеркалом и, устало расстегивая платье, увидела в глубине зеркала — выглядывало из приоткрытой в другую комнату двери — спрашивающее лицо тети Глаши, подумала: «Не терпится поговорить», и сказала тихонько:

— Конечно, входите. Вася дома?

— Не приходил он. В училище своем ночует, что ли!

Они работали в одном госпитале: тетя Глаша — сиделкой, Валя — медсестрой, уйдя с первого курса медицинского института в начале 1944 года; и хотя тетя Глаша усиленно возражала против ее решения бросить учебу («Вытяну и одна»), она ответила на это: «Будем тянуть вместе»,— и ушла после зимней сессии, перевелась на заочный.

— Засыпаешь от дежурства-то? — заметила тетя Глаша.— Бледная ты, ровно заболела. Что так?

А Валя посмотрела на окно, пусто высвеченное мартовской луной, и задумалась; вздохнула, молча пошла к постели; тетя Глаша тоже вздохнула ей вслед.

— И разговаривать не хочешь.

— Поверьте, язык не шевелится...

— Ладно, ладно, золотко мое,— пробормотала тетя Глаша.— Вся ты в мать. А я вот смотрю на тебя и ду-

маю: нет такого молодца, как в песне-то: «Некому березу заломати».

Валя не ответила; тетя Глаша потопталась и вышла, шаркая шлепанцами.

Тогда Валя потушила свет, бултыхнулась в холодную постель, укрылась одеялом до подбородка. Комната погрузилась в мягкую фиолетовую мглу, сине мерцали мерзлые окна, на полу пролегли лунные косяки; тикали тоненько и нежно часы на тумбочке. Валя лежала, положив руку поверх одеяла, глядя на легкую полосу лунного света на стене.

В тишине квартиры резко затрещал телефонный звонок, но ей не хотелось вставать — пригрелась в постели. Из другой комнаты послышались скрип пружин, покряхтывание тети Глаши: «Кого это разбирает ночью», по коридору зашаркали шлепанцы в комнату брата и назад, под дверью вспыхнула щель света.

— Валюша, спишь? Какой-то Борис тебя спрашивает. Другого времени не нашел.

— Борис? Ничего не понимаю. Сейчас, тетя Глаша.

Валя сунула ноги в тапочки, побежала в комнату брата, схватила трубку, сказала, слегка задохнувшись:

— Да, да...

— Валя, извините, кажется, разбудил вас? Дело в том, что Алексей...

— Да кто это говорит?

— Друг Алексея. Помните Новый год? Так вот, час назад Алексея отправили в госпиталь. У него кровь пошла горлом. Открылась рана... Я должен был сообщить вам.

— Час назад?

Она положила трубку; откинув голову, прислонилась затылком к стене. Из другой комнаты раздался ворчливый голос тети Глаши:

— Что еще за ночные звонки? Что за мода?

— Ничего, тетя Глаша, ничего, мне срочно надо в госпиталь...

— Господи, да куда ты? Двенадцатый час...

...Белыми огнями ярко светились на углу окна аптеки, медленный снежок падал, роился вокруг фонарей. Напротив ворот кто-то, широко расставив руки, загородил Вале дорогу, проговорил умиленно и пьяно:

— Какие реснички, а?

— Подите к черту!

На третьи сутки ему сделали операцию.

Операцию делал человек с недовольным прокуренным голосом, он почему-то ругался на сестер, ворчал, брюзжал, негодовал, со звоном бросал инструменты, и Алексею мучительно хотелось посмотреть на него. Но на глазах была марлевая повязка, сестры крепко держали его за руки, и он не мог этого сделать. Он лежал, обливаясь холодным потом, кусая губы, чтобы не застонать, ожидая только, когда кончится эта хрустящая живая боль, когда перестанут трогать его руками и тошнотворно звенеть инструментами. Временами ему казалось, что он теряет сознание, плавно колыхаясь, погружается в теплую звенящую влагу. Тугой звон наливал голову, и где-то высоко над ним навязчиво гудел этот прокуренный голос:

— Расширитель! Зажимы!.. Пульс?..

Наконец наступила тишина. Устало и резко звякнули инструменты. Его перестали трогать. С ощущением свободы он подумал: «Это все»,— и хотел вздохнуть. Но это было не все. Сквозь плавающий звон в ушах он неясно услышал возле себя шуршащее движение.

— Быстро иглу! Что вы... Валентина Николаевна?

И чей-то умоляющий голос, как ветерок, прошелестел над головой:

— Не ругайтесь, Семен Афанасьевич. Не надо...

«Откуда этот знакомый голос? — мелькнуло у Алексея в полусознании.— Кто это? И зачем опять эта боль?..»

Вновь тишина, вновь звякнули инструменты. И тот же прокуренный голос, точно удары в тишине:

— Пульс? Пульс?..

Это Алексей слышал уже в тягуче-обморочном звоне. Но, на мгновенье приоткрыв веки, он увидел над собой острые прищуренные глаза. Большие руки этот человек держал на весу перед грудью. В глазах хирурга вспыхнули золотисто-веселые блестки. Он наклонился к Алексею, локтем повернул к себе его залитое пóтом лицо, сказал:

— Уносите!

Он не помнил, как его положили на каталку, как Валя мягко вытирала его потное лицо тампоном, осторожно отстраняя со лба волосы.

Неужели он когда-то сидел в классе, решая задачу с тремя неизвестными, а за раскрытыми окнами густо

шелестела листва, галдели возбужденные весной воробьи и веселые солнечные блики играли на полу, на доске, на парте?

Неужели когда-то, после экзаменов, он лежал на горячем песке пляжа на берегу залива, загорал, нырял в зеленую воду, испытывая необыкновенное чувство свободы на целое лето! Неужели он сыпал на грудь сухой, неудержимый песок и болтал с друзьями о всякой ерунде?

Неужели были тихие, прозрачные вечера в Летнем саду?

Ленинград — то зимний, с поземкой на набережных, с катком и огнями, как звезды, рассыпанными на синем льду, то весенний, с перьями алых облаков над Невой и звуками пианино из распахнутых окон на Морской,— все время представлялся Алексею.

Каким же солнечным, милым, сказочным было это прошлое! Разве оно никогда не вернется?.. Нет, жизнь только начинается, и впереди много будет белых весен, снежных ленинградских зим, летней тишины на заливе. И он будет лежать на горячем песке, и играть в волейбол, и нырять в зеленую воду, и покупать газировку в ажурных будочках на Невском... Там, в Ленинграде, осталась мама, а Ирина, младшая сестра, эвакуировалась к тете, в Сибирь. Давно-давно она писала о блокаде, о том, что мама не захотела уезжать и осталась работать в госпитале. Где она? Что с ней? Неужели потерялся его адрес? Сколько раз менялись его полевые почты!

Все, что было для него родственным и близким, с особой ясностью всплывало сейчас в сознании, перемешивалось, путалось, и он часами витал в этих детских запутанных снах.

На шестые сутки он почувствовал теплый свет на веках, услышал звучный и дробный звон капель и вроде бы шорох деревьев за окном. Это был не сон. Эти звуки доносились из настоящего, реального мира,— и он открыл глаза.

Стояло ясное, погожее апрельское утро. Почерневшие от влаги сучья стучали в мокрые стекла; и Алексею сначала показалось: сквозь солнце идет на улице сильный, шуршащий, весенний дождь. В госпитальном саду оглушительно кричали грачи, качаясь на ветвях перед окном; наклоняя головы, они заглядывали в палату нахальными глазами, как будто говорили: «Чего лежишь?

Весна ведь!» — и, раскачав ветви, взмахивали крыльями, улетали в сияющую синеву неба.

Погладив рукой нагретое одеяло, Алексей долго смотрел в окно, в намокший парк, чувствуя, как его лицо ласкали солнце, воздух, видя, как в открытую форточку вливался волнистый парок. Затем сверху полетела сверкающая капля, разбилась о карниз:

«Дзынь!»

«Ш-ш-шлеп!» — и следом зашуршало, загремело в водосточной трубе: должно быть, оттаявший снег скатился с крыши, шлепнулся о влажный тротуар.

И Алексей, слабо улыбаясь, пошевелился и посмотрел на свою руку, уже веря, что выздоравливает или выздоровел. А в соседней палате негромко звучали голоса, из коридора иногда доносился стук костылей; кто-то густо чихнул у самой двери, и разом отозвался живой голос:

— Будь здоров, Петр Васильевич!

— Сам знаю...

— Что, продуло ветерком-то на крылечке?

— Не-ет, на солнышке — хоть загорай. Печет! Это так, от воздуха! Ноздрю щекочет весна-то!

Наверное, во всех палатах сейчас пусто — никого силой не удержишь в корпусе. Все собрались с утра на крылечке, сидят, переговариваются, покуривают, слушают крик грачей в саду, глядят на солнце, на подсыхающие деревья — так всегда в госпиталях весной. Порой, стуча каблучками, пройдет в перевязочную, что во дворе, Валя; ее серые глаза взглянут из-под ресниц, и при этом она скажет: «Вы почему распахнули халаты?» — и раненые, намного старше ее, семейные, степенные, сконфуженно запахнут халаты и долго задумчиво будут смотреть ей вслед.

Алексей ясно представил все это и, слушая звон капели по железному карнизу, вдруг подумал: всю войну он жил ожиданием, что рано или поздно увидит, ощутит нечто покойное, ясное, счастливое, как это апрельское утро, с его капелью и грачами, с ласковым солнцем и мокрыми стеклами.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Целые дни кричали и шумели грачи; тополя гнулись в госпитальном саду — с юга шел теплый влажный ветер. Под деревьями еще лежали кое-где островки снега,

но песчаные дорожки на солнцепеке быстро подсыхали. С набухших ветвей косо летели капли — на пригревшийся песок, на сырые, темные скамейки, а на крыльцо то и дело падали сосульки, тоненько звенели, скатываясь по дымившимся от солнца влажным ступеням — настоящий апрель.

Алексей, укутанный в госпитальный халат, сидя на перилах, смотрел вокруг, возбужденный,— сегодня в первый раз ему разрешили выйти из палаты на воздух. Вокруг толпились раненые, нежились в соломенных качалках, грелись на солнышке, расстегнув халаты.

Разбитной пулеметчик Сизов, с орденом и медалью, привинченными прямо к нижней рубахе, увеличительным стеклом выжигал на перилах «1945 год». От перил взвивался струйкой белый дымок, а Сизов говорил, подмигивая:

— Оставлю девчатам о себе память. Небось посмотрят, вспомнят: был такой Петька Сизов. Гляди! Гляди! Сейчас подерутся, дьяволы! — Он захохотал.— Вот черти весенние, на передовую бы их. И горя не знают.

В саду под скамейкой сошлись, подрагивая хвостами, два госпитальных кота и, выгнув дугами спины, орали угрожающе и тягуче; раненые заговорили:

— Трусоват рыжий.

— Этот самый белый на горло взял. Дипломат!

— А вот по Украине шли — все кошки черные. В какую хату ни зайдешь — тут тебе с печи кошка прыг! Посмотришь — черная!

Молодой парень Матвеев, на костылях, с добрым лицом, вспомнил случай, когда из сожженной дотла деревни на батарею пришла обгоревшая кошка с двумя котятами: прижилась на кухне, да так и дошла с армией до Карпат. Потом кто-то рассказал, что до войны у них в деревне была кошка, которая храпела ровно мужик — спала и храпела на всю избу, без всякой церемонии. Раненые смеялись, дымили цигарками, по очереди зажигая их увеличительным стеклом.

Петр Сизов покрутил головой, ухмыльнулся.

— Это конечно! А вот у нас случай был. В городке Ма́лине, когда стало непонятно, где немцы, где наши, ночью спим в хате, народу, как обыкновенно,— и на полу, и на печке... Вдруг слышу — за окном мотор ревет. Выглянул, смотрю: «пантера» стоит прямо у двери

и стволом-набалдашником водит. Эх, мать честная, думаю...

— Да погоди ты со своей «пантерой»,— перебил Матвеев и с наслаждением втянул носом воздух.— Слышь, мокрой почкой пахнет. Апре-ель!..

В тихом этом госпитальном переулке блестели на солнце сквозные тополя, нагретые потоки воздуха волнисто дрожали над их вершинами. Среди синего бездонного неба, сверкая в высоте нежной белизной, кружилась над госпиталем стая голубей, а мальчишка в соседнем дворе в одном пиджачке ходил по крыше сарая и, задрав голову, глядел в синеву, завороженный полетом стаи.

За низким забором дворники обкалывали истаявший лед. Изредка, фырча, проезжала машина, разбрызгивая лужи на тротуары.

Училище находилось в центре города, далеко от госпиталя. Там, наверно, сейчас идут занятия, в классах — солнечная тишина.

— Больной Дмитриев, в палату-у! Ай оглох?

Тетя Глаша вышла на крыльцо и, словно бы из-под очков, с неприступной суровостью ощупала глазами всех поочередно.

— Опять, Петька! А ну застегнись. Ты что, никак на пляже? Или в предбаннике подштанники выставил?

И, подождав, пока спохватившийся Сизов, крякая и ухмыляясь, справился с пуговицами и поясом халата, Глафира Семеновна скомандовала:

— Однако, больной Дмитриев, марш в палату! Ужо насиделся на сырости!

И Алексей умоляющим голосом попросил:

— Еще минуточку, ведь совсем тепло, тетя Глаша...

— Сказано тебе! — цыкнула Глафира Семеновна, взяв его за руку, и настойчиво потянула за собой в палату.— Вам отпусти вожжи, кавалеристы, на голову сядете и погонять будете!

Все знали, что «кавалеристами» она называла капризных больных, и при этих ее последних словах пулеметчик Сизов прыснул:

— Верно! Нашего эскадрону, видать, прибыло! — И, мгновенно погасив веселье под пресекающим взглядом Глафиры Семеновны, сделав независимый вид, почесал за ухом увеличительным стеклом.— Н-да. Народ пошел... хуже публики.

В палате Алексей лег с унылым лицом, просяще поглядывая на Глафиру Семеновну, но та при исполнении своих обязанностей была непоколебима: сунула ему под мышку градусник и ушла, даже не оглянувшись.

Алексей потянул с соседней тумбочки газету четырехдневной давности, прочитал довольно-таки устарелую сводку. Но, судя даже по этой сводке, весь мир кипел, сотрясаемый событиями: Советская Армия, наступая, миновала Карпаты и Альпы, вошла в Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, продвигалась в глубь Германии. Да, там — тоже весна... Размытые, вязкие дороги, лужи, даль в сиреневой дымке, незнакомые деревни и солнце — целый день солнце над головой. Проносятся машины с мокрым брезентом: на перекрестках — «катюши» в чехлах, до башен заляпанные грязью танки. И, как всегда в долгом наступлении, идут солдаты по обочине дороги, вытянувшись цепочкой, подоткнув полы шинелей, идут, идут в туманную апрельскую даль этой чужой, теперь уже, спустя четыре года, достигнутой, притаившейся Германии... «Где сейчас моя батарея?»

Закрыв глаза, Алексей старался представить движение своей батареи по весенним полям — и вдруг из этого состояния его будто вытолкнули суматошные шаги в коридоре, бегущий перезвон шпор и чей-то возглас за дверью:

— Куда нам? Где он?

— Сапоги-то, сапоги, марш к сетке очищать! Грязищи-то со всего города притащили, кавалеристы!

В коридоре — топот ног, веселый говор; потом, впустив рыжий косяк солнца в палату, неожиданно заглянула белокурая голова Гребнина; лицо его расплылось в неудержимой улыбке.

— Страдале-ец, привет!

— Сашка!

— Алешка, живой, бес! Неужто ты, а не твоя копия!..

Дверь распахнулась, и, неузнаваемые в белых халатах, стремительно, шумно, звеня шпорами, ввалились в палату Гребнин и Дроздов. А когда Алексей, вскочив с койки, кинулся навстречу, оба одновременно протянули ему руки, столкнулись, захохотали, и Гребнин сразу же попытался оттеснить Дроздова:

— Только, нахал, не прись в атаку, как танк, не то схлопочешь прямой наводкой! Ясно?

А Дроздов так сжал руку Алексея, что у обоих хрустнули пальцы, рывком обнял его, говоря с грубоватой нежностью:

— Здоров! Слона повалить на лопатки можешь! Ну как ты? Что? Ходишь? Вот никогда не видел тебя без формы.

— Не затирать разведку! — кричал Гребнин.— Восстановить алфавитный порядок! Обнаглел, отпусти Алешку, не то тресну по затылку!

— Вот черти, вот черти! Как я рад вас видеть,— повторял дрожащим от волнения голосом Алексей.— Не представляете, как рад!..

От обоих до того приятно веяло теплом улицы, весенним ветром, лица их были до того крепки, свежи, веселы, плечи широки, что вся палата мигом стала маленькой и стали смешными эти узенькие, неловко натянутые на гимнастерки халаты.

— Ну рассказывайте, рассказывайте,— взволнованно торопил Алексей. — Всё рассказывайте, я же ничего не знаю! Садитесь вот сюда на койку, вот сюда!..

— Во-первых, изменения, Алешка,— начал Дроздов, присаживаясь на край койки.— Предметов новых ввели — кучу. Немецкий язык, арттренаж, огневая. По артиллерии перешли к приборам!..

— Хоть стой, хоть падай! — вставил Гребнин, бедово подмигивая.— Понимаешь, мы с Мишей Луцем еще в четверг собирались к тебе. Приходим к помстаршине. Считает белье, бубнит под нос, не в духе: наволочки какой-то не хватает. Обратились по всей форме, а он, дьявол, не отпустил: обратились, мол, не по инстанции. Хотели на следующий...— Тут Гребнин покосился на Дроздова,— а на следующий день нам с Мишей «обломилось» на неделю неувольнение. Формулировка: «За хорошую организацию подсказок во взводе». Короче говоря, хотели мы написать шпаргалки на билеты по санделу вместе с Мишкой, но даже приготовить их не успели — майор Градусов попутал... Оказывается, он перед зачетом слышал, как мы с Мишкой договаривались в Ленкомнате. Представляешь номер? Вызвал, конечно, Чернецова, построение всего взвода. «Курсанты Гребнин и Луц, выйти из строя! Так вы что же, голубчики...» И пошел раскатывать! Нотацию читал так долго, что Мишка от отупения дремать перед строем начал. Я говорю: «Товарищ майор, разрешите объяснить...» — «Не

разрешаю!» Я говорю: «Товарищ майор, пострадали зря — шпаргалки и написать не успели».— «Что-о? За разговоры и оправдания — неделю неувольнения!»

— Сашка, неужто верно это? — смеясь, спросил Алексей.

— Легенда,— махнул рукой Дроздов.

— Да что там! Ребята свидетели. Ты хоть пушку на меня прямой наводкой наводи, не приврал. Это что! Понимаешь, такая еще штука случилась...

— Саша, стоп! Переходим к делу,— остановил его Дроздов и, чуть улыбаясь ясными глазами, проговорил смущенно: — Когда тебя думают выписывать? Это главное.

— Не знаю. По разговорам врачей — еще не очень скоро. Вы не представляете, как надоело мне тут лежать, хоть удирай!

— Ты безусловно должен бежать! — воскликнул Гребнин.— Мы тебе поможем. Ночью откроешь окно — и конец простыни будет у тебя. Ну, ты, конечно, привяжешь конец простыни за ножку кровати и...

— И поочередно... сначала Алешка, а потом и кровать обрушатся на голову Сашке, который будет стоять под окном и держать под уздцы двух вороных коней,— в тон ему докончил Дроздов и, отдернув рукав халата, показал Гребнину на часы.— С твоим трепом столько времени ушло. Увольнительная у нас фактически на полчаса — отпустили со строевой...

— Эх, не досказал тебе одну историю! — проговорил Гребнин сокрушенно.— Да ладно, в следующий раз.— Он вынул из кармана какую-то бумажку, грозно скомандовал: — Сидеть смирно! Слушай приказ дежурного по батарее. Привет от Бориса, от Зимина, Луца, Кима Карапетянца, Степанова, Полукарова и прочих, и прочих... список огромный, язык заплетается. Короче — от всей братии. Заочно жмут твою лапу. Особенно и категорически настаивал на привете помстаршина Куманьков. «Я,— заявил он,— завсегда почитаю геройство». Молчать! У меня здесь все записано. Колуном не вырубишь! Жди три свистка под окном лунной ночью и открывай окно...

— Ладно! Идите, понимаю. Передавайте привет ребятам! — Алексей поднялся первым, стискивая им руки, спросил: — А что Борис не пришел? Что он?

Дроздов замялся.

— У меня с ним в последнее время отношения не особенно... Ты еще не знаешь — Боря теперь старшина дивизиона.

— Его назначили старшиной? Вот как!

— Не будем копаться в мелочах,— заметил Гребнин, явно уходя от этого разговора.— Человек, естественно, пошел в гору. В общем, придешь — увидишь. Ну, ждем.

В палате стало пустынно и тихо; за дверью удалялось, затихало по коридору тренькание шпор, и лишь несколько минут спустя снизу, из парка, донеслось:

— Але-оша-а!

Натыкаясь от поспешности на стулья, Алексей бросился к окну. Там, внизу, возле госпитальных ворот, стояли товарищи и махали шапками.

— Але-оша! Привет тебе от лейтенанта Чернецова! Забы-ыли!

Затем Алексей увидел, как они надели шапки, зашагали по тротуару, а под тополями раздробленными зеркалами вспыхивали на солнце апрельские лужи, лоснился, блестел, дымился асфальт, и по улице шли по-весеннему одетые толпы гуляющих.

«Нет,— подумал он растроганно,— жить без них не могу!»

Перед вечером в палату вошла Глафира Семеновна, зажгла свет.

— Один лежишь? Это кто же был такой,— маленький, а горластый, больше всех тут кричал? Такой попадет в палату, не дай господи, — вверх дном перевернет!..

— Это Саша Гребнин, разведчик,— ответил Алексей, засовывая под мышку градусник. — Температура нормальная. Замечательный парень, тетя Глаша.

— Ты меня, вояка дорогой, не успокаивай. «Нормальная»! Залазь под одеяло. Еще бы цельный полк пришел. С барабанами. А это кто ж — высокий, русый такой?

— Это Толя Дроздов. В одном полку служили.

— Парнишки вы — молодежь,— сказала со вздохом Глафира Семеновна.— Не было бы этой проклятой войны — сидели бы дома да с девчатами гуляли. Самые лучшие годы. Не вернешь.

— Все впереди, тетя Глаша,— задумчиво ответил Алексей.

— Верно-то верно... да не совсем.

А палата была полна светлых сумерек, за черными сучьями тополей текла по западу далекая река заката,

и на середине ее течения робко, тепло переливалась первая зеленая звезда. Над парком огромным семейством опускались на ночлег грачи, неугомонно кричали, темнея на деревьях.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Поздним вечером Алексей вышел в госпитальный парк и, закутавшись в халат, долго смотрел сквозь голые ветви на редкие майские звезды; было свежо, парк шумел, и где-то в полумраке сыроватых аллей настойчиво звенела, бормотала вода.

По всему госпиталю в палатах гасили свет, только в дежурном флигельке горело одно окно, но вскоре и оно погасло, там хлопнула дверь, по песчаной дорожке торопливо заскрипели каблуки: к лечебному корпусу шла сестра в белом халате.

— Валя! — окликнул он обрадованно.— Так и знал, что вы сегодня на дежурстве! Вы — в лечебный корпус?

— А вы почему не в палате? — удивленно спросила она, останавливаясь.— Это что за новости?

— Нет, хорошо, что я вас встретил, а не тетю Глашу...

— Слушайте, — перебила его Валя. — Я с вами поссорюсь. Идите сейчас же в свой корпус. Вы чересчур храбритесь! Вам никто не прописывал вечерние прогулки...

— Но я здоров! Полностью. Вы лучше скажите — где луна, черт подери? Когда-то в детстве я лазил на сарай и из рогатки лупил по луне, очень хотелось попасть. Как вы думаете, есть ли смысл подождать восхода луны? Хотя в рогатке, теперь понимаю, смысла нет...

Валя спросила с иронией:

— Разве можно искать смысл там, где его нет?

— Можно. Я просто люблю май. Не верите?

— Да, в самом деле весна,— проговорила Валя чуточку досадливым голосом, точно была недовольна собой.— Так и быть — давайте на минуту присядем,— предложила она.

Они сели на холодноватую скамейку. Алексей слышал, как вверху, осторожно касаясь друг друга, шуршали голые ветви, в них спросонок вскрикивали галки, а где-то в глубине парка по-прежнему неутомимо ворковала, плескалась вода. Сильно пахло влажным тополем —

из темноты и, казалось, от Валиного халата, от ее волос, видных из-под белеющей шапочки.

— Вы не замечали,— сказала Валя, глядя вверх,— что все, когда начинают смотреть на небо, сразу отыскивают Большую Медведицу? Смешно. Правда?

Он молчал, слушая ее голос.

— Что ж вы не отвечаете? Наверно, сидите тут и думаете об орудиях всяких...

— Нет, об орудиях я не думаю. Мне просто хорошо дышать и с вами хорошо,— неожиданно для себя тихо ответил Алексей.— И я не верю, что вам хочется идти в корпус дежурить.

Валя быстро повернулась к нему, подняла полоски бровей и вдруг улыбнулась.

— Помню, в девятом классе мне нравился один мальчик, знаете, такой герой класса! — Она потянулась, сорвала веточку над головой, Алексея осыпало холодными каплями.— Однажды он пригласил меня на каток, прислал дерзкую и глупую записку. Мы должны были встретиться возле какой-то аптеки. Я пришла ровно в восемь. А этот герой-мальчишка так был уверен в моих к нему чувствах, что опоздал на целых полчаса. Пришел, насвистывая, с коньками под мышкой. «Извини, я искал ботинки». Лучшего не мог придумать! Я страшно разозлилась, сунула ему свои коньки и сказала: «Знаешь, вспомнила, мне надо надеть другой свитер!» И ушла. Вернулась ровно через полчаса. «Никак не могла найти свитер». Он понял все. А вы?

— И я понял...

Валя встала — и он испугался, что она сейчас уйдет.

— Слушайте, Алексей, я за вас отвечаю, и, пожалуйста, идите в палату. Вы на меня не сердитесь, но вы все-таки больной...

— Я совершенно здоров. И не надо за меня отвечать. И я знаю, что вы со мной согласны.

— Может быть.

В ту майскую ночь, полную звуков, звезд, запахов молодой коры, он чувствовал в себе что-то нежное, до странности хрупкое, что, чудилось, можно было разбить одним неосторожным движением.

Во сне он услышал громкий разговор, потом звонко и резко захлопали двери, простучали суматошные шаги

в коридоре: похоже было, поднялся сквозняк на всех этажах госпиталя.

— Подъе-ом! — закричал кто-то над самым ухом.

Он вскинулся на постели. В палате горел свет. За окнами синел воздух. Сизов в нижнем белье бегал меж коек, срывал одеяла со спящих и, суетясь, вскрикивал диким, придушенным голосом:

— Подъем, братцы! Подымайтесь, братцы! Гитлеру конец! Война кончилась! Братцы, по радио передали! Войне коне-ец! Победа!..

Он подбежал к своей кровати, схватил подушку, с бешеной силой ударил ею о стену так, что полетели перья, и подкошенно упал спиной на кровать, затем опять вскочил в необоримой потребности действия.

— Да что вы, как глухие, смотрите? Обалдели? Языки проглотили! Войне коне-ец!

Сизов прерывисто дышал, узкие его глаза горели сумасшедшей плещущей радостью.

А Матвеев, заспанный, растерянный, сидел на кровати, трясущимися руками пристегивая протез, несвязно, как в бреду, бормотал:

— Неужели кончилась! Неужели конец?.. Что ж это, а? А мы и не знаем... и не слышим... Как же это?

— Конец?..— шепотом сказал Алексей, еще не веря, что в эту секунду, когда он произносил это слово, войны уже не было.

В тот необыкновенный день в госпитале невозможно было соблюдать никакой порядок и никакие режимы; обеспокоенные врачи бегали по опустевшим палатам, едва удерживая в них только лежачих; встревоженные сестры и нянечки не успевали закрывать калитку; наконец ее заперли, но через минуту снова открыли: из города то и дело возвращались выздоравливающие раненые, в счастливом изнеможении опускаясь на ступеньки крыльца, сообщали:

— На каждом углу столпотворение — не пройдешь! Все целуются, обнимаются, танцут, музыка шпарит! Военным — не пройти! Одного летчика приезжего на руках до гостиницы донесли!..

— Да ты подумай, подумай! Это... вот именно, именно счастье!

Один из раненых, непонимающе моргая и вроде бы

не в состоянии взять в толк случившееся, рассказывал, вертя письмо в подрагивающих пальцах:

— Сергей... дружок, ехал на фронт, прислал письмо из Знаменки... И вот тебе — без него кончили.

А с улицы приближались звуки оркестра: к центру города текли толпы народа, повсюду двигались шапки, косынки, фуражки, платки, мелькали возбужденные женские лица. Окна и двери домов были распахнуты, люди стояли на балконах, мальчишки облепливали заборы, висли на фонарях, кричали, свистели, выпуская из-за пазухи голубей, размахивали шапками. Пустые машины и автобусы вытянулись под тополями вдоль тротуаров; трамваи без единого пассажира остановились на перекрестках; городское движение прекратилось, и над гремевшим музыкой городом — над крышами, над шумящими улицами летали, кувыркались белые голуби с красными лентами на хвостах.

— Победа!! Победа!..

Посреди перекрестка качали пожилого артиллерийского полковника, он исчезал в толпе и вновь взлетал над ней в развевающемся плаще, помятая фуражка слетела у него с головы.

— Герою Советского Союза — ура-а! Дяденька-а, фуражка у меня-а! — визжал в восторге ушастый мальчишка, второпях натягивая полковничью фуражку на круглую свою голову, отчего уши оттопыривались крыльями.

Тут же маленькая женщина со сбившейся косынкой, взахлеб плача, обнимала здоровенного танкиста. Она прижималась головой к его груди, как в судороге, охватив руками широкую его спину, а танкист потерянно и беспомощно оглядывался, гладил ее по плечу, говоря охрипло:

— Ничего, ничего... Может, еще возвернется...

— В сорок первом он... — навзрыд плакала женщина. — Откуда ж ему вернуться...

— Кончила-ась! Все! Победа-а!..

Плотные толпы народа всё валили меж домов к центру города, обтекая вытянувшиеся цепочкой брошенные троллейбусы; на крыше одного из них появился человек и беззвучно закричал, поднимая в воздух кепку; по толпе в ответ прокатилось «ура!».

Весь город, взбудораженный, возбужденно смеялся, пел, плакал, целовался на улицах; иногда, после того как становилось чуть тише, до Алексея отчетливо долетали

отдельные фразы, женский смех, шуршание множества подошв на тротуарах, и чей-то дрожащий бас по-пьяному выкрикивал под госпитальным забором:

— Ва-аня! А Ва-аня! Это что же, а, Ва-ня, друг! Не обращай внимания на мелочи! Был ты от начала до конца сибиряком — и остался, Ва-ня! Сибирские полки тоже судьбу России решали! И всё! Дай я тебя поцелую!

Выхо-оди-ила на берег Катю-уша,
На высокий берег, на круто-ой!

«Победа... Это победа»,— точно не веря, повторял про себя Алексей.

На крыльце, на ступеньках, на террасе — половина госпиталя; здесь же сестры и врачи из всех отделений; лежачих поддерживали выздоравливающие и нянечки. Все смотрели на улицы. Валя стояла бледная, прямая, засунув руки в карманы халата. Вокруг шли разговоры:

— По всей стране теперь такое! А что в Москве сейчас творится!

— Война кончилась, это подумать только!.. Радости-то!..

— И слёз, брат, сегодня тоже сполна!

Внезапно соседний голубятник вскарабкался на госпитальный забор и отчаянно закричал оттуда ломким голосом:

— Товарищи раненые, выходите на улицу! Товарищи раненые...

— Эй, парняга! — крикнул Сизов.— Нос конопатый! Слезай к нам!

В это время с треском распахнулась калитка, во двор вбежали два курсанта в новеньких, сияющих орденами гимнастерках, и Алексей даже засмеялся от радости. Это были опять Дроздов и Гребнин; с веселой поспешностью они кинулись к Алексею, и он одним прыжком перемахнул через ступени крыльца — навстречу им.

— Толька! Сашка!..

Они не могли отдышаться, не находили слов, лишь, смеясь, смотрели друг на друга. Наконец Дроздов, набрав воздуху, выговорил:

— Было построение училища... Зачитывали текст капитуляции... Германия капитулировала безоговорочно!..

Сегодня смолкли пушки. Время поставило веху. Над землей распространилась тишина.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В МИРНЫЕ ДНИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В жаркий июньский день Алексея выписали из госпиталя. Врачи запретили ему всякое физическое напряжение и через месяц назначили гарнизонную комиссию. Но Алексею до того надоело валяться на койке и бездельничать, он до того истосковался по взводу, что как только миновал проходную училища, а затем тихий в этот час, млеющий под солнцем плац, сплошь усыпанный тополиными сережками, как только вошел из вестибюля в знакомый до запаха коридор своей батареи, то с неуемной радостью почувствовал, что все привычное наконец возвращается к нему, будто после долгого и вынужденного путешествия.

В спальне взвода было пустынно, прохладно, старые тополя затеняли окна; золотистые пятна солнца, пробиваясь сквозь листву, лежали на вымытом полу. За открытыми настежь окнами по-летнему кричали воробьи.

«Где же дневальный?» — подумал Алексей и неожиданно увидел Зимина, который с сопением вылез из-за шкафа, держа швабру. Вдруг конопатый носик его стремительно поерзал, глаза бессмысленно вытаращились на Алексея, и дневальный, содрогаясь, тоненько чихнул, вскрикивая:

— Ай, пылища!..— и затем разразился такой неудержимой канонадой чихания, что фуражка сползла ему на глаза.

— Будь здоров! — засмеялся Алексей.— Ну, привет, Витя!

Зимин был таким же, как прежде, но остренький нос у него донельзя загорел и облупился, детские брови и длинные ресницы стали соломенного цвета. Зимин выговорил наконец:

— Я сейчас эту дурацкую швабру... Простите, товарищ старший сержант! — Он спрятал швабру за тумбочку и до того покраснел, что веснушки исчезли с его лица.

— Ну какой я старший сержант сейчас? — сказал Алексей, улыбаясь.— Я из госпиталя, Витя.

— Да, да, прямо наказание, столько оказалось замаскированной пыли за шкафом...— заторопился Зимин.— Неужели вам, товарищ старший сержант... операцию делали? — спросил он с робким сочувствием.— Это правда?

— Это уже прошлое, Витя. Где взвод? Давай сядем на мою койку. Разрешаешь, как дневальный?

— Садись, Алеша, пожалуйста, садись. Сейчас экзамены, все готовятся к тактике и артиллерии, долбят, просто спасу нет. Видишь, я один здесь.

— А как Борис, как Дроздов?

— О, Борис! Тебе ребята говорили? — воскликнул Зимин.— Он теперь старшина дивизиона! Ужасно строгий! А Дроздов — он лучше всех по тактике и вообще... А ты, Алеша, как же будешь сдавать?

— Поживем — увидим. Где занимается взвод?

— В классе артиллерии. Ты уже идешь?

Алексея одолевало нетерпение увидеть взвод. Но, перед тем как направиться в учебный корпус, он решил заглянуть в каптерку — переодеться — и толкнул дверь в полутемном коридоре; косой солнечный свет хлынул ему в глаза.

— А-а! Здравия желаю! Здравия желаю! — встретил его помстаршина Куманьков.— Прошу, прошу...

В прохладной своей каптерке, свежо пахнущей вымытыми полами, помстаршина восседал за столиком неограниченным властелином в тесном окружении чемоданов, развешанных курсантских шинелей, аккуратных куч ботинок, сапог и портянок и, нацепив на кончик толстоватого носа очки, остренько взглядывал поверх них маленькими хитрыми глазами.

— Стало быть, жив-здоров? Руки, ноги на месте, как и полагается? А похудел! — Куманьков сдернул очки, почесал ими переносицу.— Молодец! — заявил он одобрительно.— Уважаю.

— Что «молодец»? — не понял Алексей.

— Молодец, стало быть, молодец! Я уж знаю, коли говорю.

— Я переодеться пришел, товарищ помстаршина, на мне еще все зимнее.

— Ничего, ничего. То-то. Я, брат, в курсе.— Куманьков захихикал понимающе.— Тоже, помню, в первую германскую в разведку полз. Река, темень. А немецкий пулемет чешет по берегу. Пули свистят. На берегу пулемет, значит. А я за «языком», стало быть... Приказ. Подползаю ближе, бомбу зажал. Ракета — пш-ш! Пес ее съешь! И щелк! В бедро. Кровища и прочее... Ползу. Застонал. Вдруг слышу: «Шпрехен, шпрехен...» Выпрыгнул тут один из окопа — и на меня прямо, стало быть. Нагнулся. Морда — что твои ворота. Харя, стало быть. Не понимает, откудова я здесь. Не кинешь же в него бомбу — себя порушишь. Что делать? Снял я с себя каску и каской, стало быть, его по морде, по морде его! Оглушил, как зайца. Схватил бомбу — и в окоп ее. Да, приказ для солдата — не кашу уписывать! Тоже знаю... Как же... Не впервой!

Помстаршина длинно вздохнул, глубокомысленно собрал морщины на лбу, но Алексей не выдержал — заулыбался.

— В чем дело? Почему улыбание без причины? — немного обиженно спросил Куманьков.

— Да вы же говорили, Тихон Сидорович, что в санитарах служили.

— Это когда я говорил? — насторожился Куманьков.— Такого разговору никогда не было. Выдумываешь, товарищ курсант, хоть ты и герой дня.

— Говорили вы как-то.

— Мало ли что говорил! Это дело, брат, тонкое! Стало быть, переодеться тебе? Так я понимаю?

Помстаршина снова надел очки, оценивающе озирая Алексея поверх стекол, спросил с неподкупными интонациями в голосе:

— Новое обмундирование, стало быть, не получал? Э! Стоп! Что это? Кровь или что? — Он недоверчиво привстал.— Ну-ка, ну, подойди. А? Что молчишь?

— Нужно сменить.

— Какой разговор! Размер сорок восемь? Я завсегда навстречу иду,— размягченно заверил Куманьков и что-то отметил в своей тетради скрипучим пером.— М-да!

Уважаю, потому — геройство. Это авторитетно заявляю. Уважаю. Обязательно. Поди-ка распишись,— приказал он и насупился.— Да поразборчивее...

Тщательно проследив за этой процедурой, он вслух прочитал фамилию, аккуратно промокнул подпись и, покряхтывая, по-видимому от собственной щедрости, направился к шкафу с обмундированием.

После недолгой примерки, в течение которой Куманьков значительно безмолвствовал, Алексей переоделся. Он был тронут неожиданной щедростью прижимистого Куманькова. Обычно тот со скаредностью хозяйственника отчитывал, вперемежку с назидательными воспоминаниями о «германской», за каждую порванную портянку. Эти рассказы Куманькова умиляли и смешили всю батарею, ибо были поразительно похожи один на другой по их героическому содержанию. В пылу воспитательного восторга он частенько употреблял не совсем деликатные слова и заключал свои рассказы стереотипным педагогическим восклицанием: «Вот так-то в германскую! А ты обмотку, стало быть, носить, как следовает по уставу, не можешь!» Однажды Полукаров, наслушавшись Куманькова, добродушно заметил: «Чтобы слыть бывалым человеком, не всегда, оказывается, надо понюхать пороху».

— Спасибо, Тихон Сидорович,— поблагодарил Алексей, одергивая гимнастерку.— В самую пору...

— Носи на здоровье. Погоди, погоди... Как же это так все-таки, а? — спросил Куманьков.— Что у тебя за рана открылась? Э-хе-хе... Это чем тебя — миной или снарядом?

— Пулеметной пулей, Тихон Сидорович.

— Понимаю, понимаю. Ну иди, иди. Не хворай. Да захаживай, ежели что...

Уже отойдя на несколько шагов от каптерки, Алексей услышал за спиной знакомый повелительно звучавший голос: «Дневальный, ко мне!» — и, в изумлении оглянувшись, увидел Брянцева. Он шел по коридору, позвякивая шпорами, в щегольской суконной гимнастерке — такие в училище носили только офицеры; узкие хромовые сапоги зеркально блестели; офицерская артиллерийская фуражка была козырьком слегка надвинута на брови. Занятый докладом подошедшего дневального из соседнего взвода, он не заметил Алексея, и тогда тот позвал:

— Борис!

— Алешка? Да неужели?..— воскликнул Борис и, не договорив с дневальным, со всех ног бросился к нему, стиснул в крепком объятии.— Вернулся?..

— Вернулся!

— Совсем?

— Совсем.

— Слушай, думаю, ты меня извинишь, что в госпиталь не зашел. Замотался. Поверь — работы по горло!

— Ясно.

— Ты куда сейчас?

— В учебный корпус. А ты?

— Я за взводом иду: опаздывает на артиллерию. Распорядиться надо! Дела старшинские, понимаешь ли...

Лицо его было довольным, веселым, ослепительной белизны подворотничок оттенял загорелую шею, в глаза бросались его новые погоны: две белые полоски буквой Т.

— Поздравляю с назначением!

— Ерунда! — Борис засмеялся.— Давай лучше покурим ради встречи. У меня, кстати...— И он достал пачку дорогих папирос, небрежным щелчком раскрыл ее.

— Вот это да! — произнес Алексей.

— Положение, как говорят, обязывает. Хозяйственники снабжают,— шутливо пояснил Борис, закуривая у открытого окна.— Знаешь, зайдем на минуту в артпарк — и вместе в учебный корпус. Идет? Да дневальным тут надо взбучку дать — грязь. Не смотрят! У нас как раз экзамены. В жаркое время ты вернулся. А вообще — много изменений. Во-первых, после тебя помкомвзводом назначили Дроздова и сняли через месяц.

— Почему сняли?

— А! За панибратство! — Борис усмехнулся.— Тут майор Градусов и взял «за жабры». Зашел на самоподготовку, а там черт знает что! Луц спит мирным образом, Полукаров взахлеб Дюма читает, самого Дроздова нет — в курилке торчит, и полвзвода тоже в курилке. Зимин да Грачевский с двумя курсантами толпу изображают. Градусов сразу: «Список взвода!» Вызвал к себе Дроздова, приказ по батарее — снять! Чернецову влетело жесточайшим образом.

— А кто вместо Дроздова?

— Назначили Грачевского.

— Ну, Грачевского?..

Борис поморщился.

— Заземлен, как телефонный аппарат. Дальше «равняйсь!» и «смирно!» ничего не видит. Правда, учится ничего, зубрит по ночам.

Алексей слушал, с наслаждением чувствуя ласковое прикосновение к лицу нагретого воздуха; в распахнутые окна тек летний ветерок — он обещал знойный, долгий день. На солнечный подоконник выпорхнул из тополиной листвы воробей, ошалев от какой-то своей птичьей радости, нахальнейше чирикнул в тишину батарейного коридора и улетел, затрещал крыльями в листве. А из артпарка отдаленно доносилась команда:

— Взво-од, напра-а-во! Вы что, на танцплощадке? Музыкой заслушались?

— Разумеешь? — спросил Борис, швырнув папиросу в окно, и взглянул искоса.— Градусова голосок.

Их ослепило солнце, овеяло жаром июньского дня, когда мимо тихого, безлюдного плаца они вышли по песчаной дорожке в глубь двора, к артпарку; здесь с тополей летели сережки, мягко усыпали двор, плавали в бочке с водой — в курилке под деревьями. И здесь они остановились, увидев отсюда орудия с задранными в небо блещущими краской стволами и около них — выстроенный взвод, сержанта Грачевского с нервным, некрасивым лицом, вытиравшего тряпкой накатники. Перед строем не спеша расхаживал Градусов, гибким прутиком пощелкивая себя по голенищу.

— Сам проверяет матчасть,— сказал Борис.

— Та-ак! — донесся густой бас Градусова.— Встаньте на правый фланг, Грачевский! Так что ж... теперь все видели, как приводят в порядок материальную часть? Кто чистил это орудие, шаг вперед!

На правом фланге выдвинулся из строя неуклюжий Полукаров, рядом с ним длинноногий Луц. Он нетерпеливо перебирал пальцами, вопросительно глядя на майора.

— Как это понимать, товарищи курсанты? Как это понимать? Вы что, устава не знаете? — с недобрыми расстановками начал Градусов, голос его накалялся, раскатывался громом.— Помкомвзвода приказал почистить орудие — а вы? Прошу ответить мне: кто... учил... вас... так... чистить... орудия? — проговорил он, рубя слова.— Вы что, на фронте тоже так? А? Вот вы ответьте мне!

И Градусов указал прутиком на Луца.

— Товарищ майор, извините, я не фронтовик,— ответил Луц, продолжая шевелить пальцами.— Я из спецшколы.

— Из спецшколы? А кто в спецшколе вас учил так относиться к материальной части? Кто вам всем,— Градусов хлестнул прутиком по голенищу,— дал право так разгильдяйски относиться к чистке матчасти? Государство тратит на вас деньги, из вас хотят воспитать настоящих офицеров, а вы забываете наипервейшие обязанности! Это — ваше орудие! Пре-е... предупреждаю, помкомвзвода! Впредь поступать буду строго! Плохо почищены орудия — чистить их будете сами. Лично! Коли плохо требуете с людей!

Взвод молчал. Грачевский кусал жалко дергавшиеся губы, не мог выговорить ни слова.

— Здорово он вас тут!..— насмешливо сказал Алексей.

— А ты не возмущайся раньше времени,— ответил Борис, выпрямляя грудь, весь подбираясь.— Пойду доложу.

И, поправив фуражку, строевым шагом подошел к Градусову; смуглое лицо Бориса разом преобразилось — выразило подчеркнутую строгость и одновременно готовность на все,— и летящим великолепным жестом он кинул руку к козырьку:

— Товарищ майор, разрешите обратиться?

— Что вам, старшина?

— Товарищ майор, преподаватель артиллерии приказал передать Грачевскому, что он ждет взвод на консультацию. Занятия начались.

Градусов прутиком ткнул в сторону орудия.

— Полюбуйтесь, старшина, небрежно, весьма небрежно чистит взвод орудия! Вам тоже делаю замечание. Проверяйте чистку материальной части, лично проверяйте!

— Слушаюсь, товарищ майор! Сержант Грачевский! Прошу зайти ко мне в каптерку после занятий.

— Слушаюсь...

Градусов, опустив брови, прищурился на часы.

— Старшина, вызвать ко мне командира взвода!

— Слушаюсь!

— Помкомвзво-ода! Ведите людей! В личный час снова все на чистку орудий. Пыль в пазах, сошники не протерты. Ведите строй!

Грачевский, спотыкаясь, будто ничего не видя перед собой, вышел из строя на несколько шагов, задавленным голосом подал команду. Взвод, как один человек, повернулся и замер. Тогда Градусов отступил к правому флангу и острым взглядом нацелился в носки сапог.

— Отставить! У вас что, сержант, горло болит? Повторите команду как следует! Вы не девушке в любви объясняетесь! Не слышу волевых интонаций!

— Взвод, напра-во! — усиливая голос, нараспев повторил команду Грачевский.

— Отставить! Забываете устав!

Грачевский, едва владея собой,— даже подбородок прыгал,— оробело поправился:

— Разрешите вести взвод?

— Ведите! Почему так неуверенно? Где ваша команда? Что с вами? Ведите!

— Взвод, ша-а-гом...

— Отставить! Бего-ом марш!

Когда же взвод скрылся за тополями, майор сломал прутик, бросил его в пыльные кусты акации, медленной, утомленной походкой зашагал к зданию училища. Он был недоволен и раздражен собой и этим взводом. Подходя к подъезду, Градусов вспомнил совсем не армейский ответ певучеголосого курсанта («Я, извините, товарищ майор, из спецшколы») — и неожиданно рассмеялся негромким, глуховатым смехом. Но как только он вошел в расположение дивизиона, лицо его снова приняло суровое, недовольное выражение.

В тяжелую пору сорок первого года Градусов командовал батареей 122-миллиметровых орудий.

Батарея стояла под Львовом, на опушке березового урочища, и вступила в бой, прикрывая спешный отход стрелкового полка.

Глубокой ночью немецкие танки прорвались по шоссе, обошли батарею, отрезали тылы, на каждую гаубицу осталось по три снаряда. Связь с дивизионом была прервана. В те часы перед рассветом было особенно тихо, лишь однотонно трещали, звенели в тишине сверчки, и теплая земля вокруг лежала в лунном сиянии, как в светлом дыму. Далеко впереди горел Львов, мохнатое зарево подпирало небо, гасило на горизонте звезды, в урочище после боя горько, печально пахло пороховой

гарью, а с полей тяжелой волной иногда накатывал запах цветущей гречихи.

В эту ночь никто не спал на батарее. Солдаты, выжидающе прислушиваясь, сидели на станинах, украдкой курили в рукав, говорили шепотом — все видели, как багрово и широко набухал горизонт по западу.

В тягостном молчании Градусов обошел орудия и неподалеку от огневой сел на пенек, тоже долго глядел на это зловещее зарево, на близкие немецкие ракеты, что, покачиваясь на дымных стеблях, рассыпались в полях. Слева на шоссе тонко завывали моторы, а быть может, это казалось ему — звенело в ушах после дневного боя. Четыре бы новеньких тягача, тех самых, что остались в тылу, отрезанные немецкими танками,— и он решился бы на прорыв без колебаний.

— Лейтенант Казаков! — позвал Градусов, соображая, как быть с людьми и орудиями в создавшемся положении.

Старший на батарее лейтенант Казаков, лучший строевик полка, невысокий ростом, в изящных хромовых сапожках, на которых по-мирному тренькали шпоры, сел на землю возле пенька, покусывая травинку.

— Ракеты кидают, а? — глухо сказал Градусов, всматриваясь в молодое спокойное лицо Казакова. — В кольце мы? Так, что ли, Казаков?

— В кольце,— ответил Казаков, сплюнув травинку в сторону взмывшей ракеты.

— Что ж, Казаков,— Градусов сбавил голос,— надо выходить... До рассвета надо выходить. Как думаешь? Идем-ка в землянку.

— Надо выходить,— ответил Казаков.

В землянке зажгли свечу, загородили вход плащ-палаткой, Градусов развернул карту; медленно и расчетливо выбирал он место прорыва, навалясь широкой грудью на орудийный ящик, водя карандашом по безмятежно зеленым кружкам урочища. Было решено через полчаса снять личный состав батареи и пробиваться к своим, к стрелковому полку, последние снаряды израсходовать, орудия подорвать, прицелы унести с собой.

— Тебе матчасть уничтожить, Казаков. Для этого оставишь с собой одного командира орудия. Я вывожу людей. Место встречи — Голуштовский лес. В Ледичах. Все ясно?

— Абсолютно. — И Казаков не спеша отвинтил крышку фляжки, отпил несколько глотков.

— Что пьешь?

— Водка. Вчера старшина привез. Где-то сейчас наши тылы?

— Точка! — Градусов взял из его рук фляжку и, вышвырнув ее из землянки, жестко повторил: — Точка! Голову на плечах иметь трезвой! И шпоры снять! Не на параде!

Они вышли из землянки. Густой запах гречихи тек с охлажденных росой полей; лунный свет заливал урочище, омывая каждый листок застывших берез. И только слева, на шоссе, отдаленно урчали моторы, и там осторожные вспышки фар косо озаряли безмолвные вершины деревьев. Потом оттуда, совсем рядом, оставляя шипящую нить, всплыла ракета, упала впереди орудий, догорая на земле зеленым костром.

— Подходят,— сказал Казаков и лениво выругался.— Наверно, пора. А то схватят птичку — и пискнуть не успеешь...

— Открыть огонь по шоссе! — приказал Градусов, рванулся к первому орудию, высоким и зычным голосом скомандовал: — Ба-атарея-а! По шоссе три снаряда, залпами-и!..

Лунное безмолвие ночи расколол грохот батареи, огненные конусы трижды вырвались из-за деревьев, разрывы потрясли урочище, осыпая листья, росу с берез. И наступила, до боли в ушах, тишина, даже сверчки затаились. Батарея была мертва.

— Приступать, Казаков! — крикнул Градусов.— Расчеты, за мной! Рассыпаться цепью!

На вторые сутки Градусов вывел в Голуштовский лес двенадцать человек, оставшихся в живых от батареи,— девять он потерял, прорываясь из окружения. А когда вошли в украинскую деревушку Ледичи, битком набитую тылами и войсками, и увидели под беленькими хатами запыленные штабные машины с рациями, орудия и танки, расставленные на тесных дворах и замаскированные ветвями, верховых адъютантов с серыми утомленными лицами, когда увидели солдат, угрюмых, подавленных, сидящих в тени плетней,— Градусов почувствовал себя так, точно был обезоружен и гол; и это чувство еще обострилось позднее.

В Ледичах он нашел штаб полка. Майор Егоров, бритоголовый, пухлый, с непроспанными глазами навы-

кате, сидел за столом и, макая сухарь в чай, завтракал. Ледяным взглядом встретив на пороге Градусова, он отчужденно спросил:

— Где батарея?

Градусов объяснил. Егоров отодвинул кружку так зло, что выплеснулся чай, ударил кулаком по столу.

— Где доказательства? Под суд отдам! Оставить батарею! Без батареи ты мне не нужен!

— Я готов идти под суд,— также заражаясь гневом, проговорил Градусов.— Разрешите повторить: лейтенант Казаков остался, чтобы подорвать орудия. Я вывел из окружения двенадцать человек.

Егоров поднялся, качнув животом стол.

— А если он не подорвет и не вернется? Тогда — что?

— Он вернется,— повторил Градусов.— Я знаю этого офицера.

Лейтенант Казаков вернулся на третьи сутки — он пришел без фуражки, обросший, с глубоко ввалившимися щеками, гимнастерка была порвана, висела клочьями, он еле стоял на ногах, пьяно пошатываясь. Сначала он молча выпил котелок воды, обтер потрескавшиеся губы, после чего доложил одним хриплым выдохом:

— Вот,— и вынул из вещмешка три прицела.

— Где четвертый?

— Мы не успели...— Казаков в изнеможении стащил с ног запыленные сапоги, лег на траву под плетень.— Танки и автоматчики вошли в урочище. Сержант Клочков снимал прицел, но... в живых его нет.

С перекошенным лицом Градусов шагнул к лейтенанту, трясущейся от бешенства рукой рванул кобуру пистолета.

— Расстреляю сукина сына! Поверил я тебе!.. Под суд за невыполнение приказа!..

А Казаков, лежа под плетнем, глядел на него снизу вверх усталыми и презрительными глазами.

В боях под Тернополем Градусов был ранен — крошечный осколок мины застрял в двух сантиметрах от сердца. Три месяца провалялся он на госпитальной койке, а после выздоровления был направлен в запасной офицерский полк, и отсюда, как фронтового офицера, его послали работать в училище.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дежурные и дневальные хорошо знали, когда приходил в дивизион Градусов. Грузная фигура майора появлялась в проходной ровно в девять утра, и тут начинались последние лихорадочные приготовления. Дежурные по батареям выглядывали в окна, взволнованно, точно певцы перед выходом на сцену, откашливались, готовясь к уставному докладу; дневальные одергивали противогазы, расправляли складки на гимнастерках и застывали у тумбочек с выражением озабоченности, давно изучив привычки командира дивизиона. Миновав проходную, он направлялся к орудиям батарей, затем шел к училищному корпусу — осмотреть туалет и курилку. Если по дороге к корпусу Градусов срывал прутик сирени и начинал на ходу равномерно похлопывать им по голенищу, это означало: майор недоволен. При виде этого прутика напряжение предельно возрастало; красные пятна выступали на лицах дежурных, невыспавшиеся дневальные зевали от волнения.

Потом широкая парадная дверь распахивалась — и майор Градусов входил в вестибюль.

— Дивизио-он, сми-ир-но-о! — громовым голосом подавал команду дежурный, со всех ног бежал навстречу и, остановившись в трех шагах, придерживая шашку, стукнув каблуками, напрягаясь, выкрикивал: — Товарищ майор, вверенный вам дивизион находится на занятиях, за ваше отсутствие никаких происшествий не произошло! Дежурный по дивизиону сержант...

— А-атставить! — Градусов взмахивал прутиком.— Что ж вы, понимаете? Руку как коромысло к козырьку поднесли, докладываете, а в курилке грязь, окурки, безобразие! Что делают у вас дневальные?

— Товарищ майор...

— Можете не отвечать! Следуйте за мной, дежурный! — И, пощелкивая прутиком, проходил в первую батарею.

Здесь, выслушав доклад дневального, Градусов басовито командовал:

— Отодвинуть кровати и тумбочки!

Суетясь, дневальные отодвигали кровати и тумбочки — поднималась возня во всей батарее.

— А теперь сами проверьте, как вы несете службу.— Прутик Градусова скользил по выемам плинтусов.—

Грязь! Пыль! Вы за чем следите, дежурный? Что делают у вас дневальные?

Затем начинался осмотр тумбочек: командир дивизиона проверял, нет ли в имуществе курсантов чего-нибудь лишнего, не положенного по уставу. Через несколько минут батарея, где недавно все блестело, все было аккуратно прибрано, разложено по местам, напоминала склад писчебумажных принадлежностей — курсантские койки были завалены книгами и тетрадями.

После этого дотошно, скрупулезно, педантично проверялась чистота умывальной, туалета, и майор Градусов, вытерев платком крепкую короткую шею, бросив прутик в урну, приказывал навести строжайший порядок и поднимался по лестнице в канцелярию дивизиона. До самых дверей его сопровождала унылая фигура дежурного. И, только получив последнее приказание — вызвать немедленно командиров взводов, дежурный с облегчением бежал в вестибюль к телефону, в то время как в батареях шла работа: дневальные вновь мыли полы, лазили со швабрами в самые дальние углы, до блеска протирали плинтуса.

Но бывали и счастливые дни — майор не срывал прутик, и тогда Градусов без единого замечания поднимался к себе. Это означало: орудия дивизиона безупречно чисты, летние курилки идеальны. В эти редкие дни было необычно спокойно в батареях и, пораженные тишиной, дневальные переговаривались между собой: «Вроде температура спàла, нормальная».

Как раз в тот жаркий, безоблачный день, когда дневалил Витя Зимин, налетела гроза; она была тем более неожиданной, что Градусов вошел без прутика. Он выслушал доклад взволнованно раскрасневшегося Зимина и дал вводную:

— Дневальный! В батарее пожар! Ваши действия? Горит шкаф с противогазами!..

— Я должен взять... огнетушитель и... погасить,— запинаясь, начал объяснять Зимин и взглянул на огнетушитель.— По правилам противопожарной безопасности...

— Как именно? Я повторяю — горит шкаф. Как вы ликвидируете пожар?

Витя Зимин потоптался в замешательстве. Он уже не вполне понимал, чего хочет от него командир дивизиона. Глаза его стали косить больше обычного, на лбу бисеринками выступил пот.

— Как, я спрашиваю? — забасил майор.— Что же вы стоите, дневальный?! Шкаф горит, пламя перебросилось на тумбочки! Ваши действия?

Витя сглотнул и сказал:

— Я... беру огнетушитель. Ударяю колпаком о пол.

— Как, я спрашиваю?

У Вити Зимина ослабли ноги, но внезапно на его веснушчатом лице появилось выражение отчаянной решимости, и он кинулся к огнетушителю, сорвал его со стены, однако не сумел удержать. Огнетушитель выскользнул из рук, колпачок ударился об пол — и белая неудержимая струя с ревом захлестала в дверцу шкафа, послышался скандальный звон разбиваемых стекол; на полу бешено закипела пена. Сметаемые струей, полетели к стене книги, с грохотом упала тумбочка.

— А-атставить! — загремел Градусов.— Вы — что?

Витя выдавил шепотом:

— Я... тушу... это нечаянно...

— А-атставить! Вынесите огнетушитель в коридор! Сейчас же!

Разбрызгивая пену, обливая стены и полы, Витя Зимин с помощью дежурного вынес огнетушитель в коридор и в полной растерянности прислонил его к стене.

Расставив ноги, майор Градусов ошеломленно глядел на Зимина из-под опущенных бровей.

— М-да. Так. Хорошо,— наконец проговорил он не очень внятно.— Что же вы, Зимин, а? М-да. Ну ладно, ладно.— И, подозвав застывшего в отдалении дежурного, приказал: — Убрать все! Навести образцовый порядок.

Он направился к лестнице, но тут взгляд его остановился на стеклянной банке, валявшейся в пене возле опрокинутой тумбочки.

— А это откуда? Чья?

— Мне мама прислала,— пролепетал Витя,— моя...

— Что за банка?

— С вареньем...

— И тумбочка ваша?

— Моя.

— Принести сюда тумбочку!

Шагая через пену, Витя Зимин принес тумбочку, поставил ее перед Градусовым, несмело поднял по-прежнему косящие от волнения глаза. Тумбочка была вся в пене. Витя надеялся, что это спасет его, но ошибся.

Градусов с кряхтением нагнулся, двумя пальцами вытащил из тумбочки мокрый пакет с печеньем, вслед за этим кулек с конфетами, затем зеленую школьную тетрадь, совершенно сухую. При виде тетради Зимин подался к Градусову, проговорил тоненько и жалобно:

— Товарищ майор...

— Вы любите сладкое? — тихо спросил Градусов, указывая на печенье и конфеты.— Откуда это?

— Это... мама прислала посылку,— сникая весь, прошептал Зимин.— Товарищ майор, а это... не надо. Это дневник.

— Вы ведете дневник? — проговорил Градусов.— Это дневник? Конечно, я вам верну этот дневник, хорошо. Потом зайдете ко мне. Я вызову вас.

На обложке тетради выведено аккуратным почерком:

«Дневник Виктора Зимина. 1944—1945 гг.»

«15.5—44

Ну, вот и я, самый ярый противник дневников и вообще записей своих личных мыслей на бумаге, начал вести дневник. Начал не потому, что мне не с кем поделиться мыслями, нет!!! Просто для самого себя. На носу экзамен на аттестат зрелости! Очень интересно будет потом, когда я стану офицером, прочитать это, посмеяться над тем, каким я был в прошлом.

25.5—44

Литература — моя любимая! Зашел разговор о вере Толстого. Верить в бога — это происходит от недостатка душевных качеств у людей. Ведь верить можно во что угодно. Об этом и говорил Лев Н. Толстой: «Вот вы и вера». Я в этом согласен с Л. Н., а непротивление — этого не могу понять. Как мог Л. Н. верить в это! Сейчас война идет, надо бить фашистов до победы! Какое же это непротивление?

Жить и бороться, любить Зину — разве может быть что-либо лучше этого!

28.5—44

Встретил сержанта Ж. Тот сказал, что, кажется, приехала Зина. Во всяком случае, он видел косы. Оказалось, не она, и сержант долго извинялся.

29.6—44

Ура! В Белоруссии наступление. Бьют немцев вовсю! Был салют.

30.6—44

Старший лейтенант Коршунов снимал серж. Ж. с помкомвзводов. «Вы думаете, из-за вас, серж., буду марать шесть лет своей безупречной службы в армии? Глупо ошибаетесь!» Серж. сказал мне: «Для меня наступил период жестокой реакции».

1.7—44

Вечер. Дождь. Смотришь вокруг, слушаешь, вдыхаешь свежий воздух, и становится на душе как-то спокойно и грустно. От этого все воспринимается острее и глубже, и спокойствие у меня сменяется тихой тревогой, когда опять и опять начинаешь думать о Зиночке. Я каждый день жду, что Зина придет. А сам ведь понимаю — не придет. Она, конечно, по-своему права. (О Зине Григорьев сказал: «У-у, характер!»)

Ну ладно. Хватит. Это действительно как у мальчишки получается.

В разговоре сказал Славке: «Ведь мы с Зинушей опять поссорились!» — и сказал это с дурацкой, конечно, улыбкой и, наконец, покраснел, как скотина. Глупая привычка! Когда я перестану краснеть? Краснели ли великие люди? Как-то не вяжется.

4.7—44

Оставалось две минуты. Две минуты учения в спецшколе! Подумать только! Преподаватель, капитан П., вышел из класса. Невыразимое чувство радости. Хочется кричать, выражая восторг. Прощай, спецшкола!

Будем ожидать распределения по артучилищам! Ура, впереди — неизвестное. Я люблю неизвестное! С какими встретишься людьми?

Вдруг возле спецшколы встретились с Зиной! Покраснел, конечно, как лопух и осёл! О прошлой ссоре ни слова, а потом вспомнили, поговорили и посмеялись. Зина ужасно загорела. Волосы совсем как рожь. Шли куда глаза глядят, а попали на «Свинарку и пастуха» в «Ударник». Я, как военный, без очереди раздобыл билеты,

и Зина даже изумилась: «Ого! Ты настоящий кавалер!» А почему бы и нет?

Мы смеялись, смотрели на экран... и друг на друга...»

В дверь постучали.

— Войдите!

— Товарищ майор, ваше приказание выполнено. Лейтенант Чернецов будет у вас через двадцать минут.

Градусов, не отвечая, в раздумье поглаживал подлокотники кресла, а Борис стоял у двери в той позе почтительного ожидания, которая говорила, что он готов выслушать следующее приказание.

— Садитесь, старшина, садитесь. Я хочу с вами поговорить...

С тех пор как Борис стал старшиной дивизиона, то есть по своему положению на целую голову поднялся над курсантами, Градусов, казалось, приблизил его к себе, но в то же время держал на определенном расстоянии, не допуская откровенности. И Борис сел напротив стола, показывая, что понимает приветливость майора как доверие старшего к младшему.

— Вот что, старшина, мне нравится первый взвод,— с медлительной мягкостью заговорил Градусов и, положив крупную руку на страницу Витиного дневника, пояснил: — Во взводе много интересных, способных курсантов, с ясной, как мне кажется, жизненной целью... — Он помолчал, снова погладил подлокотники кресла.— Ну, расскажите мне подробнее, к примеру, о Зимине...

— Я отвечу, товарищ майор, то, что знаю,— сдержанно произнес Борис, безошибочно угадывая, что майор ждет сейчас откровенности и ищет ее неумело, неловко. Но этот порыв у людей, привыкших надеяться на свою власть, мог быть минутным порывом настроения, и Борис знал, что это быстро проходит.— Курсант Зимин очень молодой, наивен. В нем еще много детства. Опыта военного — никакого. Правда, начитан. Учится неплохо.

Борис замолк: этот откровенный разговор с командиром дивизиона настораживал его.

— Так, так,— с прежней неопределенной осторожностью продолжал Градусов.— Вы утверждаете, что Зимин способный курсант. А вот скажите... это меня интересует: у Зимина есть большое желание стать офицером?

— Товарищ майор, мне трудно ответить на этот вопрос.

— Вы можете не отвечать. Попросите ко мне курсанта Зимина. Временно подмените его другим дневальным.

Он сказал не «вызовите», а «попросите», и это тоже было необычно и непонятно: майор приказывал, но без прежнего жесткого нажима, и взгляд его был размягчен, текуч.

— Слушаюсь! — преувеличенно покорно произнес Борис.

— Подождите минуту.— Градусов выпрямился за столом.— У вас, старшина, большая власть,— проговорил он глуховатым голосом.— Но вы мало, мало требуете с людей. Сегодняшний случай с матчастью непростителен. Вы должны быть безупречны, старшина. Требуйте, тщательно проверяйте выполнение приказаний. И все будет отлично.

— Больше этого не повторится, товарищ майор! — ответил Борис и, выйдя из канцелярии, подумал озадаченно: «Чудны дела твои!..»

Через несколько минут Зимин постучал в дверь кабинета, вошел робко, доложил о себе, и майор пригласил его сесть; пока он устраивался на краешке стула, поправляя тяжелый противогаз, командир дивизиона с пытливым интересом вглядывался в него.

— Во-первых, Зимин, я, голубчик, прошу у вас извинения за то, что прочитал несколько страниц из вашего дневника,— начал Градусов доброжелательно-вкрадчиво.— Ваш дневник... Собственно говоря, не будем говорить о дневнике...

Зимин, краснея, мигнул, выгоревшие ресницы опустились и замерли — мальчишка, обыкновенный мальчишка, с мыслями чистыми, светлыми, как камешки на дне ручья. Он ждал, и почему-то все его внимание было приковано к никелированной крышке чернильницы на столе.

— То, что вам мать прислала посылку,— это не беда,— продолжал майор все так же мягко.— Но вы будущий артиллерийский офицер, вы изучаете уставы, готовитесь к строгой жизни и хорошо понимаете: в казарме не должно быть ничего лишнего, тем более продуктов. Представьте — мы разведем здесь мышей, мыши разносят заболевания, из-за невинной вашей посылки заболеют люди...

Градусов невольно сбивался на тот тон, каким обычно взрослые говорят с детьми; он понимал это, но ничего не мог сейчас с собой поделать: внезапно нежная волна подхватила его, понесла — так этот Зимин золотистыми своими веснушками на носу напомнил сына Игоря, погибшего в Сталинграде, так же сидел тот когда-то на краешке стула, сложив руки на коленях, с выражением скрытого нетерпения.

— Вы любите сладкое? Но не держите его в казарме. Перенесите посылку, ну... хотя бы в каптерку... Приходите, берите в столовую, пейте чай с вареньем... Кто вам может это запретить? И офицеры пьют чай с вареньем.— Градусов кашлянул, пододвинул к Зимину тетрадь на столе.— Вот и все. Дневник я вам возвращаю. Прочитал лишь несколько страниц...

Зимин кивнул с опущенными ресницами.

— Ну хорошо, хорошо. Кстати, я вам советую, обратите внимание на физкультуру. Огнетушитель-то вы выпустили, а? Займитесь боксом в секции. Там много фронтовиков из вашего взвода — Дроздов, Брянцев, Дмитриев там... Можете идти.

Оставшись один, Градусов отпустил крючок кителя, устало прошелся по своему кабинету из угла в угол; толстый ковер глушил шаги, и эта ватная тишина в кабинете была тягостна ему.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Летний разлив заката затопил крыши, четко обозначил верхушки тополей, и в небе было тихо и светло. В такие погожие вечера беззаботным покоем охватывает душу, и тогда думается вдруг, что хорошо бы ехать сейчас по вечерней степи, лежать в сене, слушать сверчков и скрип колес, глядеть, как постепенно гаснут алые облака в высоте и вокруг рождается ночь. Потом телега спустится в низину, заплещется вода под колесами, ощутимо повеет сырым холодком — засыпающая река, окруженная недвижными кустами, еще хранит последние отблески заката, но под обрывами уже скопилась темь; и прохладой тянет по ногам, становится зябко. Телега опять взбирается на бугор, навстречу мягко дует влажным степным ветерком, пропитанным полынью. Вокруг синеет ночь, полная звезд и запахов холодеющих трав.

И неожиданно впереди, на краю неба, заблестят неведомые земные огоньки и затемнеют неясные купы дальних деревьев. Долго ли ехать до них?

Двенадцать часов ночи. Уже прозвучал отбой. Всюду потушен свет, в коридоре горит слабая дежурная лампочка.

Гребнин, стягивая сапоги, шепотом рассказывает своему соседу по койке:

— Знаешь, читал я в одном старом журнале, вроде в «Ниве», не помню, интересную вещь. Офицер один, итальянский, в империалистическую войну внес предложение в министерство. Сапог катастрофически не хватало, так он что же предложил: вместо обуви — солдат закалять, строевую — босиком...

Гребнин снимает гимнастерку, с минуту сидит, притворно позевывая, и наконец спрашивает:

— Оригинально?

— Прекратить раз-говор-чи-ки! — певуче раздается в кубрике команда дневального, в команде этой шутливо-грозные нотки.— Кто нарушает? А, Гребнин? Саша, если ты сию минуту не перестанешь нарушать, я тебе преподнесу наряд! Как? Да сию минуту будешь у меня мыть полы!

Длинная и тонкая, подобная циркулю, фигура дневального Луца возникает в лунном свете, двигается между койками; на нем противогаз и шашка. Луц останавливается против кровати Гребнина и угрожающе таращит глаза.

— Что, опять история? Люди спать хотят. Саша, цыц!

Наступает непродолжительное молчание. Весь кубрик точно спит, везде тишина и покой.

— Дневальный! — доносится сдержанный голос из коридора. Там легкое, осторожное перезванивание шпор, и около тумбочки, облитой луной, появляется тень дежурного по батарее.— Где вы, дневальный? Почему не на месте? Спите, что ли? Подойдите ко мне!

— Я на месте,— обиженно отвечает Луц и шагает к тумбочке.— Я не могу стоять на ногах неподвижно... Я не аист, товарищ дежурный.

В кубрике снова тишина. Из коридора отдаленно доносится начальственный басок дежурного, ему вторит певучий тенорок Луца. Где-то в глубине батареи, должно быть на лестнице, отчетливо шаркает метла второго дневального— готовятся мыть полы.

А на дворе июньская ночь. На подоконнике и на паркете — зыбкие синеватые полосы. В окно видны насквозь пронизанные теплым ночным воздухом верхушки тополей. Жаркая, багровая луна сидит в ветвях, заглядывая в спальню, и весь училищный двор наполнен прозрачной синью. Звеняще трюкают сверчки, и где-то далеко-далеко, за тридевять земель, играет радио. Откуда это?

Никто в кубрике не спит. Все устали после самоподготовки, но спать не хочется.

На крайней койке возле окна лежит Дроздов. Он неподвижно глядит перед собой, закинув руки за голову. Рядом, на соседней койке, ворочается Алексей, то и дело подминает под щеку жесткую подушку. Его лицо, освещенное луной, кажется нахмуренным.

— Ты не спишь, Толя?

— Нет,— шепчет Дроздов.— Странно, Алеша. Ты слышишь, как кричат сверчки? Очень люблю сверчков ночью.

Алексей откидывает одеяло, опирается на локоть и прислушивается.

— Да,— говорит он,— кричат.

— Луна и сверчки,— шепотом повторяет Дроздов.— Знаешь, что-то в этом есть такое — не передать. Грустно становится почему-то...

Дроздов вынимает руку из-под головы, широкая грудь его выгибается, он глубоко вздыхает.

— Ты слушаешь, Алеша? Я помню, был у меня наводчик. Зеньков. Угрюмый такой, неразговорчивый парень лет тридцати. Стрелял как бог. Но слова от него никогда не добьешься. У него в Минске погибла вся семья и невеста. Так однажды после боя, страшного боя, остановились на берегу реки. Лето на Украине. Я устроил ребят в хате и вышел проверить часового у орудия. Ночь чудесная. Тепло. Звезды. Река блестит. Лягушки квакают. Как будто и войны нет. Подхожу к орудию и вижу: Зеньков сидит на станине, смотрит на реку, а спина у него трясется. Не понял я сразу. «Что с тобой?» — спрашиваю. Молчит, а сам рукавом лицо вытирает. Сел я рядом на станину, молчу. Долго сидели так. А вокруг лягушки да соловьи — взапуски. Потом спрашиваю: «Зеньков, что же ты?» А он и говорит: «Сержант, ты молодой еще, может, и не понять тебе. Кабы в такую ночь не знать, что никто тебя не ждет».

Понимаешь, Алеша? А мне иногда вот в такие ночи кажется, что меня ждут,— уже другим голосом говорит Дроздов и добавляет задумчиво: — Мне часто кажется, что где-то, в каком-то городе, живет девушка, на какой-то тихой улице, в домике с окном во двор, и что мы обязательно встретимся... У тебя такого не бывает?

Дроздов поворачивает голову, смотрит на Алексея испытующе. Тот не отвечает.

— Ах, да не в этом дело! — Приподымаясь, Дроздов тянется к тумбочке, на пол падает сложенная гимнастерка, звякают ордена.— А, черт, нет, курить не буду,— говорит Дроздов, укладывая гимнастерку на тумбочку, и вдруг садится на кровати, обхватив руками колено, подставив лицо застрявшей в тополях луне. У него сильные плечи гимнаста, по-юношески круглая шея.

Алексей глядит на него с удивлением.

— Не в этом дело,— повторяет Дроздов.— Вот мне кажется иногда, что все в моей жизни не так... Понимаешь, многое зависит от самого себя. Ты думал об этом? (Алексей по-прежнему молча кивает.) Ну что такое офицер? Ведь не красивый мундир, не танцы, не балы, не белые перчатки... Все гораздо сложней. За три года войны я, конечно, узнал, как пахнет порох. Но, в сущности, я не люблю командовать. Мне легче быть солдатом... Вот у Бориса есть какая-то военная струнка. Он родился офицером. А мне, Алеша, хочется вот в такую ночь где-нибудь в горах под стрекот сверчков расставлять палатку на ночлег, рубить сучья для костра. Ведь я до войны мечтал быть геологом... Сидеть у огня после какого-нибудь черт-те какого тяжелого перехода и знать, что где-то в заросшем липами тихом переулке, за тысячи километров, тебе светят окна.

Алексей — негромко:

— Если это твоя цель, из армии надо уходить.

Дроздов смотрит на молочно-белые, обмытые лунными потоками верхушки тополей, потом проводит ладонью по лбу.

— Ты меня не совсем понял, Алеша. Я говорю о каком-то ожидании после войны. И вот когда за тысячи километров от тебя, где-то в тихом переулке, заросшем липами, тебе светят окна — понимаешь, в этом есть большой смысл! Понимаешь... без них человеку тяжелее в тысячу раз...

— Понимаю. А у тебя есть... эти окна?

— Нет.

— А были?

— Не знаю,— покачал головой Дроздов.— Не знаю. Очень странно все получилось в детстве. Хочешь, расскажу?

— Да, Толя, давай...

— Ну вот, послушай, как получилось. Читал я запоем в детстве всяких «Красных дьяволят» и все книги про гражданскую. Мать запрещала, ночью гасила свет, я читал под одеялом, светил фонариком с сухой батарейкой. А потом организовал во дворе и свою «армию» из ребят и девчат. Деревянные пулеметы, тачанки из салазок, и свой устав, и клятва. Заставил всех подписаться на бумажке кровью. Девчата, конечно, повизгивали, но тоже подписались, укололи пальцы иголкой и выдавили по капельке крови. Не помню точно, в чем был смысл этой клятвы, но, кажется, в верности друг другу. Бумажку торжественно закопали в землю и дали залп из пугачей. У нас был свой пароль, свой сигнал: три свистка под окном. Это означало: «Выходи на улицу, тревога». И если свистели вечером, каждый должен был два раза поднять занавеску: мол, понял, выхожу. И начинались сражения, наступления, разведки и атаки на «беляков». Потом забирались в пещеру — в наш штаб. Зажигали свечу, я вынимал список отряда и, как полагается командующему, насупив брови, просматривал его с комиссаром, выбирал, кого отметить и наградить. О, милое, наивное детство, мы носили даже свои ордена — вырезанные из жестянки звездочки, представляешь?

И вот, Алеша, была у меня в отряде некая Вера Виноградова. Девчонка очень бойкая, капризная, заносчивая, называла себя «Таинственная стрела». Необычайные... огромные глазищи. Мы жили в одном дворе, и все мальчишки из моего отряда были влюблены в нее. А я ничем не показывал, что она мне нравится: задирал нос и делал вид, что питаю чувства к другой, к ее подруге Клаве, а Веру прорабатывал за то, что у нее нет настоящей дисциплины, и все такое. Помню, когда играли в прятки, я старался спрятаться так, чтобы не нашли никакими силами. А она — со мной. И вот когда рядом раздавались шаги водящего, она вдруг тихонько взвизгивала, хватала меня за руку: «Ой, Толька, ты дурак, нас сейчас найдут». Я, конечно, возмущался и героически отдергивал руку. «Что за глупости, опять нет никакой

дисциплины? Товарищ Виноградова, вы позорите честь бойца!»

Однажды, помню, сидел дома один и читал. Звонок. Пришли Клава и Вера, остановились на пороге и переглядываются. А у Веры такое лицо, точно она сейчас готова на казнь. Я подтянулся, как полагается Чапаеву, хотя что-то кольнуло меня, и спрашиваю с командирскими интонациями: «В чем дело, товарищи бойцы?» — «Толя, мне нужно что-то сказать тебе»,— шепотом говорит Вера. «Да, Толя, она должна тебе что-то сказать»,— и Клава тоже смотрит на меня странно. Тогда Вера как-то виновато улыбнулась и обращается ко мне: «Я почему-то не могу, я сейчас напишу. Дай, пожалуйста, листок и карандаш». И я как сейчас помню эту ее записку: «Толя, я к тебе отношусь так, как Бекки Тэтчер к Тому Сойеру». Прочитал я и до того растерялся, что сразу уши свои почувствовал. Но, конечно, сделал суровый вид и начал несусветную глупость молоть о том, что сейчас некогда всякой ерундой заниматься — и все такое.

В общем, Вера ушла, а я в тот момент... черт бы меня совсем взял, почувствовал, что жутко люблю ее. Наверно, это и была первая любовь... А вообще первая любовь приносит больше страдания, чем радости. В этом я убежден.

Дроздов замолчал. Тишина стояла за окнами, вся заполненная звоном сверчков.

— А что же потом? — спросил Алексей.

— Потом? Потом повзрослели. В прятки и в войну уже не играли, а Вера переехала в другой дом. Редко приходила во двор, со мной была высокомерна. «Здравствуй», «до свидания» — и больше ни слова. А когда учился в девятом классе, однажды летом увидел ее в парке культуры. Сидела возле пруда в качалке и читала. Увидела меня, встала, глаза даже замерли. А я... В общем, ребята, с которыми я был, стали спрашивать: кто это? Я сказал, что одна знакомая. И какая-то сила непонятная, как тогда, в детстве, дернула меня ничего не сказать, не подойти к ней. Только кивнул — и все. Как ты это назовешь? Идиотство!.. А потом, когда уезжал на фронт, записку ей написал, глупую, шутливую: мол, отношусь к ней, как Том Сойер к Бекки Тэтчер. Большего идиотства не придумаешь.

Дроздов чуть улыбнулся, лег на спину, с досадой потер грудь.

— Потом, в сорок третьем, решил написать ей письмо из госпиталя. Но утром перечитал и порвал. Показалось — сентиментальная чертовщина, не то. Да и зачем?

Дроздов, не шевелясь, глядел на посиненный луной потолок, волосы — прядью — наивно лежали на чистом лбу, лицо в полусумраке казалось старше и строже. Алексей, облокотясь на подушку, смотрел на него с задумчивой нежностью и молчал.

А в это время в углу кубрика звучал сниженный голос Саши Гребнина:

— Немецкий язык в школе ни в коей мере не удавался мне. Пытка. Лобное место времен боярской думы. А учить — когда? Торчал день и ночь на Днепре, на стадионе нападающим бегал, что твой страус. Или на танцплощадке. Накручивали Утесова до звона в затылке. Ну, приходишь на занятия — в голове пусто, хоть мячом покати. А тут всякие перфекты. Учитель Нил Саввич прекрасно знал мою душевную слабость. Всегда, как нарочно: «Гребнин, к доске!» Иду уныло и чувствую: «Поплыл, как пробка». «Ну, футболист, переведите». И дает фразочку примерно такую: «На дереве сидела корова и заводила патефон, жуя яблоки и одной ногой играя в футбол». В шутку, конечно, для осложнения, чтобы я тонкости знал. Чуете, братцы?

Переждав, когда хохот стихнет, Гребнин со вздохом закончил:

— Смех смехом, конечно. Но как-то мы, братцы, сдадим экзамены?

Одного Бориса не было после отбоя в кубрике; не было его и в учебных классах. Только во втором часу ночи он вернулся в дивизион, и полусонный дежурный, вскочив за столиком, разлепляя глаза, произнес испуганно:

— Старшина?..

— Спокойно, дежурный,— предупредил Борис.— Градусов не поверял дивизион? Отметь: прибыл в двенадцать часов ночи. Ясно?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Его разбудило громкое чириканье воробьев. Он озяб — в открытые окна вливалась свежесть зари; одеяло сползло и лежало на полу.

«Сегодня — артиллерия»,— вспомнил Алексей, чувствуя тревожный холодок, и, вспомнив об экзамене, повернулся к окну.

На качающихся листьях, тронутых зарей, янтарно горели крупные капли росы. Суматошная семейка воробьев вдруг с шумом выпорхнула из глубины листвы, столбом взвилась в стекленеющее красное небо; кто-то гулко прошел по асфальтовой дорожке — прозвенели шпоры под окнами; наверно, дежурный офицер.

«Если еще прилетят воробьи — срежусь на баллистике,— подумал Алексей и решительно успокоил себя: — А, что будет, то и будет!»

Весь паркет был разлинован румяными полосами, все еще спали — крепок перед утром курсантский сон. Лишь в конце кубрика на койках сидели в нижнем белье взлохмаченный Полукаров с конспектом и Гребнин; дневальный Нечаев, медлительный, непробиваемо спокойный, топтался вокруг них, ворчал сквозь зевоту:

— Какая вас муха укусила? Что вы людей будите? Какой смысл?

Все дневальные после ночи дежурства непременно становятся либо философами, либо резонерами, и, наверняка зная это, Полукаров и Гребнин не обращали на него никакого внимания. Полукаров, листая конспект, почесывал переносицу и говорил утвердительным шепотом:

— Экзамены — это лотерея. А в каждой лотерее есть две категории: «повезет» или «не повезет». Повезет — твое счастье, развивай успех, выходи на оперативный простор. Не повезет — вот здесь-то на помощь тащи эрудицию. Ты должен показать, что вопрос не представляет для тебя никакой трудности. Ты скептически улыбаешься, вроде хочешь сказать: «Ах, ерунда, неужели не мог попасться вопрос потрудней, где можно было бы развернуться!» Но с конкретного ответа не начинаешь. Сначала, как бы между прочим, ты кидаешь небрежно две-три не вполне конкретные цитаты, положим, из Никифорова.— Полукаров глянул на книгу, лежавшую на тумбочке.— Как бы мимоходом, играючи, снисходительно разбиваешь их, основываясь на опыте, скажем, войны. Затем...— Полукаров выразительно поднял брови и скрестил руки на груди.— Затем ты продолжаешь развивать свою мысль, не приближаясь к прямому ответу, но все время делая вид, что приближаешься. Вот тогда, Саша,

надобно пыжиться, говорить увлеченно, страстно, надо благородно горячиться и ждать, пока тебе не скажут: «Достаточно». Тогда ты делаешь разочарованный вздох: «Слушаюсь». Пятерка обеспечена. Главное — шарашить эрудицией...

И тут, прерывая Полукарова, дневальный громоподобно оповестил:

— По-одъе-ом!

— Что ж ты, Нечаев, шляпа такая, договорить не дал? — сказал Гребнин сердито.

Вокруг было настоящее лето, с солнцем, горячим песком пляжей, с прохладными мостками купален, с зеленой водой, но в училище шли экзамены, и все радостное, летнее было забыто. С утра в коридорах учебного корпуса толпились курсанты из разных батарей. В классах — тишина, а здесь — приглушенное жужжание голосов; одни торопливо дочитывали последние страницы конспекта; иные, окружив только что сдавшего, назойливо допрашивали: «Что досталось? Какой билет? Вводные давал?»

С трудом протиснувшись сквозь эту экзаменационную толчею, Алексей подошел к классу артиллерии. Тут нитями плавал папиросный дым — украдкой накурили. Возле двери переминались, ожидая вызова, Гребнин, Луц, Степанов и Карапетянц; нехотя листая учебник, Полукаров невозмутимо полулежал на подоконнике, лицо его изображало ледяное спокойствие. Курсант Степанов, как обычно, тихий, умеренный, с рассеянным лицом, близоруко всматриваясь в Алексея, спросил:

— Ты готов, Алеша? Может, неясно что?

— В баллистике есть темные пятна, Степа. Но думаю — обойдется.

Говорили, что этот немного странный малоразговорчивый Степанов добровольно ушел в училище со второго курса философского факультета. Во время самоподготовки он садился в дальнем углу класса, читал, записывал, что-то чертил, порой подолгу глядел в окно размягченным отсутствующим взглядом. О чем он думал, что читал, что записывал — никто во взводе толком не знал. Лишь всеми было замечено, что Степанов не ругался, не курил, и некоторые над ним сначала подсмеивались. Однажды Борис, с шутливой ласковостью похлопав его по спине, иронически спросил: «Следовательно, не куришь?» — «Нет».— «И вино не пьешь?» — «Вино? Не знаю».—

«Прелесть! Люблю трезвенников и аскетов. Будешь жить сто лет!»

В то время, когда Алексей разговаривал со Степановым, из класса артиллерии взъерошенным воробьем выскочил Зимин и, прислонясь спиной к двери, потер руками пылающие щеки, весь потный, потрясенный.

— Убийство! Ужас, товарищи!..

— Что? — кинулся к нему Гребнин.— Какой «ужас»?

— Тихий ужас, Саша! — заторопился Зимин, кося возбужденными глазами.— Понимаете, товарищи, первый вопрос — сущность стрельбы — ответил. Второй вопрос и задачу — тоже. Третий — схема дальномера. Минут двадцать по матчасти гонял! Кошмар! Спиной к дальномеру — и рассказывай. На память!..

Со всех сторон посыпались вопросы:

— Какой билет достался?

— Сейчас кто отдувается?

Зимин, не успевая отвечать, поворачивал к любопытным свое пунцовое лицо и с неимоверной быстротой тараторил:

— Все спрашивают по одному вопросу, помимо билета. И комбат, и Градусов. В общем — гоняют! Убийство! Ни разу в жизни такого не видел!

— Ну, жизнь-то у тебя того... не особенно длинная,— пророкотал Полукаров скептически.— А вообще: любая обстановка, братцы, требует оценки. Так гласит тактика.— И он поосновательней устроился на подоконнике, внушительно шурша страницами учебника.— Я пока в обороне, братцы.

— А эрудиция твоя как? — спросил ядовито Гребнин.

— Это, брат, глубже понимать надо,— солидно прогудел Полукаров с подоконника.— Сообразно обстановке. Вглубь вопроса копай.

— Ясно! А я иду. Риск — милое дело! — И Гребнин с решимостью рубанул рукой воздух, шагнул к двери.— Была не была! Хуже, чем знаю, не отвечу! Ты как, Миша?

— Пора,— согласился Луц.— Ждать больше невозможно! Стоп, Саша!..

Из класса вышел лейтенант Чернецов, в новом, без единой складки кителе, молодое лицо чрезмерно сдержанно, но глаза выдавали волнение — солнечный свет из окна падал под козырек фуражки.

— Тихо, товарищи! Что за шум? — живо сказал Чернецов и обратился к Зимину: — У вас четыре. Вы хорошо отвечали, но волновались. И совершенно напрасно. Сейчас, пожалуйста, Брянцев, Гребнин, Дмитриев — входите. Где Брянцев?

«Да, где же Борис? — подумал Алексей.— Я не видел его...»

Отвечавший Дроздов на минуту замолчал у доски, густо испещренной формулами. За длинным столом сидел майор Красноселов, пожилой офицер с тонким умным лицом, с веселой насмешинкой в монгольских глазах; слева от него капитан Мельниченко, справа майор Градусов — все офицеры были по-летнему в белых кителях, золотые пуговицы сияли на солнце. С улыбкой, прорезающей лучики морщин, Градусов тихо спрашивал Дроздова:

— Так как же, а? В чем сущность определения основного направления стрельбы?

Алексей, за ним Гребнин приблизились к столу, коротко доложили, что прибыли для сдачи экзамена.

— Прошу брать любой,— предложил Красноселов, показывая мизинцем на стол, где полукругом рассыпаны были билеты.— Испытайте судьбу, так сказать...

«Какой же выбрать? Да не все ли равно? — подумал Алексей.— Что ж, попытаем судьбу!»

В это мгновение за спиной стукнула стеклянная дверь, послышались быстрые шаги и отчетливый, звучный голос:

— Старшина Брянцев прибыл для сдачи экзамена по артиллерии.

«Почему он запоздал?» — подумал Алексей и взял первый попавшийся билет, прочитал вопросы вслух:

— «Этапы подготовки первого залпа по времени. Рассеивание при стрельбе из нескольких орудий. Принцип решения третьей задачи». Билет номер тринадцать,— добавил Алексей.— Вопросы ясны.

— Хм! Для вас это весьма легкий билет,— заметил с веселой досадой Красноселов.— Впрочем, готовьтесь.

Действительно, в первый миг вопросы показались Алексею настолько знакомыми и ясными, что можно было отвечать без подготовки. Он взглянул на Бориса: тот быстро прочитал свой билет и, стоя навытяжку, с небрежной уверенностью произнес:

— Разрешите отвечать сразу?

— Вы настолько знаете суть ответов? — мизинцем потрогав бровь, спросил Красноселов и записал что-то на листке бумаги.

— Так точно,— проговорил Борис.— Разрешите отвечать?

— Нет, не разрешаю,— помахал карандашом Красноселов.— Не стоит сдавать артиллерию бегом. Первые впечатления, Брянцев, бывают обманчивы. Садитесь и готовьтесь.

В классе солнечно и тихо. Алексей придвинул к себе чистый листок бумаги, стал набрасывать ответы; он писал, почти не думая,— некими сложными, неведомыми путями память подсказывала ему первые выводы, формулы, услужливо восстанавливала координаты схем. Но было очевидным и то, что после его ответа на билет придирчивый Красноселов, разумеется, начнет спрашивать по всему курсу. Почему это и почему то? В чем сущность и в чем разница? «А представьте себе такое положение...» Это была его известная манера спрашивать.

Алексей дописывал ответы, и его уже охватывало чувство ожидания и азарта: главное казалось теперь не в ответах на этот билет, а в тех вопросах, которые будут задаваться позже. Да, но где формула решения к.п.д. орудия? Это же основа решения задачи. «Неужели не помню?» Он начал вспоминать эту формулу и внезапно почувствовал, что забыл все,— память от волнения выключилась мгновенно.

«Нужно сосредоточиться... Надо вспомнить. Не разбрасываться. Надо вспомнить эту формулу...»

Теплый ветерок нежнейшей струей тянул в класс, пахло нагретой краской столов, солнечный луч дрожал в графине с водой, зыбким бликом играл на схеме дальномера — весь класс был полон тишины, горячего солнца и воздуха. Но Алексею чудилось: комната медленно заслонялась серым туманцем, он ощутил легкую тошноту, боль в груди, слабо провел рукой по вспотевшему лицу, не понимая, что с ним: «Неужели это после госпиталя?..» И, чтобы овладеть собой, он оперся локтями на стол, стараясь ни о чем не думать; в ушах обморочно звенело.

Рядом Борис, задумчиво хмурясь, глядел в окно. Перед ним лежал билет, но он ничего не записывал. Гребнин возился около дальномера, с углубленной деловитостью вращал валики. Встретив странный взгляд Алексея, он сделал ответный знак: «Все ли в порядке?»

Алексей насильно усмехнулся глазами: «А у тебя?» — «У меня — да»,— ответил знаком Гребнин и вопросительно кивнул в сторону офицеров.

А серый туманец постепенно светлел, рассеивался, боль понемногу отпускала, только звон еще стоял в ушах, и Алексей, вытирая испарину, видел, как Дроздов, кончив отвечать, смахнул тряпкой мел с доски, офицеры вполголоса посовещались, затем дошел густой бас Градусова:

— Да, несомненно.

— Ну так кто готов? — послышался голос Красноселова.

— Я готов,— сказал Борис, выходя из-за стола.

— Я тоже,— сказал Алексей, опасаясь, что прежняя боль вернется и он уже не сможет справиться с ней.

— Оба? — спросил Красноселов.— Превосходно! Пожалуйста, курсант Брянцев. Номер вашего билета?

— Двадцать два.

— Так. Прошу вас. Что у вас? У вас... м-м... устройство и назначение прибора ПУАЗО в зенитной артиллерии? Так? Прошу не растекаться мыслью по древу — конкретно и точно.

Борис начал отвечать. Он говорил своим быстрым, четким, уверенным голосом, и Алексей старался внимательно слушать его, наблюдать за выражением лица Красноселова, который не спеша курил, со спокойным любопытством наблюдая Бориса сквозь дымок папиросы, ни разу не перебив; трудно было понять его отношение к ответу.

Майор Градусов, казалось, был углублен в себя, сосредоточен; капитан Мельниченко рисовал что-то на листке бумаги, изредка взглядывая на Бориса.

— Достаточно! — вдруг прервал Красноселов и, погасив в пепельнице папиросу, полуобернулся к Градусову: — У вас будут вопросы, товарищ майор?

Градусов откинулся на скрипнувшем стуле — в классе установилась напряженная тишина.

— Нет, вопросов не имею,— наконец сказал Градусов и промокнул платком покрытое потом красное, мясистое лицо.

— Пожалуйста, курсант Дмитриев! Ваш билет, помнится,— тринадцать? Знак чертовой дюжины. Какой вопрос первый? Что вы такой бледный? Неужели так уж волнуетесь?

— У меня... просто такой цвет лица,— неловко пошутил Алексей.— Первый вопрос...

Он отвечал не более десяти минут — Красноселов не дал ему договорить по второму и третьему вопросу, перебил его:

— Дайте-ка посмотрю ваши наброски схем. Что ж... с этим согласен. Вы это знаете. Ну, так вот что меня интересует. Расскажите мне, курсант Дмитриев, как вы учтете шаг угломера при стрельбе?

Алексею было ясно: этими вопросами Красноселов прощупывал его по всему курсу. Он начал отвечать, почему-то чувствуя себя как на качелях, делал расчеты на доске и отвечал, слыша все время, как за его спиной в классе беспокойно покашливали.

— В этом сущность теоретической ошибки дальномера,— сказал он и подчеркнул формулу.

Опять наступила тишина. Красноселов многозначительно перевел взгляд на майора Градусова, тот тяжело подвинулся на стуле, короткая багровая шея врезалась в жесткий воротник кителя. Он взял указку, в медлительном раздумье спросил:

— Н-да, так вот какой вопрос, курсант Дмитриев. Вы слышали о законе Вьеля?

«Ну, кажется, самое интересное начинается»,— подумал Алексей и ответил нарочито замедленно:

— Если я не ошибаюсь, товарищ майор...

— Что это значит, «если не ошибаюсь»? — Градусов предупреждающе постучал указкой по краю стола, как дирижер по пюпитру.— Военный человек не должен ошибаться. Прошу конкретнее!

— Я говорю «если не ошибаюсь»,— повторил Алексей,— потому что видел сноску у Никифорова, где закон газообразования носит название «закон Вьеля». В конспектах он называется просто «закон газообразования».

— Так. Верно. Это верно. Еще вопрос. Вы на энпэ. Начали пристрелку. Разрыва возле цели нет. Как вы поступите, курсант Дмитриев?

— Повторю выстрел.

— Так. Повторили выстрел. Разрыв за целью. Но вы явно чувствуете, что недолет. В чем дело?

— Значит, дым разрыва ветром унесло за цель.— Алексей даже усмехнулся: вопроса этого не было в программе.— Если, конечно, ветреный день...

Помолчав несколько секунд, майор Градусов задал следующий вопрос:

— Вы были на Курской дуге? Были. Представьте наблюдательный пункт батареи в районе магнитной аномалии, приборы врут. Ваши действия?

Алексей медлил, преодолевая желание вытереть со лба обильную испарину. «Что за вопросы он задает? Почему он спрашивает именно это?»

— Ну что же вы, курсант Дмитриев? Так, понимаете, хорошо отвечали...

— Товарищ майор,— с неожиданной резкостью сказал Алексей.— Этих вопросов я не видел в программе...

Подняв брови, Градусов выпрямился, отчего качнулся графин на столе, солнечный блик испуганно заскользил, запрыгал по доске.

— Курсант Дмитриев! — очень внятно произнес он.— Да, я задаю вам вопросы сверх программы. Но вы пропустили несколько месяцев занятий, и наша обязанность проверить ваши знания. Вы можете отвечать или не отвечать.

— Хорошо, я буду отвечать на все ваши вопросы. На Курской дуге были и такие случаи: направление стрельбы определяли по звездам, по луне, по направлению железнодорожных рельсов. Так было однажды ночью, когда буссоль не только врала, но и была разбита, а на разъезде стоял немецкий эшелон, по которому мы вели огонь. Что касается магнитной аномалии...

— Достаточно! У меня все.— Градусов похлопал указкой по ладони.— Вы свободны.

Как только Алексей положил на стол билет и вышел из класса, Градусов с усмешкой наклонился к капитану Мельниченко, проговорил:

— Похоже, орешек, как вижу. Непрост...

— Да, непрост.

Хорошо чувствовать себя свободным после экзамена, когда груз наконец сброшен, а впереди много часов беззаботного времени! Тогда особенно хочется, смеясь от удовольствия, постоять минут десять под прохладным душем, с чувством беспечности сыграть в волейбол или же независимо потолкаться в шумной курилке среди еще не сдавших экзамена. Да, артиллерия сдана, и вообще — жизнь, лето и солнце прекрасны, поэтому Гребнин, шагая

по коридору, попробовал сначала запеть, потом ему захотелось разбежаться, подпрыгнуть и качнуть недосягаемую люстру, чтобы ее сосульки хрустально зазвенели: «Четыре, четыре».

Возле каптерки он встретил официантку из курсантской столовой, кареглазую Марусю,— она, дробно перестукивая каблуками, несла поднос, накрытый салфеткой. Гребнин догнал ее, деликатно обнял за плечи и пропел на весь коридор:

— В этом доме, Маруся, в этом доме, Маруся...

— Видать, Сашенька, сдал, ежели песенки запел?

— Кто сказал, что нет? Делаю ответственное заявление, Марусенция: в воскресенье беру увольнительную и в восемь ноль-ноль, как всегда!

— Еще не раздумал, курсант удалой, с подавальщицей на танцы ходить? Или одни слова?

— Чтобы мне вверх ногами перевернуться, Марусечка! Слово разведчика — закон! Ура, вперед! В атаку!

И он гибко встал на руки, пошел по коридору вверх ногами, оставляя за собой на полу содержимое карманов.

— И-и, офицер! На голове ходит! — прыснула Маруся.— Карманы-то держи! Миллион растеряешь!

В кубрике никого не было. Дневальный, облокотясь на тумбочку, с грустным выражением читал устав.

— Дневальный! — заорал Гребнин.— Почему никого в подразделении? Что за беспорядок? Где люди?

— Слушай, Саша,— скучно пробормотал дневальный,— в вашем взводе есть Дроздов?

— Экая, брат, необразованность. Есть. А тебе какое дело?

— Слушай, не в службу, а в дружбу. Найди его и скажи: звонили из штаба училища. Приказано зайти в шестнадцать ноль-ноль к помдежу. Немедленно!

ГЛАВА ПЯТАЯ

В это время в спортивном зале, за учебным корпусом, туго стучали боксерские перчатки. В конце месяца ожидалось первое соревнование на гарнизонное первенство, и пары тренировались без перерывов.

Когда после экзамена Алексей вошел в спортивный зал, под шведской лестницей сидел Борис, уже без гимнастерки, его узкие глаза весело блестели.

— Алеша, поздравляю! Говорят, ты устроил фейерверк?

— Фейерверка не было,— ответил Алексей.— По крайней мере, я не заметил.

— Не скромничай,— сказал Борис с несколько капризной гримасой.— Молодец — и все. Ведь я тебя люблю, Алешка!

— И я тебя,— полушутливо сказал Алексей,— и сам не знаю за что. Ты с Толькой сегодня?

— С ним. Ты посмотри на него. Джо Луис, а?

В спортивном зале уже собирались курсанты из всех батарей, становилось шумно; перчатки глухо, плотно ударяли в грушу; в стороне от ринга Луц в майке, в широких трусах прыгал через веревочку, тренируя ноги; около вешалки раздевался Витя Зимин; сняв гимнастерку, он стыдливо шевелил голыми плечами, а поодаль Дроздов, подаваясь вперед, равномерно наносил удары по груше, мускулы упруго играли на его спине. Борис не без ревнивого интереса наблюдал за ним, сказал утвердительно:

— Да, у него великолепный прямой, видишь?

Перестав прыгать через веревочку, Луц, отдуваясь, пощупал свои бицепсы, прокричал Борису с игривым вызовом:

— Побоксируем, чемпион? Получишь нокаут в первом раунде!

— У тебя слишком узкая грудная клетка,— добродушно ответил Борис.— Я не убийца слабосильных, Миша.

В эту минуту подошел тренер, высокий, рыжий, с секундомером в руках, придирчиво оглядел Бориса с ног до головы, спросил:

— Как настроение?

— Как всегда, маэстро! — оживленно ответил Борис и задвигался, разминая ноги.— Я готов.

— На ринг!..

— Веселое дело,— войдя в зал, сказал Гребнин и втиснулся в толпу курсантов, обступивших ринг и боксирующих.

Дроздов уходил в защиту, и Гребнину показалось, что Борис избивает его, мощно и уверенно наступая, слегка нагнув голову, собрав корпус; в его смуглом, разгорячен-

ном лице, в жесткой прядке волос, взлетавшей при каждом ударе, было что-то упорно беспощадное. Дроздов, отступая, короткими контратаками отбивал этот натиск, видимо стараясь не вступать в близкий бой, но Борис вдруг сделал боковое движение и, мгновенно разогнувшись, справа нанес неумолимо резкий удар, голова Дроздова откинулась.

— Братцы, это ж избиение! — закричал Гребнин.— Куда смотрит судья?..

А Дроздов упал спиной на канаты, прикрыв грудь перчатками, потом опустился на одно колено, обмяк и лег на бок, щекой к полу; Борис в нетерпении пританцовывал над ним, тяжело дыша.

— Раз, два, три, четыре...— отсчитывал рыжий судья, отмахивая рукой, глядя на Дроздова остро и ждуще,— пять...

— Дроздо-ов! Толя-а! — заревел кто-то диким голосом.— Встать! Встать!

— Семь...— отсчитал судья.

— Дроздо-ов! О-ох!..— прокатилось по залу, и раздались громкие хлопки.

Было удивительно, что на восьмом счете Дроздов медленно поднялся, левой перчаткой откинул волосы на виски, взглянув в глаза Бориса с упрямой серьезностью. Тот со всхлипом переводил дыхание, все ждал, танцующе покачиваясь от нетерпения, и никак не мог отдышаться. Он старался улыбнуться, выказывая каучуковую накладку на зубах.

Всем телом собираясь к атаке, гибко нырнув, нанося почти незаметные удары, Дроздов заставил его отступить на несколько шагов назад и тотчас снова настиг его левой рукой. Это была великолепная серия. Зал охнул от неожиданности. Борис, изумленно вскинув брови, прикрылся, не сводя испытующего взгляда с лица Дроздова, и отходил в угол, с ожесточением защищаясь,— он, очевидно, не ожидал этой атаки. Обливаясь потом, он жадно заглатывал воздух.

В зале — тишина.

После одного из ударов Борис упал спиной на канаты, но оттолкнулся, пружинисто вскочил на ноги и стоял оглушенный, закрываясь перчаткой. Внезапно на влажном его лице появилось какое-то новое выражение, взгляд заострился, губы сжались...

В зале закричали, засвистели, Гребнин ничего не понял — впереди подпрыгнули сразу несколько человек и головами загородили боксирующих. Когда же Гребнин протиснулся к самой площадке, то увидел: противники сидели на стульях в разных концах ринга, и Борис, откинувшись, потирая потную, вздымавшуюся грудь, прерывисто вбирал ртом воздух. Вокруг неистово кричали: «Брянцев! Дроздо-ов!», и, слушая эти крики, Борис рывком встал, чуть пошатываясь подошел к Дроздову, дружелюбно обнял его и, как бы обращаясь к залу, сбившимся голосом выговорил:

— Спасибо тебе, Толя, за отличную атаку!..

Алексей улыбнулся. Ему было ясно, что Дроздов, несомненно, обладал прекрасной техникой, и это наигранное великодушие Бориса было неуместно.

Тут Гребнин, наконец пробравшись к Дроздову, пожал ему влажный локоть и сказал, что его вызывают в штаб училища.

— По какому поводу?

— Не имею понятия.

— Ты, Борис, все-таки защищаешься однообразно. У тебя хороший удар справа, но ты не используешь все комбинации, не экономишь силы. Левая сторона у тебя открыта.

Дроздов говорил это, стоя под душем, растирая ладонями мускулы, прохладные струи плескали по спине и плечам, теплый ветерок веял в открытое окно душевой, и солнце блестело на кафельном полу, на мокрых решетках раздевалки. Борис мылся в соседнем отделении и, еще возбужденный боем, с наслаждением фыркал, звучно шлепал себя по мокрому телу.

— Понял мои слабые стороны?

— Да, и сказать тебе о них необходимо. Не со мной одним драться будешь. А впрочем, можешь и не слушать.

— Ладно, учтем,— небрежно ответил Борис.— Благодарю.— И, помолчав, спросил: — Ты идешь сегодня в увольнение?

— Не знаю.

— А я иду. Ты веришь... Кажется, я влюбился. У тебя не бывало? Из-за этого чуть на экзамен не опоздал. Звонил, звонил по телефону — не дозвонился.

— Как ее зовут?

— Майя.

— Хорошее имя... Майя...— повторил Дроздов.— Какое-то весеннее.

Когда Дроздов вышел из училища, затянутый ремнем, в фуражке, сидевшей строго на два пальца от бровей, он почувствовал, что вот сейчас, после душа, по-настоящему испытывает всю прелесть июньского субботнего дня. Возле училищного забора зеленела густая трава, облитая жарким полднем, и жарко было в орудийном парке. Везде было лето — и в голубом небе, и в этой зеленой траве близ заборов, где сухо трещали кузнечики, и в улыбках курсантов, и в часовом, стоявшем со скаткой в пятнистой тени. Всюду пахло горьковатыми тополиными сережками; они, как гусеницы, валялись на плацу, под ногами разомлевшего от зноя часового, на крышах проходной будки и гаражей. Они цеплялись за фуражку Дроздова, за его погоны.

Дежурный по контрольно-пропускному пункту спросил увольнительную, но Дроздов объяснил, что идет в штаб, и вышел через проходную на улицу. Соседний дворник, в переднике с бляхой, известный всему училищу дядя Матвей, поливал из шланга тротуар. В дебрях его дореволюционной бороды торчала поразительная по размерам самокрутка. Упругая струя звонко хлестала в асфальт, в стволы деревьев; вокруг бегали босые мальчишки в намокших майках, стараясь наступить на шланг.

— Брысь отседова! — отечески покрикивал дядя Матвей.— Долго вы, пострелята, будете хулиганить на водопроводе? Чему вас в школе учат, шарлатаны?

Увидев Дроздова, он широко ухмыльнулся, борода разъехалась в стороны, и он, зажав шланг под мышкой, приставил руку к кепке.

— Командиру — здравия желаю!

И Дроздов в ответ тоже приветливо улыбнулся, принял под козырек.

На углу виднелся белый двухэтажный дом — штаб училища, здесь же в тени продавали газированную воду, и стояла очередь, совсем как в Москве в знойный день.

Только что подвезли на машине лед; он лежал прямо на тротуаре большими голубоватыми кусками. Дроздов с удовольствием выпил холодной газировки, хотя пить ему не хотелось: просто решил вспомнить Москву, постоять в очереди, как когда-то до войны, посмотреть, как

наполняется стакан пузырящейся, шипящей водой, взять мокрый гривенник — сдачу.

Дроздов легко взбежал по коврику, разостланному на широких ступенях мраморной лестницы, поднялся на второй этаж, в штаб.

В маленькой дежурке двое дневальных сидели у телефонов. Один принимал телефонограмму и записывал в журнале. Другой — белесый, полноватый, с минуту таинственно разглядывал Дроздова, наморщив нос, смежив по-коровьи белые ресницы,— выражение было загадочным сверх меры.

— Значит, Дроздов,— сказал этот дневальный хитрым, всезнающим голосом.— Моя фамилия — Снегирев. Два сапога — пара. Согласен? Иль — возражаешь?

— Меня, кажется, вызывали.

— Хм. Та-ак,— протянул Снегирев значительно.— Так и запишем. Ты откуда сам? Где у тебя, скажем, семья?

— Что за допрос?

— Закурить, скажем, есть? — увильнул от ответа белобрысый Снегирев и еще плотнее смежил коровьи ресницы.— Скажем, на папиросу?

Дроздов выложил папиросы на стол, и Снегирев, закурив неторопливо, выпустил длинную струю дыма, искусно надел на эту струю волнистые колечки, покосился на часы и протянул весьма серьезно:

— М-да-а, такие дела-то, папиросы у тебя сыроватые... Старшина, никак, такие получил? Н-да-а, значит, твоя фамилия Дроздов? Это значит, прадед или какой предок дроздов ловил. А мой — снегирей. Согласен? Иль — возражения?

— Слушай, да хватит тебе, в чем дело?— начиная терять терпение, проговорил Дроздов.— Чего тянешь? Получается как у тех двоих в анекдоте. Один: «Вот дождь идет». А другой: «А я утюг купил». Говори сразу, откуда ты такой хитрый?

— Я? Из второго дивизиона.— Снегирев опять невозмутимо пустил струйку дыма, опять нанизал на нее колечки.— А уйти ты не уйдешь. А может, тебя, скажем, к начальнику училища вызвали, ты откуда знаешь? — И он с независимым видом принялся разглядывать свои сапоги.

— Слушай! — Дроздов поднялся.— Я ухожу.

— Так и уйдешь? — заинтересовался дневальный.— На каком основании?

— Уйду, разумеется! Какого черта!..

— От своего, можно сказать, счастья уйдешь,— сказал Снегирев и наконец с разочарованным вздохом протянул телеграмму.— На. Да ты и не рад, вижу. А я-то, скажем, думал...

Дроздов вскрыл телеграмму, прочитал:

«Получила назначение. Буду проездом третьего. Пятнадцатым, вагон восемь. Вера».

— Проездом...— ошеломленно прошептал Дроздов и пошел к выходу.

— Вот тебе и проездом,— философски заключил дневальный и, всполошившись, закричал вслед: — Папиросы-то, папиросы! — Он догнал Дроздова в коридоре и тут спросил сочувственно: — Хорошая телеграмма-то или плохая? А? Чего ты нахмурился?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В листве тополей занимался золотистый летний вечер, и Майя сидела на подоконнике немножко боком, так, чтобы солнце освещало на коленях учебник, раскрытый на сто двадцатой странице. С волейбольной площадки во дворе доносился гулкий стук мяча, и она не могла сосредоточиться.

Собственно, все получилось из-за пустяка: она познакомилась с Олегом на площадке, он играл «на гасе», молниеносным загибом руки посылал мяч по ту сторону сетки, а ей было особенно легко, приятно пасовать ему. Во время игры пришел Борис, незаметно и долго стоял среди зрителей, наблюдая, и Майя, увидев его, обрадованно кинулась к нему в секунды перерыва, закричала: «К нам, сейчас же к нам!» — «Почему же к вам, у вас достаточно сильные игроки, если быть справедливым».— «Тем лучше! — воскликнул Олег.— Играйте, артиллерист, на той стороне!»

Он начал играть по другую сторону площадки, и через несколько минут все изменилось — его синяя майка мгновенно появлялась возле сетки, где мелькала желтая майка Олега, который ожесточенно гасил, а он парировал, и мяч с силой отскакивал в сторону под восторженные крики зрителей. Потом он перешел в наступление — мяч с пушечным треском стал падать на площадке Майи,

и в конце игры она едва не плакала от бессилия, почти ненавидела Олега; он сник и двигался как обреченный.

После игры Борис взял со скамейки гимнастерку, перекинул ее через руку, добродушно сказал Майе, что очень хотел бы умыться, если она разрешит. «Так вот ты как играешь,— проговорила она, когда они вошли к ней в комнату, и, очевидно, для того, чтобы сделать ему больно, добавила: — Ах, как мне Олега жалко!» — «Жалко? — удивился он и, умывшись в ванной, тщательно причесанный, не без досады взглянул на часы.— А мне жаль, что время увольнения я так бессмысленно истратил на волейбол!»

Несколько дней он не приходил, но Майя знала: в училище шли экзамены. Шли экзамены и в ее институте, она сдала уже патологическую анатомию, готовилась к общей терапии — предмету, наиболее любимому ею, о котором Борис, посмеиваясь, говорил, что это лишь комплекс человеческого внушения, как страх и преодоление страха на фронте.

Борис был старше ее, и, кроме того, за его спиной оставалась необычная, опасная жизнь войны, что резко отделяла его от многих Майиных однокурсников, и у нее было такое чувство, что рядом с ним можно с закрытыми глазами не бояться ничего. Порой Борис был сдержан, порой в него вселялась неистовая энергия, он шутил, острил, смеялся, и, когда шел с ней по улице, звеня орденами, загорелый, веселый, она испытывала смутную ревнивую радость.

В течение тех дней, когда он не приходил, она внушала себе быть с ним равнодушной — недавняя его холодность задевала ее.

В тот вечер невозможно было перевернуть сто двадцатую страницу учебника по общей терапии. А закат горел, угасал над дальними крышами, в вишневом разливе вычеканивались силуэты тополей, вырезанные черным по красному, звук волейбольного мяча отдавался в глубине двора.

Вдруг, опомнившись, Майя соскочила с подоконника, зажгла свет — в комнате уже стемнело; с сердцем швырнула учебник на стол, прошлась из угла в угол, утешая себя: «Глупости! Глупости всё!»

В передней раздался продолжительный звонок. Так звонили обычно по вечерам, чтобы пригласить играть в волейбол, и она, подойдя к двери, сердито крикнула:

— Фигушки! В волейбол играть не иду!..

Однако звонок настойчиво повторился. Майя, сдвинув брови, щелкнула замком и отступила на шаг: на пороге темной передней стоял Борис. Он снял фуражку, улыбаясь глазами, спросил:

— Можно к тебе?

Майя заложила руки за спину.

— Что же,— проговорила она холодно.— Только не споткнись, здесь тумбочка.

— Ничего, не упаду. Разреши пройти в комнату?

— Входи.

— Здравствуй.

Но она, не подавая руки, отступила еще на шаг.

— Майя, что случилось?

— Ничего не случилось.

— Ты сердишься на меня?

— А почему я должна на себя сердиться?

— Майя, я сдавал экзамены.

— Очень хорошо. И я тоже сдаю.

— Я только на две минуты, не помешаю.

— На две — пожалуйста. Но я проверю по часам.— По-прежнему держа руки за спиной, она посмотрела на его лоб и, не сдержавшись, воскликнула: — Господи! Откуда у тебя такой синяк?

— Пустяки. Сегодня была обычная тренировка. Перед гарнизонными соревнованиями по боксу. Можно закурить?

— Сейчас дам пепельницу. Ну и здоровый же синяк! Садись вот сюда на диван.— Она поставила на стол пепельницу — маленького галчонка с разинутым клювом.— Тебе, видно, основательно досталось.

— Немножко,— весело ответил он, садясь на диван, и размял папиросу над разинутым клювом галчонка.— А впрочем, не совсем так.

Он чуть щурился, затягиваясь папиросой, его загорелое лицо при зеленом свете настольной лампы показалось ей размягченным, задумчивым, а она все стояла в тени, глядя оттуда настороженно, как бы мстя ему сдержанностью за его долгое невнимание.

— Ты что-то хочешь рассказать, Борис?

— Знаешь, я артиллерию сдавал сегодня как на крыльях. Не знаю почему.

— Что получил?

— Конечно, пять.

— Почему «конечно»?

— Ну пять.— Он примирительно засмеялся.

— Какой все-таки ужасный синяк! — сказала она, вглядываясь.— Слушай, хочешь, я тебе сделаю примочку?

Он не успел ответить, она вышла из тени абажура, направилась в другую комнату и через минуту вернулась с пузырьком и ватой, приказала, подойдя к дивану:

— Поверни лицо к свету. Не смотри на меня, смотри в сторону, вот так... Встань, а то мне неудобно.

Он поднялся, и она повернула его лицо к свету, легкими пальцами притронулась ко лбу, старательно встала на цыпочки, невольно касаясь грудью его груди,— и вдруг покраснела, с улыбкой сказала:

— Нет, ты очень высокий, лучше сядь.

Она наклонилась, смочила вату жидкостью из пузырька и, приложив к его лбу что-то мягкое, холодное, щекочущее, спросила:

— Больно? — Глаза ее, темные, как ночная вода, приблизились к его лицу, и губы перестали улыбаться.

Ему стало горячо от ее дыхания, и в тумане головокружения мелькнула мысль, что губы у нее упругие и нежные, а он видел их очень близко, эти ее мгновенно переставшие улыбаться губы.

— Нет...— наконец ответил он и поперхнулся.

— Неправда, у тебя даже лоб стал влажным.

Пересиливая себя, он с хрипотцой в голосе сказал совсем не то, что хотел сказать:

— Пойдем в парк... Там гулянье сегодня.

Держа в одной руке пузырек, в другой вату, она задумчиво мяла в пальцах тампончик.

— Тебе хочется в парк? Серьезно?

— Хочется.

— Хорошо. Только на час, не больше. Мне нужно учить свою терапию.

— Даю тебе слово — на час.

— Хорошо. Тогда мне нужно переодеться. Подожди.

Майя вышла в соседнюю комнату, а он, облокотясь на подоконник, расстегнул воротник гимнастерки на ветерке, обдувавшем его прохладой вечера, и еще чувствовал то случайное прикосновение Майиной груди, когда встал с дивана, весь словно охваченный огнем, и видел ее переставшие улыбаться губы. В тишине он слышал ее

шаги в соседней комнате, потом из-за двери донесся жалобный вскрик:

— Ой!

— Что случилось? — громко спросил он, и жаркая сила толкнула его в соседнюю комнату.

— Что ты делаешь? Не входи! Я еще не оделась.

— Но что случилось, Майя?

Нет, конечно же, ничего страшного не произошло — она стояла у раскрытого гардероба, верхняя вешалка оборвалась, платья кучей лежали на полу, и она повторяла испуганно:

— Не смей, не входи! Как не стыдно! Слышишь? Не смей!

Она спряталась за дверцу, ее босые ноги беспомощно переступали по упавшей одежде, дверца шкафа косо двигалась, сверкая зеркалом прямо ему в лицо, и он даже засмеялся.

— Майя, послушай...— Он вошел в комнату и начал торопливо собирать платья на полу.— Я тебе помогу... Я быстро, Майя...

А она, все загораживаясь дверцей, говорила умоляюще и торопливо:

— Борис, уйди, не то завизжу на всю квартиру. Уйди же, прошу тебя!

Тогда он выпрямился и осторожно, с опасением глядя на эту злополучную дверцу, спросил тихо:

— Разве ты не любишь меня?

— Борис, уйди, не надо, не надо же! Я... ничего не могу ответить, я босиком...

Она сказала это по-детски наивно, и он проговорил с замиранием в голосе:

— Майя... Ты не ответила...

И, не услышав ответа, потянул на себя зеркальную дверцу. Большие темные, замершие глаза смотрели на него в упор с мольбой и отчаянием.

— Майя, я люблю тебя... А ты?

Он увидел, как маленькие прозрачные слезы горошинками покатились по ее щекам, губы задрожали, и она, отворачиваясь, прошептала еле слышно:

— Ты... ты не спрашивай...

Потом, когда все случилось, Майя плакала и говорила, что так никогда больше не надо, что это стыдно, что ей

нехорошо, и, вспоминая ее слова, ее слезы, он невольно зажмуривался от нежной жалости к ней.

Возвращался он в училище в тот безлюдный час рассвета, когда недавно погасли над белеющими мостовыми фонари и уже светлели задернутые на окнах занавески. И только он один не спал в эти ранние часы и, слыша звук своих шагов, шел по пустынным улицам, мимо закрытых подъездов, мимо гулких, еще темных парадных, шел счастливый, влюбленный...

«Все будет хорошо,— думал он возбужденно.— Ах, как все будет хорошо! Я закончу училище, попрошу назначение в Ленинград, возьму ее с собой. Нет, все прекрасно, отлично!»

Однако, как это часто бывает, радость ходит рядом с бедой — в тихом по-ночному вестибюле дивизиона его остановил невыспавшийся, встревоженный дежурный, сообщил:

— Старшина, тебе немедленно надо позвонить командиру дивизиона. Тут, понимаешь, он проверял уволенных в город, тебя не было. Приказал: придешь — немедленно позвонить ему на квартиру.

— Сам проверял? Когда? — Борис быстро глянул на часы.— И что? Что он сказал?

— Позвони, старшина.

Борис решительно набрал номер телефона; квартира командира дивизиона томительно молчала; затем в трубке послышался кашель, осипший, заспанный голос:

— Слушаю. Майор Градусов.

— Товарищ майор, вы приказали...

— Кто? Что?

— Старшина Брянцев говорит.

Молчание.

— Вот что, старшина Брянцев, вы когда пришли из увольнения? В четыре часа утра. А у вас увольнительная до двенадцати. В двенадцать часов вы сами лично должны были проверять увольнительные, а вы где были?

— Я провожал девушку, товарищ майор.

— Провожали девушку и забыли о своих прямых обязанностях? Вы полагаете, что старшина дивизиона может нарушать устав?

— Товарищ майор...

— Удивляюсь, старшина Брянцев, в дивизионе нет еще надлежащего порядка, а вы сами опаздываете из увольнения на четыре часа. Вот, специально собрал все

ваши увольнительные. За месяц. Значит, вы каждый раз опаздывали. Куда вы ходите?

— Разрешите на этот вопрос не отвечать, товарищ майор. Это мое личное дело...

— Личное, говорите? Я о вашей судьбе думаю, Брянцев! Кто эта девушка? Чем она занимается?

— Товарищ майор, это хорошая девушка...

— Та-ак! Я вот что хочу вам сказать. Вы, Брянцев,— старшина дивизиона, и вы знаете, что младшие командиры — опора офицера. Вы фактически мой первый помощник в дивизионе среди сержантов. И вы почти на правах офицера. В столовую и на занятия вы ходите вне строя, вечером вы располагаете своим временем как хотите, у вас неограниченное увольнение в город. Наконец, живете в отдельной комнате, тоже как офицер. Все это дано вам для того, чтобы вы отлично, в пример другим, учились и тщательно следили за дисциплиной в дивизионе, за чистотой матчасти, за дежурными. Вы фактически участвуете в воспитании курсантов. Но не вижу, чтобы это вас очень волновало. Если я вас сниму — подумайте, с какой аттестацией вы поедете в часть. Вам была предоставлена возможность показать себя образцовым младшим командиром. А вы уже сейчас начинаете портить свое будущее. Разумеется, любить хорошую девушку вам никто не запрещает. Но если это мешает службе и заставляет вас нарушать порядок, тот, который вы сами обязаны поддерживать,— я подумаю, оставлять ли вас старшиной. В дивизионе есть более достойные люди, Брянцев!.. Спокойной ночи!

Градусов положил трубку, а Борис все стоял у телефона, чувствуя, как ознобом охватывает колючий холодок.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поезд прибывал в десять часов вечера.

Всюду сидели, вповалку лежали люди, играли в домино, иные пили кипяток из жестяных кружек; по залам суматошно бегали демобилизованные солдаты в распахнутых, без погон и ремней шинелях, требовательно искали военного коменданта; вокзал гудел, дрожал, сотрясался от рева проходивших паровозов, черный дым стлался за грязными окнами. Истомившись в ожидании, Дроздов тоже стал искать дежурного, с трудом нашел

его — тот, небритый, задерганный, сжатый напиравшей со всех сторон толпой, с привычной безразличностью отвечал на вопросы — и нетерпеливо спросил, не опаздывает ли московский поезд.

— Данный поезд идет по расписанию... по расписанию,— однотонно ответил дежурный: видно было, что вопросы эти беспредельно надоели ему.

Потом, чтобы как-нибудь скоротать время, Дроздов попробовал заговорить с заросшим щетинкой демобилизованным солдатом, который с потным, умиленным лицом отхлебывал чай из фронтовой кружки.

— Ну как, домой? — спросил Дроздов.

— Домо-ой,— обрадованно протянул солдат и громко откусил кусочек сахару.— Отвоевался. В Воронеж двинем. А как же! По дома-ам... А тебе, сержант, трубить, значит?

— Что?

Он не мог ни на чем сосредоточиться — и толкового разговора с солдатом не получалось. За несколько минут до прибытия поезда Дроздов вышел на платформу; после духоты вокзала обдало свежестью — запад пылал в закате, зловеще и багрово горели стекла вокзала, и багровы были лица носильщиков, покуривающих на перроне. Впереди, уходя в туманную степную даль, уже мигали, мигали среди верениц вагонов красные, зеленые огоньки на стрелках, там тонко и тревожно перекликались маневровые «кукушки». Дроздов подошел к пыльным кустам акации, облокотился на заборчик. Здесь пахло вечерней листвой, и этот запах мешался с паровозной гарью и дымом — это был особый, будоражащий запах вокзала, железной дороги, связанный с далекой грустью детства.

Вдруг на платформе произошло беспокойное движение, люди густо повалили из дверей вокзала; с мягким шумом прокатила почтовая тележка: «Па-азволь, па-азволь!..» Тотчас прошел дежурный в фуражке с красным верхом. Какая-то озабоченная женщина в сбившемся на плечи платке заметалась по платформе, вскрикивая:

— Гражданин, тридцатку не разобьешь? Брата я провожаю, тридцатку бы!..

И где-то близко, за огоньками стрелок, предупреждающе мощно, победно загудел паровоз; тотчас щелкнуло, захрипело радио, и в этом реве паровоза едва можно

было расслышать, что поезд номер пятнадцатый прибывает к первой платформе.

Дроздов с медленно ударяющим сердцем пошел по перрону.

Справа, в коридоре между темными составами, появился желтый глаз фонаря. Он приближался... Розоватый от заката дым струей вырывался из трубы паровоза. Потом здание вокзала загудело, вздрогнуло — и, обдав горячей водяной пылью, паровоз с железным грохотом пронесся вблизи, и, замедляя бег, замелькали запыленные зеленые вагоны с открытыми окнами.

«В каком же она? — стал с лихорадочной быстротой вспоминать Дроздов, наизусть помнивший текст телеграммы, и, тут же поймав взглядом проплывавший мимо вагон № 8, перевел дыхание: — В этом! В восьмом...»

Поезд остановился, и он начал протискиваться сквозь хлынувшую на перрон толпу солдат и встречающих, глядя вперед, где появлялись взволнованные красные лица, и в следующую минуту увидел ее, не сразу поняв, что это она.

Она выходила из тамбура, осторожно ступая, держась за поручни, она спускалась по ступеням в кишащий на перроне народ, заранее улыбаясь. А он, увидев ее, не в силах был сразу подойти, окликнуть: в этом узком сером костюме, в тугой прическе, в красивом лице и в этой ее заранее приготовленной улыбке было что-то новое, взрослое, незнакомое ему. Неужели это она когда-то написала, что относится к нему как Бекки Тэтчер к Тому Сойеру?

— Вера!

— Толя... Анатолий! — И она с изумлением вскинула на него свои светлые, широко раскрытые глаза.— Здравствуй же, Толя!..

Тогда он, не находя первых слов, не в силах овладеть собой, сильно, порывисто обнял ее и долго, пока хватило дыхания, не отпускал ее губ.

— Толя, подожди, подожди же!..

Вера оторвалась, откинула голову, и он, увидев на ее лице растерянное, мучительное выражение, наконец выговорил:

— Как ты здесь? Почему?

— Я?.. Проездом! Из Москвы! — Она постаралась оправиться и, точно боясь, что он еще что-то спросит, добавила поспешно: — Я узнала твой адрес. Я узнала...

— От кого?

— От твоей мамы. Я заходила перед отъездом.

— Вера, куда ты едешь?

— Далеко, Анатолий... Почти секрет!

— Нет, куда ты едешь? Я просто не отпущу тебя! Я четыре года тебя не видел!

Она носком туфли потрогала камешек на перроне.

— Поздно... Ох, как поздно! — и принужденно улыбнулась.— Послушай, Толя, я еду в Монголию... Я ведь геолог, Толя...

— В Монголию?! Нет, Вера, ты останешься здесь на сутки! Сутки — это пустяки! — заговорил, как в бреду, Дроздов и решительно шагнул к вагону.— Мы должны обо всем поговорить! Где твое купе? Я возьму вещи. Ты остановишься в гостинице, а насчет билета я побеспокоюсь.

— Анатолий, подожди! — растерянно крикнула она и схватила его за руку.— Что ты делаешь? Ты серьезно?

— Вполне... Просто я... не знаю, когда еще увижу тебя.

— Ну зачем? Зачем эта мелодрама, мой милый...

Эти слова больно задели его, мгновенно сделали ее чужой, опытной, недоступной.

Ударил первый звонок. Неужели отправление? Да, видимо, поезд запаздывал: звонок дали раньше времени, и Дроздов, все еще не понимая, сопротивляясь, торопливо заговорил:

— Вера... погоди, послушай, мы должны поговорить обо всем, ты останешься на сутки! Я возьму твои вещи! Где твое купе?

Она остановила его:

— Не надо! Я не хочу! Я не могу!..— И, торопясь, как если бы искала спасения, подошла к площадке вагона и крикнула неестественно звонким голосом: — Сергей, пожалуйста, спустись и познакомься! Это Толя Дроздов...

И Дроздов понял, что свершилось непоправимое.

Высокий, худощавый парень в накинутом на плечи пиджаке, с бледным, напряженным лицом спустился на перрон, неуверенно протянул руку.

— Я вас знаю,— сказал он и запнулся.— Я учился... в параллельном классе, в пятьсот девятнадцатой школе... Голубев.

Ударил второй звонок.

— А я никогда вас не знал! — резко ответил Дроздов и непонимающе посмотрел на Веру.— Кто это?

— Это Сергей. Мы вместе кончили институт. Сергей Голубев... Разве ты не помнишь его?

Было ли это?..

Да, Вера ехала из Москвы в Монголию. Он еще не все до конца понял в ту минуту, когда поезд тронулся.

«Прощай»! Да откуда она взяла это старинное, душно пахнущее пылью слово? Ведь есть другие слова!»

— До свидания! Желаю удачи! — сказал он ей.

Потом отдаленный перестук колес, огонь фонаря, уплывающего в ночь, тишина, безлюдность на платформе. Бумажки, поднятые ветром, садились на пыльные акации в конце перрона. Шум поезда стих. В последний раз из степи донесся глухой рев паровоза.

Дроздов побрел по платформе. Хотелось курить. Было пусто и горько...

Он вынул зажигалку, высек огонек; когда прикуривал, от руки, мнилось, повеяло слабым запахом сирени. Вера замужем?.. Нет, этого не может быть! Почему же не может?.. Вероятно, это так...

Он незаметно для себя вышел на центральную улицу.

— Извините,— сказал кто-то, задев его плечом.

Навстречу текли вечерние толпы гуляющих, в тени тополей по-летнему белели платья; там вспыхивали огоньки папирос, разговаривали, смеялись; на углу мальчишеский голос закричал с пронзительной настойчивостью:

— Дяденька, купите георгины, сделайте приятное!

Ему не надо было спешить в училище, и он долго бродил по улицам мимо зажженных витрин; затем так же бесцельно остановился на площади, где над крышей перебегали, гасли и светились неоновые буквы рекламы: «В «Орионе» — художественный фильм «Небо Москвы», а около яркого подъезда кинотеатра бойко продавали жареные семечки и табак; парень на костылях, в заношенной гимнастерке, с двумя медалями, топтался на ступенях, провожая смешливыми глазами прохожих, выкрикивал сипловато:

— Ас-собый, ас-собый! Только по пятерочке, только по пятерочке! Покупайте, братцы, братцы-ленинградцы! Товарищи, подходи, друга не подводи! «Казбек» есть!

Рубль штучка, на пятерку — кучка! Покупай, товарищ, «Казбек» с разбегу! — Он заметил Дроздова, качнулся к нему на костылях.— Берешь?

— Ты, парень, из Ленинграда? — почему-то спросил Дроздов.

— Нет, это я чтоб складно было... Покупай, друг, подходи, фронтовиков не подводи! Фронтовику цену вдвое сбавлю! Бери, кореш...

Почти машинально Дроздов взял штучных, машинально заплатил десять рублей, пошарил по карманам, добавил еще пять, сказал:

— Послушай, а вообще — твое ли это дело?

Подвижное лицо парня мгновенно выразило настороженное внимание.

— Спасибо, друг, намек понимаю. Я, фронтовичок, в девяносто второй гвардейской служил... Под Генераловкой — миной!.. Пришел, брат, женился, деньжонок не хватает.

И он, спрятав деньги в нагрудный карман, вновь закричал зазывно и весело:

— Ас-собый, ас-собый!..

Дроздов миновал квартал, свернул в темный переулок с нависшими над тротуаром деревьями, опять вышел на освещенную улицу и здесь поразился вдруг, вспомнив парня на костылях: из городского парка совсем по-мирному доносились звуки оркестра, как будто войны никогда и не было.

Он увидел залитую огнями арку, увитый вьюнами забор, капли желтых фонарей, горевших вдоль песчаных дорожек, праздничные потоки народа на липовых аллеях.

Затем он сидел против летней эстрады-купола, где играл симфонический оркестр. Было свежо, пахло близкой водой. Все скамьи перед эстрадой были заняты, сбоку и позади стояли; папиросный дым подымался над головами мужчин. А вокруг зааплодировали, дирижер на эстраде раскланивался; фалды его фрака растопыривались подобно крыльям птицы. Справа лысый мужчина поправил очки и оглушительно захлопал, толкая Дроздова локтем; слева светловолосая девушка с книгой на коленях сидела безучастно, подперев кулачком висок, и глядела на огни рампы.

Дроздов закурил, дымок папиросы пополз в ее сторону, девушка отняла руку от виска, мельком глянула серыми глазами, и он, погасив папиросу, сказал глухо:

— Простите.

— Пожалуйста.— Девушка чуть-чуть кивнула, но внезапно брови ее вопросительно дрогнули, и она сказала шепотом: — Я вас знаю, кажется... Вы из первой батареи, из артиллерийского училища? Я не ошиблась?

— Нет.

— Я видела вас в госпитале. Вы приходили к Дмитриеву?

— Да.

— Ну вот, значит, верно.

— Вы из госпиталя? — наконец догадался Дроздов.— Вы, наверное, Валя?

— Да. А вы мне как раз нужны.

— Потише, это невыносимо! — зашипел мужчина в очках.— Не дают слушать музыку.

— Правда, надо слушать что-нибудь одно. Извините нас.— Валя, усмехнувшись, взяла книгу, предложила Дроздову: — Пойдемте отсюда. Я напишу Дмитриеву записку.

Они присели на скамеечке под фонарем, и Дроздов безмолвно глядел на быстро бегающий по листку бумаги карандаш, потом Валя отдала ему свернутый листок.

— Напомните многоуважаемому Алексею Дмитриеву, что в городе существует госпиталь, куда ему давно уже надо прийти для проверки. Рентген не такая уж страшная вещь, чтобы от него бегать. И медсестер тоже не стоит бояться.

— Я обязательно передам,— смутился Дроздов.— Он, очевидно, забыл...

— Спасибо. Мне к троллейбусу. А вам?

— Мне все равно.

Они вместе вышли из парка к остановке, а когда Валя села в троллейбус, помахав ему книгой: «Только не забудьте! Ладно?» — и когда троллейбус тронулся и его огни смешались с огнями улицы, он внятно почувствовал, почему так не хотелось сейчас возвращаться в училище.

В квартале от училища он забрел в незнакомый, сплошь заросший и от этого темный переулок; впереди, над вершинами акаций во дворах, светились звезды. Здесь все было тихо, тепло, провинциально, как когда-то бывало в детстве по вечерам в заросших липами замоскворецких тупичках.

Неожиданно он услышал из распахнутого освещенного окна на втором этаже приглушенные звуки пианино, и молодой женский голос запел:

Иду по знакомой дорожке,
Вдали голубеет крыльцо...

Он прислонился плечом к стволу тополя и стал слушать с перехваченным горлом, глядя в тихую листву акаций, на которую мягко струился свет абажура...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Сегодня Алексей дежурит по батарее.

В воскресный день половина курсантов в городском увольнении; и кажется, что с полудня до сумерек в расположении батарей и всего училища прочно поселяется солнце. Оно блестит в натертых паркетных полах кубриков, в пустынных коридорах, на подоконниках, оно смотрится в кафельные полы просторных умывален, белыми сияющими столбами пронизывает воздух лестничных площадок.

А в воскресный вечер жизнь не уволенных в город переносится в учебный корпус. Но здесь сейчас никто не занимается — тут просто больше свободного места. Из просторного класса топографии, где на стенах развешаны различного масштаба карты и схемы маршрутных донесений, звучит патефон, раздается хохот курсантов и густой голос Полукарова — здесь работает «Секция патефонной иголки». Сам Полукаров, организатор «секции», давший ей это название, обучает желающих правилам хорошего тона. Тут собрались все, кто по разным причинам не пошел в увольнение: Витя Зимин, Ким Карапетянц, Нечаев, Миша Луц и Гребнин. Вокруг толпятся любопытствующие зрители из соседних батарей. Курсант Нечаев — внушительного роста, широкоплечий, конопатый — по-праздничному сверкает начищенными пуговицами, пряжкой ремня, зеркально отполированными суконкой хромовыми сапогами. Перед ним стоит Полукаров и недовольным рокочущим голосом втолковывает:

— Подожди ты, не топай! Что ты топаешь, как слон на свадьбе? Ты подходишь, наклоняешь голову и говоришь: «Разрешите?» Она встает. Ты осторожно берешь ее за талию. Подожди, подожди, что ты меня хватаешь?

Ты что, брат, трактор подталкиваешь, что ли? Куда ручищами прешь? Хватаешь с лошадиной грацией! Подожди, да не смотри ты на носки своих сапог, дубина стоеросовая. Слушай музыку. Карапетянц, заводи!

Карапетянц, до синевы выбритый, нахмуренно сосредоточенный,— он все делает серьезно,— заводит патефон, переворачивает пластинку и в солидном ожидании садится на подоконник. Полукаров, обворожительно улыбаясь, наклоняет голову и делает приглашающий жест в сторону поставленного к стене стула, на котором должна сидеть «она».

— Предположим... Ну так вот, начался, скажем, вальс. Ты подходишь... Стой! Карапетянц, ты что завел? При чем тут хор Пятницкого? Ошалел? Меняй пластинку! Ну и бестолочь вы, братцы! Кто вас только воспитывал, черт вас дери?

Нечаев скомканным платком вытирает пот со лба и страдальчески отпыхивается. Карапетянц по-прежнему серьезно ставит другую пластинку. Гребнин и Луц давятся, трясутся от беззвучного смеха; однако у Зимина завороженно блестят глаза: он ждет своей очереди. Витя в новом, парадном обмундировании, весь тоненький, выглаженный, слушает Полукарова внимательно, с напряженным вниманием. Зрители гудят со всех сторон:

— Снять Карапетянца с командования патефоном! Не справляется с обязанностями. Давай танго!

Между тем Полукаров продолжает:

— Ну так вот... Подожди, на чем мы остановились? Нечаев, куда ты, шкаф дубовый, смотришь? Да разве с такой растерянной физиономищей можно подходить к девушке? Где мушкетерство, оглобля ты эдакая? Слушай темп музыки и приятно улыбайся! Изображай гусара! Ну так вот, ты подходишь, слегка берешь ее за талию... Опять хватаешь? Да ты что?..

Гребнин и Луц уже не могут сдерживаться и хохочут, валясь животами на столы. Глядя на окончательно растерянную конопатую физиономию бесталанного Нечаева, на возмущенное лицо Полукарова, на сосредоточенно-серьезную мину Карапетянца, Алексей тоже хохочет под насмешливые советы развеселившихся зрителей:

— Нечаев, не дыши!

— Не прижимайся к девушке!

— Грациознее! Не выставляй зад вопросительным знаком!

Витя Зимин неодобрительно оглядывается на смеющихся и, поправляя ремень, внезапно говорит тонким голоском:

— А потом со мной потанцуй, Полукаров. Ладно?

В классе топографии гремит музыка. Полукаров продолжает объяснять и водить вконец одуревшего ученика меж столов, показывая мудреные па, а неуклюжий Нечаев сопит, косолапо ставит ноги и вообще напоминает паровоз, сошедший с рельсов.

В самый разгар этого обучения в классе появляется Степанов с грудой книг под мышкой; у него такое лицо, будто он только что проснулся.

— Товарищи, что тут творится? — говорит он, картавя и потирая круглую голову.— Сидел, сидел в читальне — и слышу, в классе топографии будто лошадей водят. Это что у вас— ипподром?— И, обращаясь к Алексею, пожимает плечами: — Ты любишь танцы, Дмитриев? — И глядит в окно на жарко пылающий над крышами закат; взгляд его рассеян.

— Я плохо танцую, Степа.

— А я не люблю. Не понимаю. Тратить на это время? Непростительная ерунда! Человек живет каких-нибудь шестьдесят лет. И очень мало успевает узнать и сделать за свою жизнь. А тут эта ерунда, ужасная ерунда. Вот, Бисмарка я взял. Страшная философия уничтожения у этого человека. Фашисты многое у него переняли. Надо знать философию зарождения войн.

— Дежурный по батарее, к выходу! — доносится команда дневальных, перекатываясь по этажам.— Старшего сержанта Дмитриева — к выходу!

Придерживая шашку, Алексей бежит по коридору мимо пустых классов в жилой корпус, соединенный с учебным застекленным переходом.

А в распахнутые училищные окна с улицы вливаются звуки самых разных мелодий, рожденных войной; отдаленный духовой оркестр в парке не заглушает патефонных ритмов во дворах домов и ставших входить в моду аккордеонов. Уже возвращались из госпиталей Берлина и Вены первые демобилизованные солдаты, и все жили ожиданием тех, кто еще должен был вернуться с далеких и замолкших фронтов; тот незабвенный май был месяцем победы, июнь — временем еще не утраченной надежды.

Алексея вызвали потому, что в училище начали приходить из города уволенные.

В двенадцатом часу вернулся Дроздов.

— Как, Толя? Встретил?

— Встретил.— Дроздов снял фуражку, устало пригладил волосы.

В коридоре они сели на подоконник напротив курилки, из Ленкомнаты долетали нестройные звуки пианино. Передвинув жесткий ремень и положив шашку на колени, Алексей спросил:

— Удачно?

— Не сказал бы. Все получилось как в старых романах. Она вышла замуж, едет с мужем на место работы...

— Так зачем ей нужно было видеться с тобой? — Алексей с силой сбросил с колен забренчавшую о батарею отопления шашку.— Вышла замуж — и еще присылает телеграмму: «Встречай».

Дроздов промолчал, вынул из кармана гимнастерки свернутый листок, протянул Алексею.

— Это тебе. Я случайно встретил в парке Валю.

Тот прочитал записку и спрыгнул с подоконника.

— Я совершеннейший дурак, Толя!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Отсюда была видна река с лесистым противоположным берегом, с песчаной отмелью, над которой с визгом носились чайки, а тут, на бугре, пахло нагретой травой; покойно дремали под солнцем ромашки.

Полтора часа назад они взяли на лодочной станции плоскодонку и отплыли далеко от города, туда, где лес подступал к берегам вплотную и коряги купались, изламываясь, в зеленой воде.

Сейчас они сидели на вершине холма, и, как тогда, в Новый год, время для них остановилось.

Валя сорвала у своих ног крупную ромашку, в желтизне которой хлопотливо копошился шмель, и, стряхнув его, провела ромашкой по губам, а потом углубленно начала считать лепестки. На кончиках ее ресниц лежала цветочная пыльца.

— Вы суеверны? — спросила она вдруг, строго взглянув на него.— Помните, в Новый год сказали мне о числе тринадцать?

— В приметы я верил на фронте,— ответил Алексей. — Теперь вроде нет. Впрочем, иногда...

— Ну то-то! — Она откинула волосы и протянула ему руку.— Помогите мне подняться и идемте в лес. А то я здесь не нашла ни одной четной ромашки.

Алексей не рассчитал силы рывка, она, подымаясь, качнулась, и на миг он обнял ее.

— Ой, какой вы неловкий! — вскрикнула Валя.— Пустите, я сама.

На опушке леса было душно и жарко, в кустах дикого малинника, в духоте листвы сонно гудели золотистые мухи. И тут же в этих кустах Валя нашла гнездо — теплое, аккуратно прикрытое листьями,— в нем тихо, как преступники, прижавшись друг к другу, сидели оперившиеся птенцы, и она воскликнула:

— Смотрите! Они одни! А где же мать? Где мамаша?

Птенцы завозились в гнезде, разом подняли такой тревожный писк, что Валя расхохоталась.

— Глупые, не трону я вас,— ласково сказала она и осторожно, пальцем, погладила испуганных птенцов по головам.

Те замерли, затем один, затоптавшись, прицелился в ее палец черной росинкой глаза и довольно воинственно клюнул, дернув взъерошенной шейкой.

— Спасибо, милый,— сказала Валя растроганно и посмотрела на Алексея.— Бежим отсюда, а то прилетит мамаша — и нам несдобровать...

Запыхавшись, они остановились на поляне, полосами зеленой от сочной травы, красной от дикого клевера. Раскрасневшаяся Валя опустила руки, тихо сказала:

— Как хорошо.

Заметив капельки пота на ее верхней губе, Алексей почему-то впервые за этот день подумал, что она все-таки земная. А Валя вошла в теплую, захлестнувшую ее траву, как в воду; она шла впереди, разводя траву руками, за ней еще долго оставался след и медленно разгибались примятые стебли. Тяжелый, сладкий жар тек по поляне, знойно звенел, прострачивался непрерывными очередями кузнечиков.

Валя понюхала какой-то цветок, с загадочным выражением повернулась к Алексею.

— Белладонна. Знаете?

Он увидел в ее серых глазах улыбку, будто лучик солнца в прозрачной озерной воде, увидел, как она,

прикусив зубами стебелек, смотрела на него, потом в глазах ее что-то дрогнуло, точно легла на воду легкая тень деревьев, и Валя спросила:

— Вы почему все время молчите?

— Я вспомнил ночь перед Победой... в госпитале, когда вы дежурили...

Последние его слова прервало ленивое ворчанио грома — оно прокатилось и смолкло. Темно-лиловая туча-гора, готовая опрокинуться, густо клубясь, ползла над лесом, подожженные солнцем края ее дымились.

— Откуда это? — удивилась Валя.— Вот неожиданность!

Туча надвигалась, в лесу и на поляне стояла такая горячая духота, воздух сделался таким пáрким, что замолчала даже иволга в чаще. Тень тучи закрывала поляну, ползла по траве, все потемнело, притаилось, и особенно почувствовался запах клевера.

Неожиданно лес зашумел, закачались вершины, испуганно замотали головами ромашки, оробело кланяясь вихрю. Вокруг полетел пух с одуванчиков. Запахло дождем.

Ветер пронесся. Лес и поляна успокоились. Затихал шум. Но следующий порыв ветра с силой сорвал листву с ближайших деревьев, зло взъерошил поляну, и солнце исчезло. Свежим холодом тянуло под тучу.

Одинокая чайка, подхваченная вихрем, ослепительно белая в свинцовом небе, косо пронеслась над лесом, ныряя и остро махая крыльями. И вдруг электрически мигнула мохнатая туча, и лес ахнул от разорвавшегося над вершинами грома.

— Шрапнель,— сказал Алексей.

Валя, жмурясь, придерживая у коленей платье, крикнула:

— Так ведь это гроза!

Тяжелые капли зашлепали по листьям, и опять стихло. Первая туча прошла. И надвинулась вторая, огромная, стремительно кипящая. Она загородила все небо. Ветер, сильный, грозовой, пороховым запахом потянул из-под тучи. Снова скользнула ветвистая молния, канонадой прогромыхал гром, и сплошная стена воды с настигающим порывистым гулом обрушилась на лес.

— Бежим! — опомнившись, крикнула Валя и, сняв босоножки, радостно оглянулась на Алексея возбужденными глазами.

— Погодите! — тотчас остановил ее Алексей.— До лодки мы не успеем. Встаньте под акацию. Переждем.

— Ах, какая красота! — громко сказала Валя и, поеживаясь, спряталась под акацией, держа в руках босоножки.

— Вы промокнете, вот в чем беда,— озабоченно сказал Алексей, став рядом с ней.

— Подумаешь, промокну,— возразила она и поглядела вверх.— Какая же это беда!

Во вспыхивающем свете молний ее поднятое лицо словно озарялось тревожным восторгом, а между тем крупные капли торопливо просачивались сквозь листву, и через минуту акация уже не спасала их; от мокрых волос Вали запахло свежестью, горьковатой ромашкой. Она оглядела себя — насквозь промокшее платье облепило ее — и воскликнула с испугом:

— Как выкупалась! Не смотрите на меня! Отвернитесь!

Алексей отвернулся, шутливо спросил:

— И долго мне так стоять?

— Попробуйте только повернуться! А впрочем, можете повернуться... Теперь можете...

Он повернулся и увидел напряженные, точно обмытые дождем глаза, прядку прилипших волос на щеке, и вдруг ему непреодолимо захотелось обнять ее, поцеловать эту спутанную мокрую прядку, эти влажные брови.

— Ну что нам тут стоять? — смеясь, закричала Валя и побежала под дождь, на поляну, затянутую водяным туманом, промокшее платье хлестало ее по ногам.

На середине поляны она задержалась перед большой лужей, и только тут Алексей догнал ее. Она, часто дыша, возбужденно говорила:

— Ни за что бы не догнали, если бы не захотела. Ни за что! Ну, идемте к берегу. Уверена — нашу лодку унесло!

Внезапно дождь перестал. Из ближней дымчатой тучи еще сыпалась светлая пыль, а теплое, сияющее голубое небо уже развернулось над лесом. Выглянуло солнце, яркое, доброе, умытое,— такое бывает лишь после летней грозы. Стало необыкновенно тихо и ясно. Закричала иволга в чаще. Лес, тяжелый от ливня, не шелохнувшись, весь светился дождевыми искрами.

Они подошли к берегу, где в заводи оставили плоскодонку. Лодка была наполовину затоплена, в ней плавал черпак, покачивались на воде весла.

А река дымно пáрила, на той ее стороне, далеко слева, виден был домик бакенщика, и там отвесно рассеивался из-за туч солнечный веер.

— Так что будем делать? — весело спросила Валя.— Пойдем в город пешком? Или будем откачивать воду?

Алексей успокоил ее:

— Ерунда! Тут на двадцать минут работы. Но сначала надо обсушиться. Хотите, я разведу костер? И сена принесу, чтобы сидеть. Я видел копну. На просеке. Хотите?

— Разводить костер? — обрадовалась она. — Конечно хочу.

Он не ответил — Валя незнакомо потемневшими глазами глядела ему в грудь, взяв его за ремень.

— Не надо никуда торопиться... хорошо?

— Ты знаешь, давай будем ходить целую ночь по лесу! Слышишь, как чудесно пахнет сено? И коростель — слышишь? Мне всегда кажется, что вечером, когда становится холодно, он вынимает из-под крыла скрипку, хмурится и проводит смычком по одной и той же струне. Почему ты так на меня смотришь?

— Валя, мне кажется, что я вас давно-давно знал. До войны еще...

— Алеша, не надо на «вы». Мы ведь действительно давно знакомы. Помнишь, ты еще отдал мне свои перчатки?.. Смотри, вон видишь возле обрыва — огонек у бакенщика?

Вечерний запах лесных лугов исходил от сена и, чудилось, от реки, от Валиного платья; костер медленно догорал, багровое пятно суживалось в черной воде, густо усыпанной звездами; и костер, звезды, берег — все плыло вместе со звездами в одурманивающей тишине. Куда плыло?.. Где остановка?.. Может быть, там, на том берегу, где из темной чащи леса вылезал красный месяц и его отражение покачивалось на воде, как блюдце?

В полусумраке белело Валино лицо, он чувствовал и дурманный запах сена, и дождевую прохладу ее волос, еще не совсем просохших, и когда с ласковой настороженностью она повернула к нему голову, ее волосы влажным ветерком коснулись его щеки.

— Я ничего не боюсь! С тобой — ничего. Я никогда не знала, что так может быть.

Валя дрожала ознобной дрожью, осторожно вбирала в себя воздух сквозь сжатые зубы, прижимаясь к Алексею,— и ему казалось, что он падал с высоты с остановившимся сердцем, целуя ее губы, ее закрытые глаза.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Он вместе со всеми сидел в классе, отвечал на вопросы, выполнял приказания, дежурил по батарее, но эта обыденная жизнь мало задевала его, проходила мимо сознания, скользила стороной. Он жил, как в горячем тумане.

Раз во время занятий в поле, когда в минуты перекура лежали в разомлевшей на солнцепеке траве, Алексей повернулся на спину, следя за дымными разводами облаков, и Борис, заметив это, спросил:

— Что с тобой?

— Абсолютно ничего.

— Нет, я чувствую, с тобой чертовщина происходит: ты стал то сентиментален, то до одурения рассеян. Впрочем, каждый по-своему с ума сходит.

— Ты так считаешь?

— Да, кстати, слышал новость? Мне в штабе сказали: готовится новый послевоенный устав. Офицер перед женитьбой должен представить свою невесту полковой даме, жене командира полка. В обязательном порядке. Кроме того, офицер должен знать иностранные языки, правила хорошего тона... И поговаривают о новой форме для разных родов войск. Слышал?

Алексей задумчиво покусывал стебелек травинки и молчал. Его гимнастерка еще хранила запахи вечернего леса, влажного свежего сена и горького и сладкого дымка костра. Та гроза и тот вечер жили в нем: иногда вокруг, как в последождевой тишине, стучали тяжелые капли, и в этой тишине он вспоминал Валин смех, ее глаза, ее послушные неумелые губы.

А в эти дни училище готовилось к выезду на летние квартиры, и огневые взводы чистили материальну часть: орудия, боеприпасы, дальномеры; батарейные старшины получали на складах брезентовые палатки, лопаты, котелки,— предстояли тактические учения, боевые стрельбы на полигоне. Офицеры говорили, что дивизионы выведут в лагеря надолго, до поздней осени.

Скорый отъезд заставил Алексея тщательно изучить телефонную книжку в ближайшей от училища автоматной будке. Он позвонил Вале вечером и, терпеливо ожидая, когда ему ответят, мимолетно видел, как в запыленном стекле отражался огонек его папиросы.

— Кто это? Алексей? — раздался наконец почти незнакомый голос в трубке.— Здравствуй! Извини, я сразу не узнала. Откуда у тебя мой номер телефона?

— Пришлось прочитать талмуд в автомате.

— Бедный... Можно было сделать легче — узнать у дежурного телефон капитана Мельниченко.

— Валя, мы уезжаем,— сказал он насколько можно спокойней.— Я тебя не увижу очень долго.

— И я тебя. Надо дожить до осени! — Она помолчала.— Это так долго, Алеша!..

— До свидания, Валя! Я позвоню еще.

Он повесил трубку, чувствуя, как упал ее голос, ответивший ему:

— Я буду ждать твоего звонка, Алеша.

Утром, после завтрака, его вызвали к командиру батареи. Алексей взбежал по лестнице на четвертый этаж, с недоумением спрашивая себя, по какому делу и зачем он потребовался капитану. Невольно мелькнула тревожная мысль о Вале, и, доложив, он ждал первых слов капитана, внутренне напряженный.

— Сегодня батарея выезжает в лагеря,— сказал Мельниченко.— Вместе с дивизионом. Из нашей батареи в лагерь отправляются три орудия, четвертое остается здесь.

— То, что в ремонте?

— Именно.— Капитан немного помедлил.— Вот что, Дмитриев, мне не хотелось бы перед стрельбами оставлять здесь на два дня Чернецова: в лагере будет много работы. Я решил оставить вас. Через два дня получите орудие из ремонта и приведете в лагерь. Вот возьмите карту, посмотрите маршрут. Вопросы есть?

— Слушаюсь, получить орудие и привести его по маршруту,— ответил Алексей, не задавая ни одного вопроса, хотя все, что приказывал ему капитан Мельниченко, было похоже на счастливый сон.

— Вы свободны. Ждем вас в лагере через два дня.

— Через два дня я буду в лагере!

И он почувствовал такой прилив сил, такую неуемную радость оттого, что будет свободен целых два дня, а

значит, два раза сможет встретиться с Валей,— этому было трудно поверить.

...Однако он не знал, что вчера Валя зашла в комнату брата, тихонько села на подоконник, глядя, как в синей дымке вечерней улицы один за одним зажигались фонари, потом сказала не без упрека:

— Уезжаете, капитан, на все лето?

Мельниченко неторопливо брился перед зеркалом: по фронтовой привычке он педантично делал это по вечерам.

— Уезжаем, сестренка,— ответил он и тотчас спросил: — С каких это пор мы перешли на «вы» — «уезжаете»? На кого ты сердишься?

— Дурацкий отъезд.— Она вздохнула, обеими руками охватила колено.

— Сплошные ребусы.— Василий Николаевич отложил помазок, взял бритву, неторопливо пощупал кожу на щеке.— А конкретнее?

— Глупо это все-таки как-то!

Василий Николаевич даже не выказал озадаченности — нередко ее суждения, ее поступки поражали его своей непоследовательностью, и неизвестно было, что она может выкинуть через минуту. Но он никогда не забывал, что с ранних лет Валя росла одна, что он сам часто бывал в долгих разлуках с сестрой, и не без чувства некой вины перед ней прощал ей многое.

— Знаешь что, выкладывай-ка все начистоту,— сказал Василий Николаевич, взглядывая в зеркало. — Все по порядку... Без шарад и ребусов.

— По порядку? Ты, конечно, знаешь Алексея Дмитриева?

— Как же мне не знать! Но откуда ты его знаешь? Ах да, по госпиталю!

— Не только по госпиталю, если хочешь... И мне нужно его видеть еще два-три дня! Не спрашивай зачем — не скажу. Очень важное дело!

— Ну хорошо, не буду спрашивать. Но оставить его в училище я не могу. У него стрельбы. А это не игрушки. Несмотря на твои секреты и дела чрезвычайной важности...

Тогда Валя, темнея глазами, спрыгнула с подоконника, прервала его:

— Неужели у вас в армии все подчинено одному — вашей любимой дисциплине? И больше ничего не суще-

ствует? Вы не знаете своих курсантов, вы видите только шинели! Только свои пушки... У тебя погибла жена! А ты ни одного слова о ней!

«Я понимаю. Твоя колючесть есть форма самозащиты»,— подумал Василий Николаевич, хмурясь, и сказал сдержанно:

— Если у тебя действительно какое-то серьезное дело с Алексеем Дмитриевым, то я подумаю.

— Очень серьезное.— Она подбежала к нему, уже зная, что добилась своего, поцеловала в выбритую щеку.— Очень, очень!

А он долго думал позднее об этом разговоре и, догадываясь, в чем дело, решил оставить Дмитриева с орудием на два дня в училище, понимая, как много значат порой в жизни человека два дня, два часа, даже час. Но, приняв это решение, он поймал себя на мысли, что привык по своему положению офицера (да, именно привык) смотреть на курсантов как на людей, которые прежде всего обязаны выполнять чужую волю, чтобы осознать собственную. Что ж, армия не случайный полустанок, на котором сошел ошибшийся поездом.

Валя была права: он никогда не говорил дома о своей жене, потому что боялся воспоминаний о ней: память не приносила облегчения. Да, ему казалось иногда, что она где-то рядом, что он встретит ее на улице, что однажды, придя домой из училища, увидит ее сидящей в его комнате. Он не был однолюбом — он просто ничего не мог забыть, хотя все между ними было кратким, быстротечным, как миг.

Целое утро Алексей пробыл в артмастерских, а когда вернулся к обеду, батареи уже были пусты — дивизион выехал, и среди сиротливых коек бродила одинокая фигура дежурного, говорившего с унылой обескураженностью:

— Это что ж такое! Пустыня! А тут почту приволокли, целую кучу писем. Ну что я с ними буду делать? Бежать за машинами и орать: «Стой, братцы!»?

— Юморист ты,— сказал Алексей.— Давай письма, через два дня буду в лагерях — раздам ребятам. Кому из наших?

— Да вот,— пробормотал дежурный и принес целый ворох писем.

Алексей лег на голый матрац соседней кровати, с интересом принялся разбирать письма.

— Ладно, гляди, я пошел дневальных шевелить,— проговорил дежурный.— Обленились орлы в связи с новой обстановкой.

Алексей читал адреса писем, пришедших со всех концов страны — из разных городов, деревень, из воинских частей: счастливая это была почта, давно такое множество писем не приходило в батарею. Здесь были письма Гребнину из Киева, Нечаеву из Курска, Карапетянцу из Армении, Зимину из Свердловска и, кроме того, денежный перевод Брянцеву из Ленинграда. («Неужели из Ленинграда? Значит, родные его вернулись из эвакуации?!»)

И вдруг горячей спазмой перехватило горло, он увидел замызганный желтый конвертик-треугольник со своей фамилией, написанной химическим карандашом: «Полевая почта 27513, Алексею Дмитриеву». Наискосок штамп: «Адресат выбыл». Рядом приписка внизу: «Березанск. Артиллерийское училище». И обратный адрес: «Омск. Дмитриева Ирина».

«Дорогой, любимый брат!

Вот пишу тебе, наверно, пятое письмо — и никакого ответа. Все письма приходят со штемпелем «Полевая почта изменилась». Но я уверена, что ты не убит, нет. Последнее письмо получила из Карпат. И вот пишу, пишу...

Я по-прежнему живу у тети Нюси, учусь в девятом классе, живем мы неплохо.

Милый мой брат! Во всех письмах я не писала тебе о нашем несчастье... Я надеялась и ничего толком не знала... Думала, может, это ошибка? Ты помнишь Клавдию Ивановну Мещерякову, детского врача, мамину подругу? В ноябре сорок четвертого года мы получили от нее письмо из Ленинграда. Клавдия Ивановна писала, что мама наша, милая, хорошая наша мама, погибла. Ты ведь знаешь, что она не уехала в эвакуацию, пошла врачом в полевой госпиталь и все время работала там в блокаду. Клавдия Ивановна была у нас: квартира заперта, и никого нет, а ключи у домоуправа. Я подумала сначала, что это ошибка, сама написала Клавдии Ивановне, но она опять ответила — это правда. Ей сообщили в военкомате. Потом и мне сообщили оттуда.

Я не представляю, Алеша. Я рвусь в Ленинград, чтобы самой что-то узнать...

Милый Алеша! Я не хотела тебе писать о маме, но лучше все знать без обмана, чем лгать. Я все, все помню: наше детство, нашу маму, надевающую серьги,— помнишь, когда она ожидала отца,— наши комнаты, наше парадное с кнопочкой звонка. Я не могу себе простить, что я однажды обидела маму, когда ты уже был на фронте. Я сказала: «Не надо меня воспитывать, я сама себя воспитываю». А мама чуть не заплакала. Какая я дура была! Я только сейчас поняла, какая была наша мама, она ни на что не жаловалась, сама соседей успокаивала. Вова и Павлуша ушли на фронт после тебя, и Елена Михайловна очень беспокоилась. А когда от тебя совсем не было писем, мама запирала пустой почтовый ящик и только говорила: «Завтра будет обязательно». Алеша, не могу больше писать, а тетя Нюся говорит, что не вернешь, успокаивает, а сама на кухне плачет.

Я должна была тебе сообщить, Алеша.

Крепко целую тебя. Твоя любящая сестра *Ирина.*

Мой адрес: Омск, улица Ленина, 25, Анне Петровне Григорьевой, для меня.

12 мая 1945 г.».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Он помнил: в тот первый день войны моросил дождь, возбужденные толпы ходили по улицам, везде у газетных киосков выстраивались длинные очереди.

В два часа дня он вместе со многими одноклассниками был уже в военкомате. Здесь тоже шумно толпились люди, в коридорах было тесно, накурено.

Вечером он простился с друзьями на Невском.

Домой он бежал по затемненным улицам, по сразу обезлюдевшим каменным набережным и видел, как зенитчики устанавливали орудия на площадях, на крышах домов и дымящиеся лучи прожекторов шагали по небу, с размаху падали на Неву. Иногда сверкал, задетый светом, шпиль Петропавловской крепости, вспыхивала вода холодно и грозно. Раздавались шаги патрулей на мостовой, у ворот стояли дежурные с карманными фонариками — за один день все изменилось.

Он взбежал по лестнице, но матери не оказалось

дома — она, должно быть, задержалась в поликлинике, а сестра Ирина была в пионерском лагере под Пушкином.

В квартире, пустой, с незадернутыми занавесками, он включил свет, неуспокоенный, прошелся несколько раз по комнатам, и почудилось ему: от его шагов книжный шкаф покойного отца скорбно скрипнул дверцей, как будто любимые книги на его полках и учебники, тетради на письменном столе уже прощально отдалялись, уходили в прошлое...

Тогда, не в силах больше оставаться дома, он вышел во двор и, ожидая мать, сидел на скамейке около парадного. А небо над двором по-прежнему полосовали лучи прожекторов, негромко переговаривались дежурные за чугунными воротами — на улице стало глухо, черно, неприютно. Где-то в стороне Невы стучала пробная пулеметная очередь, трассирующие пули плыли к звездам, наискось пересекая световой столб прожектора.

Потом от ворот послышались знакомые шаги, и он вскочил, окликнул:

— Мама!

— Ты почему здесь?

Он попросил:

— Мама, подожди, давай сядем... я должен тебе сказать... Мама, посидим...

— Алеша, что ты хочешь сказать? — спросила она, и он совсем близко увидел ее глаза, которые после долго не мог забыть.

Она села на скамью рядом с ним. И, может быть, оттого, что мать молчала, или оттого, что Алексей ощущал ее теплое, родное плечо, он искал необыкновенных, успокаивающих слов, но этих нужных сейчас слов не было. И он с осторожностью проговорил почти шепотом:

— Мама... прости меня. Я должен сказать тебе...

И тут он услышал ее странно спокойный голос:

— Что ж... пойдем. Я все поняла.

Он ничего не ответил, задохнувшись от нежности, от невысказанной любви к ней, а сквозь пробные гулкие очереди зениток доносились с окраины взбудораженные заводские гудки.

...В последний раз он видел ее на вокзале.

Два дня не было машины из лагерей, и два дня Алексей никуда не выходил из батареи. В корпусе, опустевшем и мрачном, стояла непривычная тишина, только

изредка, звеня шпорами, проходил по казарме дежурный офицер. Опустело и на училищном дворе: орудия, приборы и машины находились в лагерях. Как заброшенный пруд, плац усы́пался сбитыми ветром тополиными листьями.

Алексей лежал на койке один во взводе, равнодушный ко всему, ни разу не вспомнив о Вале, и она не давала знать о себе: никто не приходил, не тревожил его. Ему все время дремалось, и не было никаких желаний — жаркое солнце горело в листве, стрижи кричали за окном,— но какой в этом смысл? Ни в чем не было смысла. Никогда теперь мама не отопрет ему дверь, услышав звонок, встречая его, никогда не скажет «сын», и он уже до конца своей жизни никому не скажет «мама». А он помнил, как она то улыбалась, то хмурила брови, то приходила из кухни в переднике и просила пропустить мясо в мясорубке («Ты у меня единственный сын и должен помогать»), то сидела у стола под лампой, наклонив гладко причесанную голову, и прозрачные серьги покачивались в ее ушах.

Он мог сейчас лежать на спине с открытыми глазами и час и два, не пошевельнувшись. Иногда только лицо его вздрагивало, он отворачивался к стене и чувствовал в горле горячую горечь слез.

День отгорал, наступал вечер — поздние сумерки вползали в казарму, тени скоплялись по углам, затем становилось совсем темно, на плацу вспыхивал фонарь, бросал отблески на окна, но Алексей не вставал, не зажигал света. У него не было сил подняться, повернуть выключатель. К чему? Самое страшное, то, что не должно было, не имело права случиться, случилось...

К концу второго дня приехал из лагеря помстаршина Куманьков. Увидев Алексея одного, лежащего на койке посреди оголенных коек взвода, он удивленно вскричал:

— Ты чего тут оборону занял? Чего?

Алексей не отозвался.

— Никак заболел? Тебя, стало быть, с пушкой оставили?

— Оставили.

— А ты чего лежишь?

— Так.

— Вернулся уж из мастерских?

— Да.

— Погоди, погоди,— заторопился Куманьков.— Ты когда вернулся?

— Вчера или... позавчера...

— Заболел, что ль, ты? Как же ты без столовой? Есть хочешь?

— Не хочу.

— А с пушкой как?

— Никак.— Алексей отвернулся.

— То есть как «никак»? Ты, парень, подожди. Ты это что? И слова у тебя какие-то... На каком основании? Мы, стало быть, сейчас... это самое... то есть...

Куманьков беспокойной рысцой затрусил в коридор и вскоре вернулся: в одной руке у него была связка ключей, в другой градусник, принесенный из каптерки.

— Ты, стало быть, Алексей, температуру проверь, а я, стало быть, сейчас в санчасть... А я, стало быть, всю жизнь не болел, устав не позволяет. Я этих врачей до огорчения не люблю, в детстве у меня грызь определили, а до сих пор — ничего, никаких оснований! Но всякое бывает, чего там, бывает!

Он изо всех сил старался успокоить, ободрить Алексея, но тот вяло проговорил:

— В санчасть не надо ходить. Врача не надо... Не болен я... Какое число сегодня?

— Четырнадцатое, стало быть,— откликнулся Куманьков, стеснительно кашлянул в кулак и на цыпочках вышел.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Первый дивизион располагался в лесу.

Брезентовые палатки весело белели под деревьями, целый городок с улочками, линейками, с небольшим плацем-поляной, с волейбольной площадкой и открытой столовой вырос здесь, в сорока километрах за городом.

По утрам на ранних зорях весь лес трещал и звенел от птичьего гомона. Лукавые щеглы, подражая соловьям, начинали щелкать с конца ночи, и озябшие часовые в охлажденных росой шинелях глохли на рассвете от этих состязаний. Птицы встречали солнце раньше, чем дежурный офицер и горнист; смелые синицы прыгали по мокрым дорожкам, заглядывали в палатки, воробьи поднимали на ноги заспанных поваров драчливым своим чириканьем близ кухни.

Птицы будили дежурного офицера, дежурный офицер — горниста, горнист — дивизион. И начинался день.

Жизнь в лагерях насыщена до предела: физзарядка, утреннее купанье в реке, завтрак, отъезд на полигон, подготовка орудий и, наконец, полевые стрельбы — так весь день, до ужина. Затем час личного времени, игра в волейбол, вечернее купанье, поверка и, наконец, отбой.

Лес застилала сырая тьма, дневальные зажигали в палатках фонари «летучая мышь». Лагерь погружался в ночь; отдаленно кричали коростели, а на реке с гулким уханьем ударял сом, выходя из глуби холодного омута на лунный свет перекатов.

И тучи комаров обрушивались на лагерь, подобно нашествию.

В один из таких вечеров первый взвод вернулся из кино под открытым небом. Киноаппарат стоял на поляне, кусали комары, лента рвалась; какая-то птица, ослепнув на свету, рванулась в зыбкий экран, где мелькали черные разрывы снарядов: показывали военный фильм.

Когда после поверки вошли в палатку, Дроздов снял гимнастерку и, раздумчиво глядя на огонь лампы — вокруг стекла трещали крыльями мотыльки,— сказал с досадой:

— Всё пригладили и прилизали, как в сказке под конец: «по усам текло»... Представляю, как лет через двадцать — тридцать люди будут смотреть эту картину и удивляться: неужели такая игрушечная была война? Сплошное «ура» и раскрашенная картинка для детей. Стоило герою бросить гранату на высотку, как немцы разбежались с быстротой страусов. Разве так было? Немцы дрались до последнего, а мы все-таки брали высотки.

— Великолепное умозаключение,— отозвался Полукаров со своего топчана, грызя сухарь.— Но рискованное, Толя.

— Война тоже забывается, как и все, — сказал Борис и щелчком смахнул со столика обожженного мотылька.

Дроздов лег на топчан, подложив руки под голову.

— Не все. Война — это пот и кровь. А герой — это работяга. Этого бы только не забывать.

Борис с насмешливым видом забарабанил пальцами по столу.

— Толя, ты не замечаешь, что говоришь передовицей батарейной стенгазеты?

— А ты не замечаешь, что ересь городишь? — Дроздов приподнялся на локте.

— И ересь бывает истиной.

В палатке зудели комары. За столиком Гребнин готовил для дымовой завесы ЩБС — «щепетильную банку Степанова»: это устройство, названное так по имени батарейного «изобретателя», было обыкновенной консервной банкой с пробитыми дырочками, в которую накладывались и поджигались сосновые шишки, после чего густой дым заволакивал палатку, как туман. Это было единственное спасение от комаров.

Гребнин старательно набил в банку сосновых шишек, предупредил:

— Приготовиться, братцы!

— Да что ты возишься? Разжигай! — разозлился Борис и прихлопнул на щеке комара.— Живьем съедят!

— Без нервных переживаний! — заметил Гребнин и подул в банку изо всей силы.— Жизнь сейчас будет «хенде хох», старшина...

Загоревшиеся шишки потрескивали, в палатке разнесся смолисто-едкий запах дымка. Сидевший у входа дневальный Луц насторожился, повел носом, принюхиваясь, внезапно вытаращил глаза и оглушительно чихнул. Огонек в «летучей мыши» вздрогнул. Гребнин поздравил:

— Начинается. Будь здоров!

— Слушаюсь,— ответил Луц, вынимая носовой платок.

Вслед за ним повел носом и Витя Зимин. Он мучительно пересиливал себя, часто вбирая ртом воздух, но все-таки дважды чихнул тоненько и досадливо. В ответ ему из угла палатки внушительно рявкнул Полукаров и проворчал недовольно:

— Бездарно! Это еще называется изо...

Он не договорил, ибо разразился беглым чиханьем и, обессилевши, выкатив слезящиеся глаза на Гребнина, сел на топчане. Борис зло чертыхнулся и вышел прочь, хлестнув пологом.

— Не кажется ли вам, дорогие товарищи, что наш старшина не в духе? — с трудом выдавил Полукаров.— Кому известны причины?

— Нелады с Градусовым,— мимоходом объяснил Гребнин и принялся гасить шишки.

Палатка заполнилась плотным дымом, огонь «летучей мыши» расплылся в желтое пятно. Все с головой накрылись одеялами, и понемногу назойливое хоровое пение комаров прекратилось. Гребнин призраком бродил в дыму — он был единственным человеком во взводе, кто с завидной стойкостью переносил дым,— и для общего поднятия духа декламировал популярные в лагере стихи:

Летают тучами — не сосчитать.
Заслоняют и солнца пламечко.
Налево посмотришь — мать моя, мать!
Направо — мать моя, мамочка!
Чтоб делу помочь, в своем шалаше
Дым напускаю из ЩБСе.

— Живы, братцы? — спросил он.— В порядке? Или не очень?

И поставил дымящую банку на стол. Полукаров прихлопнул комара у себя на лбу и ехидным голосом завершил декламацию:

Итог же прост — и ЩБСа
Не помогает ни шиша.

В лагере пропел отбой горн, ему ответила сова из чащи — испуганно гугукнула, будто ветер подул в узкую щель.

— Откинь, Саша, полог! — приказал Дроздов.— На ночь надо проветрить. Нечем дышать. Угорим.

Гребнин широко открыл полог, чадящее ЩБС вынес вон, и тут в палатку вошли капитан Мельниченко и лейтенант Чернецов. Помкомвзвода Грачевский подал команду:

— Взво-од...

— Вольно! — Мельниченко кивнул, темное от загара лицо его повеселело.— Что у вас тут за канонада была? И возле штабной палатки было слышно.

— Действие ЩБСа в мирной обстановке, товарищ капитан,— скромно пояснил Гребнин.— По причине дыма некоторые чихают так, аж у Куманькова в хозяйственной палатке ведра со стула падают.

Все засмеялись. Лейтенант Чернецов засмеялся со всеми, его живые глаза брызнули искорками детского веселья, но потом он вроде бы смутился и, заалев скулами, взглянул на капитана. Мельниченко присел к столу, снял фуражку; волосы его тоже слегка выгорели — целые дни курсанты и офицеры проводили на солнце.

— Верно, Гребнин. У Куманькова в палатке есть чему упасть, да еще грохоту наделать. Ну что ж, у первого взвода сегодня неплохие показатели,— заговорил Мельниченко.— В среднем у каждого из десяти снарядов шесть в зоне поражения. Я доволен вами, Полукаров, вами, Луц, вами, Дроздов. У вас, Дроздов, прямое попадание после четвертого выстрела. Хочу на завтра предупредить, товарищи, не торопитесь с первым снарядом. От него зависит вся пристрелка. Сегодня Луц поторопился, первый разрыв ушел от линии цели едва не на ноль пятьдесят, пришлось затратить два лишних снаряда... А вилка у вас была отличной.

В тишине зудяще пропел одинокий комар.

— Шесть в зоне поражения, товарищ капитан? — повторил Гребнин, и брови его смешливо заиграли.— Я, признаться, боялся за Луца. Невероятно нервничал и, кажется, шептал молитвы...

Луц застенчиво поднес ладонь к губам, вежливо заметил:

— Я полагаю, товарищ курсант Гребнин, что вы завтра попадете в цель, как мед в муху.

— Простите, товарищ капитан, разрешите мне ответить моему другу Луцу? — спросил Гребнин так же деликатно.— Товарищ Луц, каждый курсант носит с собой генеральский жезл. Это надо помнить. Ежесекундно!

— Но вы забыли, Гребнин,— сказал Мельниченко,— что курсант не должен носить с собой лишние предметы.

Все снова засмеялись, и охотнее всех лейтенант Чернецов.

— Однако я не вижу Брянцева и Дмитриева,— сказал капитан.— Разве Дмитриев еще не приходил во взвод?

— Он приехал?

— Да, полчаса назад он привел орудие.— Мельниченко отогнул рукав кителя над часами.— Я отнял у вас после отбоя три минуты. Спать!

— Разрешите мне найти Дмитриева? — предложил Дроздов.— Я мигом...

— Нет, не разрешаю. Возможно, он задержался в столовой. Спокойной ночи!

После ухода офицеров стало слышно однотонное тырканье сверчков. Из лагеря доносились оклики часовых: «Стой, кто идет?»

— А капитан, знаете ли... все же личность,— проговорил из угла Полукаров.— В нем, знаете ли, что-то есть. Похвалил Мишу — и в то же время выстегал. А Черецов наш — прелесть! Как ты думаешь, Дроздов?

Ответа не последовало. Пепельный лунный свет, падая в боковые оконца, заливал половину палатки, бледно озарял лицо Дроздова, его задумчиво блестевшие глаза. Спать не хотелось. Он слушал звуки леса, древний скрип коростеля, треск сверчков за палаткой и думал о теплых огнях в далеких окнах, которые уже не светили ему.

— Жаль,— прошептал он,— жаль...

— Чего жаль, Толя? — шепотом спросил Гребнин.

И на этот раз ответа не последовало.

Когда Алексей вошел в палатку, курсанты спали, один дневальный Луц сидел за столом и что-то писал при мерцании «летучей мыши».

— Алеша? Вернулся? — Он вскочил, с силой тряхнул ему руку. — Поднять взвод?

— Не надо, Миша... Покажи мое место. Больше ничего не надо, — ответил Алексей. — Оставим все на завтра.

— Есть на завтра,— ответил Луц быстро, провел его в глубь палатки, к незанятому топчану, аккуратно застланному одеялом, и тут спросил: — Вопросы тоже оставить до завтра?

— Да, да,— ответил Алексей, раздеваясь.

— Ясно.— Луц бесшумно отошел к столу, успокоительно прошептал оттуда: — Отдыхай. До подъема.

А в палатке пахло хвоей и дымком, лунный свет просачивался в оконце, и, глядя на жидкие лунные блики, Алексей думал, что все четыре года войны он жил нескончаемой надеждой увидеть мать, счастливой надеждой успокоить ее: «Мама, видишь, я жив, здоров, и мы снова вместе». За эти четыре года он научился и доброте, и ненависти. Он никогда раньше не знал, что вдали от дома можно так любить мать, ее морщинки усталости, ее тихую улыбку.

Вдруг он услышал голос:

— Алексей!

Он очнулся: на краю топчана сидел Дроздов в накинутой на нижнее белье шинели, позади него возвышался Луц и, начальственно шикая, выговаривал:

— Устал человек, не видишь?

— Я лучше тебя знаю, Миша, когда он устал,— отмахнулся Дроздов и воскликнул обрадованным шепотом: — Здорово, старина! Наконец-то! А я встал воды напиться, а Миша мне... Ты где пропадал?

— Толя...— Голос Алексея задрожал.— Я получил письмо от сестры. Мама погибла. Я представить себе не могу...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Ранним утром майор Градусов вызвал его в штабную палатку.

— Вы вовремя приехали, старший сержант Дмитриев. Командование училища подписало приказ о назначении вас старшиной дивизиона. Поздравляю.

Майор Градусов протянул приказ.

— Читайте.

— Я не понимаю вас, товарищ майор,— сухо сказал Алексей.— Меня — старшиной дивизиона? На каком основании? Простите, товарищ майор, но я не подойду для этой должности.

— Постарайтесь понять, что требуется от вас...

С нахмуренными бровями, грузно расхаживая по палатке, Градусов принялся объяснять обязанности старшины дивизиона, но Алексей уже плохо слушал его, испытывая к командиру дивизиона поднявшееся в душе чувство неприязни. Совершенно необъяснимо было то, что Градусов хотел его назначения на должность старшины дивизиона, назначения тем более неожиданного, что они с майором разговаривали всего один раз, и то на экзамене.

Градусов продолжал:

— Я надеюсь на вас, Дмитриев. Уверен, что вы наведете образцовый порядок в дивизионе. Прежний старшина не смог справиться со своими обязанностями: распустил людей, мало этого — сам нарушал устав, не оправдал возложенной на него ответственности.

— Простите, товарищ майор, но Брянцев был образцовым старшиной.

— Мне это лучше знать,— перебил Градусов— Так вот, старшина Дмитриев...

— Я только старший сержант, товарищ майор,— подчеркнуто спокойно произнес Алексей.— Я получил это звание на фронте.

Майор Градусов заложил руки за спину, в его ощупывающих глазах появилось колючее упорство.

— Станете старшиной, вам присвоят новое звание! Полагаю, что оно будет выше звания старшего сержанта. Но коли вы так скромны, можете остаться в прежнем звании. Так вот! — слегка повысив голос, повторил он.— Вы теперь не только курсант, вы — старшина дивизиона. Во всем, что касается внутреннего распорядка, чистоты, сохранности матчасти, вам подчиняются все курсанты дивизиона и даже старшины батарей. Требуйте от людей дисциплины. Это особенно необходимо сейчас, в период учений! Знаю — вы сможете. Вы отлично сдали экзамены после болезни — стало быть, у вас есть воля. Это, собственно, и все, что я хотел сказать вам на первый раз, старшина.

Градусов некоторое время пытливо смотрел на Алексея, и постепенно крупные губы его сложились в улыбку, он заговорил с неумелым добродушием:

— Как провели два дня в училище? А? Один! Свободный! Встречались, верно, с кем-нибудь? Н-да, молодость! Ничего, ничего, иногда не мешает проветриться. Офицер должен нравиться. Так-то! Вышел в город, прошагал по улице — чтобы все девки от восторга из окон попадали! Так, Дмитриев? — спросил он, по-отечески благосклонный к увлечениям молодости, и сейчас же изменил тон:— Ну, как говорят, делу— время. Только что капитан Мельниченко прислал рапорт относительно вас. Вот хвалит... Прекрасно привели из мастерских орудие. Все, Дмитриев. Желаю успеха, идите! Принимайте дивизион.

Алексей вышел; его трясло нервной дрожью.

А в лагере начиналось утро, и дорожки были тепло располосованы солнцем, подсыхала роса. По песчаным тропкам прыгали синицы, нехотя отлетали в сторону, спугнутые шагами Алексея. Дневальные подметали линейку, заливали воду в умывальники, а среди поляны над походными кухнями вертикально поднимался погожий дымок, и там гремели черпаками повара. Дивизион находился на реке,— было время утренней физзарядки и купанья.

Алексей направился к своей палатке, сел на пенек, ожидая. Солнце из-за деревьев начинало чуть припекать, но в груди было холодно, и он никак не мог унять ознобную дрожь после разговора с командиром дивизиона.

Дневальный Луц выглянул из палатки, оббил березовый веник о ствол сосны, спросил с любопытством:

— Если не секрет, Алеша, зачем вызывали?

— В большое начальство выхожу, Миша,— хмуро ответил Алексей.— Никогда не думал...

— Ставят на полк? — сострил Луц.— Немедленно отказывайся. Скажи — некогда, грудные дети...

— Ставят на дивизион.

— Старшиной? Неужели? — догадался Луц, и брови его поползли вверх.— А как же Борис? Снимают? Ну и ну!..

В это время со стороны реки донеслась команда, и синицы вспорхнули с дорожек. Потом на просеке показался дивизион, неся с собой песню. Борис вел строй, шагал сбоку; волосы его, еще мокрые после купанья, были аккуратно причесаны, глянцевито блестели; и, возбужденно и придирчиво следя за колонной, иногда пятясь спиной, иногда задерживая шаг, он упоенно перекатывал голос, командовал:

— Громче пес-ню, див-визион! Не-е слышно подголосков! Пе-ечатай шаг!

Да, он был действительно лучшим строевиком, Борис; его смуглое лицо, покрытое загаром, выражало волевую сосредоточенность, его резкие команды зажигали строй — батареи четко, весело проходили по лагерю. И Алексей, хмурясь, ждал, пока дивизион не остановился напротив столовой. Тогда он попросил дневального:

— Миша, позови Бориса.

— Это приказание старшины дивизиона? — поинтересовался Луц.— Или еще нет?

— Почти,— ответил Алексей.

Спустя минуту Борис уже быстро шел навстречу по дорожке, похлопывая по голенищу сорванным прутиком — жест майора Градусова,— шел бодрый, оживленный, и казалось, от его гибкой походки исходила сила уверенности и здоровья.

— Ты знаешь, мои вернулись из эвакуации,— еще издали с радостным и вместе снисходительным видом сообщил он.— И не успели черкнуть хотя бы десяток строк, а с места в карьер прислали деньги! А здесь они мне так же нужны, как дятлу модный галстук в клеточку.

В минуты подъема они не успели поговорить, ему не терпелось продолжить разговор, и, подойдя, он взял Алексея под локоть, повел по линейке.

— Как провел время в училище? Валю, конечно, видел?

— Нет.

— Что так? — Борис легонько щелкнул прутиком по сапогу. — Ну скажи — что с ними делать? Мамаша, милая моя, сразу деньги, как беспомощному мальчику. Чудаки старики. Если им все рассказать о войне, не поверили бы и ахали целый вечер.— Он засмеялся.— Ну, вот подумай: для чего мне деньги, когда у меня полная планшетка фронтовых? И ясно — оторвали от себя!

Он, по-видимому, еще находился под впечатлением того, как только что с песней, лихо, браво привел в лагерь дивизион, и, еще возбужденный, все поигрывал прутиком, который назойливо мешал Алексею начать разговор.

— Знаешь, Алешка, теперь мы сделаем вот как: настрочим письмо моим, дадим твой адрес, пусть сходят и все подробно разузнают о твоих. Только не медлить. Мои обязательно узнают...

— Не надо,— сказал Алексей,— никаких писем не надо. Мать погибла в блокаду. Я получил письмо от сестры.

Борис приостановился, выговорил, разделяя слова:

— Не может быть! Это не ошибка?..

— Слушай, Борис, тебя вызывал командир дивизиона. Зайди к нему.

— Ох и надоели мне эти вызовы, если бы ты знал! В чем дело?

— Знаю, что глупость,— ответил Алексей.— Тебя снимают с дивизиона, меня назначают. Всю жизнь мечтал об этом!

— Ах во-он оно что?! Вот как, оказывается.— Борис, покривившись, изо всей силы щелкнул прутиком по голенищу и, больше не сказав ни слова, зашагал прочь.

Когда он вышел из штабной палатки с бледным, застылым лицом и с насильственной бесшабашностью протянул Алексею руку, тот вскипел неожиданно для самого себя.

— Ты что — хочешь поздравить, что ли? Может, думаешь, что я и вправду мечтал об этом назначении, ночей не спал?

— Вот именно, хочу поздравить с повышением, Алексей! Спасибо, что избавил меня от этой должности. С удовольствием сдам тебе старшинство. Признайся, рад?

— Места от радости не нахожу!

Вечером второго дня помкомвзвода Грачевский сказал Борису:

— Вы заступаете в наряд дневальным.

Взвод готовился к разводу караулов, чистил карабины около пирамиды. В палатке были Гребнин и Зимин, оба заступали часовыми на самый дальний пост и, недовольные этим, сидя на топчане, огорченно читали устав.

Борис между тем, насвистывая, рылся в своем чемодане, который принес из каптерки, достал оттуда две коробки «Казбека», распечатал одну и, продолжая насвистывать, помял в пальцах папиросу: он будто не замечал никого вокруг.

— Брянцев, вы слышали? — повторил Грачевский, и некрасивое лицо его напряглось.

— Ах, это ты?.. Что, голубчик, начинаешь мстить мне? Или — как тебя понимать? — со спокойной ядовитостью спросил Борис.— Ох как ты быстро!..

Грачевский замялся.

— Я не мщу... Я не собираюсь мстить. Взвод идет в караул. Луца я не могу назначить дневальным второй раз подряд. А ты свободен. Целый год не ходил в наряд.

— А ты уж забыл, что старшина не ходит в наряд? Я еще, голубчик, не разжалован, кажется.

— Но теперь ты... курсант, как и все.

— Теперь он будет курить махорку, а не «Казбек», — невозмутимо вставил Гребнин, перелистывая страничку устава.— И прутиком не будет хлопать, как пастух. «Часовой есть лицо неприкосновенное»,— прочитал он углубленно фразу из устава и добавил: — Боренька тоже считает себя лицом неприкосновенным.

— Что ж, тогда кури «Казбек» ты! Пожалуйста! — Борис швырнул коробку на стол и с видом самоуверенной неприступности обернулся к Грачевскому.— Запомни: сегодня я в наряд не пойду. Понял? Завтра пойду, послезавтра, но не сегодня... Тебе все ясно?

— Безобразие какое-то,— вздохнул Зимин и, подняв голову, захлопал длинными ресницами.

— Спасибо, милый Боречка.— Гребнин безразлично потрогал на столе коробку папирос, отодвинул ее в сторону.— Тебя оскорбляет быть дневальным? Тебе не хочется подметать пол? Видел я таких пижонов на Крещатике. Ходили по вечерам с аристократическими галстучками. Мне всегда хотелось побить таким морду. Но

я воздерживался, не потому, что боялся. Не хотелось марать рук.

— Что ты сказал? — выговорил Борис и рывком схватил его за ремень.— Повтори!

В это время в палатку вошел Алексей, бегло взглянул на обоих, устало спросил:

— Что стряслось?

— Выясняем добрососедские взаимоотношения,— ответил Гребнин, заправляя гимнастерку.— Все в порядке.

— Здорово выясняете. А в чем дело?

— Благодари его, что все так обошлось! — насмешливо выговорил Борис, кивнув на Алексея.— В другой раз мериться силой со мной можешь на ринге, это будет разумнее для тебя и для меня!

— Не понимаю, при чем тут ринг? — спросил Алексей.— Что у вас, Грачевский?

Когда Грачевский начал объяснять, в чем дело, и, хорошо зная об их дружбе, стал неуверенно подбирать мягкие, полуоправдывающие и себя и Бориса слова, Алексей вдруг не сдержался:

— Да что вы лепечете и мнетесь, Грачевский? Что ж тебе неясно, Борис? Что за нежности, черт возьми! Идет весь взвод — а почему ты не должен идти? — И, ругая себя в душе за эту горячность, он уже тише добавил: — А что касается ринга, то, прости, твоя угроза — глупость.

Он сказал это, чувствуя, что, конечно, прав он и, конечно, не прав Борис, но тут же подумал, что ему сейчас, в этом новом положении старшины, легче быть правым, и ощутил жгучий, тоскливый стыд за свою несдержанность.

— Я очень хорошо тебя понимаю и благодарю! — с горьким удовлетворением проговорил Борис, ударил коробкой «Казбека» о стол так, что рассыпались папиросы, и зло распахнул на входе брезентовый полог.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дневник Зимина

13

Мы в лагерях! Стоим в лесу на берегу по-походному. Комары носятся тучами, спасенья нет. Они очень обнаглели. «До предела!» — говорит Полукаров. Но нашли выход. ЩБС. Все чихают от дыма. Чихание как-то

унижает. Я стараюсь крепиться, но ничего не выходит. Кто-то уже сочинил стихи:

Вьется тучей
Рой летучий,
Ситуация ясна,
Разведи-ка ЩБСе,
Шишек много, где же кружка,
Легче будет на душе.

Вообще я полюбил свой взвод. Мне даже часто както весело, когда думаю, сколько у меня хороших товарищей. Вот Степанов, он тихий, он учился в университете. А как стрелял вчера! Подготовил все данные в уме за несколько секунд. Кап. Мельнич. похвалил его перед строем после стрельбы, а Степанов пожал плечами и стал поправлять ремень, — у него всегда пряжка на боку, все время сползает, и никакой выправки. Во время вчерашнего купанья ст. дивизиона Бор. Брянцев сказал Степанову при всех: «Ты заранее знал расстояние до цели и шаг угломера». Степанов поглядел на него, улыбнулся и сказал: «Давай входные данные». Брянцев посмотрел на часы и скомандовал входные. Они стояли на вышке для прыжков. «Есть!» — сказал Степанов и нырнул в воду. Он вынырнул и сразу крикнул готовый угломер и прицел. На часах прошло 19 секунд. Все удивились. Брянцев подсчитал на бумаге, сказал: «Любопытно», — и ушел какой-то нахмуренный.

Сегодня Полукаров рассказал интересную вещь. Он хорошо знает английский язык и прочитал в военном американском журнале, что команда «Смирно!» у них подается так: «Парни, смирно!»

А вечером между Полукаровым и Степановым завязался горячий спор на тему, можно ли все знать. У нас во взводе есть интересный курсант — Нечаев. Но он немного по-дурацки стремится к знаниям. В лагерях он даже решил наизусть выучить таблицу логарифмов. Полукаров стал над ним посмеиваться, а Степанов ужасно разволновался и заявил Полукарову, что тот читает по 26 часов в сутки, да все без толку, никакой системы и что Полукаров легкомысленный человек, разбрасывает на ветер свои способности, а смеяться над тем, что человек стремится к знаниям, — это по меньшей мере низко. Полукаров поднял руки и сказал: «Степа, сдаюсь. Ты не так меня понял. Нечаев набирается культуры, и я помогаю ему стать блестящим, воспитанным офицером. Вот

почитай: «1. Не подавай сам свою тарелку с просьбой о второй порции (Нечаев любил поесть). 2. Не чавкай, не дуй на тарелку и не издавай при еде никаких других звуков. 3. Смейся от души, если этому имеется причина. 4. Не старайся объять необъятное». Степанов сказал: «Глупость!» А мне было смешно. Полукаров обнял Степу и сказал, что, может быть, вся жизнь — это шутка. Вообще Полукарова трудно понять. Он хорошо учится, но почти не занимается. «Ловит на лету»,— говорит о нем Степа. Остроты. Полукаров: «Всякая кривая вокруг начальства короче прямой». Он любит играть словами и всегда перемешивает поговорки: «Пить хочется, как из ведра», «Что с возу упало, то не вырубишь топором», «Молчит, как рыба об лед».

Больше всех во взводе он считается с Дроздовым, Брянцевым, Дмитриевым и Степановым. Его он с уважением называет С2П — это значит: «Степанов Степан Павлович».

Иногда Полукаров бывает добрым и веселым, иногда мрачным, и тогда он мне не нравится.

Заступили в наряд. Я стоял часовым. Ночь. Холодно. Ухает сова. Или филин — не знаю. Их здесь много. Я представил, как на фронте было, слушал шорохи и старался не чувствовать холода. Посты проверял начальник караула лейт. Чернецов. На рассвете пели птицы. Саша Г. стоял на посту № 3 и передразнивал щеглов. Они очень злились. Саша умеет подражать всем птицам. Он разведчик. Он учил меня, как кричат синицы.

14

После стрельбы играли в футбол. Как и следовало ожидать, в первом тайме мяч со страшной силой угодил мне в физиономию. Голова гудела, как колокол. Но я самоотверженно продолжал играть. Подумаешь! Бор. Брянцев забил два гола.

А у нас в палатке сверчок!

15

Утром проснулись — и все увидели Дмитриева. Он вернулся с орудием. Все окружили его, спрашивали. Он говорил ребятам, что рад, что вернулся.

Но оказалось — у него несчастье. Он узнал, что у него в блокаду погибла мама. Не представляю, если бы погибла моя мама...

В эти дни ребята не стали говорить о доме и о письмах. Все говорят о стрельбах и о веселых пустяках. Ал. Дмитриев даже смеется иногда шуткам, и я удивляюсь. Я рядом с ним сплю. Он ворочается ночью, бьет ладонью по подушке, а иногда стонет сквозь зубы.

16

Сила воли. Попав в плен, Муций Сцевола сжег себе руку на глазах врагов, чтобы показать им, что он не боится пыток. Зоя Космодемьянская...

Сегодня я решил испытать себя, а получилось очень глупо и неудобно. Я развел костер на берегу в кустах и, стоя, держал руку над пламенем. Пришлось так закусить губу, что в глазах потемнело. Вдруг слышу — шаги. «Зимин, вы что тут делаете?» Оказалось, кап. Мельниченко. Он дым заметил. Я готов был провалиться сквозь землю. А он сел подле меня, вроде бы угадал, даже не улыбнулся и говорит: «Зимин, вы знаете, что такое сила воли? Сила воли — это заставить себя делать не то, что хочется, а то, что необходимо, наперекор тому, что хочется. Сила воли сначала закаляется в мелочах. Вот, например, вы смертельно устали после стрельб, ноги едва держат, вам хочется лечь на землю и не вставать, а в то же время надо почистить орудие. Если вы перебороли себя, это и есть проявление силы воли. Потом это проявится в большем». И многое другое говорил. А под конец сказал: «Мне нравится, что вы думаете об этом»,— и ушел.

Потом я посмотрел руку. Огромный волдырь.

17

Ал ночью опять не спал, а утром я подошел к нему, конечно, покраснел, как осёл, и сказал, не хочет ли он шоколада «Спорт». Мне мама прислала в посылке. Плитку. Он поглядел на меня. Я, конечно, еще глупее покраснел и подумал: «Дурак я! Разве сейчас ему нужен шоколад?» Но он улыбнулся и сказал: «Спасибо, Витя». Он развернул плитку, разломил ее пополам и половину взял себе, а половину отдал мне. «Замечательный шоколад»,— сказал он.

Я был очень благодарен ему.

Посмотрел на себя в зеркало: конопушки на носу, глаза как у кошки какой-нибудь. Но мне все равно, хоть и неприятно...

18

Невероятная новость! Брянцева сняли со старшин. Теперь вместо него Ал. Дмитриев. Почему так получилось? Борис мало разговаривает, но смеется и говорит, что гора с плеч. Он немного странный стал. Удивительно! Брянцева назначили дневальным!

19

Теперь записываю каждый день.

На политбеседе подполковник Шишмарев говорил об инициативе... (Эта запись в дневнике обрывается.)

Записываю вечером. Я слышал интересный разговор и не могу успокоиться. Был дождик, а я в личный час нырял с самого высокого дерева на обрыве. Устал, в голове будто джаз наяривает, а я назло себе плаваю. Сила воли?.. Решил маме написать, чтобы не присылала больше посылок. Хватит. Что я, маленький?

Я отвлекаюсь. Я шел по берегу мимо купальни и вдруг слышу разговор. На мостках сидели Полукаров и Бор. Брянцев. Они вроде как-то подружились в последнее время.

«Что ж... взлетел, как архангел в небеса, а упал, как черт в преисподнюю! — сказал Полукаров и засмеялся.— Вот тебе и майор Градусов!»

Они сказали еще что-то, а потом я расслышал только фамилии — Дмитриев и Градусов.

«Я видеть его не могу! — сказал Борис.— Ты понял? Жалкий карьерист!» — «Он очень неглупый человек»,— возразил Полукаров. «Смешно! Это типичный солдафон! — сказал Борис.— Если бы я знал это раньше!..» — «Когда, на фронте?» — засмеялся Полукаров.

Я вышел на мостки, и Бор. меня увидел. «Ты что здесь подслушиваешь?» — сказал он подозрительно. «И не думаю. Я здесь случайно»,— ответил я спокойно, но покраснел, как зад у павиана, о которых недавно читал. «А ну марш отсюда так же случайно!» — сказал Борис очень зло. Я тоже разозлился и ни к селу ни к городу обозвал его солдафоном.

Ничего не понимаю! Кто не знает Градусова? Все знают! Бедный дневник мой буквально плакал у него.

26

Вот и осень. Как давно я не писал!

Стрельбы будут происходить с тактическими учениями. Марш. Занятие огневых. Огонь. Вводные. Прямая

наводка. Пока неизвестны ни маршрут, ни обстановка. Так сказал лейтенант Чернецов. Из нашего взвода назначаются за командиров взвода (КОВ) Ал. Дмитриев и, конечно, Брянцев. КОВ выбирали сам майор Красноселов и полк. Копылов. Выбирали фронтовиков.

Я еду во взводе Дмитриева. Как я доволен, это знаю только я!

Идет дождик. Стрельбы в обстановке, приближенной к боевой. Наконец-то!

27

Пишу в короткий перерыв перед выездом. В моем распоряжении 15 минут. Тороплюсь. Волнуюсь. Наконец-то! Приказ получен! Впереди — маршрут, учения и стрельбы!

В 23 ч. 10 мин. была построена батарея. Темнота. Дождик. У офицеров — фонарики.

Преподаватель тактики полковник Копылов в окружении офицеров отдает приказ. Рядом стоят КОВ — Ал. Дмитриев и Бор. Брянцев. Тишина. Шуршит дождь. Темнеют орудия и машины. Копылов освещает карту фонариком и объясняет обстановку. КОВ отмечают на карте карандашом. В 4 часа утра ожидается наступление «противника». «Противник» в районе деревни Глубокие Колодцы сосредоточил до дивизии танков. Направление удара — Марьевка. В атаку пойдут настоящие гитлеровские танки, их будут тянуть на тросах настоящие тягачи, скрытые оврагом. Для нашего училища металлургический завод дал четыре подбитых немецких танка. Настоящий бой с танками. В 3.30 батарея должна занять огневую позицию на северо-восточной окраине деревни Марьевки и уничтожить танки «противника».

Маршрут тяжелый. Местность совершенно незнакомая. Преподаватели и офицеры в этих стрельбах лишь наблюдатели. Их должности заняли курсанты. Как на фронте!

Бор. Брянцев очень весел. Он все время козыряет; когда к нему обращается полковник Копылов, отвечает, не дослушав вопроса. И усмехается, поглядывая на Ал. Дмитриева.

Вот это стрельбы и учения! Я назначен командиром орудия. Четыре раза «ура»!

...Кончаю писать. Команда. Бегу!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Алексею было ясно, что он ошибся.

Машина двигалась полтора часа, а деревни Марьевки все не было — темень, непроницаемая, рассекаемая фарами, неслась навстречу в ветровое стекло, дождь металлически барабанил по кабине. Еще на развилке дорог, возле разъезда Крутилиха, он, уточняя направление, вылез из кабины, ручным фонариком осветил столб на перекрестке — в глаза бросились буквы на дощечке-указателе: «Марьевка». Потом в кабине он сориентировал карту. «Ерунда! Марьевка направо, а не налево. Что за путаница?» И он почувствовал нерешительность: он ждал, что из второй машины его окликнет лейтенант Чернецов, но лейтенант не вылез из кабины и не окликнул. Машины стояли, работая моторами; шофер Матвеев, узколицый парень, в фуражке, сдвинутой на затылок, поерзал на сиденье, небрежно сплюнул на дорогу, сказал:

— Да что думать понапрасну, против указателя не попрешь! А я тут все дорожки, как свои пуговицы, знаю. Там и есть эта Марьевка!

Видимо, тогда он и совершил ошибку, и понял это лишь в два часа одну минуту, то есть после полутора часов езды в кромешной тьме. По его подсчетам, эта деревня должна была остаться позади, однако он не встретил по этой дороге ни одного населенного пункта.

Тщательное изучение карты окончательно убедило его, что он запутался: на карте было две Марьевки, обозначенные количеством дворов с предельной ясностью — «Марьевка, 220», «Марьевка — 136»,— два населенных пункта с одним названием, и ему показалось, что это злой обман, какая-то коварная случайность, чего он не учел, не мог раньше учесть.

От одной Марьевки к Глубоким Колодцам километров десять, от другой — километров пятьдесят пять. Если же он ошибся — а он уже знал, что ошибся на разъезде Крутилиха,— он приведет взвод на огневой рубеж только к утру, с опозданием на три-четыре часа — и тогда пропали учения...

«Но знал ли полковник Копылов об этих двух Марьевках?»

Вглядываясь в потемки, он пытался сообразить, как все же сориентировать карту, но сделать это в темноте

было невозможно. И он понимал теперь, что возвращаться назад, к разъезду Крутилиха, а затем искать следующую развилку дороги — слишком поздно. Почти два часа были потеряны на безрезультатную езду по степи.

«Где же, в какой стороне эта Марьевка?»

А за его спиной, в кузове машины, то и дело слышались взрывы смеха, потом несколько голосов затянули:

Эх, махорочка, махорка,
Па-ароднились мы с тобой,
Вда-аль глядят дозоры зо-орко,
Мы готовы в бой, мы готовы в бой!

И отчаянно веселый голос Гребнина:

Как письмо получишь от любимой,
Вспомнишь да-альние края...

Машину несколько раз так тряхнуло, что песня разом замолкла, курсанты застучали в стенку кабины, закричали из кузова:

— Эй, Матвеев, по целине шпаришь? Не на тарантасе! Товарищ командир взвода, следи за шофером, не давай спать!..

«Как перед фронтом,— подумал Алексей.— И так до тех пор, пока не раздастся команда: «С машины! К бою!»

Шофер Матвеев несколько раз уважительно косился на карту и компас, лежащие на коленях Алексея, и, ерзая, говорил успокоительно:

— В самый аккурат успеем. Как часы! Бывало, и не по таким дорогам водил... Эт-то ты не беспокойся! Как в аптеке!

Алексей, не слушая, взглянул на часы. Два часа девятнадцать минут.

«По какой дороге двигается сейчас второй взвод? У них был другой маршрут: через Ивановку — на Марьевку».

Матвеев подмигнул и сказал:

— Помню, был у нас такой начальник ППС Дудкин. Этот, бывало, сядет в машину и кричит: «Жарь напропалую!» Это, значит, такая поговорка у него. Я на всю железку газ! Аж в глазах рябит. А навстречу ЗИСы ползут с орудиями, танки, «студебеккеры»... Да ты не слушаешь, что ли?

Неожиданно дорога повернула направо, машину затрясло на мостике, загремели бревна под колесами — и

Алексей поспешно осветил фонариком карту. «Наконец-то, вон она, Марьевка!»

Ослепительные лучи фар скользнули по мокрому стогу сена на околице, по колодцу с навесом, по крыльцу темного дома с закрытыми ставнями, ярко выхватили из тьмы обмокшие ветви садов — влажные яблоки вспыхнули над заборами, как золотые.

Деревня спала — нигде ни одного огонька. Возле самых колес залилась хриплым лаем собака, побежала, должно быть, рядом с машиной, по обочине.

Он знал, что ему нужно сейчас выезжать на юго-запад через перекресток, к Глубоким Колодцам.

Он постучал в стенку кабины.

— Машина идет сзади?

— Идет.

— Что замолчали, пойте песни, скоро приедем!

— Охрипли.

— Сказки рассказываете?

— Нет. Саша завел треп про одну историю...

— Жми, Матвеев, на окраину,— сказал Алексей решительно.— К развилке!

Машина, разбрызгивая грязь, мчалась по спящей улице, вдоль сырых заборов с обвисшими ветвями, мимо закрытых ставен. Но вот мелькнул последний дом, и снова в дождливых потемках, обтекая кабину, понеслась назад степь.

Алексей наклонился к карте.

«Что такое — двести двадцать домов? А проехали деревушку, где и пятьдесят домов не насчитаешь! Значит, это не Марьевка?»

А впереди, освещенная фарами, стремительно наползала распластанная лапа перекрестка.

— Стоп!

— В чем дело?

— Стоп, говорю! — скомандовал Алексей и вложил карту под целлулоид планшета.

Машина затормозила. Сразу усилился, приблизился плеск дождя, дробный стук по железу. Шофер Матвеев, опустив стекло, изумленно глядел, как Алексей спрыгнул на дорогу и в мокрой тьме ветер захлестал полой его шинели. И чудилось, что где-то рядом хлопали с визгом незакрытые ставни, грозно и буйно шумели в трех шагах от дороги, раскачиваясь, деревья, ветер носил впотьмах лай собак.

«Погодка!» — подумал с тревогой Алексей, сжимая фонарик.

Вдруг слева он смутно увидел очертания дома, качающиеся тополя, острую полоску света; она иглой пробивалась сквозь ставенную щель, отвесно падала на кусты у дороги. Оскальзываясь, хватая одной рукой влажные ветви, другой направляя луч фонаря, Алексей спешно пошел к домику.

Во второй машине погасли фары, щелкнула дверца; свет фонарика запрыгал там по косым на ветру лужам, по кустам, по воде в кювете. Потом к Алексею придвинулась невысокая фигура в плаще с откинутым капюшоном — это был лейтенант Чернецов.

— Не похоже на Марьевку,— сказал Алексей. Чернецов не ответил.— Сейчас узнаю у кого-нибудь из жителей. Это верней.

Все так же молча Чернецов прикрыл полой плаща планшет, посмотрел на карту.

Алексей толкнул набухшую калитку, вбежал в черный двор, полный шума дождя: струи шелестели в ветвях, звенели по железному навесу. Где-то совсем рядом загремела цепь, из темноты, сверкнув огоньками глаз, бросилась огромная собака, хрипло и злобно залаяла.

— Тебя еще, дурака, тут не хватало! — выругался Алексей и взбежал на крыльцо.

Собака натянула цепь, с злым подвизгиванием рвалась на привязи. Внутри дома скрипнула дверь.

— Кто тамочки? — послышался женский голос.

— Хозяева, это не Марьевка будет? — спросил, торопясь, Алексей.— Это деревня Марьевка?

Стукнула щеколда, и в сумраке сеней он увидел маленькую женщину в платке, накинутом на плечи.

— Заблудились, что ль? — сонно, мягко пропела женщина. — В дождь-то... Степановка это. Цыц ты, Цыган! — прикрикнула она на собаку.— На место!

— Степановка? А далеко до Марьевки отсюда?

— Это какой же Марьевки-то? Там, где клуб, или той, что электростанцию отстраивает? У нас ведь Марьевки две, милый человек, две Марьевки-то...

— Фу-ты, в этом-то и дело. Одну минуту,— выдохнул Алексей и посветил на карту.— Вот до той, где сад колхозный, где мост, где мельница...

— А-а,— протяжно сказала женщина.— Это та, где электростанция... Эк вы далеко забрались-то! Так это

справа от нас, километров тридцать. Экий крюк дали-то.

— Как проехать туда?

— Да обратно вернуться надо. До Крутилихи. Там вскоре после переезда аккурат дорога вправо сворачивает. А до другой Марьевки —так это вам прямо по грейдеру, по грейдеру...

Кровь жарко ударила Алексею в голову, он мгновенно вспомнил этот разъезд Крутилиху, песчаную насыпь, развилку дорог и указатель. Он все понял теперь.

— А ближе как-нибудь можно?

— Ближе? — Женщина подумала.— Иногда ездют, да дорога покинутая, плохая, а кроме — речка. С грузом, должно, и не проедешь. Назад возвращаться надо.

— А через брод машины ходят? — спросил Алексей с надеждой.— Не знаете?

— И не знаю, милый. Давеча вроде, в погожие дни, лес возили в Марьевку. А назад — легче. Там грейдер... как стекло.

— Ну ясно, спасибо!

Собака рванулась за ним, но Алексей уже выбежал за калитку и, цепляясь за кусты, стал карабкаться на насыпь дороги, чувствуя биение в висках. «Вернуться назад до Крутилихи? Это значит наверняка опоздать!.. Повернуть к броду? Кто знает, какой он, какие там берега?»

Надо было немедленно решать, а он еще не мог побороть мучительную раздвоенность. И когда увидел вблизи силуэты машин с прицепленными орудиями, загорающийся огонек цигарки в кабине Матвеева, неподвижную фигуру Чернецова, темнеющую посреди дороги, он вдруг подумал: «Застряну, если поведу орудия через брод? Но где же выход?»

— Это Степановка, а не Марьевка,— со сбившимся дыханием доложил Алексей, подходя к Чернецову, и неожиданно громко и возбужденно скомандовал: — Моторы!

— Как решили вести взвод? — спросил Чернецов.

— Поведу на Марьевку!

— От Крутилихи?

— Нет! Не от Крутилихи!

— Какой же дорогой, однако?

— Напрямик. А вы как считаете, товарищ лейтенант?

— Я никак не считаю. Вы командир взвода, Дмитриев.

— Есть командир взвода! — с почти отчаянной решимостью проговорил Алексей и влез в кабину.— До развилки — и налево! — приказал он Матвееву.— Ясно?

— Не...

— Вперед, я сказал! Дай газ!

Машина тронулась, набирая скорость, дождь ударил по ветровому стеклу. Алексей смотрел на дорогу до тех пор, пока не убедился, что на развилке свернули влево; после этого он пристроил фонарик над картой, отыскал Степановку, тонкую нить дороги, по которой двигалась машина, нашел реку — Красовку, возле ее нежно-голубой ленты зеленый кружок рощи и, не найдя отметки брода, с выступившей испариной на лбу, опять подумал: «Зачем же все-таки я рискую? Что я делаю?»

— Матвеев,— тихо сказал он, глядя на карту,— тебе когда-нибудь приходилось через брод с орудием?

Матвеев неспокойно глянул сбоку и насупился.

— Как это понимать?

— Придется переправляться,— ответил Алексей и свернул карту.— Придется рискнуть...

— И что ты, честное слово, выдумал? — проговорил Матвеев и заелозил на сиденье.— Какой дурак шофер в такую простоквашу в воду полезет? Загорать захотелось? Что ты с ней сделаешь, если она станет? Ее, гробину, трактором не вытащишь, не могу я ничего ответить на это дело.

— Вот что, дай-ка всю скорость! — громко и решительно приказал Алексей.— Всю!..

Слева и справа по мутному стеклу ходили «дворники», в свете фар навстречу радиатору косыми трассами летели струи дождя, накаленно гудел мотор машины, кузов трясло и кидало, и Алексей с нетерпением не отрывал глаз от дороги: «Только бы скорее увидеть берег!..»

В два часа тридцать одну минуту впереди показалось черное пятно, и ему сначала привиделось, что это контуры дальней деревни. Но дорога стала спускаться под бугор, и плотная стена деревьев понеслась навстречу машине.

Фары, прокладывая световой коридор, полоснули по желтым стволам — огненно вспыхнули капли на листве, захлестали косматые лапы елей по кабине, заскребли по брезенту кузова, прошуршали по орудию. Это была роща.

— Стоп! — крикнул Алексей.

Он выскочил из кабины в неистовый перестук, шорох капель — роща шумела над головой. Было очень темно, пахло влажной хвоей, она мягко пружинила под ногами. Ничего не видя, он включил фонарик — мокро блеснули под ногами, выступили из песка черные корневища, зажелтела опавшая хвоя. На опушке пророкотал и смолк мотор. Это вторая, запоздавшая машина подтянулась к первой.

Алексей пошел вниз по дороге, светя фонариком, и вскоре остановился — роща кончилась. Было слышно: дождь с ровным плеском бил по воде. На скате берега смутно виднелась, угадывалась давняя колея: размытая, рассосавшаяся, она обрывалась, уходила в сверкавшую под светом воду — река разлилась. Когда здесь проехали в последний раз: неделю назад, полмесяца назад?

— Старший сержант Дмитриев! — позвал откуда-то из темноты голос Чернецова.— Где вы? Что вы там делаете?

— Я на берегу! Я здесь! — откликнулся он, с напряжением вглядываясь в колею.— Дайте мне ориентир фонариком! Постараюсь проверить ширину реки и глубину брода! Я сейчас!..

— Осторожней, Дмитриев!..

Он, не ответив, вошел в воду, сделал первый шаг, и тотчас упругое течение ударило по ногам, пошатнуло его, острый холод мгновенно почувствовался сквозь сапоги.

«Надо вымерить по ширине машины, только так...— думал он, слепо идя во тьму, с каждым шагом глубже опускаясь в черноту перед собой, то и дело оглядываясь, чтобы не сбиться с направления, а пучок света на берегу все отдалялся и отдалялся. Потом дно будто вырвалось из-под него, провалилось — и он сразу погрузился в воду по пояс. Его с силой потянуло в глубину, черная вода заплескалась и зашумела, круто ходя водоворотами, течение с напором толкало, валило в сторону, и Алексей, задохнувшись от этой борьбы, еле удержался на ногах. Ветер с дождем сек по лицу, и ему на миг почудилось, что он один стоит в водяной пустыне без конца и края, потеряв направление и ощущение времени. Вздрагивая, он обернулся. Сквозь сеть дождя тусклой каплей на берегу светил фонарик Чернецова, потом слабым отзвуком донеслось издали:

— Дмитри-ев!..

Стиснув зубы, он снова продвинулся на несколько шагов, и когда зачернели впереди, проступили нечеткие силуэты каких-то предметов (деревья, что ли?), он, разгребая воду, ускорил шаги, и тут дно стало выпирать из-под ног. Он, пошатываясь, сделал еще несколько шагов и, вконец обессиленный, едва не падая, выбрел на песок, постоял здесь немного, чтобы отдышаться, затем ощупью повесил на сучок ближнего дерева фонарь, крикнул сдавленным голосом:

— Фонарь видите-е?

— Плохо, но вижу-у! Возвращайтесь назад!

Казалось, далеко-далеко, на том берегу фонарик Чернецова описал короткую дугу и замер в бесконечности.

...До того берега он добрался гораздо быстрее; и, вылезая из воды, весь промокший до нитки, в хлюпающих сапогах, вытер рукавом лицо, скомандовал хрипло:

— Моторы! Включить фары! Берег крутой! Первое орудие!..

Он отдал эту команду в темноту, твердо веря, что его услышат, и ждал на дороге, с трудом успокаивая дыхание.

На горе заработали моторы, длинные полосы фар пролегли над головой, уперлись в мокрые вершины деревьев, сдвинулись с места, легли на дорогу, ослепили его и будто толкнули в грудь.

— Давай, давай, Матвеев, на меня! — снова крикнул он, идя по дороге. — Сто-ой!

Свет уперся в реку дымящимся синим столбом, пронизывая воду у берега до дна — сверкала галька на мелководье, подобно разбросанным в воде монетам.

— Взвод, слезай! — махнул рукой Алексей.— Командиры отделений, стройте людей!

Шурша сухими плащ-палатками, курсанты стали прыгать с машин; послышались взволнованные голоса:

— Приехали?

— Саша, раздевайся, купаться будем!

— Что такое? Потоп?

— Ну, Миша, если ко дну пойдешь, держись за пушку. Она не тонет!

Алексей стоял у обочины дороги, глядя на строившийся взвод, еле сдерживая ознобную дробь зубов.

— Разговоры прекратить! — резко приказал он.— Шоферы, ко мне!

Разговоры смолкли. Командиры отделений доложили, что люди построены; и после этих докладов независимо, вразвалку подошли шоферы. Они переминались и с недоверчивой настороженностью поглядывали на реку.

— Слушать внимательно! — скомандовал Алексей и продолжал, нарочито твердо расставляя слова: — За рекой в девяти километрах отсюда — Марьевка. В семи километрах от нее, у оврага Кривая балка,— место сосредоточения наших орудий. Нам надо прибыть ту́да в три часа тридцать минут. Сейчас два часа сорок пять минут. Не успеем — не выполним приказ. Орудия и машины необходимо переправить через брод! — Он указал на ослепительно горевшую под фарами воду.— Одними моторами не возьмем. На фронте в этих случаях подавалась команда: «На колеса!» Это ясно?

Все молчали. Было слышно, как шелестел дождь в кронах сосен.

— Шоферы, подойдите ближе! Смотрите сюда! Видите? На том берегу висит фонарь. Держаться только этого направления. Иначе застрянем! Есть ямы. Попадем в них — засосет. У каждой машины — два человека, прикрепляющие канаты лебедок. У первой машины — Гребнин и... Луц, у второй — Дроздов и Карапетянц. Канаты цеплять по моей команде. По места-ам!

Он подал команду и только в тот момент особенно ясно осознал, что началось главное.

— Ма-а-арш! — крикнул Алексей.

Первая машина осторожно, на тормозах начала спускаться к воде. Матвеев, вытянув шею, наклоняясь вперед — грудью на баранку, неестественно напрягшись, блуждающе глядел на воду, и Алексей с беспокойством видел: медлит!.. Мотор, туго вибрируя, гудел, машина, коснувшись колесами воды, круто затормозила. Орудие по инерции занесло влево, к самому краю дороги, затрещали кусты. Расчет тоже, скатываясь следом, как если бы его откинуло, густо облепил орудие. Сразу всполошились голоса:

— Что там? Что?

— Почему остановились? Эй! Матвеев, очумел?..

— Орудие у обрыва! Здесь обрыв!

«Что же это он? Неужели трусит?» — мелькнуло в сознании Алексея, и в ту же минуту он вскочил на подножку, рванул дверцу и, ввалившись в кабину, сел рядом с Матвеевым, властно и непререкаемо крикнул:

— Давай вперед!.. Чего думаешь?.. Вперед, говорю!.. А ну включай первую скорость! Быстрей!..

Взревев, машина рванулась вперед и, точно обрушиваясь с обрыва, осела передними колесами, под ними всплеснулась вода, тяжело заскрипел песок.

— Скорость! — закричал Алексей.— Скорость!

Матвеев, беззвучно шевеля губами, испуганно переключил скорость.

— Жми!

Раскрыв дверцу, Алексей выскочил из машины, слыша, как бешено забурлила вода, чувствуя, как орудие, скатываясь с берега, сильно толкнуло сзади машину. Сочно захрустело дно; тонко завывая, пел мотор, а возле орудия раздались, закипели обеспокоенные голоса, всплески, хлюпанье от быстрого движения ног. Темная громада машины, гудя, проползла мимо него. И, налегая на борта, на щит, на колеса, на ствол, позади толкался орудийный расчет; кто-то, трудно дыша, говорил:

— На колеса, ребята!

— Ну и ночка! Как на передовой! — с ожесточением выдохнул чей-то баритон.— Наковыряешься!

И Алексей навалился плечом на щит рядом с чьим-то еще плечом, крикнул азартно и зло:

— Вперед!.. Навались, ребята!..

Он шел так, упираясь в дно, подталкивая орудие, пока не онемело плечо, пока колеса орудия не ушли под воду. А вода все поднималась и уже перехлестывала через станины, ударяла в щит, и машина, натруженно завывая, двигалась медленнее и медленнее.

Вдруг тело орудия откатилось назад, непомерной тяжестью надавило на плечо. Орудие стало. Мотор приглушенно ревел, буксовали колеса. Вокруг орудия бурлила вода. Люди в бессилии прислонились к щиту.

— А, черт! Завели в омут! Полные сапоги воды! Что будем делать?

— Держись, утащат омутницы! — закричал Гребнин.— Они любят таких верзил, как ты, Нечаев!

— Еще, ребята! — с тревогой командовал Дроздов.— Ну, р-раз! Еще!

— Подожди, буксует! Здесь самая глубина!

— Мотор бы не залило!

— Миша, не наступай на ноги! Зачем толкаешься? Не видишь разве? — гневно заорал около станин Ким Карапетянц.— Держи руками!

— Орудие засасывает!

— Где Дмитриев?

Алексей молчал, привалившись к щиту орудия, лихорадочно соображая: «Засасывает орудие... Машина буксует... Мы, наверно, на середине реки... Все же не сумели, не сумели...»

А в машине Матвеев отчаянно кричал, высовываясь из раскрытой дверцы:

— Помогай, ребята! Дав-вай!.. Что же вы?.. Да что же вы делаете со мной?!

— Прекрати суматоху, Матвеев! — выделяя каждое слово, выговорил Алексей и, подходя к машине, увидев над собой белое лицо шофера, заговорил с неприязнью: — Какого черта? Лучше уж кричи тогда: «Братцы, погибаю!» Не думал, что растяпа ты!

— Да засосет же...— жалко выдавил Матвеев.— Ведь ее, гробину...

— Замолчи! — гневно оборвал Алексей и, повернувшись к берегу, где тусклой каплей покачивался на ветру фонарик, позвал хрипло: — Гребнин!

— Я курсант Гребнин!

Вблизи послышалось бурление воды, и перед Алексеем размытым в темноте силуэтом возникла фигура Гребнина.

— Иди к берегу, узнай, сколько до него. Быстро только! Луц, разматывай трос лебедки! И вслед за Гребниным! Я сейчас приду к вам. Ищите дерево со стволом покрепче. Все ясно?

— Ясно! — коротко отозвался Гребнин.

Загудела лебедка, заплескался в воде трос, и две фигуры — одна низкорослая, другая худая и высокая — пропали во тьме. Вскоре донесся оттуда отдаленный и радостный голос Гребнина:

— Берег!..

— Наконец... Фу-ты! — Алексей вытер мокрое лицо, затем спросил у Матвеева отрывисто: — Хватит троса? Да включи ты фары, что погасил? Троса хватит?

— Да кто его знает... должно, хватит... А фары... с ними фонарь, плохо видно...— забормотал Матвеев.

— Включай! Фонарь сейчас и так найдем! Включай, говорят!

Алексей двинулся к берегу, где угасающей искрой мерцал фонарик.

За спиной вспыхнули фары, ярко выхватили угрюмые деревья, склонившиеся к реке отяжелевшими от дождя ветвями, и видно было, как на том берегу две фигуры в потемневших, мокрых шинелях что-то быстро делали возле деревьев, а трос, взблескивая, колыхался над водой. Опять оттуда донесся крик Гребнина:

— Готово!

И Алексей скомандовал срывающимся голосом:

— Включай лебедку! От машины и орудия всем отойти!

Заработала лебедка. Трос натянулся. Машина, как огромная черепаха, толчками начала выползать из воды. Фары ее надвигались, ослепляя; затем передние колеса заскользили по кромке берега, подмяли ее под себя и с ревом забуксовали. Раздался стук колес по корневищам, и машина, подвывая мотором, натужно потянула в гору. Сзади, покачиваясь, послушно катило орудие.

— На бугор! На бугор, Матвеев!— крикнул Алексей.— Здесь не останавливаться!

Дрожа от силы мотора, машина поднялась на бугор и стала под деревьями. Расчет медленно выходил из воды. А когда вторая машина была вытащена на берег и он, вымотанный переправой, вконец обессиленный, подошел к своей кабине, чтобы посмотреть карту, его окликнул лейтенант Чернецов. У Алексея так дрожали, непослушно подкашивались от усталости ноги, что он попросил:

— Разрешите мне сесть? — и, опустившись на подножку машины, вынул карту; капли дождя косо липли к целлулоиду.

— Пожалуйста, сидите,— вполголоса ответил Чернецов и зажег фонарик. — Посмотрим карту.

— Я вас не видел, товарищ лейтенант... Где вы были? — почти шепотом спросил Алексей.— Здесь?..

— Был недалеко от вас. Я-то вас отлично видел. Скажу откровенно — сначала и не надеялся...— И Чернецов смущенно тиснул его руку.

Несколько минут спустя машины мчались по дороге к недалекой теперь Марьевке. В кузовах было тихо: вымокнув на дожде, притомившиеся курсанты дремали, пригревшись под брезентом.

Свет фар летел во тьму, полную ветра.

Алексей расслабленно откинулся на сиденье — от стучавшего мотора шло тепло, пахнувшее бензином, ноги

обволакивала жаркая волна, необоримо клонило ко сну. Матвеев старательно крутил баранку и, виновато косясь, видел, что веки Алексея смыкались, голова тряслась на спинке сиденья.

В степи, распарывая непроглядную мглу, огненной нитью всплыла ракета и рассыпалась зелеными искрами в высоте.

— Ракета! — глухо сказал Матвеев.

Алексей открыл глаза — во мгле, угасая, мигал зыбкий свет,— перевел взгляд на часы.

— Ну вот,— сказал Алексей Матвееву, точно между ними ничего не произошло,— вот и Марьевка!

— Я враз, я теперь как на самолете,— забормотал Матвеев. — Ведь я что давеча... Думаю: захлестнет мотор, что делать? Ведь оно дело какое щекотливое... Оно если б какой танк или, скажем, подводная лодка, а то ведь дубина. Куда ее вытащить? А я и не знал, что ты злой можешь быть.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Дождь перестал, но в мокрой траве не кричали кузнечики, в степи еще не просыпались птицы; только ранняя ворона, зловеще прокаркав, пролетела над орудием в темном, затянутом ночными тучами небе. В балке настойчиво рокотала вода.

Впереди от далеких холмов отделилась и взошла в небо одиночная ракета. Внизу под холмами зеленым огнем блеснула полоска воды. Ракета некоторое время померцала пышным фейерверком, осветив низкие тучи, и стала падать. Черные тени близких кустов вытянулись и поползли по траве к орудию, соскользнули в балку.

— Кидают? — шепотом спросил Витя Зимин.— Откуда пойдут танки?

— Оттуда. Из-за холмов,— ответил Алексей.

Витя поверх щита орудия напряженно вглядывался в степь. Его влажная, измазанная землей шинель была туго затянута ремнем и от этого топорщилась колоколом.

— Так и на фронте было, да?

— Похоже немного, — ответил Алексей и, засунув два пальца под ремень Зимина, потянул, улыбнулся.—

А ремень придется отпустить. В бою надо будет поворачиваться.

— Слушаюсь,— прошептал Зимин.

За полтора часа до рассвета оборудовали огневую позицию в полный профиль — за Кривой балкой, перед глубоким оврагом; второе орудие было отдалено на пятьдесят метров от первого, и сейчас связисты заканчивали связь с НП, где находились офицеры дивизиона; врывали в землю кабель, неподалеку поскрипывали лопаты.

Там, во тьме, вспыхнул и потух красный огонек.

— Кто курит? — окликнул Алексей.— Подойдите ко мне!

Огонек мигом исчез. Зашелестела трава, к орудию приблизилась широкая фигура курсанта Степанова, в руке тлела папироса. Алексей удивился — тот никогда не курил — и спросил, утратив строгость:

— Зачем же демаскировать огневую? Ты знаешь, что огонек папиросы виден за километр? У немцев, например, были и наблюдатели и снайперы. Да ты же не курил!

Степанов неловко замялся.

— Да, я не курю. Так просто. Сегодня...

Он бросил папиросу в траву, неумело затоптал каблуком, потом что называется корягой поднес руку к пилотке, наклонив при этом голову, доложил с полной серьезностью:

— Связь готова, товарищ командир взвода.

— Передай второму орудию — наблюдать. Красная ракета — тревога!

Степанов с неуклюжим старанием сделал поворот кругом и исчез в темноте.

И Алексей подумал, что Степанов не сдал бы экзамен по строевой, но у него замечательные способности к теоретическим предметам, и майор Красноселов пророчил ему большое будущее штабного работника. Полукаров однажды сказал, что Степанов ушел в училище с философского факультета — решил изучать стратегию и тактику современной войны, пошел по стопам отца, генерала артиллерии, погибшего в Венгрии у Балатона.

В нише орудийный расчет чистил снаряды. Оттуда доносилось шуршание тряпок, постукиванье гильз и веселый голос Гребнина:

— Ясное дело, иногда мандраж испытываешь. Раз вернулись с задания, устали, как самые последние собаки, и прямо в окопе полегли на соломе как убитые. На рассвете один наш разведчик продирает глаза, выбирается из соломы, кошмарно заспанный,— не приведи господь! И видит: стоит спиной к нему детина и смотрит на немецкую передовую. Разведчик по привычке вспоминает нежные слова и между прочим говорит: «Эй, каланча, такая-сякая, что свет застишь, дай лучше бумажку закурить!» — да как дернет его снизу за полу шинели. Тот аж крякнул и аж сел тылом в окоп. И вроде онемел от неожиданности. А потом оборачивается, и тут разведчик таращится, изображает немую сцену. Оказывается — перед ним командир дивизии, генерал-майор Баделин. Разведчик, как укушенный, вскакивает, сдирает с себя солому, а генерал ему: «Ничего, дружок! Силен разведчик! Ну ладно. Закуривай». Вот где был мандраж, верите?

В нише приглушенно захохотали. Кто-то спросил смешливо:

— Саша, не ты ли это был?

— Не будем уточнять детали.

Из ниши сырой воздух доносил горьковатый дымок папиросы, и этот дымок, и запах земли, и эти голоса, и смех — все тихой болью коснулось Алексея, и он с волнением подумал:

«Эх, милый Сашка, многое мы стали забывать!..»

— Товарищ старший сержант, сигнал! — раздался за спиной крик Зимина.— Справа! Ракета!..

Алексей быстро посмотрел в степь.

Красная ракета взмыла над правым флангом, кроваво омыла вершины далекой рощи и, потухнув, скатилась к холмам. Он крикнул:

— По места-ам!.. Расчеты, к орудиям!..

— К орудиям! — подхватил команду Зимин.

— К орудиям! — эхом повторил связист.

В один миг огневая позиция пришла в движение: из ровиков, выталкиваемые этой командой, выскакивали расчеты, кидались к своим местам, сдергивая на ходу маскировочную плащ-палатку со щита орудия. Ствол орудия дрогнул над бруствером, чуть пополз и сразу замер. Два снарядных ящика были наизготове раскрыты меж станин. Щелкнул затвор. Став на колени, для удобства сунув пилотку в карман шинели, Дроздов прильнул

к панораме, его руки впились в механизмы наводки, и необычная тишина упала на огневую площадку.

— Готово! — звенящим голосом доложил Зимин.

— Готово! — доложило по связи второе орудие.

С острым ощущением знакомого ожидания, с щекотным млением в груди Алексей поднял бинокль и, прежде чем увидел танки, услышал железный гул моторов за холмами, который то усиливался, то стихал, подобный отдаленному рокоту грома.

На краю степи занималась заря, низкие гряды облаков будто из-под земли зажигались горячим огнем. Отчетливо черневшие в этом пространстве занявшегося пожара, далеко справа ползли два танка, тяжело, равномерно покачиваясь, и Алексей сперва не понял, почему танки идут справа, а не прямо из-за холмов, по спинам которых стлался туман, змейками обволакивая стволы берез на вершинах. В ту же минуту он понял, что танки начали атаку на участке огневых Брянцева; и по контуру башен, по ширине, по приземистой осанке этих танков узнав немецкие «тигры», он измерил расстояние до них: два с половиной километра. Багрово освещенное зарей пространство между танками и неподвижным передним краем заметно сокращалось. «Через две-три минуты Борис откроет огонь», — мелькнуло у Алексея, и в это же мгновенье он увидел еще два танка, медленно выползавших слева из-за холмов. В ярком зареве утра черная покатая броня башен мрачно блестела, как бы облитая кровью; выглянувшее солнце огненно сверкнуло на металле, и Алексею показалось — танки дали сдвоенный залп. Жаркая волна толкнула его в грудь, снаряды ударили беззвучно где-то впереди орудий, но разрывов не последовало, лишь накаляющийся рев моторов давил на уши и леденело под ложечкой.

«Что же? Почему нет разрывов?» — подумал Алексей, но, тотчас опомнясь, обернулся, взглянул на расчет, неподвижно замерший за щитом орудия.

Только один Дроздов, приникнув к панораме, с нежной осторожностью вращал маховики подъемного и поворотного механизмов, даже на краткий миг не выпуская цель из перекрестия,— и ствол орудия следяще полз над бруствером.

Покачиваясь на ухабах, танки двигались прямо на огневую, метрах в пятидесяти — шестидесяти один от другого, и видны были их черно-белые хищные кресты,

прицельно вытянутые стволы орудий. Танки приближались к кустикам дикой акации — к этому первому ориентиру, но Алексей не подавал команды, все ждал дальности прямого выстрела, а Зимин дышал открытым ртом, оглядываясь на него беспокойно ищущими глазами. В уставших от напряжения руках заряжающего Карапетянца подрагивал бронебойный снаряд.

Расколов воздух, справа оглушительно ударили орудия, и две трассы огненными пиками метнулись вокруг черной брони танков; одна молнией врезалась в башню, высекла сноп малиновых искр, стремительной дугой ушла в небо — открыл огонь взвод Брянцева.

— Не берет! — крикнул кто-то.— Рикошеты!

Те два правых танка, по которым открыл огонь взвод Брянцева, шли наискось к фронту и теперь были метрах в трехстах от танков, ползущих на орудия Алексея; эти танки, идущие фронтом, миновали кустики диких акаций, уверенно и прочно стали вползать на возвышенность. Их широкие гусеницы с лязгом вращались, и Алексей до предельной отчетливости увидел покатую лобовую броню, триплексы в башнях, белые, острые, как лапы пауков, кресты...

И он даже задержал дыхание, когда танки вползли на возвышенность и, черные, кажущиеся снизу огромными, понеслись под гору на орудия, увеличивая скорость. Алексей крикнул:

— Прицел двенадцать! Бронебойным... Огонь!..

В уши толкнулась раскаленная волна. Орудие откатилось. Веером полетела с бруствера опаленная земля. Сквозь дым прямая трасса первого орудия прорисовала над землей пунктир, магнием вспыхнула на борту переднего танка; трасса второго орудия врезалась в землю перед самыми гусеницами и погасла.

— Огонь!..

Танки шли на прежней скорости, и снова трасса первого орудия фосфорическим огоньком чиркнула по борту, а второго — ударила в башню и срикошетила, взвиваясь в небо.

— Наводить точнее! Огонь!

Справа взвод Брянцева вел беглый огонь, но Алексей уже не смотрел в ту сторону — вся степь сверкала, отблескивала броней танков; мерцающее солнце до рези било в глаза слепящими лучами, и танки словно пульсировали в этом нестерпимом блеске. И он вдруг понял, почему

снаряды рикошетировали: солнце обесцвечивало трассы, изменяло расстояние. Подав следующую команду, Алексей все же заметил, как огненная стрела пятого снаряда в упор вонзилась в первый танк, легкий дымок пылью пронесся над башней, сбиваемый ветром. И танк, обожженный ударом, приостановился, зарываясь гусеницами в траву.

— Наводить точнее! Огонь!

Две следующие трассы, казалось, толкнули назад этот танк, злые язычки пламени, будто огненные тарантулы, начали извилисто разбегаться в разные стороны из смотровых щелей по броне.

И лишь тогда Дроздов отпрянул от панорамы, провел рукавом по взмокшему лбу, прищуренными глазами вопросительно глянул на Алексея; командир орудия Зимин давился нервным смехом радости.

Другой танк миновал загоревшуюся машину, со скрежетом катился по степи, а второе орудие било по нему беглым огнем, но, дымясь, этот танк еще жил — трос тянул его вперед, к балке, где заглушенно ревели тягачи.

— Сто-ой! Командира взвода к телефону! — крикнул пронзительно телефонист в ровике.

Алексей спрыгнул в ровик связи, схватил трубку, в ушах его звенело и давило от горячих ударов пороховых газов.

— Четвертый слушает! — проговорил Алексей чрезмерно громко, еще не остывший после стрельбы.

— Танковая атака отбита, товарищ четвертый,— услышал он голос капитана Мельниченко.— Ваша пехота пошла в наступление. Пехота противника выбита из окопов. Бой в глубине обороны. Ваши орудия остаются на закрытой позиции. Пятый (командир взвода управления) убит, третий (командир батареи) ранен. Наблюдательный пункт выбрать на холмах. Ваш сосед справа — шестой (Брянцев). Действуйте!

«Значит, рядом с Борисом»,— подумал Алексей.

Он шел по степи таким быстрым шагом, что связист Степанов и разведчик Беленевский с буссолью и стереотрубой едва успевали за ним. Трещала, разматываясь, катушка; орудия остались позади. На втором километре Алексей взял у Степанова одну катушку, перекинул через плечо, поторопил:

— Быстрей!

Солнце поднялось, трава подсыхала, почва, размытая дождем, налипала на сапоги пудовыми ошметками, и Алексей, уже весь потный, все ускорял, ускорял шаг, в то же время искал глазами Бориса, который тоже получил приказ. Но высокие травы стояли по сторонам, и ничего не было видно, кроме зеленеющих впереди холмов, берез на вершинах и солнца, вставшего над степью.

Внезапно Степанов подал голос:

— Второй взвод!

— Вон они! — подтвердил Беленевский.— Справа!

По склону бугра справа бежал Борис в сопровождении связиста и разведчика. Утопая по пояс в траве, цепляясь за кусты, они взбирались все выше, тонкая нить провода пролегала за ними по скату, и Борис, часто оборачиваясь, что-то кричал связисту, показывая на вершину холма впереди.

— Торопятся открыть огонь,— протирая очки, выговорил Степанов.

— Ясно,— ответил Беленевский.

— Вперед! — скомандовал Алексей.

Когда они подбегали к холмам, у подножья зеркально блеснула полоса воды — та самая полоса воды, в которую падали ракеты ночью: это было не то озеро, не то болото, заросшее камышом и осокой; два кулика с растревоженным писком поднялись с берега.

— Собачья пропасть! — выругался Беленевский. — Что же это такое?

— В обход! — крикнул Алексей.— Слева в обход!

Они повернули влево по берегу, явно теряя время. Беленевский теперь не бежал позади Алексея, а, закинув буссоль и стереотрубу за спину, помогал Степанову прокладывать связь. Двигались по щиколотку в чавкающей тине болота. Тина всасывала и хлопала, как бутылочные пробки. Болото это, разлившееся после дождя, наконец сузилось, перешло в вязкую грязь — и, пройдя ее, все трое перебрались на ту сторону, совершенно изнеможенные, стали взбираться по скату холма. До его вершины было метров триста пятьдесят, и Алексей слышал стук вращающейся катушки, срывающееся дыхание Степанова и Беленевского и, задыхаясь, повторял, как в бреду, одно и то же:

— Еще немного, еще немного! Еще немного...

— Товарищ старший сержант! Связь...— прохрипел

Степанов.— Связь... Связь кончилась! — повторил он, валясь боком в траву.— Вся катушка!

Алексей подбежал к нему.

— Да ты что? Как кончилась?

— Болото... болото...— удушливо повторял Степанов.— Болото обходили, связь ушла...

Беленевский судорожно разевал рот — зашлось от быстрого подъема сердце,— он хотел сказать что-то, но не мог, не хватало воздуха.

— Я... побегу... за связью,— еле продохнул он.— Разрешите?..

— Че-пу-ха! — со злостью крикнул Алексей.— Куда побежите, за три километра? Опять через болото?

— Что же делать? — выговорил Беленевский.— Надо открывать огонь...

Первая мысль, которая пришла Алексею, была — присоединить аппарат к линии и вызвать связиста с катушкой, но это ничего не изменяло. Ждать связиста хотя бы полчаса было так же невозможно, как и бессмысленно.

И вдруг глухое отчаяние захлестнуло Алексея; обессиленный, вытирая пот с висков, он сел на валун, понимая, что бой он проиграл, а все, что было вчера и сегодня, — переправа орудий, неестественное напряжение прошлой ночи, стрельба по танкам — все это было напрасно, и только потому, что на обходе болота он потерял более получаса времени и несколько сот метров связи.

Неожиданно справа, на скате холма, послышались голоса, в высокой траве мелькнули фигуры Бориса, Полукарова и связиста Березкина, они бежали вверх по склону. Полукаров, должно быть, первый заметил группу Алексея и, на мгновение остановившись, на бегу показал в их сторону рукой. Борис оглянулся, взбираясь по откосу в своей расстегнутой, развевающейся шинели, а утренний ветер вольно обдувал склон, вокруг волновались на холме травы, и этот их шум раздражающе лез в уши, колыхал, как на волнах, отдаленные голоса.

— Стойте! — крикнул Алексей и вскочил с надеждой.— Подождите!

Борис задержался на скате холма.

— Связь... связь кончилась! — закричал Алексей изо всех сил.

Но ветер уносил, разрывал слова, развеивал их, и Борис, непонимающе помахав руками, видимо, так ниче-

го и не расслышав, побежал вверх, к зарослям кустов, зеленеющим до самой вершины, где светились на солнце стволы берез.

— Стойте! Связь кончилась! — опять закричал Алексей и, не выдержав, кинулся наискосок в направлении кустов, к которым приближалась группа Бориса.

Группа продолжала двигаться, канула в заросль кустов, пропала в ней; только отставший с катушкой кабеля связист Березкин, в замешательстве глядя на подбегавшего Алексея, нервно спрашивал:

— Что, что?

— Оглохли, черти? — едва отдышавшись, зло выговорил Алексей. — Не слышите?

— Вперед надо ведь...

— Алексей, ты?

В это время из чащи кустов показался Борис, стремительными прыжками подбежал к ним, разгоряченный, по смуглому лбу его скатывались струйки пота.

— Березкин! Прокладывайте связь через кусты! Быстро! Что остановились? — скомандовал он связисту и спросил возбужденно Алексея: — Ну, что случилось?

— Слушай... у меня кончилась связь... надо двести, двести пятьдесят метров до вершины...— Алексей задыхался.— Есть у тебя?

— Связь? — воскликнул Борис и резко добавил: — Не вовремя кончилась у тебя связь... Как же так?

— Слушай, мне не до вопросов! Обходили болото, не рассчитали! — с трудом выговорил Алексей.— Нужно двести пятьдесят метров.

Несколько секунд Борис молчал, брови его раздраженно хмурились.

— В этом-то и дело,— сказал он наконец, с нетерпением оглядываясь на Березкина.— Дело в том, что нет у меня лишней катушки. Вон, смотрите! У Березкина кончается последняя... А вообще советую: посылай связиста на батарею! Не теряй времени. Единственный выход! Ну, шагом марш! Вперед! — И он, повернувшись с неумолимой решительностью начал подыматься вверх по высоте.— Советую! — крикнул он издали.— Посылай немедля!

Алексей смотрел на удаляющуюся группу второго взвода, видел сгорбленную спину связиста Березкина, прямую фигуру Бориса и думал, что за эту оплошность на фронте его по справедливости могли бы отдать под

суд и расстрелять; пехота требует огня, в атаке гибнут люди, а он бессилен открыть огонь...

Тогда он подошел к своей группе, ожидавшей его возле телефонного аппарата. Беленевский жадно курил, а Степанов, поправив очки, спросил тревожно:

— Нет?

— Нет! — ответил Алексей.

— Значит, мы подставили под огонь левый фланг пехоты, — мрачновато проговорил Степанов. — Безобразие и г-глупость!

— Глупейшее положение! — растерянно сказал Беленевский.— Глупейшее!..

Потом они сидели безмолвно, и в этом гнетущем бессилии Алексей с ледяной и колючей нетерпеливостью искал выход и, не находя его, думал: «Да, глупая случайность, непростительная случайность! Но что же делать?» После долгого молчания он приказал:

— Степа, свяжись с батареей!

— Да, да, надо решать. Немедленно.

Невнимательно слушая эти обычные позывные: «Днепр».., я — «Тюльпан»... я — «Тюльпан»...», Алексей хмуро оглядывал вершину холма, над которым по-прежнему сияло глубокое августовское небо: до этого неба было двести пятьдесят метров, но оно было недосягаемо.

— Я — «Тюльпан», я — «Тюльпан». Как слышишь? Даю четвертого...— речитативом звучал голос Степанова.— Товарищ старший сержант! — торопливо прошептал Степанов.— Вас к телефону! Градусов спрашивает, почему не открываем огонь?

Гулко и раскатисто ударило позади орудие. Все разом оглянулись. Снаряд жестко прошуршал над головами и разорвался далеко впереди, по ту сторону холма. Борис открыл огонь, начал пристрелку.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Виллис» майора Градусова остановился у подножия холма.

Майор вылез из машины, поспешно зашагал вверх по скату; следом шли капитан Мельниченко и лейтенант Чернецов.

Над степью прошелестел снаряд, разорвался по ту сторону холма. Офицеры прислушались.

— Открыл огонь Дмитриев,— сказал Мельниченко.— Поздно!

— Мне совершенно неясно, Василий Николаевич,— отозвался Чернецов. — Что с ним?

— Неясно? — сипло спросил Градусов, срывая на ходу прутик и не обращаясь ни к кому в отдельности.— А мне кажется — все ясно! Переоценил свои силы и основательно навредил боевым учениям!

От быстрого подъема по косогору он вспотел, с утра мучила одышка, давило сердце, и сейчас его большое лицо выражало болезненную брезгливость. Он щелкнул прутиком по начищенному голенищу, выговорил с придыханием:

— Ошиблись, товарищи офицеры!

— В чем? — спросил Мельниченко.

Его ровный голос, его, казалось, невозмутимо-насмешливый взгляд раздражали Градусова. Майор тяжело повернулся, шея врезалась в габардиновый воротник плаща, на свежевыбритых мясистых щеках проступили лиловые пятна.

— Стыдно, капитан! Всему дивизиону стыдно! Показали боевую выучку! Вот вам разумно осознанное, дисциплинированное выполнение приказа. Я отлично помню ваши слова прошлой зимой. Говорили громкие фразы, а сами дешевого авторитета среди курсантов искали, побаивались, как бы они о вас плохого не подумали! Какая, простите, к лешему, это дисциплина? Пансион благородных девиц, а не офицерское училище! Позвольте вам прямо сказать, как офицер офицеру, этого без последствий я не оставлю! — Градусов так сильно щелкнул прутиком по голенищу, что осталась влажная полоса. — О ваших так называемых методах я рапортом буду докладывать. Нам вдвоем трудно работать, невозможно работать!..

— Да, вы правы, товарищ майор,— стараясь говорить спокойно, ответил Мельниченко, и Чернецов заметил в его глазах зимний холодок.— Но пока мы работаем вместе, разрешите вас спросить, товарищ майор, что же такое дисциплина, в конце концов?

Градусов проговорил с неприязненной гримасой:

— Позвольте мне не отвечать на этот азбучный вопрос! Хотя бы как офицеру, старшему по званию, позвольте уж...

— Конечно, отвечать труднее, чем спрашивать,—

тем же тоном продолжал Мельниченко.— Но я хочу вам сказать одно: училище — это не средневековый монастырь. В этих монастырях, знаете, висела плетка на стене. Ею наказывали провинившихся монахов. Вот эту плетку называли «дисциплиной». Но сейчас двадцатый век. Мы воспитываем не монахов, а офицеров, и мы с вами не настоятели монастыря. Кстати, почему вы сняли со старшин Брянцева?

— Капитан Мельниченко! — оборвал Градусов гневно.— Попрошу вас пре-кратить этот разговор! Мы его продолжим в другом месте. Что касается Брянцева, то позвольте уж не отдавать вам отчет в моих поступках. Я отвечаю за них как командир дивизиона, не забывайте!

— Не забываю, что как командир батареи я тоже отвечаю за своих людей.

После разговора с Мельниченко Градусов, преодолевая крутой подъем, сумрачно насупясь, ступал грузно, весь в жаркой испарине. Офицеры негромко переговаривались, шли за ним легко, и, чувствуя это, он испытал вдруг впервые за много лет горькую зависть к молодости и здоровью, чего теперь так недоставало ему, глухую ревность к тому, что он во многом не понимает их, подчиненных ему офицеров.

Отдуваясь, он прижал руку к неровно бьющемуся сердцу и подумал, что ведь жить осталось не так долго. И на какую-то минуту страстно захотелось общего понимания и согласия, тихой умиротворенности, любви к себе в его дивизионе. Это было желание старого, усталого человека, и жесткое выражение его лица немного смягчилось, как смягчалось обычно, когда каждый вечер он переступал порог своего тихого дома, входил в обжитой уют и видел жену Дарью Георгиевну и взрослую дочь Лидию, ожидавших его за столом к ужину.

«Старею, сентиментальничаю»,— подумал Градусов и раздраженно оглянулся на офицеров.

А над головой шелестели снаряды, с раскатистым громом рвались где-то за холмом, затем впереди, из-за кустов, явственно долетели команды — и вновь сверлящий шелест возник, прошел над головой, плотный грохот разрывов толкнул воздух.

«Что это? — подумал Градусов. — Почему тут наблюдательный пункт?»

Солнце палило, он шумно дышал, шагая через кусты, сквозь жидкую тень — здесь не стало прохладнее; кровь

стучала в затылке, жилы на висках вздулись, из-под фуражки сбегали капли пота.

Кусты кончились. Впереди на открывшемся косогоре, в траве, возле телефона, сидел на корточках Степанов, выкрикивая в трубку угломер и прицел; метрах в восьмидесяти выше, неподалеку от вершины холма, стоял в рост Беленевский и во всю силу голоса передавал оттуда команды:

— Угломер двадцать два — сорок! Прицел восемьдесят! Два снаряда! Огонь!

— Выстрел! Выстрел! — докладывал Степанов.

Распоров железным свистом воздух, снаряды разорвались за холмом, дважды упруго тряхнуло землю. Затрудненно дыша, Градусов подошел к Степанову, мгновенно вскочившему, с непониманием выговорил:

— Это что тут такое?

— Товарищ майор...

— Где ваш наблюдательный пункт? — перебил Градусов.— Где курсант Дмитриев?

— Товарищ майор... у нас не хватило связи. Команды передаются с наблюдательного пункта на расстоянии. Дмитриев на высоте.

— На расстоянии? Товарищи офицеры! Попрошу ко мне!

Офицеры задержались в кустах и теперь подымались по скату наискось к Градусову; капитан Мельниченко нес в руках катушку связи и не без удивления разглядывал ее. Подойдя, он бросил катушку под ноги Степанову, спросил:

— Это ваша связь? Вы ее оставили в кустах?

— Связь? Нет...— тихо ответил Степанов.— Если бы у нас... была одна катушка...

— Тогда бы вы не установили связь на голос? — догадался Чернецов, измеряя быстрым взглядом расстояние до вершины холма.— Так, Степанов?

— Так точно.

— Катушка? Позвать Дмитриева! Немедленно ко мне! — распорядился Градусов и, сделав еще несколько шагов к вершине холма, опустился на валун, мучительно справляясь с одышкой.

В течение тех минут, пока Степанов бегал за Дмитриевым на НП, командир дивизиона, обмякнув всем телом, обливаясь потом, изгибал в руках прутик, будто не знал,

что делать, и, показалось всем, вздрогнул, когда раздался голос Дмитриева:

— Товарищ майор, по вашему приказанию старший сержант Дмитриев прибыл.

Майор отрывисто и глухо спросил, ткнув прутиком в катушку связи:

— Это чья?

— Не понимаю, товарищ майор.

— Я спрашиваю: чья катушка? Вы потеряли?

— Я не терял никакой катушки.

— Почему вы тогда устроили эту связь на голос? Так чья это катушка, я вас спрашиваю? Отвечайте, курсант Дмитриев!

— У меня не хватило связи. Связь на голос — был единственный выход,— ответил Алексей и, почти теряя над собой власть, добавил вызывающе: — Вы спрашиваете меня так, словно я лгу!

Майор Градусов положил прутик на валун, вынул носовой платок, промокнул им лоб, подбородок, обтер багровую шею.

Мельниченко сказал с жесткой, приказывающей интонацией:

— Что ж, почти ясно, курсант Дмитриев, продолжайте стрельбу! — И после того, как тот побежал к вершине холма, Мельниченко обратился к Градусову: — Думаю, товарищ майор, вы многое преувеличивали...

— Что-то... мне сегодня... Вы меня... Вы до могилы меня...

Градусов не договорил, осыпанное обильным потом лицо его стало мертвенно-серым — он откачнулся назад, заглатывая, как в удушье, воздух, правая рука его судорожно дернулась к воротнику, слабеющие пальцы искали пуговицу и не могли найти ее, скользили по кителю.

Мельниченко не сразу сообразил, что Градусову плохо, но когда увидел это его бескровное лицо, эти его беспомощные, шарящие по груди пальцы, понял все. В ту же минуту он успел поддержать Градусова за спину, иначе майор упал бы навзничь, и, одновременно расстегивая его китель на груди, потной, широкой, заходившей вверх и вниз от нехватки воздуха, помог ему лечь на траву, приказал Чернецову:

— Носилки! Мигом! И врача из санчасти!

— Я сам! Сейчас...— ответил Чернецов и бросился вниз по склону, где светилась полоса воды.

Майор лежал на спине, с жадностью хватая ртом воздух, прижимая левую руку к вздымающейся груди; глаза его были раскрыты, в них замерли страдание и боль.

Мельниченко наклонился к Градусову, позвал вполголоса:

— Иван Гаврилович...

— Вы, голубчик... не того,— слабо зашевелил губами Градусов, закрывая глаза.— Не того... Отлежусь... Отлежусь... Бог не выдаст, свинья не съест...

Через полчаса санитарная машина мчала командира дивизиона в город. У него был тяжелейший сердечный приступ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В теплой и тихой высоте алели тонкие облака, мошкара туманным столбиком толклась в закатном воздухе. По ту сторону реки за вечереющими лесами медленно разгоралась, начинала пылать синяя звезда Сириус, этот первый разведчик ночи. Стало сыровато в траве, но Алексею было хорошо лежать среди этой безмятежной тишины, среди этого небесного покоя и видеть, как занимается ночь.

А из близкого лагеря, с волейбольной площадки, доходили, накатывались волной азартные крики, глухой стук мяча, трели судейских свистков. «Аут! Двойной удар!», «Подача справа!», «Брянцев, гаси!»

Стрельбы кончились. Дивизион вернулся в лагеря. В свободное от занятий время Алексей уходил из взвода, зная, что и Борис уходил на волейбольную площадку или в курилку, где был оживлен, весел, добр со всеми, охотно смеялся в ответ на каждую шутку, щедро угощал всех папиросами: «Ну, налетай по-фронтовому, раскурочивай пачку». И его глаза приобретали горячий, знакомый блеск убежденного в своей силе человека. Однако, возвращаясь во взвод, он чувствовал холодок окружавшего его молчания, и тогда лицо его тускнело, он раздраженно морщился: здесь никто в его присутствии не спрашивал о стрельбах, здесь была неприязненная настороженность.

На второй день после возвращения в лагеря Борис решил смягчить эту обстановку и в час отдыха появился в палатке, принужденно-беспечно улыбаясь:

— Закурим, ребята, чтоб дома вспоминали?

Тут же у входа он в упор столкнулся с Полукаровым, неуклюже вставшим с топчана.

— Не желаю! — сказал Полукаров и, торопясь, вышагнул из палатки.

За дощатым столом сидели Дроздов, Гребнин и Алексей. Все в молчаливом ожидании смотрели на него. Борис раскрыл коробку папирос, понюхал ее, сказал с шутливым восхищением:

— Не хотите? Напрасно. Божественный табак!

— Нет... что ж... давай закурим,— со спокойным видом сказал Алексей и встал, подошел к нему, взял папиросу.— Спасибо. А то у меня кончились. Это все-таки прекрасно. Я рад, что ты готов поделиться последним табаком...

— Что за ирония? — засмеялся Борис.— Может быть, ты, Алеша, хочешь уличить меня в лицемерии?

— Никакой иронии. Садись. Здесь все свои. Поговорим.

— О чем? — Борис полуулыбнулся, беглым взглядом окинул всех.— Впрочем, я тоже как раз хотел поговорить. Вижу, во взводе косятся на меня: очевидно, все верят тому, что ты говоришь тут обо мне. Слышал кое-что и хочу предупредить — брось, Алеша!

— Я ничего не говорю о тебе, ни слова,— ответил Алексей.— Но ты скажи: чья была катушка связи, которую нашел в кустах комбат?

— Катушка связи? — вздернул плечи Борис.— Ты что, провоцируешь? Какая катушка? При чем здесь я, если у тебя не хватило связи? — Он смял незакуренную папиросу.— Да дьявол с ней, в конце концов, с этой дурацкой катушкой! Я хочу, чтобы ты понял меня! По-человечески!.. При чем здесь я?

— И я хочу понять,— сказал Алексей.

— Вижу! — Брови Бориса изогнулись.— Вижу, Алексей, как ты хочешь понять! Ты хочешь совсем другого, но знаешь...

За пологом потоптались, и в палатку всунулся низкорослый курсант из соседней батареи, кашлянул на пороге для солидности.

— Первый взвод, кто у вас здесь Брянцев?

— Опять! — с неудовольствием воскликнул Дроздов.— Кто вы и откуда, товарищ? Чем можем быть полезны? Вам нужен лектор?

Курсант расправил под ремнем складки гимнастерки, снова кашлянул, недоверчиво огляделся.

— Так. Это первый взвод?

— Первый.

— И Брянцев есть в вашем взводе?

— Я Брянцев! — не без раздражения отозвался Борис.— Что дальше?

Курсант проговорил веско:

— Если ты Брянцев, то я комсорг взвода из второй батареи. Словом, мы знаем, как ты по-фронтовому действовал на стрельбах. Ребята тебя приглашают поделиться...

— Вот этого делать и не нужно! — вдруг запальчиво крикнул Дроздов. — Не нужно! Слышишь, комсорг? Чепухой занимаетесь! Ерундой несусветной. Это ты придумал, умница? Иди в свою батарею — переживете без лекций, если башка на плечах есть!

— Как это так? — обиделся курсант.— Почему чепуха? Почему прогоняете? Вы чего колбасите?

— Верно, тут тебе наговорят. Иди. Брянцев сейчас придет,— поддержал его Алексей, увидев побелевшие, плоско сжатые губы Бориса.

Курсант, недоумевая, потоптался и вышел из палатки.

— Слушай, Толя, какое ты имеешь право распоряжаться мной? — зло спросил Борис.— Я что, подчиняюсь тебе?..

— Борис, — перебил его Алексей, все так же глядя ему в лицо,— ведь катушка в кустах была твоя.

— Что-о? Значит, ты...

— Значит, ты оставил катушку. Но — зачем?..

— Как ты смеешь? Откуда ты это взял? — закричал Борис, бледнея.— Клевета... сволочная клевета! Что ж, я все понял! Спасибо, мой друг Алешенька, спасибо!.. Желаю тебе в задуманном деле всяческой удачи!..

И кинулся из палатки; шумно плеснул полог; нависла тяжелая, как духота, тишина.

...Теперь Алексей лежал на берегу, ощущая свежий холодок травы, и вспоминал, как все это было, а на волейбольной площадке по-прежнему не стихали стук мяча, крики курсантов: «Гаси!», «Есть!», «Переход подачи!».

Потом Алексей не спеша пошел в лагерь; сумрак леса поглотил его. Сырая мгла, сизо клубясь, сгущаясь, плотно собиралась в чаще, смутно белели тропки. Над ними волнисто плавал туман. В палатках повсюду зажигались огоньки, звучали голоса во влажном воздухе. Мимо прошел караул — разводящий с часовыми — на дальний пост, к автопарку. Перекликались у палаток дневальные:

«Егоров, где керосин? Почему лампа не заправлена? Его-ро-ов...»

Наступала ночь. Только на волейбольной площадке затянулась игра, и вокруг поляны толпились зрители изо всех батарей, в темноте полет мяча был едва виден, а Борис играл возле сетки, азартно требуя пасовки, и с силой ударял по мячу под восторженные вопли зрителей:

— Дав-вай!

Алексей постоял немного на поляне, подумал: «Зачем обманывать себя?» — и зашагал по тропинке к взводу.

Около палатки его остановил дневальный:

— Немедленно вызывают к капитану Мельниченко — тебя и Брянцева!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В палатке комбата было натоплено, светло — яростным накалом горели две бензиновые лампы, сделанные из стреляных гильз, гудела раскаленная железная печка. Когда Алексей вошел, Мельниченко разговаривал с Черцовым; пунцовый румянец заливал щеки лейтенанта.

— Войдите и садитесь,— разрешил капитан Алексею.— А где Брянцев? Что ж, подождем.

Офицеры поочередно читали какую-то бумагу, и Алексей то и дело ловил на себе спрашивающий взгляд Черцова. Капитан же не посмотрел на него ни разу, и было похоже, что до прихода Алексея между офицерами шел серьезный разговор, а он невольно прервал его. На столе в армейской рации красными глазка́ми мерцали лампы.

Близко за палаткой послышались быстрые шаги, голос Бориса произнес за пологом:

— Курсант Брянцев просит разрешения войти!

— Да, войдите.

Он был еще весь потный после игры в волейбол, гимнастерка прилипла к груди, но тщательно заправлена, ремень туго перетягивал талию. Тотчас в палатке разнесся запах одеколона — маленький плоский трофейный пузырек чистоплотный Борис всегда носил в кармане. Отчетливо звякнули шпоры.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться?

— Пожалуйста.

— Товарищ капитан, по вашему приказанию курсант Брянцев прибыл!

— Садитесь, курсант Брянцев,— ответил капитан, продолжая читать бумагу.— Вот сюда, на ящик.

— Слушаюсь.

Пустой снарядный ящик стоял рядом с Алексеем, и Борис легко, непринужденно сел, не обернувшись, будто не заметив его, а капитан из-за листа бумаги внимательно поглядел на обоих, спросил:

— Вы что такой возбужденный, Брянцев?

— Играл в волейбол, товарищ капитан.— Борис улыбнулся.— Люблю эту игру.

— Хорошо, слышал, играете?

— То есть... говорят, что хорошо...

— Да. И стреляете вы неплохо. Я тут просматривал личные дела, Брянцев, у вас очень хорошая фронтовая характеристика. Подписана вашим командиром взвода лейтенантом Сельским. Вы воевали вместе с ним с Курской дуги?

— Так точно.

— Понятно. — Капитан положил бумагу на стол, кивнул Чернецову, сказал ему строго: — Об этом потом...

— Так вот что, товарищи курсанты,— заговорил он, немного помедлив.— Наличие связи проверено во всей батарее. Оказалось: одной катушки не хватает именно в вашем взводе. (Чернецов дернулся при этих словах.) Так кто же из вас потерял катушку во время стрельб — вы, Дмитриев, или вы, Брянцев? — Капитан опять помедлил несколько секунд.— Понятно, что оба вы одновременно эту катушку потерять не могли. Я прошу объяснений.

Борис подозрительно покосился на Алексея и с тяжелым вздохом поднялся.

— Разрешите, товарищ капитан? — Он пробежал пальцами по ремню и заговорил громче: — Товарищ капитан, я взял с собой четыре катушки. Четвертой хватило точно до вершины холма. Я утверждаю: катушки я не терял и ничего не знаю о ней!

Его голос отдавался в ушах Алексея и казался ему странным своей непререкаемой уверенностью, своей спокойной убедительностью; такой голос не может лгать. Борис замолчал. Огонь ламп холодно мерцал на его начищенных пуговицах, жарко вспыхивал на орденах, полосой прочертивших грудь. «Зачем он надел ордена? — подумал Алексей.— Почему именно сегодня?» В тишине

тоненько пропел комар, опустился на руку Бориса и начал набухать; рука оставалась неподвижной.

— Я узнал об этой найденной катушке после стрельб и был очень удивлен,— проговорил Борис, а комар все набухал и набухал на его руке, стал весь пурпурным.— У меня нет оснований делать какие-либо предположения и догадки.

— И что еще? — спросил Мельниченко.

— Больше ничего не могу добавить,— ответил Борис. — Я не знаю, каким образом появилась эта катушка, товарищ капитан.

— Садитесь.

Борис сел и, только сейчас увидев комара, ударил по нему, брезгливо вытер пятно кончиком носового платка.

«Он хочет показать, что вопросы вовсе не волнуют его, что он не понимает, какое отношение имеет ко всему этому»,— подумал Алексей, и чувство, похожее на острую неприязнь к Борису, охватило его.

— Старший сержант Дмитриев,— послышался голос Мельниченко.— Объясните, почему у вас не хватило связи? Чья же это, в конце концов, катушка?

Борис, подняв лицо, сощурился. Офицеры смотрели на Алексея: капитан со строгим ожиданием, Чернецов — с прежним выражением неуверенности и тревоги. Когда Алексей шел к капитану, у него появилось решение не говорить ничего о том, что он понял уже после стрельб. Просто сказать, что не может разобраться в этом случае с катушкой, а потом еще раз объясниться с Борисом, в глаза сказать, что он думает о нем,— и на этом закончить все. И сейчас, глядя на невозмутимо-честное лицо Бориса, он встал и увидел, как глаза его напряженно заулыбались в пространство.

— Товарищ капитан, связи у меня не хватило, когда мы обошли болото перед самым холмом и сделали крюк. Я запаздывал с открытием огня, но на холме я увидел Брянцева и попросил у него кабель, чтобы проложить связь до энпэ. У меня не хватало двухсот пятидесяти метров. Брянцев сказал, что кабеля у него нет, что у самого кончается связь... Вот и все, что я знаю.

Он умолк. Молчание длилось с минуту, и непроницаемое лицо Бориса стало влажным, точно обдало его паром, но прищуренные глаза старались по-прежнему улыбаться.

Борис проговорил ровным голосом:

— В том-то и дело, что у меня тоже кончалась связь.

— Да, наверно, — сказал Алексей. — Может быть. Я попросил у тебя связь и видел, как ты бежал через кусты к энпэ, потому что надо было открывать огонь. Глупо, конечно, было бы мне оставлять свою катушку в кустах и просить у тебя связь.

— Вы думаете, что это катушка Брянцева? — спросил Чернецов, покраснев алыми пятнами.

— Я не могу ответить на этот вопрос.— Алексей махнул рукой.— То, что я могу предполагать, еще не доказательство.

— А это уже ложь! — отчетливо-убежденно проговорил Борис.— Что за клеветнические намеки, Дмитриев?

— Я не собирался говорить намеками.

— Значит, обоим неясно, что произошло? — прервал капитан Мельниченко.— В конце концов дело касается чести — вашей, Брянцев, и вашей, Дмитриев. Объясните, Брянцев, что вы считаете клеветой? Опровергайте, если это так. И немедленно!

Высокий смуглый лоб Бориса залоснился от выступившего пота.

— Хорошо... Я объясню... Но я не буду так безответствен, как Дмитриев... Хорошо, я выскажу то, что не хотел говорить.

Он выпрямился и глубоко вздохнул, как если бы через силу предстояло объяснять особо резкие неприятные себе и другим вещи; и почему-то сейчас, в эту минуту, его досадливое, разочарованное выражение лица и его голос показались противоестественными, и Алексей вдруг подумал, что Борис заранее готов был к подобному разговору, все заранее решил для себя детально и точно, и эта горькая догадка поразила его.

— Я, наверно, слишком грубо выразился: «клевета»,— сказал Борис несколько усталым голосом.— Назову другим словами: «двусмысленные намеки». Да, мы с Дмитриевым считались друзьями. И я вынужден подробнее объяснить почему.— Борис облизнул губы.— Корни идут еще с фронта. Скрывать теперь нечего... Однажды трех артиллеристов, в том числе нас, взяли в разведку, и вышло так, что Дмитриев... Сейчас нескромно, может быть, говорить о себе. Но вышло так, что я целый час прикрывал Дмитриева огнем и помог ему дотащить «языка» к нашим окопам.— Борис искоса посмотрел на Алексея.— В училище наши взаимоотношения изменились. Не знаю

почему. Может быть, Дмитриев чувствовал себя обязанным мне, что ли, за прошлое — не знаю! Верно или неверно, психологически я объяснял это так: порой люди, чувствующие себя в долгу друг перед другом, не всегда остаются друзьями. Тяжелый груз — быть обязанным тому, кто знает твою прошлую ошибку.

— Какую?.. Я допустил ошибку в разведке? — выговорил Алексей, изумленный этим неожиданным объяснением Бориса.— Скажи же, что за ошибку?..

Борис с вежливой сухостью ответил:

— Я могу объяснить, но это к делу не относится,— ты не разобрался в обстановке, поэтому мы наткнулись на боевое охранение немцев и едва не попали им в лапы. Впрочем, я не хочу об этом... И теперь — основное.— Борис опустил глаза, вдохнул носом воздух, как бы набираясь сил для главного, четко произнес: — Товарищ капитан, катушка связи, найденная в кустах, не моя катушка...

— Значит, катушка Дмитриева?

— Я не утверждаю, товарищ капитан,— сдержанным тоном возразил Борис.— Я не видел. Но мне кажется, что Дмитриев мог потерять эту катушку... После того, что Дмитриев говорил здесь, у меня невольно сложилось мнение, что он хочет дискредитировать меня перед взводом, перед офицерами. Может быть, потому, что Дмитриев опоздал с открытием огня, и, наверно, из-за его личной неприязни ко мне он хочет в своей неудаче обвинить меня. Поэтому я должен был объяснить все так подробно.

— Понятно,— сказал капитан.— Дмитриев потерял катушку, попросил у вас связь — у вас нет. Тогда он решил свести с вами счеты. Что ж, возможно. Но каков все-таки смысл этой мести?

— Не знаю.

— А как же связисты Дмитриева? Вот что непонятно! Они-то видели?

— Дмитриев — влиятельный человек во взводе, товарищ капитан.

— А ваши связисты?

— Полукаров может подтвердить, что у нас было четыре катушки. Связь несли я и он. Березкин нес буссоль и стереотрубу.

— Что вы скажете на это, Дмитриев?

Но Алексей, не пошевельнувшись, сидел как глухой, устремив взгляд себе под ноги.

— Что вы скажете на это, Дмитриев? — повторил капитан настойчивее.

И тогда Алексей встал, чувствуя звенящие толчки крови в висках. Он еще не мог до конца поверить тому, что сейчас услышал, поверить в эту подробную, продуманную доказательность Бориса, в эту его нестерпимо ядовитую ложь, и он с трудом нашел в себе силы, чтобы ответить потерявшим гибкость голосом:

— Более чудовищной лжи прямо в глаза я никогда не слышал! Мне нечего... Я не могу больше ничего сказать. Разрешите мне уйти, товарищ капитан?

Отодвинув орудийный ящик, заменявший стул, Мельниченко вышел из-за деревянного столика, раскрыл дверцу железной печки; пламя осветило его лицо, и, вглядываясь в огонь, он проговорил с размеренным спокойствием, которому позавидовал Чернецов:

— Можете идти. Идите. Вы, Брянцев, останьтесь.

Уже отдергивая полог, Алексей почувствовал вязкую тишину позади, и в ту секунду его душно сжало тоскливое ощущение чего-то навсегда беспощадно разрушенного, утраченного.

А Борис, слегка морщась, сидел неподвижно, потом на лбу его пролегла морщинка — и лейтенант Чернецов видел эту тонкую нить морщинки, казавшуюся ему чужеродной, болезненной, будто отражение чрезмерного, но скрытого внутреннего напряжения.

Все молчали. Докрасна раскаленная печка с настежь раскрытой дверцей жарко гудела в палатке, угольки с яростным треском выстреливали в земляной пол, рассыпались искрами. Мельниченко, стоя перед печкой, не поворачивался, пе задавал никаких вопросов.

И Борис, не выдержав этой тишины, попросил невнятно:

— Товарищ капитан, разрешите и мне идти?

— Подождите,— остановил Мельниченко.— Я задержу вас ненадолго.

И он сел на тот самый снарядный ящик, на котором минуту назад сидел Алексей.

— Слушайте, Брянцев, то, что вы говорили сейчас, страшновато. Но вот что.— Он положил руку ему на колено. — Даю вам слово офицера: если вы скажете правду, я завтра же забуду все, что произошло. Ответьте: была у вас лишняя связь, когда Дмитриев просил у вас

помощи, или ее не было? И если вы не дали ее, то почему?

— Товарищ капитан,— медлительно, как бы восстанавливая в памяти все случившееся, ответил Борис. — Я объяснил...

— Значит, вы объяснили,— повторил Мельниченко.— Ну что ж, идите, Брянцев. Идите...

Затем шаги за брезентовыми стенами палатки затихли, лишь скреблись, шуршали падающие листья по опущенному пологу.

Капитан Мельниченко, расстегнув китель, засунув руки в карманы, в раздумье ходил по палатке, легонько звенели в тишине шпоры. Чернецов с пылающими скулами записывал что-то на листе бумаги, буквы получались размазанными — к кончику пера прилип волосок. Чернецов отложил ручку, погасшим голосом проговорил:

— Просто какой-то лабиринт, товарищ капитан. Как командир взвода во многом виноват я...

Мельниченко с незнакомым отчужденным выражением взглянул на него из-за плеча.

— Если бы все это случилось на фронте, проступок этот разбирался бы трибуналом! А командир обоих, офицер, вернулся бы из боя, наверное, без погон. И это было бы справедливо.

Чернецов не без робости сказал:

— Товарищ капитан, после ваших слов... Я, очевидно, не офицер... или просто бездарный офицер.

Мельниченко бросил в печку березовое поленце, закрыл дверцу и проговорил с недовольством:

— Вы сказали это по-мальчишески. То, что произошло, в одинаковой степени относится и к вам, и ко мне. И все же суть в другом. Дело идет об утрате самого ценного в людях — чести и самоуважения. А если это потеряно, потеряно главное, если не все...

— Товарищ капитан, — осторожно сказал Чернецов, — какой-то инстинкт, что ли... подсказывает мне, что Дмитриев говорит правду. А вы, как вы думаете? Я все же больше верю ему...

— Я вот тоже думаю: неужели Брянцев мог решиться пойти на это? Что тут? Ревность? Тщеславие? Зависть? Сведение счетов? И к черту полетело все! Ладно, на сегодня хватит. Ложитесь спать, Чернецов. Я пройдусь по постам.

Он стал надевать шинель.

Минут пять спустя капитан шел по берегу, по намокшей пожухлой траве; над водой слоями переваливался туман, влага его оседала на шинель, касалась лица. Пустынная купальня, как одинокая баржа без огней, плыла в кипящей белой мгле, а в ледяной выси стояла далекая холодная луна, и зубчатые вершины сосен на том берегу дымились в ее свете. Прихваченные холодком листья осыпа́лись с деревьев, легкий печальный их шорох напоминал о метельной зиме.

А весь лес был полон трепетного дрожания огоньков, мерцавших из палаток. Озябший часовой так преувеличенно грозно окликнул капитана, что на вершине полуоблетевшей березы спросонок завозилась ворона, и сбитый ее движением сухой лист спланировал на погон Мельниченко. Он снял его с плеча. Лист покружился, достиг лунной воды; его подхватило течением, унесло во тьму.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

К середине октября по всему чувствуется, что красное лето прошло.

По утрам теперь не слышен веселый шум воды, хлещущей в асфальт, — дворники не поливают улицы в ожидании полуденного жара, когда лед и вафельное мороженое тают в киосках. Туманные рассветы свежи, сыроваты, и первые троллейбусы, мелькая мимо озябших за ночь тополей, холодно розовеют стеклами на поздней заре. Мостовые усыпаны сухими листьями; около ворот их сметают в кучи и сжигают во дворах. Пахнет везде дымком. Вдоль трамвайных линий на стволах деревьев прибиты дощечки: «Берегись юза! Листопад».

И в эту пору октября город ограблен осенью, продут ветрами, оголился, воздух чист и студен, и каждый звук звенит, как стеклянный.

Давно на углах продают пахучие крупные антоновки.

Октябрь непостоянен. Он меняет краски несколько раз в день. Утром город туманный, влажный и белый; днем, когда из последних сил разгорается нежаркое солнце, — золотистый и ясный, так что улицы просматриваются из конца в конец.

Вечером над крышами пылают накаленные закаты, мешаясь со светом первых фонарей и ранним светом трамваев. А ночью ветры, вестники наступающих

холодов, гуляют по выси вызвездившего неба, воровски шарят по садам, ломают ветки, срывают последние листья.

После таких ночей, на рассвете, в унылой пустоте садов кричат синицы; крыши сараев на вершок засыпаны листвой. На клумбах обломаны цветы. Увядшие вьюны засохли, безжизненно висят на протянутых нитях по стеклянным террасам, где уже не пьют чай. И только клены по всему городу еще дерзко и гордо багряны.

В один из таких дней Валя вернулась из института и, снимая пальто в передней, сразу же увидела на вешалке плащ брата.

Но комната Василия Николаевича была пуста. В ней пахло одеколоном; возле дивана стоял кожаный чемодан, на стуле лежала потертая планшетка с картой под целлулоидом.

Кот Разнесчастный — он был прозван так за постоянное выпрашивающее мяуканье на кухне в часы, когда тетя Глаша готовила обед, — сидел на подоконнике и с неохотой, как бы между прочим, ловил лапой осеннюю муху, сонно жужжащую на стекле; Валя, засмеявшись, погладила его.

— Ах ты, лентяй, не видел, когда приехал братень?

В ответ кот зевнул, спрыгнул с подоконника и, нудно, хрипло мяукая, принялся тереться о Валину ногу: подхалимством этим он напоминал, что наступило время обеда.

Громко стукнула входная дверь, в передней зашаркали шаги — это тетя Глаша вернулась с дежурства, и Валя в сопровождении назойливого кота вышла ей навстречу, сказала весело:

— Можете кричать «ура» и в воздух чепчики бросать — Вася приехал! Плащ и чемодан дома. Будем обедать? А то Разнесчастный упадет в голодный обморок.

— Вижу плащ-то, вижу, — забормотала тетя Глаша, разматывая платок.— Давеча, на рассвете, мимо госпиталя машины с ихними пушками проехали. Сразу подумала: вернулись из лагерей. Тяжела военная жизнь: с машины на машину, с места на место... Устала я сегодня...— заключила она ворчливо.— Устала как собака. Обед разогрела бы, руки не подымаются...

— Сейчас всё сделаем,— успокоила ее Валя.

Обедали на кухне; то и дело отгоняя полотенцем невыносимо стонущего под ногами кота, тетя Глаша рассказывала:

— Четвертого дня майора ихнего в пятую палату привезли. Этого важного, знаешь? Как его... Градусникова... Термометрова... Фамилия какая-то такая больничная. Сердце. Поволновался шибко. У военных всегда так: то, се, туда, сюда. Одни волнения. Да отстань ты, пес шелудивый! Ведь налила тебе в блюдце...

Она подтащила кота к блюдцу, однако тот, усиленно упираясь всеми четырьмя лапами и ткнувшись усатой мордой в суп, фыркнул и опять обиженно заорал на всю кухню протяжным скандальным голосом. Валя усмехнулась; тетя Глаша продолжала:

— А когда этот важный майор, значит, очнулся, то и завелся: почему подушки не мягкие, одеяла колючие, почему жарко в палате? А вентиляция как раз была открыта. Чуть не сцепилась я с ним, не наговорила всякого, а самою в дрожь прямо бросило: ровно ребенок какой!..

— Короче говоря — капризный больной?

— А? — переспросила тетя Глаша и вытерла красное лицо передником.— Нет, надо уходить из госпиталя. Портится у меня характер.

После обеда Валя ушла к себе, чтобы позвонить в училище, в канцелярию первого дивизиона, где могли ее соединить с братом, и, сняв трубку, подумала: если вернулся дивизион, то Алексей должен обязательно позвонить ей сегодня... Тетя Глаша загремела тарелками на кухне, включила радио — она не пропускала ни одной передачи для домашних хозяек. Валя набирала номер дивизиона, а по радио с надоедливой грустной сладостью звучала песенка об отвергнутой любви девушки-доярки с потухшими задорными звездочками в глазах и о неприступном, бравом парне-гармонисте — просто невыносимо было слушать эту несносную чепуху!

В дверь поскребли, потом, надавив на нее, не без ехидства поглядывая на Валю, в комнату втиснулся Разнесчастный, облизываясь так, что языком доставал до глаз. Телефон в дивизионе не отвечал, а кот в это время, задрав хвост, со злорадным торжеством хвастаясь своей победой на кухне, прошелся по комнате, и Валя положила трубку, села на диван, сказала, похлопав себя по коленям:

— Ах ты обжора, господи! Ну прыгай на колени, дурак ты мой глупый, усатище-тараканище! Ложись и мурлыкай. И будем ждать телефонный звонок. Нам обязательно должны сегодня позвонить, понимаешь?

Уже сумеречно темнело в комнате, окна полиловели; мурлыкал Разнесчастный, согревая Валины ноги; тетя Глаша по-прежнему возилась на кухне; по радио же теперь передавали сентиментальный дуэт из оперетты, и медовый мужской голос доказывал за стеной:

Любовь такая
Глупость большая...

— Возмутительно! — сказала Валя и засмеялась.— Должно быть, все работники радио перевлюблялись до оглупления. Тетя Глаша,— крикнула она,— включите что-нибудь другое! Ну Москву, что ли!

— А разве не нравится? — отозвалась тетя Глаша.— Хорошо поют. Про любовь. С чувством.

— Про ерунду поют,— возразила Валя.— Патокой залили совершенно.

— А ты не особенно-то критикуй...

Но приторный голос влюбленного оборвался, предвечерняя тишина затопила комнаты: тетя Глаша все же выключила радио.

Внезапно затрещал резкий звонок. Валя, вздрогнув, вскочила с дивана, подумала, что зазвонил телефон, но ошиблась — звонок раздался в передней: пришла Майя, и, оглядев ее с головы до ног, Валя сказала чуточку удивленно:

— Почему ты не была в институте? Что с тобой? Раздевайся, пожалуйста. И не смотри на плащ моего брата такими глазами — училище уже в городе.

— Да? — почему-то испуганно выговорила Майя.— Они приехали?..

На ней было теплое пальто, голова повязана пуховым платком: в последнее время она часто простуживалась — лицо поблекло, осунулось, отчего особенно выделялись темные глаза; она стала остерегаться сквозняков, на лекциях куталась в платок, как будто ей зябко было, и порой, задерживая взгляд на окне, подолгу смотрела куда-то с выражением тихой, труднопреодолеваемой боли.

Майя и сейчас не сняла платка, присела на диван, ласково погладила дремлющего кота, рассеянно полуулыбнулась.

— Бедный, наверно, всю ночь ловил мышей и теперь спит!

— Угадала! Он мышей боится как огня. Увидит мышь — молнией взлетает на шкаф и орет оттуда жутким голосом. А потом целый день ходит по комнате, вспоминает и ворчит, потрясенный. Отъявленный трус.

Майя потянула платок на грудь, спросила:

— Что нового в институте?

— Не было последней лекции. По поводу твоего гриппа Стрельников объявил, что в мире существует три жесточайших парадокса: когда заболевает медик, когда почтальон носит себе телеграммы и когда ночной сторож умирает днем. Не знаю, насколько это остроумно. Пришлось пощупать его пульс, поставить диагноз: неизлечимая потребность острить.

— Как легко с тобой,— неожиданно проговорила Майя и расслабленно откинулась на диване.— И очень уютно у тебя,— с прежней полуулыбкой прибавила она.— И кот как из сказки...

Ее темнеющие глаза казались необычно большими на похудевшем лице, мягкий и вместе тревожный блеск улавливался в них, точно она прислушивалась к своему негромкому голосу, к самой себе,— и Валя внимательно поглядела на нее.

— Ты действительно как-то изменилась. Одни глаза остались.

— Да? — Майя поднялась, осторожной, плавной походкой приблизилась к зеркалу, провела пальцами по щекам, сказала робко: — Да, да, ты права. Я изменилась...

— Просто ты какая-то необычная стала. У тебя все в порядке?

— Что? — Майя отшатнулась от зеркала, лицо ее вдруг некрасиво, жалко перекосилось, она еле слышно проговорила: — Ты не ошиблась... Понимаешь, я давно хотела тебе сказать... и не могла, пойми, не решалась! Валя... у меня, наверно, будет ребенок.

— Это каким образом? — Валя удивленно вскинула брови.— Ты вышла замуж?

— Нет, то есть... Мы должны через год...— покачала головой Майя и тотчас заговорила порывистым шепотом: — Валюшка, ты понимаешь? Это значит на год-два оставить институт. Борис еще не кончил училища... Дома мне ужасно стыдно, места не нахожу, одна мама знает... И... и очень страшно. Понимаешь, иногда хочется,

чтобы ребенка не было... Валюшка, я не знаю, что же мне делать?

Она опустилась на диван, неудержимые слезы закапали из ее глаз; отвернувшись, она достала носовой платок, начала вытирать их.

— Ты говоришь глупости,— не совсем уверенно сказала Валя и запнулась.— И ничего страшного. О чем ты говоришь? Если бы у меня был ребенок...— Она прикусила губу.— Нет, я бы не испугалась все-таки!..

В кухне что-то со звоном упало близ двери, и снова стало тихо. Майя виновато улыбнулась влажными глазами, комкая в руке платок:

— Ты говоришь так, словно сама испытала...

— Нет, нет, Майка! — не дала ей договорить Валя.— Я не испытала, но нельзя, нельзя! Низко же отказываться от своего ребенка. Если уж это случилось... Ты говоришь — страшно! А помнишь, как мы по два эшелона раненых принимали в сутки? Засыпали прямо в перевязочной; казалось, вот-вот упадешь и не встанешь! А как тяжело с продуктами, с дровами было, ты помнишь? Ведь теперь войны нет. Первый год посидит твоя мама с малышом, а потом станет легче. А какой малыш может быть — прелесть! Будет улыбаться тебе, морщить нос и чихать, потом лепетать начнет. Представляешь? Ужасно хорошо!

— «Мама посидит»,— повторила Майя с тоской.— Пойми, как это недобросовестно...

— Неверно, неверно! — послышался голос тети Глаши, и дверь из кухни раскрылась. — Неверно ты, милая, говоришь!

С этими словами в комнату своей переваливающейся походкой вплыла тетя Глаша, часто моргая красными веками, и, точно не зная, что еще сказать, всплеснула руками, ударила себя ладонями по бедрам.

Майя загнанным, ускользающим взглядом посмотрела на нее, потом, съежась, прошептала потрясенно:

— Вы всё слышали?..

— Все я слышала, все, стенка виновата! — заголосила тетя Глаша, садясь на диван рядом с Майей и обнимая ее.— Голубчик, милая... Ишь чего выдумала — себя калечить! Роди, хорошая! И не раздумывай даже!.. После всю жизнь жалеть будешь! Да не вернешь!

— Легко сказать! — Майя жалко ткнулась носом ей в грудь и заплакала, а тетя Глаша гладила обеими рука-

ми по вздрагивающей ее спине и говорила при этом по-деревенски, по-бабьи — успокаивающим, певучим речитативом:

— Ничего, голубчик мой милый, ничего. В молодости все, что трудно, то легко, а что легко, то частенько и невмоготу...

И тоже заплакала.

...Когда в восьмом часу вечера они вышли из дому, город уже зажегся огнями, листья, срываемые ветром, летели в свете фонарей, усыпа́ли тротуары. Из далекого парка доносились звуки духового оркестра, и странно было, что люди танцуют и осенью.

— Ну вот и все,— сказала Майя на трамвайной остановке и задумчиво взглянула на светящиеся окна домов.— Спасибо, Валюша, дальше меня не провожай. Я сама доеду... А то, что я тебе сказала, это мое, ты не думай об этом, пожалуйста. Я сама виновата... Как-нибудь справлюсь.— И, кутаясь в платок, спросила с наигранным спокойствием: — Алексей еще тебе не звонил?

— Нет. А Борис?

— Он звонил, когда я к тебе собиралась. Сказал, что ему не дадут сегодня увольнительную и он не сможет прийти. А я, Валюша, даже рада. Я почему-то сейчас боюсь с ним встречаться. Мне надо как-то вести себя...

— Ты только будь умницей, Майка. И приходи завтра.

Они простились. Фонари желто горели меж ветвей старых кленов; скользили, покачивались на тротуаре тени; листья вкрадчиво шуршали о заборы, и где-то в осеннем небе текли над городом неясные звуки: не то шумел ветер в антеннах, не то из степи долетали отголоски паровозных гудков.

«Что случилось? — думала Валя, идя по улице под это непрерывное гудение в небе.— Почему не позвонил Алексей?»

Она взбежала по лестнице, открыла дверь; из передней, услышав голоса, не раздеваясь, пробежала в комнату — и увидела: за столом под абажуром сидел брат с белыми выгоревшими волосами, без кителя, в чистой сорочке; он ужинал вместе с тетей Глашей.

— А, сестренка! — воскликнул Василий Николаевич, вставая, и она, запыхавшись, обняла его бронзовую от загара шею.

— Как я рада, что ты приехал! — заговорила она задохнувшимся голосом.— Загорел! Точно с моря вернулся!

— Солнце, лес и река.— Василий Николаевич подмигнул.— Ну, раздевайся. Ох, черт побери! Ты, по-моему, похорошела, сестра!

Она села на стул, не сняв пальто, спросила, не сдержавшись:

— Слушай... скажи, пожалуйста, с Дмитриевым все хорошо?

— Вот оно что! — проговорил Василий Николаевич, несколько озадаченно вглядываясь в сестру.— Не чересчур ли интересует тебя Дмитриев? А? Сразу с места в карьер о нем. А я тебя не видел все лето.

— Пожалуйста, извини,— сказала Валя.— Я просто так спросила.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Два дня училище устраивалось на зимних квартирах.

Летом был ремонт, в классах еще пахло свежей краской, обновленные доски отсвечивали черным глянцем; коридоры учебного корпуса с недавно выкрашенными полами, тщательно натертый паркет в батареях — все выглядело по-праздничному.

Начинался новый учебный год, шли первые его дни, и, едва лишь выкраивались свободные минуты, Алексей поднимался на четвертый этаж, в уютную тишину библиотеки, и садился под лампой за столик в читальне, где разговаривали только шепотом, где даже старшины батарей, охрипшие от постоянных команд, снижали строевые басы до нежного шелеста. И здесь, среди безмятежного шороха страниц, по-новому открывался Алексею неизведанный книжный мир, отдаленный годами фронта. То, что так возбуждало воображение, манило в детстве, сейчас уже его не волновало. Он жадно набросился на книги Толстого и Стендаля, ежедневно открывая новые глубины жизни, которые потрясали его. Что ж, у жизненного опыта нет общей для всех школы, своих учеников время учит порознь; но каждая книга на полке представлялась ему другом, протягивающим руку, которую он раньше не замечал.

Раз Степанов, выходя вместе с Алексеем из библиотеки, застенчиво сказал:

— Жаль, Дмитриев, что человеческая жизнь так коротка. Не успеешь узнать все, что надо. Обидно, правда? У каждого есть пробелы — чего-то да не знаешь. Джеймс Кук называл эти пробелы «унексплорейд» — «белые пятна».— И без всякой последовательности заговорил о другом: — А ты знаешь, твой Борис почему-то сам не свой ходит. Вы больше не общаетесь? Неужели между вами все? Очень жаль. Ведь дружба — редкое качество на земле. Я мечтал бы иметь друга, но это так трудно... Зачем же вы?

Да, после приезда в город из лагеря они ни разу не разговаривали, как если бы совсем незнакомы были, даже избегали друг друга — все прежнее между ними было кончено, будто пролегла полоса черного цвета и навечно разделила их знаком предательства.

Внешне все в батарее было тихо, но обстановка в дивизионе была накалена, еще более подогреваемая распространявшимися слухами о том, что дело Брянцева и Дмитриева перешло пределы нормальных взаимоотношений, что это недопустимо в армии и что их обоих должны исключить из училища по рапорту майора Градусова. Однако, кроме нескольких человек, никто в дивизионе толком не знал, что именно произошло на стрельбах.

Вчера в учебном корпусе, лишь только начался перерыв после первого часа занятий и везде захлопали стеклянные двери, а длинные коридоры стали наполняться табачным дымом, Алексей увидел, как Степанов, присев на подоконник против курилки, рассеянно потирая круглую голову, говорил Полукарову, который слушал его с ироническим видом человека, уставшего продолжать спор:

— Послушай, Женя, ты очень субъективен... Определение армии Флетчером — это определение буржуазного теоретика... Что это? «Оживляемое бесчисленным множеством различных страстей тело, которое искусный человек приводит в движение для защиты отечества». Это же явная ерунда, извини...

— Наизусть шпаришь, Степа? — оборвал его Полукаров, жадно затягиваясь папиросой.— Так что ж? Ты считаешь — у наших людей нет страстей? Считаешь, что все люди в армии должны быть святыми, херувимчиками, ангелочками?

Он замолчал и тут же выжидающе огляделся, отыскивая кого-то глазами. А курсанты из других батарей вхо-

дили и выходили из курилки, не обращая на них внимания, затем неподалеку остановились Зимин и Карапетянц, после них вышел из курилки Борис в сопровождении долговязого сержанта Карпушина из второй батареи; сержант этот, небрежно причесываясь и дуя на расческу, с беспечным, игривым выражением что-то рассказывал Борису, и тот тоже нарочито беспечно переспрашивал его:

— Так и ушел? А она что?..

Полукаров глянул в их сторону, сказал внушительно:

— Нет, Степа, и в армии есть страсти, и они движут людьми! А страсть управлять себе подобными? А честолюбие? Тщеславие? А ревность к чужому успеху, доходящая до ненависти? Нет, Степа, карась-идеалист ты, беспочвенный мечтатель, весь ты из умных книг! А как, по-твоему, Брянцев — реалист или идеалист? Или я — болван и гардероб?

Нестеснительный Полукаров говорил это отчетливо и тяжеловесно, артистический баритон его рокотал в коридоре, привлекая внимание стоявших поблизости курсантов, и подошедший Борис со смехом насильственно спокойно похлопал его по плечу.

— Долг прежде всего, а потом удовольствия, как говорят французы. Этого, Женя, не надо забывать. Я от рождения человек долга, да будет тебе это известно.

— Разве? — с колючей вежливостью спросил Полукаров.— Укажи мне на человека, лишенного страстей и пороков. Наверно, это будешь ты. О библейская овечка с нежной серебряной шерсткой!

— Философствуешь, Женя,— тонко усмехнулся Борис.— Много громких слов, понапрасну сотрясаешь воздух, дорогой. А смысл? Что с тобой — нездоровится?

— А, отстань ты... знаешь! — нежданно обозлился всегда невозмутимый краснобай Полукаров и, прекратив спор, зашагал прочь по коридору, покачивая неуклюжей спиной.

— Видел представителей нашей батареи? — смеясь, сказал Борис Карпушину и опять взял его под руку, пошел вместе с ним по коридору.

— Ты понял, Степанов? А? — спросил Зимин, провожая Полукарова моргающими глазами.— Это что такое — ссора?

— Зачем он произнес речь? — с жаром отчеканил Ким Карапетянц.— Говорун, понимаешь! Все и так ясно. Два сапога — пара!

— Что ясно? Какая пара? — воскликнул Зимин и, поперхнувшись, подавился дымом, бросил недокуренную папиросу в урну, украдкой покосился направо и налево — не улыбаются ли? — и со слезами заглянул в урну, мысленно проклиная себя за то, то недавно начал курить для солидности.— Жуть какая кислая попалась! Прямо невозможно!..

— Легкомысленно поступаешь. Одна капля никотина убивает лошадь,— сурово заявил Карапетянц, пощипывая пробивающиеся усики, и поглядел в окно, за которым осенний ветер свистел в тополях, тосковал об ушедшем лете.

— Ну и пускай убивает! — возмутился Зимин.— Ты понимаешь, что происходит у нас во взводе?

Зимин и Карапетянц были моложе всех в батарее, одногодки, всегдашние соседи по столу в учебных классах, но по определенным причинам они все-таки «не сходились характерами»: Карапетянц жестоко осуждал любовь «несерьезного» Зимина к посылочкам, высмеивал эти «маменькины посылочки», получаемые товарищем из дому, и вообще поступал и делал каждый шаг чрезвычайно обдуманно. Он считал, что будущий офицер должен полностью отдавать себе отчет в том, что за жизнь ожидает его, если война в мире не исключена.

— Всё посылочки в голове! Зачем задаешь марсианский вопрос? — Карапетянц отмахнулся от Зимина, как от надоевшей мухи.— Не видишь разве? Зачем спрашиваешь, как наблюдатель? Смешно на тебя!

— Я не наблюдатель,— обиделся Зимин.— Ты сам марсианин.

Как обычно, в личное время курилка битком набилась курсантами, здесь было особенно оживленно, хаотично звучали, перемешивались смех и голоса, и дневальный, охрипнув, кричал со страстной убедительностью:

— Товарищи, окурки на пол не бросать! Братцы, уважайте труд дневального! Сами будете на моем месте, имейте совесть!

Но его никто не слушал. Алексей вошел в курилку, случайно столкнувшись в дверях с Полукаровым; они мельком глянули друг на друга, не вымолвив ни слова, и, соединенные теснотой и этой случайностью, отошли к окну, в относительно свободный уголок, где оба закурили. Алексею показалось, что Полукаров ожидал какого-то вопроса от него или сам хотел сказать что-то, но тот

курил безмолвно, равнодушно стряхивая пепел с кончика папиросы, наклонив большую лохматую голову. На миг они опять встретились взглядами, и Полукаров мрачновато проговорил:

— Вот что-то папироса не раскуривается.

— Сырой табак? Попробуй мои.

— Спасибо. Пострадаю со своими.

А вокруг становилось все теснее, все шумнее, дым синими пластами покачивался под потолком, и слышно было, как сержант Карпушин, рослый, с коротким вздернутым носом, подстриженный «под ежик», втиснувшись от входа в толпу курсантов, по-разбойничьи свистнул в два пальца и выкрикнул луженым горлом:

— Эй, братцы, первая прославленная батарея, хоть топор вешай! О чем речь? А-а, ясно — среди простых смертных герой дня! — захохотал он с дерзкой веселостью, заметив у окна Алексея. — А может, Дмитриев, за свои героические действия вскорости и орденок схлопочешь? Ась?

— То есть? —спросил Алексей. — Не очень понял тебя, сержант. Скажи разумнее.

— Как «то есть», старшина? А ты невинницу из себя не строй! Чувствуем твои методы, не дураки! Высоко ты вознесся, а правда-матка все равно есть, как ни крути. Нет, исключить тебя за клевету из комсомола и из училища — вот что надо! Или к суду, ясно?

— Черт тебя знает, что ты за артиллерист,— проговорил Алексей.— Ни разу таких не видел.

— Ты брось эти штучки, старшина, туману не напускай!.. Я-то как раз артиллерист, а не быстренький, как некоторые тут!..

— Не видно,— сказал Алексей.— В артиллерии не стреляют с закрытыми глазами. Прешь напролом, как бык.

— Ты мне словами па́мороки не забивай! Я-то уши развешивать не буду! Ничего у тебя не выйдет! — угрожающе заговорил Карпушин.— Учти: вся твоя карьера шита белыми нитками, хоть ты и до старшин долез... Лесенка твоя как на ладони... ясно?

— Слушай, Карпушин, — брезгливо вмешался Полукаров,— закрыл бы ты заседание юридической коллегии с перерывом на каникулы. Надоело слушать громовые, но дурацкие речи!

— А ты-то что, Полукаров? Подкупили тебя вроде? — выкатил пронзительно-светлые глаза Карпушин. — Или уже не понимаешь, что за кулисами у вас делается? Может, всякие подробности рассказать, как люди жить умеют? И о Валеньке тоже знаем...

— Что именно? Ну-ка объясни. — Алексей почувствовал, как холодеют, ознобом стягиваются губы, и проговорил с хрипотцой: — Смотри, сержант, если будешь тут еще галдеть, я тебе морду набью, хоть и на гауптвахту сяду! Все уяснил?

— Подожди, Алеша.

Сказав это, из толпы курсантов как-то лениво, бесстрастно вышагнул все время молчавший Дроздов, положил руку на крутое плечо Карпушина и долго пристально рассматривал его с головы до ног; тотчас в курилке задвигались, зашумели, кто-то предложил накаленным басом:

— Толя, тресни ему по умной шее за демагогию! У этого парня — гениальных мыслей гора!

— А ну тихо! — остановил Дроздов возникший вокруг шум и властно подтолкнул Карпушина к двери.— Проваливай по-вежливому. А ну — выпирай, выпирай из курилки к чертовой бабушке, пока я не рассердился!

Тогда Карпушин, сузив веки, высвободил плечо из-под руки Дроздова, раздувая ноздри, попятился к двери, затем повернулся и со сдержанным бешенством начал протискиваться к выходу. Дроздов проводил его до самой двери, напоследок дружески посоветовал:

— Если не успокоишься, сходи в санчасть. Там есть хорошенькая сестренка. В шкафу направо у нее валерьянка с ландышем... Не поможет — поставь горчичники ниже поясницы. В голове прояснится. Будь здоров!

— А выпроводил ты его, Дроздов, напрасно,— заметил Грачевский, косясь на Алексея.— Потом, видишь ли, объективно еще ничего не известно...

— У тебя куриная слепота, Грачевский,— ледяным тоном ответил Дроздов.— Дальномер с собой носи. В кармане.

— Слепота не слепота, а ты-то знаешь, где правда? Зимин с негодованием заявил Грачевскому:

— Если не из нашей батареи, значит, может говорить все, что хочет! Просто безобразие!

Он повел сердитыми глазами — Алексей уже стоял подле окна, быстро чиркал спичкой по коробку, прядь волос упала ему на висок. «Волнуется?» — подумал Зимин,

и в ту же минуту дневальный, с шашкой и противогазом, появился в курилке, прокричал зычно:

— Старшину первого дивизиона к телефону!

В вестибюле, где был столик дежурного с телефоном, Алексей, немного успокоившись, взял трубку, произнес обычное:

— Старшина Дмитриев.

— Алексей? — послышался голос из другого мира.— Алексей, это ты? Я должна тебя увидеть и поговорить. Ты можешь взять увольнительную?

— Валя, как я рад, что ты позвонила!.. Но я не могу увидеть тебя ни сегодня, ни завтра.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

«Здравствуй, дневник, старый друг, я тебя совсем забыл!

Сейчас ночь, а я сижу в Ленкомнате и записываю, как автомат. Даже пить хочется, а я не могу оторваться, сходить к бачку. Ну, спокойней, курсант Зимин, и все по порядку.

Итак, вчера ночью я никак не мог заснуть после этого безобразия в курилке, когда чуть драка не случилась. А когда не можешь уснуть, то всегда подушка какая-то горячая, колючая и ужасно жарко голове. Я стал переворачивать подушку прохладной стороной вверх и вдруг слышу — вроде таинственный шепот. Было, наверно, часа два ночи, все спали в батарее, свет горел только в коридоре, и там тихие шаги дневального: тук-тук...

Приподнимаюсь и вижу: Ал. Дмитриев лежит на своей койке с открытыми глазами, а рядом сидит Толя Др. Вот о чем они говорили:

Ал.: Ты уверен, что Борис заранее все обдумал с этой катушкой? Но для чего это ему? Вот что я не могу понять. И никогда не поверю, что он трус.

Дрозд.: Ты просто идеалист... Он же предал тебя да еще оговорил. В сорок третьем ты его тоже простил бы?

Ал.: В таком случае я не хочу вспоминать, что было на стрельбах. Не хочу об этом говорить. Хватит!

Дрозд.: Ну, знаешь, это толстовщина какая-то!

Ал.: Нет, Толька. Это другое.

Дрозд.: Я разбужу Сашку, давай посоветуемся вместе, что делать.

Я увидел, как Дроздов стал будить замычавшего Сашу Гребнина, и тут произошло вовсе неожиданное. С крайней койки вдруг поднялась какая-то белая фигура, вся лохматая, просто — как привидение! Фигура подошла к Ал., и я узнал Полукарова.

— Товарищи,— сказал он.— Товарищи, можете со мной делать все, что угодно, но я слушал ваш разговор, потому что имею к этому отношение. Да, я видел, как Борис прятал катушку связи. Поэтому я совершил преступление. Я, очевидно, подлец больше, чем он. Я виноват перед тобой, Дмитриев, и не прошу прощения, потому что все было слишком низко!

— Пошли,— сказал Алексей и повернулся к Др.

Он и Др. накинули шинели и пошли, наверно, в курилку. Когда они вышли, мне показалось, что в глубине кубрика кто-то застонал... И мне показалось — это Борис проснулся.

Я лежал, закрыв глаза, все крутилось в голове. Я думал: как же это я ничего не соображаю, что у нас происходит?

А через несколько минут я услышал шаги поблизости от койки и увидел, как Борис подошел к койке Полукарова, сдернул с него одеяло и прошипел с такой злобой, что мне стало страшно:

— Сволочь ты, сволочь! Этого я тебе никогда не прощу!..»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Это были тяжелые для Бориса дни и ночи.

Если раньше послевоенная жизнь представлялась ему начинающейся сказкой, то теперь, особенно по ночам, ворочаясь без сна в постели, он до отчаяния жалел, что закончил войну не на передовой, а здесь, в тылу, совершив непоправимую ошибку, ибо все равно вернулся бы с фронта в звании офицера,— но мысли эти не успокаивали его, лишь рождали злую боль.

От своего фронтового командира взвода лейтенанта Сельского он давно не получал писем; последнее было из Германии, короткое, как телеграмма. Происходила демобилизация, увольнение офицерского состава в запас; Сельского же, после присвоения ему звания старшего лейтенанта, повышали, он ожидал нового назначения: его

переводили, по-видимому, куда-то в тыл, и он был доволен этим.

Из Ленинграда каждую неделю приходили письма от матери, в которых она постоянно спрашивала о здоровье, расшатанном, верно, войной, и просила писать чаще, «хотя бы две строчки». Письмо Сельского и письма матери чем-то раздражали его и в то же время радовали — они были словно отдушиной.

Борис, как и остальные, ходил ежедневно в учебный корпус, в столовую, чистил орудия, сидел на теоретических занятиях в классе, на вопросы курсантов отвечал «да» или «нет»; однако, когда помкомвзвода Грачевский напомнил ему, что через десять дней он должен начать готовиться к боксерским гарнизонным соревнованиям, он наотрез отказался, сказав, что чувствует себя нездоровым.

Он сказал о своем нездоровье и почувствовал некое горькое наслаждение оттого, что Грачевский первый заговорил с ним, и оттого, что просил его, и от этих своих слов: «Я нездоров». Этим он будто подчеркивал, что не нуждается ни в чьей помощи и не пойдет на унижение, пытаясь внушить себе, что у него достаточно сил, чтобы пережить тяжкое время. Но, ища выход и облегчение, он испытывал муку тоски оттого, что все пошатнулось под его ногами, все рушится и трещит, что еще один шаг — и он полетит в пропасть, в черный туман, и разобьется там, внизу, насмерть.

За неделю до праздника Дня артиллерии он неожиданно получил письмо от Сельского. Тот писал, что наконец прояснилось его назначение, что едет он на восток, в родную свою Москву, которую не видел тысячу лет, в распоряжение отдела кадров. Тон письма был живой, легкий, полный надежд, и Борис, дважды перечитав его, целый день ходил с комком в горле: старшему лейтенанту Сельскому, который был только на год старше его, сопутствовала удача, судьба улыбалась ему!

А через трое суток Бориса вызвали в штаб училища, и дежурный с обычной в таких случаях торжественностью вручил ему телеграмму. Телеграмма удивила его — она была пространной, с обратным московским адресом. Старший лейтенант Сельский получил в отделе кадров назначение, едет на Урал, думает остановиться в Березанске на денек праздника артиллерии, до чертиков хочет увидеться, многое вспомнить за рюмкой чаю...

Борис снова пробежал глазами текст и стиснул зубы. Жизнь просто играла с ним шутки, смеялась над ним: нет, им ни в каком случае не надо было сейчас встречаться, им не о чем было говорить — ему, теперешнему Борису, бывшему командиру орудия во взводе Сельского, и этому удачливому старшему лейтенанту. Что теперь общего между ними? Что их связывает?

И Борис скомкал телеграмму, сунул ее в карман. Злая, нестерпимая досада охватила его: да, он ни с кем не хотел встречаться в сложившемся положении, не хотел идти ни к капитану Мельниченко, ни к лейтенанту Черецову, чтобы просить у них увольнительную. Он уже полмесяца не ходил в город и в долгожданные выходные дни не находил места среди пустынной тишины училища, он полмесяца не встречался с Майей, и ясно было, что не встретится и с Сельским. «Поздно вы приезжаете, товарищ старший лейтенант, надо было раньше, хотя бы на месяц раньше!»

Но, не желая встречи и не желая унижения, он с неправдоподобной отчетливостью представлял последний Вислинский плацдарм перед отправкой в училище, немецкую танковую атаку на рассвете, свое разбитое в конце этого боя орудие, горящие в тумане танки, отчаянные и отрешенные глаза Сельского, свою ожесточенность и его хриплые команды — и чувствовал, что бессилен бороться с собой: ему надо было увидеть, вспомнить самого себя в те часы и увидеть, вспомнить командира взвода Сельского. И, сопротивляясь этому, мучаясь сомнениями, он не приходил ни к какому решению.

В этот ноябрьский день училище готовилось к общему увольнению в город, повсюду была оживленная теснота от множества парадных гимнастерок, от мелькания веселых, праздничных лиц; повсюду на лестничных площадках шумно и повзводно чистили сапоги, драили мелом пуговицы и пряжки, получив у батарейных помстаршин выходное обмундирование. В умывальной водопадом плескал душ, гулко, как в бане, раздавались голоса; оттуда то и дело выходили голые по пояс курсанты, чистые, свежевыбритые, пахнущие одеколоном, карнавально позванивали шпорами по коридору.

В Ленинской комнате неумело играли на пианино — и Борис остановился, поморщился: «Черные ресницы, черные глаза»,— и он с удушливым покалыванием в горле подумал о Майе... Но после всего случившегося, как бы

опрокинувшего его навзничь, после того, что он испытал недавно, что-то надломилось в нем, остудилось, и сейчас в его душе просто не было для нее места.

Борис вошел в батарею. За раскрытыми дверями умывальной, залитой розовым огнем заката, мимо розовых, словно дымных, зеркал двигались силуэты, и совсем близко он увидел в зеркале тоненького, похожего на стебелек, Зимина. Тот, старательно приминая, приглаживал белесый хохолок на макушке; от усилий у него вспотел, покрылся капельками веснушчатый носик, весь его вид являл человека, который очень спешил.

— Вот наказанье! — говорил он страдальчески.— Скажи, Ким, отрезать его, а? Он лишний какой-то...

— Делай на свое усмотрение,— ответил серьезный голос Кима.— Никогда не был парикмахером. Принимай самостоятельное решение.

Зимин суетливо потянулся за ножницами на полочке.

— Да, отрежу, — сказал он. — О, знаешь, в парке сегодня жуть: карнавал, танцы, фейерверк! «Количество билетов ограничено». Огромные афиши по всему городу, даже возле проходной!..

«Глупо! Как это глупо! Осенью — карнавал!» — подумал Борис, усмехнувшись, и неожиданно торопливым шагом направился к канцелярии. «Глупо»,— опять подумал он, с беспокойством задержавшись перед дверью канцелярии. Постояв в нерешительности, Борис все-таки поднял руку, чтобы постучать, и опустил ее — так вдруг забилось сердце. «Трусливый дурак, у меня же особая причина, у меня телеграмма!» — подумал он и, убеждая себя, наконец решился и постучал не очень громко, с напряжением сказал:

— Курсант Брянцев просит разрешения войти!

— Войдите.

И он переступил порог. В канцелярии были капитан Мельниченко и лейтенант Чернецов; лицо капитана, усталое, освещенное закатным солнцем, наклонено над столом, где лежала, как показалось, карта Европы; сосредоточенный Чернецов из-за плеча глядел на эту карту, до Бориса дошла последняя фраза капитана:

— Вот вам, они не полностью проводят демонтаж военных заводов.

Он медленно поднял глаза, и Борис, приложив руку к козырьку, тем же напряженным голосом произнес:

— Товарищ капитан, разрешите обратиться!

— По какому поводу? — Капитан выпрямился, раскрыл портсигар и уже с видимым равнодушием выпустил Бориса из поля зрения.

— Насчет увольнения,— неуверенно проговорил Борис и, опустив руку, с презрением к себе подумал: «Какой я жалкий глупец! Неужели мне это нужно?» — Я должен встретить знакомого офицера. Он проездом... Мы знакомы по фронту.

— Когда прибывает поезд?

— В восемь часов, товарищ капитан.

Капитан медленно размял папиросу, мелькнул огонек зажженной спички. Спросил сухо:

— Почему вы обращаетесь ко мне, Брянцев? — и бросил спичку в пепельницу.— У вас есть командир взвода, лейтенант Чернецов. Прошу к нему.

«Вон оно что!» И в это мгновенье Борису захотелось сказать, что ему не нужно никакого увольнения, что он ни о чем не просит, сказать и сейчас же выйти — отталкивающая бесстрастность, незнакомое равнодушие звучали в голосе комбата. Но все же, пересиливая отчаяние, он взял под козырек второй раз и упавшим голосом обратился к Чернецову, заметив, как алый румянец пятнами залил скулы лейтенанта.

— Вам нужно увольнение, Брянцев?

— Да... Я должен встретить... встретить знакомого офицера... У меня телеграмма.

Он достал из кармана смятую телеграмму, однако Чернецов, даже не взглянув на нее, сел к столу, сухо скрипнула от этого движения портупея.

— Вы хотите в город? До какого часа вам нужно увольнение?

— До двадцати четырех часов.

Лейтенант Чернецов заполнил бланк, вышел из-за стола, протянул увольнительную.

— Можете идти, Брянцев.

Борис повернулся и вышел, задыхаясь, побледнев, не понимая такого быстрого решения Чернецова.

«Доброта? — думал он.— Равнодушие? Или просто-напросто презрение?»

В закусочной он залпом выпил два стакана вермута, поймал на углу такси, и улица сдвинулась, понеслась, замелькали вдоль тротуара багряные клены, лица прохожих, жарко пылающие от заката стекла, сквозные

ноябрьские сады, встречные троллейбусы, переполненные по-вечернему. Прохладные сквозняки летели в его разгоряченное лицо, и он думал: «Быстрей, быстрей!» — но в груди холодело от тошнотной тревоги.

За квартал до вокзала Борис остановил такси.

— Здесь? — спросил широколицый парень-водитель в кожаной куртке, какие носили фронтовые шоферы.

Борис молча вылез из машины, отсчитал деньги.

— Мелочи, кажись, нет,— сказал шофер, шаря по нагрудным карманам своей куртки. — Поди-ка вон разменяй в киоске. Подожду.

— Оставь на память.— И Борис захлопнул дверцу.

— Брось, брось,— серьезно сказал шофер.— Я, брат, с военных лишнего не беру. Сам недавно оттуда.

Но Борис уже шагал по тротуару, легкий хмель от выпитого вина выветрился в машине. Он шел в вечерней тени оголенных, пахнущих осенью тополей, шел, не замечая ни прохожих, ни загорающихся фонарей, не слыша хруста листьев, и думал: «Куда я сейчас спешил? Что я хотел сейчас?»

Чем ближе он подходил к вокзалу и чем отчетливее доносились всегда будоражащие душу свистки маневровых паровозов, тем больше он ощущал ненужность и бессмысленность этой встречи. «О чем нам говорить? Что нас связывает теперь? Жаловаться своему командиру взвода Сельскому, выглядеть обиженным, оскорбленным, выбитым из колеи? Нет уж, нет! Легче умереть, чем это!»

Он замедлял и замедлял шаги, а когда вошел в привокзальный сквер, насквозь голый, облетевший, и посмотрел на часы, глядевшие желтым оком среди черных ветвей («Десять минут до прихода поезда»), то сел на скамью, закурил в мучительной нерешительности. Он никогда раньше не переживал такой нерешительности. А стрелка электрических часов дрогнула и замерла, как тревожно поднятый указательный палец. Тогда усилием воли он заставил себя подняться. Но тотчас снова сел и выкурил еще одну папиросу.

Когда же на краю засветившегося фонарями перрона он нашел дежурного, чтобы узнать о прибытии московского поезда, тот изумленно уставился на него, переспросил:

— Как? Какой, какой поезд? Двадцать седьмой?

— Да. Пришел двадцать седьмой?

— Дорогой товарищ, двадцать седьмой ушел пять минут назад.

— Когда? — почти шепотом выговорил Борис и в эту секунду почувствовал такое странное, такое освежающее облегчение, что невольно переспросил: — Значит, двадцать седьмой ушел?..

— Ушел, дорогой товарищ, пять минут назад ушел, — пожал плечами дежурный.— Вот так вот.

С застывшей полуусмешкой Борис остановился на краю платформы, тупо глядя на рельсы, понимая, как бессмысленно и ненужно было его увольнение, как бессмыслен был тот унизительный разговор с капитаном Мельниченко, с лейтенантом Чернецовым и как никчемна, глупа была эта его нерешительность, его попытка так или иначе действовать, спешить увидеть Сельского.

«Что же, все одно к одному,— подумал Борис и насмешливым взглядом обвел пустынную платформу.— Вот я и со своим командиром взвода не встретился... А зачем я этого хотел?»

Он с отвращением подумал о недавней спасительной неуверенности, и ему стало жаль себя и так нестерпимо страстно, до холодка в животе, захотелось почувствовать себя прежним, ни в чем не сомневающимся, сильным, во всем уверенным. Но он не мог пересилить что-то, перешагнуть через дышавший бедой провал под ногами.

Спустя минуту он побрел по платформе и от нечего делать зашел в вокзальный ресторан, где запахло кухней, и этот запах почему-то раздражил его своей будничностью. Просторный зал повеял холодком: в этот час между поездами он был почти пуст. Официанты бесшумно двигались, убирая со столиков, иные бежали с подносами, нагруженными грязной посудой, бочком обходя стоявший посередине ресторана большой аквариум с подсвеченной электричеством зеленой водой.

Борис выбрал отдельный столик напротив окна: ему надо было как-то убить время.

Немногочисленные посетители обращали на него внимание, оглядывались: он надел все ордена и медали, грудь его сияла серебряным панцирем. Эти взгляды не зажгли в нем приятного чувства удовлетворения, как раньше, не возбудили его, и он с прежней полуусмешкой положил на белую скатерть коробку дорогих папирос, которые купил в закусочной ради встречи с Сельским, и тут же, как бы увидев себя со стороны, подумал

с сопротивляющимся тщеславием: «Что эти люди думают обо мне?»

И когда неслышно подошел официант, весь аккуратный, весь доброжелательный, и очень вежливо, с выработанной предупредительностью наклонив голову, произнес: «Слушаю вас», Борис не сразу ответил ему, соображая, что же надо все-таки заказывать, и официант спросил:

— Пить будете? Коньячок? Водку? Вино?

— Принесите двести граммов коньяку. И... бутерброды. Кроме того, пиво, пожалуй.

Но официант доверительно склонился еще ниже и сообщил таинственным шепотом, как давнему знакомому:

— Пиво очень неважное. Не советую. Жженым отдает. Рижского нет. Лучше боржом — отличный, свежий. Вчера получили.

— Давайте боржом. Только холодного попрошу... Это — все.

— Одну минуточку.

Потом, ожидая, Борис закурил, облокотился на стол и сквозь дымок папиросы стал с ленивым, безразличным вниманием рассматривать немногочисленных посетителей, зачем-то угадывая, кто эти люди, для чего они здесь.

«Что они знают обо мне?» — снова подумал он, слыша гудки паровозов, проникавшие в тихий зал ресторана.— По орденам видят, что я воевал. И — больше ничего. Я один здесь...»

Когда официант через несколько минут скользяще приблизился к столику и аккуратно поставил поднос с заказом, Борис, овеянный благодарным огоньком от этой доброжелательности, налил из графинчика в рюмку и фужер и рюмку придвинул официанту.

— Не откажетесь со мной?

— Спасибо. Я на работе. Мне не разрешено.

— Жаль,— сказал Борис и, подумав, добавил: — Что ж, будем живы, что ли...

— Спасибо,— сказал официант.— Пейте на здоровье.

Огненный коньяк ожег Бориса, он сморщился и стал закусывать, хорошо зная, что ему нельзя пьянеть.

А ресторан начал заполняться людьми и вместе с ними гулом — наверно, пришел какой-то поезд; живее забегали официанты, уже не было свободных столиков; и внезапно зал с хрустальными люстрами, и столики, и

аквариум, и пальмы, и папиросный дым, и лица заполнивших ресторан людей поплыли и мягко сдвинулись в глазах Бориса. Появилось необыкновенное ощущение: тогда, в Польше, на берегу осенней Вислы, они с Сельским стреляли по танкам, могли умереть и умерли бы, если бы не удержались на плацдарме, а теперь вот он не встретил Сельского, сидит один за этим столиком, пьет коньяк, слушает этот шум ресторана, гудки паровозов... Нет, тогда все имело смысл, и тогда, рядом с Сельским, он мог до последнего снаряда стрелять по танкам, а потом сидеть с автоматом на изготовку в засыпанном ровике... «Если бы он только знал, понял бы, как отвратительно, невыносимо у меня на душе! А я не хотел ему всего объяснять!»

Колючий комок застрял в горле Бориса, и, чтобы протолкнуть этот комок, он выпил фужер боржома, вытер платком вспотевший лоб (ему было неприятно жарко) и вспомнил весь этот несчастный день с тоскливой горечью: «Нет, все было не вовремя».

— Борис, вы давно здесь?

Он вскинул голову и, ничего не понимая, резко поднялся, мгновенно трезвея, прошептал перехваченным голосом:

— Товарищ капитан?!

Возле столика стоял капитан Мельниченко в новом парадном кителе, сверкавшем орденами, погонами, золотыми пуговицами. «Зачем он здесь? Неужели следил за мной? Почему он в парадной форме? — как во сне мелькнуло у Бориса, и он сообразил наконец: — Ах да, праздник. День артиллерии, кажется».

— Что вы так удивились? — снимая фуражку, сказал Мельниченко.— Увидел вас в окно и зашел. Что вы стоите, Борис? Садитесь, пожалуйста. Здесь все сидят.

— В окно? — прошептал Борис с чувством невыносимого стыда, готовый рукой смахнуть все, что было на столе. «Нет, неужели он с целью приехал на вокзал? Но с какой целью?» — скользнуло у него в сознании.

И, вроде бы угадав эти невысказанные мысли, Мельниченко отодвинул свободный стул, спросил:

— Можно?

— Да...

— Удивлены, Борис? Но мы, очевидно, встретились с вами потому, что хотели увидеть одного и того же

человека. Правда, он не присылал мне телеграмму. Но мне хотелось его увидеть.

Борис опустился на свое место, удивленно проговорил:

— Старшего лейтенанта Сельского? Для чего?..

— Из любопытства,— сказал Мельниченко.— Я хотел взглянуть на него издали. Но вы не пришли к поезду, а я не знаю его в лицо.

— Я... не пришел...— Борис замолчал, ему трудно было говорить.

И он поднял голову. В синих глазах капитана — они казались вблизи очень синими на загорелом лице — не было того безразличия, того холодного равнодушия, как несколько часов назад, когда Борис просил увольнительную, они смотрели сейчас чуть-чуть сожалеюще, — и горячая, душная спазма вцепилась в горло Бориса, мешала ему дышать, он выговорил сдавленным голосом:

— Вы не думайте, что я пьян...

— Я ничего не думаю,— ответил Мельниченко, видя, что за ближними столиками перестали есть и начали с интересом глядеть на них, на курсанта и офицера, точно в ожидании скандала.— Присоединюсь к вам. Не возражаете? Попрошу вас, принесите водки,— громко сказал капитан официанту, который тоже не спускал внимательного взгляда со столика, лишь только за него сел этот увешанный орденами артиллерийский офицер.

— Ну, что вы будете пить — свой коньяк или попробуете водки? — спросил Мельниченко, когда официант принес графинчик, и Борис, испытывая непривычную для себя унизительную растерянность, ответил:

— То, что и вы.

— Когда-то это называлось «фронтовые сто грамм».— Мельниченко задумался на миг, разлил водку в рюмки, сказал: — Ну, за День артиллерии! За «бога войны». Так, что ли?

— Да, товарищ капитан...— выдавил Борис и, сдерживая дрожь руки, взял рюмку и, одним глотком выпив водку, потянулся к папиросам.

— Запейте боржомом, тоже неплохо,— посоветовал Мельниченко.— На войне этой роскоши не было.

— Разрешите курить? Я не пьян... Вы, кажется, жалеете меня или презираете, товарищ капитан? — нетвердо выговорил Борис, и лицо его дернулось.

— Жалею. Но это не имеет значения,— проговорил Мельниченко, сжимая пальцами рюмку.— Слушайте, дружище, вот что мне хотелось бы вам сказать, и вот отчего на душе у меня скверно, если не хуже... Могу по себе понять всю жажду вашего самоутверждения и могу представить, как вы воевали, и не только по вашим орденам. Да, было бы нелепо до ужаса, просто чудовищно было бы, если бы все мы превратились в маленьких, серепьких, благопристойных солдатиков и если бы исчезло среди людей, например, честолюбие. Что ж, честолюбие — это любить честь, а значит, оно стимул, импульс, рычаг, наконец, для достижения цели, для успеха, для жизни, черт возьми! И будем считать лицемерием и философией посредственности горячие заявления, что вне нашей морали «делать карьеру» и подыматься по служебной лестнице. Талант не всегда любят. Я за карьеру, сделанную своей кровью и своим потом. Но как только начинается самоутверждение за счет другого... за счет соседа, то эта тщеславная возня отвратительна и жалка...

— Товарищ капитан, — осевшим голосом проговорил Борис. — Зачем вы мне это сказали? Опять — жалость, жалость ко мне?..

— Я хотел бы говорить иначе. Но я очень сожалею, Борис, что через год после войны вы стали потенциальным трусом, если хотите, перед жизнью и ее превратностями.

— Товарищ капитан... Я не трус, я никогда не был трусом!

— Ложь — почти всегда трусость, это я хорошо знаю, Борис. И самое страшное в этой трусости то, что вы хотели погубить своего друга...

— Товарищ капитан!..

Борис вскочил с искривленными губами, чувствуя какую-то жаркую, смертью подступившую темноту, непослушными руками выхватил деньги из кармана, бросил на стол и, натыкаясь на стулья в проходах, отталкивая их, как ослепший, кинулся из зала.

Смутно видя лицо гардеробщика, он машинально схватил поданную им шинель и, на ходу надевая ее, выбежал в холодный сумрак улицы.

Мелькали фонари, освещенные окна, скопления народа на тротуарах, у подъездов, на перекрестках, люди глядели в небо, где расширялись над крышами дальние

светы, но все это как бы скользило стороной, проходило мимо его сознания.

Уже обессиленный, он добежал до знакомого, неясно различимого за тополями дома, позвонил на втором этаже судорожными, длительными звонками и здесь, в тишине лестничной площадки, едва пришел в себя, торопливо застегнул шинель, поправил фуражку; сердце тугими ударами колотилось, казалось, в висках. А за окнами пышно и косматo разрывались в небе низкие звезды ракет, мерцали над деревьями — и он вспомнил тогда, что сегодня праздничный карнавал в парке и это иллюминация.

«Что же мне делать? Она не ждет меня!..— говорил он себе.— Что она подумает?»

Ему открыли дверь, и ее голос тихо вскрикнул в полутьме передней:

— Борис?!

И он вошел, еще не в силах произнести ни слова, а она, отступая в комнату, по-будничному закутанная в пуховый платок, смотрела на него не мигая, темными неверящими глазами.

— Борис... я знала, что ты придешь. Никого нет дома. Проходи, пожалуйста. Я знала...

А он, покачиваясь, неожиданно упал на колени перед ней и, пригибая ее к себе за теплую талию, крепко прижимаясь лицом к ее ногам, заговорил отрывисто, с отчаянием, с мольбой:

— Майя! Ты пойми меня... Майя, я не мог раньше... Я не знаю, что мне делать?..

— Ты пьян? — чуть не плача, проговорила она и со страхом отстранилась от него.— Ты не приходил, а я... Я одна... целыми днями жду тебя, не хожу в институт. Ты ничего не знаешь...

Она заплакала, жалко, беспомощно, зажимая рот ладонью, отворачиваясь, пряча от него лицо.

«Вот оно... Это выход! — подумал Борис.— Только здесь я нужен, только здесь!»

И, обнимая, целуя ее колени, он говорил исступленно охрипшим, задыхающимся шепотом:

— Я давно хотел... Я только тебя люблю, только ты мне нужна...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Когда они взбежали на горбатый мостик, праздничное гулянье в парке было в разгаре — множество ракет взлетало в черное небо, искры медленной пылью осыпались в тихие осенние пруды, на крыши сиротливых купален, заброшенных до лета; опускаясь с высоты, трескучий фейерверк угасал над темными деревьями, над аллеями, над куполом летней эстрады, где танцевала толпа, гремел духовой оркестр.

В этот день Алексей впервые зашел к Вале домой и, зная, что здесь живет капитан Мельниченко, не без волнения ожидал официального приема, но вынужден был полчаса просидеть один в столовой, потому что Валя, впустив его, сейчас же ушла в свою комнату, прокричав оттуда:

— Алеша, одну минуту, я переодеваюсь! Пепельница на тумбочке, если нужно, возьми!

Он, благодарный ей за эту нехитрую догадливость, нашел пепельницу и почувствовал некоторое облегчение оттого, что все оказалось проще, чем ожидал. Тут кто-то поскребся в дверь, и в столовую из кухни пролез в щель заспанный кот, лениво мяукнул, с любопытством пожмурился на Алексея и, замурлыкав, стал делать восьмерки, потерся боком о шпору и после этого изучающе понюхал ее, стараясь не уколоть нос.

— Кто ты? Как тебя зовут? — спросил Алексей и потрепал кота по спине.— Давай познакомимся, что ли?

— Алеша, истомился? Я уже...

Дверь в другую комнату была полуоткрыта, и он услышал, как там ожили, простучали каблуки, и вышла нарядная Валя; летнее солнце оставило на ее волосах свой след — они стали еще светлее; и эти волосы, и не совсем пропавший загар на лице напомнили ему вдруг о том знойном дне и о той июльской грозе за городом, когда от влажных Валиных волос пахло дождевой свежестью, увядшей ромашкой и он обнимал ее за вздрагивающие плечи, целуя холодные губы... Он все поглаживал терщегося о шпору кота — не мог сразу избавиться от воспоминаний,— а она, оглядев себя, подтянуто прошлась перед ним.

— Хочу быть красивой ради тебя, цени это! Знаю, что ты плохо танцуешь, но сегодня я командую, и ты полностью будешь мне подчиняться. Согласен?

В тот миг, когда над эстрадой с шипением и потрескиванием всплыла целая стая ракет, озарила воду и деревья мерцающим фантастическим светом и длинные огни посыпались в пруд, Алексей, проводив взглядом зеленые нити, обернулся к Вале:

— Ты, конечно, хочешь танцевать?

— Знаешь,— ответила Валя решительно,— я сейчас сниму туфлю и подфутболю ее в пруд. Не до танцев...

— А что случилось?

— Ужасно жмет. Иногда новые туфли могут испортить все настроение. Что с ней делать? Досада какая!

— Подожди, — сказал Алексей. — Дай я посмотрю. Может быть, что-нибудь придумаем...

— Ничего ты с ней не сделаешь.

— Я все-таки попробую.

— Ну попробуй! Можно, я обопрусь на тебя?

Она крепко оперлась на его плечо и, балансируя на одной ноге, вспрыгнула и села на перила мостика, подобрав под себя разутую ногу.

Он сосредоточенно вертел узенькую, лаковую, какую-то беспомощную туфлю в руках, соображая, что с ней делать, наконец решился и начал осторожно растягивать задник; что-то треснуло в туфле, и Валя в ужасе ахнула.

— Ну конечно! Теперь я осталась совсем без ничего. Надо же было тебе приложить свою силу. Это ведь не орудие! Дай, пожалуйста, иначе придется идти босиком...— Она спрыгнула с перил, потопала надетой туфлей, договорила с опущенными ресницами: — Ну ладно уж. Спасибо,— и подняла на него глаза, будто осветив на миг мягким лучом, а он, мысленно ругая себя за медвежью услугу, готовый сказать, что его фронтовых денег, полученных за подбитые танки, хватит на десяток пар туфель, спросил озадаченно:

— Ну, хотя бы ходить можно?

— Конечно. Пошли,— закивала она.— Но, знаешь, танцевать не будем.

Они брели по аллеям мимо толп гуляющих, среди потока масок, среди смеха и огней; им обоим было немного тревожно: Алексею — от рассеянно-ласкового, затуманенного взгляда Вали, оттого, что покорная рука ее доверительно лежала на его рукаве; ей — оттого, что каза-

лось, она во сне плывет с ним по теплой реке, в ту звездную ночь, а под ними жуткая, чернеющая глубина.

— Ты что-нибудь помнишь? — спросила она шепотом.

— Все.

Впереди над вершинами деревьев катился, мчась на одном месте, огненный круг «чертова колеса», там разносился озорной визг, и Валя, сильно сжав локоть Алексея, снова тихонько сказала:

— Нет, ты ничего не помнишь.

Откуда-то из толпы неожиданно вынырнули Витя Зимин и Ким Карапетянц, оба потные, на погонах поблескивало конфетти, закричали одновременно:

— Дмитриев! — но, заметив Валю, озадаченно переглянулись, и Зимин, как всегда, густо покраснел. — А-а, ты не один! Извините, пожалуйста!

— Это мои друзья, — представил Алексей. — Познакомьтесь!

Валя протянула руку, сказала:

— Я рада...

Зимин и Карапетянц, разом вытянувшись, приняли под козырек, поочередно пожали ее руку и, чувствуя крепкое ответное пожатие, несколько смущенно назвали свои фамилии, а потом, подумав, и свои имена.

— Где вы были? — спросил Алексей и чуть не засмеялся, уловив неловкое переминание товарищей.

— Мы? — спросил Карапетянц солидно.

— Мы? — спросил Зимин и покосился на «чертово колесо», однако Карапетянц, предупреждая его, дипломатично кашлянул.

— Вы были на «чертовом колесе»? — быстро догадалась Валя.— Хорошо там?

— О, замечательно! — с искренним восторгом воскликнул Зимин.— Очень здброво! Знаете, оттуда весь парк виден, ракеты, огни!..

Карапетянц, не разделяя этого восторга, добавил совершенно серьезно:

— А когда кто-то завизжал в соседней кабине, Витя хотел открыть дверцу и, понимаешь, спасать!

— Вот уж и нет... Зачем ты преувеличиваешь както...— сконфузился Зимин.— Ну, до свидания, мы должны идти, Ким. Нам надо.— И, должно быть, от смущения обратился к Вале по всей форме: — Разрешите идти?

— Конечно.

Они исчезли в толпе так же мгновенно, как и появились, и Валя сказала, улыбаясь:

— Какие славные ребята! Это самые младшие?

— Самые младшие.

Слева, на площадке аттракционов, тоже колыхалась под фонарями толпа; вокруг нее стайками шныряли мальчишки, лезли на деревья, на спины людей, стараясь через головы увидеть все, что делалось за барьером; слитный хохот и гул голосов волной прокатывался по сгрудившейся толпе и замирал; иногда в коротком затишье слышались вопросы:

— Промазал? Опять?

— Что здесь такое? — спросил Алексей какого-то бедового остроносого мальчишку в кепке с пуговкой.

— Соревнование снайперов, товарищ военный! Гляньте-ка!

— Давай посмотрим,— предложила Валя.— Это интересно.

Они протиснулись к перилам, слыша впереди сухие, звонкие щелчки, затем увидели холодную глубину тира, освещенную электрическими лампочками; оттуда запахло мокрыми опилками. Стреляли двое военных: один, судя по эмблеме на погонах — курсант автомобильного училища, белобровый, с неподвижным, равнодушным лицом, ждал у барьера опершись на духовое ружье, в уголке тонкого рта зажата потухшая папироса, новенькая фуражка сдвинута на затылок; другой — лежа грудью на барьере, со старанием целился, долго устраивая локоть, шинель нелепо коробилась на широкой его спине.

Раздался выстрел. Пулька щелкнула в глубине тира. И сразу по толпе наблюдателей прокатился шум, хохоток, неистово закричали на разные голоса мальчишки:

— Мазила! Куда пуляет?

— Пушку ему дайте, он из пушки трахнет!

Довольно пожилой, кряжистый человек в солдатской шинели без погон толкнул сбоку плечом Алексея, сказал с азартом и огорчением:

— Что же это, а? Шестой раз мажет! А ведь из вашего училища, должно́?

— Да, артиллерист, смотри, Алеша,— сказала Валя.— Ты его знаешь?

Стрелявший положил ружье, невозмутимо полуобернулся к зрителям, потирая переносицу, и Алексей, к сво-

ему удивлению, узнал Полукарова, а тот, как бы не видя толпы позади барьера, не слыша криков мальчишек, все потирал на переносице след от очков, не выказывая никакой заботы. «Что это его занесло сюда?» — подумал Алексей сначала недовольно, но тут же при виде заведующего тиром не мог не рассмеяться. Заведующий тиром, круглый, лысый, театрально разведя руками перед Полукаровым, на коротких ножках подкатился к автомобилисту, услужливо, с особой ловкостью зарядил ружье, послал в глубину тира воздушный поцелуй.

— Прошу снайперский выстрелик! Ауфвидерзеен!

В ответ автомобилист промычал что-то невнятное, пожевывая папиросу, вроде лениво и неохотно уперся локтями в барьер — и мгновенно выстрелил. Дальняя фигурка медведя кувыркнулась посредине мишеней. Зрители загудели:

— Враз поддел, глаз вострый! Главную мишень колупнул!

— Вот этот... по-нашему! — одобрительно заявил кряжистый человек в солдатской шинели.— Эх, артиллерист! Бе-еда. Стрелок с тыловой кухни!

— Ты знаешь этого артиллериста? — повторила Валя.— Ты почему смеялся, Алеша? Он кто?

— Очень хорошо знаю,— ответил Алексей, и она заметила: лицо его чуть-чуть изменилось. — Валюша, подожди минуту. Я сейчас,— сказал он и подлез под перила, приблизился к самому барьеру, встреченный неудовольствием заведующего тиром:

— Дорогой товарищ артиллерист, у нас соблюдать порядок надобно, прошу вас культурно!..

— Мы вместе с ним, — сказал Алексей, кивнув на Полукарова. — Все будет как надо.

Тот уже навалился грудью на барьер, готовясь стрелять, но, отвлеченный словами заведующего тиром, повернул большую свою голову, близоруко щурясь, проговорил:

— Дмитриев? Откуда ты?

— Дай, Женя, я достреляю твои патроны, устал ждать очередь,— вполголоса сказал Алексей.— Таким образом можно сделать? — обратился он к заведующему.— Надеюсь, это не нарушит культурного обслуживания?

— Это ваше личное дело, за патроны заплачено...

Заведующий с приятностью в лице пожал округлыми плечами; автомобилист же смерил Алексея заинтересованно-оценивающим взглядом, выплюнул изжеванную папиросу, одним щелчком мизинца сдвинул фуражку на затылок — теперь она держалась на его голове чудом, но спросил довольно-таки безразлично:

— Свежие артиллерийские силы? Или хочешь закрыть грудью амбразуру?

— И то, и другое.— Алексей отстранил Полукарова, оглядел мишени.— В какие фигуры можно стрелять?

— На выбор хочешь? — по-прежнему бесстрастно удивился автомобилист.— Давай. В трубу крейсера. В бегущего волка... В крутящуюся мельницу. Даю пять форы... Начинай!

— Милосердия не нужно,— ответил Алексей и, наслаждаясь этим моментом предвкушения, сам зарядил два ружья.— Начнем,— быстро повторил он и, тщательно прицелясь, стоя выстрелил.— Раз,— сказал Алексей.— Считай, автомобилист...

— Ай-яй-яй! — отозвался вместо автомобилиста заведующий тиром.

Труба крейсера упала. Алексей тотчас поднял другое ружье — и после второго звонкого щелчка в глубине тира скрипнули и остановились вращающиеся крылья мельницы. За спиной было тихо — ни шепота, ни возгласа одобрения. Автомобилист, по-гусиному вытянув шею в сторону мишеней, резким жестом надвинул козырек фуражки на брови, но, сдержавшись, протянул с ленцой в голосе:

— От сотрясений валятся. Хите-ор!

— Правильно, кто-то из артиллеристов тир качает,— согласился Алексей.— Сколько еще осталось несбитых фигур? Две? Полукаров, дай мне два патрона.

— Ай-яй-яй, два патрона?

Заведующий тиром с услужливой торопливостью высыпал на барьер кучку патронов, и Алексей, испытывая прежнее удовольствие от своей веселой уверенности, повторно зарядил два ружья. И, поочередно поднимая их, выстрелил по оставшимся мишеням. Дважды щелкнули пульки, чудилось, по возникшей недоверчивой тишине, и первыми засвистели, заорали возбужденные мальчишки, забегали в толпе, когда он, положив на барьер ружье, спросил автомобилиста:

— Теперь все?

— Тама! Точно! Ни одной мишени! — подтвердило несколько голосов.

Алексей перепрыгнул через перила, и поджидавшая его Валя с изумлением увидела, как мальчишки закипевшим водоворотом закрутились перед ним, дружно крича: «Как фамилия? Как ваша фамилия, дяденька? Вы снайпер?» Он сказал им что-то; один из них, бедового вида, в кепке с пуговкой, ответил: «Есть!» — и водоворот этот двинулся по аллее в сторону набережной.

— Ты хвастунишка! — улыбаясь, заговорила Валя.— Ты же испортил жизнь автомобилисту, видишь, он мгновенно куда-то исчез. Еще умрет от огорчения... Придет в училище, ляжет на кровать и умрет от горестных воспоминаний. Ой, не могу! — Она так засмеялась, что слезы выступили на ресницах. — Как он надвинул козырек на глаза! Словно его кто-то по затылку ударил!

В это время к ним подошел Полукаров; весь взъерошенный, виновато щурясь, он хотел что-то сказать Алексею, но лишь раскланялся с подчеркнутой воспитанностью, стесненный, видимо, присутствием Вали.

— Ладно, Женя, прости, что я тебе помешал, но, кажется, теперь все в порядке,— проговорил Алексей.

— Он так плохо стреляет? — разочарованно спросила Валя, когда они наугад пошли по аллее.

— Он близорук. Постеснялся или забыл надеть очки, наверно.

Валя сказала тихо, взяв его под руку:

— А каков ты, хвастун, а? Правда, ты сумел расположить к себе сердца зрителей. Я все видела.

Он ответил полушутливо:

— Я этого и хотел. Пусть знают, как стреляют артиллеристы. Это все-таки марка фирмы.

— На войне тоже была эта марка фирмы?

— Да. Только на войне далеко до хвастовства. Там было дело. Нет, не дело, а страшная работа.

Над деревьями небо фиолетово вспыхнуло, вновь раскололось фейерверком; они оба посмотрели туда; и Алексей, проследив за дымными нитями впереди, продолжал:

— Самому странно — даже вот эти ракеты напоминают ночь на передовой, хотя я знаю, что войны нет, что я с тобой в парке и все отлично... А насчет стрельбы ты не думай, что я стреляю особенно хорошо. Правда,

до артиллерии я случайно месяц пробыл в снайперской, но снайпера из меня не получилось. Кстати, мой друг Толя Дроздов за тридцать шагов попадает из пистолета в гривенник... Без всякой снайперской школы. Прекрасно стрелял Борис из автомата. У него очень точный глаз.

Замедляя шаги, Валя прикусила губу, вопросительно взглянула на Алексея.

— А ты наконец можешь мне сказать, что у вас произошло с Борисом? Ведь что-то произошло? Или это тайна?

— Нет, не тайна. Но мне не хочется говорить об этом. Просто, когда теряешь друга, становишься как-то беднее.

Тут из боковой аллеи с шумом, с топотом подбежала к ним группа запыхавшихся мальчишек, и, как показалось Вале, предводитель их, тот самый, бедовый, в клетчатой кепке с пуговкой, взбудораженно шмыгнул носом, выпятил грудь и, задыхаясь от усердия, выкрикнул:

— Товарищ снайпер, ваше приказание выполнено! Ваши товарищи на набережной. Там много курсантов из артиллерийского училища.

Валя повела на Алексея удивленными глазами, а он даже не улыбнулся, приложил руку к козырьку, ответил серьезно:

— Спасибо, друзья, можете идти.

— Есть идти! — И мальчишки, весьма довольные собой, гурьбой кинулись назад к боковой аллее в направлении аттракционов.

А эта дальняя глухая аллея, по которой шли они без направления, была темноватой, точно шалаш, засыпанный кучами опавшей листвы, и было непонятно, как мальчишки нашли здесь Алексея. По-осеннему шуршало, похрустывало под ногами, горел одинокий фонарь в черных ветвях, над безлюдными скамейками, и везде: в шорохе листьев, в запахе сырости, в оголенном свете фонаря — был ноябрь.

— Вот видишь,— вдруг сказал Алексей весело,— мальчишки, оказывается, всё знают. Пойдем, познакомлю тебя с моими друзьями. Они должны тебе понравиться, я уверен. Толя Дроздов, Саша Гребнин, Миша Луц, Степанов. Сейчас ты их увидишь.

Справа был маленький пруд, в нем на середине загорались и гасли отдаленные взлеты ракет, а под обрывом в темной недвижной воде уже собрались целые плоты

кленовых и каштановых листьев, и от пруда дуло пронизывающим холодком.

— Мальчишки, снайпер... черт знает что! — проговорила Валя и неожиданно повернулась к нему, взялась за борта шинели, коснулась губами его щеки.— Ты знаешь... я тебя сегодня особенно люблю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В двенадцать дня капитан Мельниченко начал обход дивизиона и только в половине второго спустился в главный вестибюль.

Стоял солнечный день в предвременье мороза.

Был час обеденного перерыва, затихший во время занятий училищный корпус наполнялся жизнью: зазвучали голоса в коридорах батарей, застелились папиросным дымом курилки, в комнату оружия несли буссоли, прицелы, артиллерийские планшеты, а на дворе натруженно ревели моторы: курсанты, вернувшиеся с полевых учений, отцепляли орудия от машин, вкатывали в автопарк. По этажам пронеслась команда дежурного по дивизиону:

— Приготовиться к обеду!

Мельниченко стоял в главном вестибюле, пропуская огневые взводы, то и дело отвечая на приветствия,— ждал, пока пройдет весь дивизион. Вдруг он увидел: бросив в его сторону хмурый взгляд, от группы курсантов отделился Борис Брянцев; землистого оттенка лицо его дернулось, когда он нарочито медленной походкой подошел к Мельниченко, вяло щелкнул каблуками.

— Товарищ капитан...

— Да, слушаю, Брянцев.

— Разрешите обратиться по личному вопросу?— бесцветным голосом выговорил Борис и достал из полевой сумки исписанный лист бумаги, с подчеркнутой вежливостью протянул его Мельниченко.— Прошу принять, товарищ капитан.

— По личному вопросу? Что это? — спросил Мельниченко чересчур обыденно, однако почти догадываясь, в чем дело.— Не отпуск ли?

Борис помолчал, в зрачках его возник лихорадочный блеск.

— Это рапорт, товарищ капитан,— проговорил он хрипло. — Товарищ капитан, сейчас идет демобилизация.

Я прошу об одном: направить меня на гарнизонную комиссию... У меня два ранения. Я имею право просить вас направить меня.

И Борис упрямо сжал рот, в глазах его все не пропадал этот лихорадочный сухой блеск.

— Покажите ваш рапорт. — Мельниченко взял рапорт, не читая его, тронул Бориса за рукав шинели.— Проводите меня до проходной.

Они вышли на плац. Пахло близкими морозами. Холодное, нестерпимо яркое ноябрьское солнце сияло в каждой гальке, в каждой пуговице пробегавших мимо курсантов, ослепляло последним предзимним светом. Мельниченко на ходу пробежал глазами рапорт и лишь минуту спустя заговорил с явным неудовлетворением:

— И все-таки не хочется думать, Борис, что свою судьбу вы будете решать сплеча. Ведь жизнь — не асфальтовая дорожка, по которой весело катишь колесико. Если хотите моего совета, то вот он: начните кое-что снова. Не ваш путь, Борис, искокетничаться в страданиях. Это не ваше.

— Нет, товарищ капитан,— глухо сказал Борис и не то поморщился, не то криво усмехнулся.— Начать снова? Родился, рос, учился, воевал, достигал цели... Нет! — Он посмотрел себе под ноги.— Нет, товарищ капитан! — проговорил он поспешно.— Я решил! Я прошу вас направить меня на гарнизонную комиссию. Я имею на это право!..

Мельниченко свернул рапорт, сказал тихо:

— Возьмите. И зайдите ко мне сегодня вечером. Мы еще поговорим о рапорте, если вы до того времени его не порвете.

— Нет, я решил! — повторил Борис, торопясь.— Я все решил, товарищ капитан!..

«Он убедил себя, упрямо убеждает себя в этом»,— думал Мельниченко, подходя к дому Градусова и чувствуя, что настроение после разговора с Брянцевым было испорчено.

В передней, пахнущей лекарствами, жена Градусова, когда-то красивая, но уже заметно седая полная женщина, встретила Мельниченко с преувеличенно радушной предупредительностью — так встречают в силу необходимости и приличия не особенно любимых гостей —

и сама взяла из его рук фуражку, аккуратно положила на тумбочку.

— Пожалуйста, раздевайтесь, Иван Гаврилович вас давно ждет. Он чувствует себя лучше. Но вчера был плох, и вы, знаете... Коли что, так вы уж его не тревожьте...

— Да, да, не беспокойтесь.

Она провела его в очень светлую просторную комнату с двумя окнами на юг, должно быть — кабинет: мягкие кресла, цветистый ковер на полу, охотничьи ружья — на стене, тяжелые портьеры, старинные бра по бокам зеркала — непредвиденный и непривычный уют: Градусов всегда казался капитану аскетом двадцатых годов.

Сам Градусов, тоже непривычно одетый в полосатую пижаму, лежал на диване подле широкого письменного стола, уставленного пузырьками и коробочками с лекарствами, в ногах его дремала, свернувшись клубком, дымчатая кошка. Градусов, повернув голову, поглядел на капитана из-под старивших его очков, и тусклая улыбка растянула его бескровные, жесткие губы.

— Здравствуйте, Василий Николаевич! Садитесь, голубчик, вот сюда, в кресло,— проговорил он неузнаваемо ослабевшим голосом, неловко чередуя «вы» и «ты», и закряхтел, приподнимаясь на подушке. Упершись в нее локтем, он снял очки, отчего лицо его приняло более знакомое выражение, и нервно потеребил дужки очков.

— Как чувствуете себя, Иван Гаврилович? — спросил Мельниченко, смущаясь от ненужности этого вопроса.— Кажется, лучше? Отпустило немного?

— Вот, голубчик, лежу... М-да... Подкачал моторчик, сдал. Не те обороты...— виновато проговорил Градусов.— Не додумались еще люди... вставить бы железное — и на всю жизнь... Ну, ладно, это всё жалобные разговоры. Не люблю болеть. Да и не положено старому солдату болеть...

Он тихонько кашлянул, кинул очки к ногам, где спала сибирская кошка; на лице его не было обычного выражения недовольства и жестокости, он сильно сдал, как-то жалко постарел за болезнь; бросилась в глаза рука его, крупная, белая, освещенная солнцем,— она была видна до последней жилки, вызывая у Мельниченко жалость, жалость здорового человека к больному.

— Я вот... хотел тебя увидеть, Василий Николаевич,— заговорил Градусов с неожиданной дрожью в голосе.—

Болит у меня вот здесь больше не от болезни.— Он приложил кулак к сердцу.— За дивизион болит... Ты на меня не обижайся, может, это от характера... Ну, как там — скажи откровенно — новые порядки? Знаю, офицеры меня недолюбливали, курсанты боялись. Забыли, должно, а?

Градусов ослабленно откинулся на подушку, полуприкрыл тяжелые веки, заговорил, предупреждая ответ Мельниченко:

— Эх, Василий Николаевич, ты только сантименты брось. Ты меня как больного не жалей. По-мужски, брат, давай. Знаю, что ты обо мне думаешь. Но я свою линию открыто доводил, копеечный авторитет душки майора не завоевывал... Да, строг был, ошибок людям не прощал, по головке не гладил. Что же, армия — суровая штука, не шпорами звенеть! Сам воевал — малейшая, голубчик, ошибка к катастрофе ведет... Тут, брат, и честь офицерская! Что ж молчишь? Иль не согласен? — Градусов осторожно потер пухлую грудь.— Говори...

— В дивизионе никаких перемен,— ответил Мельниченко, хорошо понимая, чтó ему разрешено говорить и чтó не разрешено.— Никаких чрезвычайных происшествий. Все идет, как и должно идти.

— Успокаиваешь? — Градусов поворочал головой на подушке, неуспокоенный, раскрыл припухшие веки.— А эта история с Дмитриевым, с Брянцевым? Я все знаю.— Он вдруг беззвучно засмеялся.— Ты, голубчик, мою болезнь не успокаивай. Говори. Ты думаешь, я устав ходячий? Думаешь, я курсантов не любил, не знал? Знал всех. Говори, брат, без валерьянки... Она мне и так осточертела.

— Что вам сказать, Иван Гаврилович? — ответил после молчания Мельниченко.— Скажу одно: уверен — все, как говорят, образуется.

— Напрасно снял я его тогда со старшин... — Градусов вновь попытался сесть на постели, натужно задышал и, глянув на дверь, за которой то приближались, то отдалялись тихие шаги, попросил сиплым шепотом: — Дай-ка, Василий Николаевич, глоток водицы. Там, в стакане. А то жажда мучает...

Излишне торопливо Мельниченко нашел на столе и подал стакан с водой. Градусов жадно отпил несколько глотков, потом, с облегчением вздохнув, отвалился на подушку, грудь его рывками подымалась под пижамой, и

Мельниченко не без тревоги подумал, что его присутствие и начатый разговор нарушают больничный режим Градусова, нездоровье которого в самом деле серьезно, хотя майор и силится не показывать этого или не придает этому значения. И Мельниченко повторил:

— Все войдет в свою колею, Иван Гаврилович. Все уладится. Вам сейчас не стоит об этом думать.

— А о чем же стоит? — спросил Градусов, широкая грудь его все подымалась, лоб покрылся испариной.

Мельниченко не решился ответить сразу. В тишине скрипнула дверь, и в комнату заглянула жена Градусова, подозрительно обвела глазами обоих, сказала неискренне извиняющимся голосом:

— Василий Николаевич, хочу напомнить, что Ивану Гавриловичу запретили много разговаривать, даже смеяться громко запретили...

— Врачи наговорят, — с нарочито ядовитым смешком возразил Градусов.— Ишь ты, знатоки! Их слушаться — в стеклянном колпаке мухой жить. Чепуха!

— Не храбрись ты, ради бога,— сказала она грустно и сожалеюще и с вежливой сдержанностью обратилась к Мельниченко: — Он нуждается в покое и очень слаб. Вы, конечно, понимаете, Василий Николаевич.

В этих словах был плохо скрытый укор, и Мельниченко встал. Ему неловко было в эту минуту перед женой Градусова оттого, что он, независимо от всего, молод, здоров, неловко оттого, что пришел в этот дом, пахнущий лекарствами, с морозного воздуха, оттого, что командует тем дивизионом, которым командовал ее муж, в то время как, по ее мнению любящей женщины, страдания мужу причинил и причиняет именно он,— это видно было по ее лицу.

— Да, Иван Гаврилович устал,— испытывая это необоримое чувство ее укора, согласился Мельниченко.— Я зайду завтра. В это же время. Если вы позволите.

— Конечно,— не скрывая облегчения, подтвердила она.— Пожалуйста.

— Погоди, Даша! Три минуты! — взмолился Градусов.— Это чепуха — три минуты! Я все равно не успокоюсь, коли прервем.

— Хорошо.— Она предупреждающе и холодно кивнула Мельниченко.— Три минуты.

«Не волнуйтесь»,— успокоил он ее взглядом, понимая, что́ она думала сейчас.

Ноябрьское солнце заливало комнату, кресла, ружья на стене, цветистый, с разводами, ковер на полу, било в окна косыми столбами сквозь прозрачные клены на улице, освещая осунувшееся лицо Градусова,— и он, положив руку на грудь и указывая бровями на закрывшуюся за женой дверь, заговорил сипловато:

— Трудно ей со мной. Тяжелый, видать, у меня характер. В девятнадцатом году увидел ее, гимназистку, в Оренбурге, посадил с собой на тачанку. «Поедешь со мной?» — «Поеду». Молодой был, рубака, отчаянный — море по колено. И по всем фронтам до Перекопа провез ее. Была сестрой милосердия... все испытала... М-да... Ну так я вот о чем... — Он протяжно втянул ртом воздух.— Разные мы с тобой люди. Разные у нас мнения. А дело одно. Выздоровлю — опять приду в дивизион. Не выздоровлю — что ж... в отставку, рыбу удить, по врачам ходить, бока на солнышке греть. Это в лучшем случае. А не могу... не могу забыть... Полюбил, брат, я армию до печенок, врос в нее по макушку. Не знаю, как будет...

— Я все понимаю, Иван Гаврилович,— сказал Мельниченко.

Градусов пошевелился, глаза его задержались на стакане с водой, но он не попросил пить, лишь облизнул синевато-бледные губы, изломавшиеся в слабой неумелой улыбке.

— Ох, завидую я тебе, Василий Николаевич!

— В чем?

— Молодости завидую. Ну ладно, прощай, прощай! А то сейчас Даша...— проговорил он и откинул голову на подушку.— А с Брянцевым поступай как знаешь, тебе сейчас лучше видно. Не всякий ключик к замочку подходит... Стой, стой! Вспомнил вот о курсанте Зимине. Ты к нему повнимательней будь. Чистый, брат, такой парнишка! На моего покойного сына, на Игоря похож...

Через три минуты Мельниченко ушел от Градусова с необъяснимым тяжелым ощущением непроходящей вины.

Поздним вечером Мельниченко вместе с лейтенантом Чернецовым сидел в канцелярии дивизиона; в этот час везде было безмолвно, к запотевшим окнам липла размытая, неосенняя тьма. Падал первый, редкий снежок, и

мгла за окном постепенно светлела; от нетронутого, чистого этого снега, тихо покрывающего землю, орудия, деревья, крыши гаражей, исходило нежное синеватое сияние.

Мельниченко глядел на побелевший странно пустынный плац, на прозрачно-белые у заборов фонари, вокруг которых в конусообразном движении плыли снежинки, и говорил как бы самому себе:

— Бесспорно, что истинный офицер должен знать своих людей до последнего винтика, как хороший мастер часы. К сожалению, я еще не мастер.

Лейтенант Чернецов тоже смотрел на первую мягкую белизну за окном и молчал, удивленный этим признанием. Мельниченко продолжал тем же тоном:

— Вот думаю о рапорте Брянцева. Это, конечно, не просто рапорт, это отчаяние. У него два ранения, гарнизонная комиссия не имеет оснований его не демобилизовать. А жаль. Да, черт знает как жаль! — повторил он и снял телефонную трубку. — Дежурный? Курсанта Брянцева из первой батареи ко мне!

А лейтенант Чернецов, слушая его голос, нервно подергивал портупею; он еще не верил, что Брянцев может сделать последний шаг, уйти из училища по своему рапорту, этот шаг представлялся ему полнейшей невозможностью. «Неужели мы не знаем, что в этом случае делать?» — подумал он, увидев, как Мельниченко в задумчивости побарабанил пальцами по стеклу, всматриваясь в зимнюю синеву вечера, в бесконечное мелькание снежинок над заборами, над побеленным училищным плацем.

Когда минут десять спустя в дверь постучали и потом послышался негромкий, потухший какой-то голос Брянцева: «По вашему приказанию прибыл»,— Мельниченко долго, как бы что-то угадывая и не в силах угадать, глядел на равнодушно-отчужденное лицо Бориса, на резко обозначившийся плотно сжатый рот.

— Вы не передумали, Борис? — наконец спросил он.— Подумайте, не горячась, перед тем, как ответить. Ведь это ваша судьба. Я прошу вас подумать.

— Нет, не передумал,— разжал губы Борис.— Нет.

— И твердо решили уйти из армии?

— Да.

— Но вы же любите армию. Разве это не так?

— Я ухожу из армии, товарищ капитан,— проговорил Борис. — Я решил.

— Подумайте, Борис. Это все всерьез и на всю жизнь.

— Не бойтесь за меня, товарищ капитан... Я не пропаду,— еле различимо выговорил Борис.— Разрешите идти?

— Что ж, пусть будет так. Идите.

А через неделю он уезжал дневным поездом, и Майя провожала его,— и здесь, на вокзале, в последние минуты они стояли возле вагона обнявшись, не говоря ничего, но, когда раздался второй звонок и Борис стал исступленно целовать ее заплаканные глаза, ее губы, ее лоб, он почувствовал, как охрип его голос, готовый сорваться:

— Не бойся. Я вернусь за тобой, я жить без тебя не могу. Ничего, Майя, ты немного потерпи... Все будет хорошо. Я приеду за тобой. Ты жди меня...

Он жадно и ласково смотрел ей в лицо, некрасивое теперь, испуганное, с желтыми пятнами, и на миг, ненавидя себя, вспомнил, что порой в эти унизительные дни, в моменты самого сильного отчаяния, в нем бегло возникало ощущение, что и в любви ему не повезло до конца. Но сейчас, в эти крайние секунды, того мимолетного, прежнего ощущения не было у него в душе. Он уезжал с таким чувством, что все начиналось сначала.

И все же, когда поезд тронулся и Майя с замирающим, мокрым лицом пошла по платформе, не отрываясь от окна вагона, когда мимо проплыл вокзал с отчетливой надписью «Березанск», когда среди дальней перспективы домов стало поворачиваться гранями здание училища, Борис сел за столик, прижав к лицу кулаки, сквозь крепко смеженные его веки медленно сочились слезы...

1952—1955

СОДЕРЖАНИЕ

Бондарев Ю. В.

Б81 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 1. Батальоны просят огня; Юность командиров: Повести/ Вступ. статья И. Богатко; Худож. В. Любин.— М.: Худож. лит., 1984. 455 с., портр.

В том включена широко известная повесть Бондарева «Батальоны просят огня», посвященная событиям Великой Отечественной войны, и повесть «Юность командиров» — первое крупное произведение писателя, в котором изображены будни артиллерийского училища накануне окончания войны и в последующие мирные дни.

Б $\frac{4702010200\text{-}155}{028(01)\text{-}84}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ

Собрание сочинений
в шести томах

ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор В. Борисова
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
Л. Ковнацкая
Корректоры Н. Усольцева, С. Калганова

ИБ № 3712

Сдано в набор 23.06.83. Подписано в печать 01.12.83. А13187. Формат 84Х108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая» Усл. печ. л. 23,94+1 вкл.=23,99. Усл. кр.-отт. 23,99. Уч.-изд. л. 27,34+1 вкл.=27,39. Печать высокая. Тираж 100 000 экз. Изд. № Ш-1441. Заказ № 676. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.